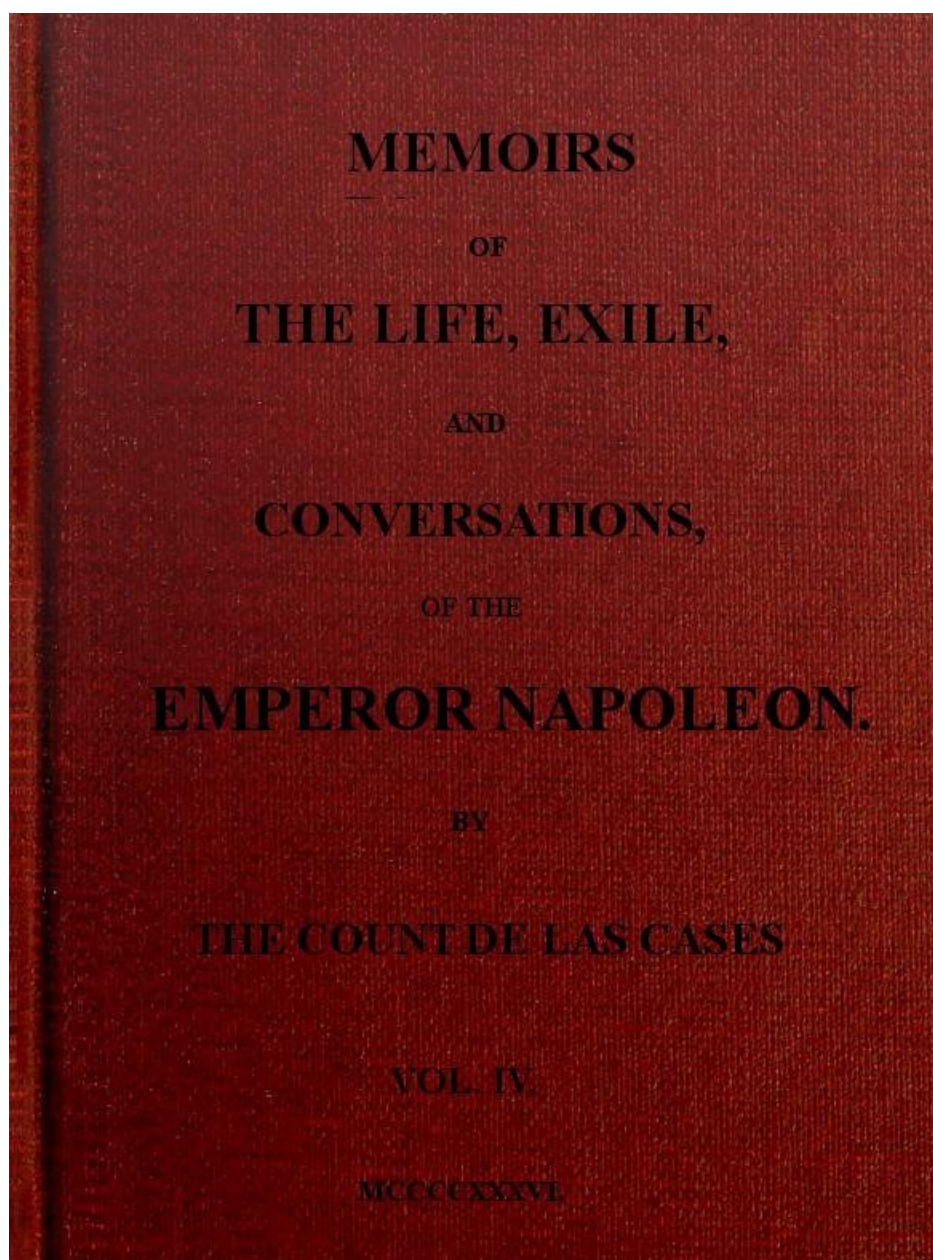


Воспоминания о жизни, ссылке и беседах императора Наполеона. (Том IV)

Граф де Эммануэль-Огюст-Дьедонне Лас Касес



Электронная книга проекта "Гутенберг", содержащая Воспоминания о жизни, ссылке и беседах императора Наполеона. (Том IV)

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Воспоминания о жизни, ссылке и беседах императора Наполеона. (Том IV)

Автор: граф де Эммануэль-Огюст-Дьедонне Лас Касес

Дата выхода: 16 января 2017 г. [Электронная книга № 53970]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: производится КД недели, Хосеп седла каналов и онлайн распределенных вычитка команда <http://www.pgdp.net> (этот файл был создан из изображения любезно предоставлены интернет-архив/американских библиотек.)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ, ССЫЛКЕ И БЕСЕДАХ ИМПЕРАТОРА НАПОЛЕОНА". (ТОМ. IV) ***

Примечание переписчика:

Сноски собраны в конце каждой главы и связаны для удобства использования.

Незначительные ошибки, связанные с принтером, были исправлены. Пожалуйста, ознакомьтесь [с примечанием](#) переписчика в конце этого текста для получения подробной информации об устранении любых текстовых проблем, возникших при его подготовке.

Это четвертый из четырех томов, с которыми можно ознакомиться в Project Gutenberg здесь:

Том I <https://www.gutenberg.org/ebooks/53967>

Том II <https://www.gutenberg.org/ebooks/53968>

Том III <https://www.gutenberg.org/ebooks/53969>

Том IV <https://www.gutenberg.org/ebooks/53970>

Изображение на обложке создано на основе информации с титульного листа и добавлено в общественное достояние.

Исправления, внесенные в текст, будут отображаться как [исправления](#), которые служат ссылками на соответствующую запись в заключительных примечаниях. Исходный текст можно просмотреть, наведя курсор на исправление.

Исправления, внесенные в текст, будут отображаться как исправления, которые служат ссылками на соответствующую запись в заключительных примечаниях.



Ограбить^м. Купер Скалл^м.

Подсчитайте количество случаев.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ, ССЫЛКЕ И БЕСЕДАХ ИМПЕРАТОРА НАПОЛЕОНА.

ПО ДЕЛАМ ГРАФА ДЕ ЛАС.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ.

С ПОРТРЕТАМИ

И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ УКРАШЕНИЙ.

ТОМ IV.

ЛОНДОН:

ОПУБЛИКОВАНО ДЛЯ ГЕНРИ КОЛБЕРНА,

РИЧАРД БЕНТЛИ; БЕЛЛ И БРЭДФУТ, ЭДИНБУРГ; Дж. КАММИНГ, ДУБЛИН: И ВСЕ
КНИГОТОРГОВЦЫ.

MDCCCXXXVI.

АНДОВЕР: ПО СТЕРЕОТИПУ И НАПЕЧАТАНО Б. БЕНСЛИ.



ГУМАННОСТЬ НАПОЛЕОНА.

Лондон: Опубликовано для Генри Колберна, декабрь 1835г.

МЕМУАРЫ ИМПЕРАТОРА НАПОЛЕОНА

**УДАЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК ИЗ НАШЕГО ЗАВЕДЕНИЯ. -ВОСПОМИНАНИЯ
О РАННЕЙ ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРА.**

18 октября 1816 г. Я не видел императора до пяти часов, когда он послал за мной, чтобы я присутствовал при нем в гостиной. Ему по-прежнему нездоровилось, но все утро он был занят тем, что диктовал великому маршалу. Он поочередно вызвал всех лиц из своей свиты. Он был

подавленным и грузным; но в то же время в нем чувствовалось определенное беспокойство. Он пытался развлечь себя различными способами. Сначала он попробовал шахматы, затем домино, а затем снова шахматы; но в конце концов он был вынужден вернуться в свою комнату, обнаружив, что не может сесть. Состояние погоды в сочетании с неприятностями, которым мы подвергаемся, приводит к почти невыносимым мучениям. Погода действует на нервы, а преследования, которые обрушиваются на нас, переносить еще тяжелее. Каждое слово, произнесенное губернатором, увеличивает наши страдания. Сегодня он объявил о своем намерении выселить четверых из нашего заведения, что стало причиной общего плача среди домочадцев: люди, отобранные для выселения, сожалеют о разлуке со своими товарищами; в то время как те, кому суждено остаться, терзаются страхом скорого разделения той же участи. Мы сравнили сэра Хадсона Лоу со Сциллой, пожирающей четырех спутников Улисса.

Губернатор сообщил мне, что он также намерен уволить моего слугу, который является жителем острова и которым я очень доволен. Он, несомненно, боится, что этот человек слишком сильно привяжется ко мне. Он предлагает прислать мне слугу по его собственному выбору, за что я ему очень благодарен, хотя и не намерен прибегать к этому любезному предложению.

За обедом император ел очень мало. Однако за десертом его настроение немного улучшилось, и мы начали беседовать о событиях его юности. Это тема, на которой он с удовольствием останавливается и которая всегда представляет для него источник нового и живого интереса. Он повторил многие подробности, которые я уже рассказывал в разное время. Он сказал, что ему нравится возвращаться в тот счастливый возраст, когда все было наполнено весельем и наслаждением; — в тот счастливый период надежд и растущего честолюбия, когда мир впервые открывается перед нами, а разум нежно лелеет каждую романтическую мечту. Он рассказал о своем полку и удовольствиях, которые он испытал, когда впервые появился в обществе. Упомянув о различных балах и праздниках, которые он посещал в дни своей юности, он описал один из них как особенно великолепный. “Но, - сказал он, - в то время мои представления о великолепии сильно отличались от нынешних”.

Ссылаясь на дату некоторых обстоятельств, он заметил, что ему было бы трудно делить свою жизнь год за годом. Мы заметили, что если бы он датировал события только четырьмя или пятью годами, мы могли бы легко взять все остальное на себя. Он вернулся к своему военному *дебюту* в Тулоне, к обстоятельствам, которые впервые привлекли к нему внимание, к внезапному возвышению, которое он приобрел благодаря своим первым успехам, и к честолюбию, которое они ему внушили: “И все же, “ сказал он, - я был далек от высокого мнения о себе. Только после битвы при Лоди у меня возникли те возвышенные представления о честолюбии, которые утвердились в Египте после победы над Пирамидами и овладения Каиром. Тогда, - сказал он, - я охотно подчинился каждой блестящей мечте”.

Император стал очень веселым и разговорчивым и лег спать только в полночь. Мы рассматривали это как своего рода реанимацию.

РОМАНЫ МАДАМ ДЕ ЖАНЛИС.

19—е. Наши четыре проскриптора, а именно Поул, Сантини, Аршамбо и Руссо, покинули нас примерно в середине дня. Через час они плыли к мысу при резком ветре.

Около трех часов император послал за мной. Он был в гостиной и просил принести ему романы мадам де Жанлис. Он прочел вслух несколько страниц, но вскоре отложил книги, заметив, что они ему ни о чем не говорят. Со мной было иначе: те несколько страниц, которые я только что прослушал, затронули многие нежные струны. Они давали представление об элегантном обществе Парижа, подробно описывали названия улиц и памятников, описывали знакомые разговоры, воспроизводили хорошо знакомые портреты: все это произвело на меня сильное впечатление. Реальность существует, я сам существую, и все же мы разделены расстоянием, временем и, несомненно, вечностью! В этот момент я мог равнодушно смотреть на удовольствия и веселье, но воспоминание о людях и местах, которые были таким образом возрождены, наполнило меня чувствами глубокой меланхолии и сожаления.

В это время прибыл великий маршал, и император диктовал ему что-то до обеда.

Вечером император попросил "Тысячи и одной ночи", но читать не умел и вскоре отложил книгу в сторону.

ОЦЕНКА ПРИСЛАННЫХ НАМ КНИГ.—ВЕЛИКИЙ МАРШАЛ ПЕРЕЕЗЖАЕТ ЖИТЬ ПОБЛИЖЕ К НАМ.

20—е число. - Я провел день, оценивая стоимость книг, присланных нам из Лондона и за которые император требует огромную сумму. Наша оценка не составила и половины этой суммы.

Император появился в гостиной только за минуту до обеда; по его словам, он никого не видел за весь день; он искал развлечения, и нашел его в постоянном применении. После ужина он снова взялся за "Тысячу и одну ночь".

В этот день великий маршал и его семья покинули Хат-Гейт, свою первую резиденцию, которая находилась примерно в одной лиге от Лонгвуда. Наконец-то они вступили во владение своим новым домом, и теперь мы живем почти под одной крышей. Это было настоящим событием и для них, и для нас.

ЭКСПЕДИЦИЯ Св. ЛЮДОВИК В ЕГИПТЕ.—НАШИ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ.—МАДАМ ДЕ СТАЛЬ.—ПИСАТЕЛИ, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫЕ К НАПОЛЕОНУ, БУДУТ БИТЬСЯ О ГРАНИТ.

21—го. - После завтрака я пошел повидаться с мадам Бертран. Она была так заперта у Ворот Хижины, что у нее не будет причин сожалеть о том, что ее заперли в нашем загоне, и мы от этого очень сильно выиграем. Со своей стороны, мне казалось, что я нашел часть своей семьи.

Наши границы с каждым днем становятся все более ограниченными. Увеличивается число часовых, все постоянно напоминает нам о нашей ужасной тюрьме.

Одеваясь, император сказал мне, "что он полон решимости снова регулярно заниматься своими делами, которые были прерваны недавним жестоким обращением со стороны нашего ужасного губернатора". Я изо всех сил убеждал его сделать это как ради него самого, так и ради нас, ради Франции и истории.

Погода была слишком плохой, чтобы позволить императору выйти на воздух. Он зашел в свою библиотеку и просмотрел "Историю крестовых походов" Мишо и "Мемуары Жуанвиля". Затем он перешел в гостиную и еще некоторое время беседовал, особенно рассуждая о служанке, которую они хотят у меня забрать, о той, которую они намерены мне дать, и т.д.

Губернатор заплатит за императорское блюдо сумму, более чем в пять раз меньшую, чем оно оценивается в Париже, и все же он не допустит никакой конкуренции ни за его продажу на Острове, ни за доставку в Лондон!..

Несчастливых людей, которых отправили на Мыс, будут кормить, как простых моряков. Я слышал по этому поводу, что то же самое произошло на борту "Нортумберленда" и что слуги императора пользовались не большей снисходительностью, чем простые матросы, разве что платили за это.

После обеда император прочитал в Жуанвиле отчет об экспедиции Людовика Святого в Египет. Он проанализировал его, указав на его недостатки и сравнив передвижения и план этой экспедиции с планом, принятым им самим; придя к выводу, что "если бы он действовал так же, как Сент-Луис, его, несомненно, постигла бы та же участь".

Император рано удалился и послал за мной. Разговор снова зашел о его поездках в Египет и Сирию. Случайно упомянутый роман мадам Коттен "Матильда", действие которого происходит в этих странах, побудил императора сделать отзыв о наших женщинах-писательницах. Он говорил о мадам Ролан и ее мемуарах, о мадам де Жанлис, о мадам Коттен, чью "Клер д'Альбе" он только что читал, и о мадам де Сталь. Он подробно рассказал о последнем и частично повторил то, что уже было сказано. Говоря о ее изгнании, он сказал: "Ее дом стал настоящим арсеналом против меня; люди приходили туда, чтобы их окрестили рыцарями. Она пыталась настроить против меня врагов и сама сражалась со мной. Она была одновременно Армидой и Клориндой." Затем, по своему обыкновению резюмируя свои доводы, он сказал: "В конце концов, нельзя отрицать, что мадам де Сталь - очень выдающаяся женщина, наделенная большими талантами и обладающая значительной долей остроумия. Она перейдет к потомкам. Мне не раз намекали, чтобы расположить меня в ее пользу, что она - противник, которого следует опасаться, и может стать полезным союзником; и, конечно, если бы вместо того, чтобы поносить меня, как она это делала, она высказалась бы в мою пользу, это, без сомнения, оказалось бы мне на руку; ибо ее положение и способности давали ей абсолютную власть над салонами, а их влияние в Париже хорошо известно". Затем он добавил: "Несмотря на все, что она сказала против меня, и на все, что она еще скажет, я, конечно, далек от мысли или утверждения, что у нее дурное сердце: факт в том, что мы с ней вели небольшую войну друг против друга, и это все". Затем, обращаясь к многочисленным писателям, выступавшим против него, он сказал: "Мне суждено стать их пищей, но я не боюсь стать их жертвой; они будут грызть гранит; моя история состоит из фактов, и одними словами их не уничтожить. Чтобы успешно бороться со мной, кто-то должен появиться в списках, вооруженный весом и авторитетом фактов на своей стороне. Если бы такой человек, как великий Фредерик, или любой другой человек его круга, взялся писать против меня, это было бы совсем другое дело; тогда, возможно, мне пришлось бы время начать волноваться; но что касается всех других писателей, каким бы ни был их талант, их усилия будут напрасны. Моя слава сохранится, и когда они захотят, чтобы ими восхищались, они вознесут мне хвалу".

УХОД ЗА РАНЕНЫМИ В АРМИИ.—БАРОН ЛАРРЕЙ.—ХАРАКТЕРНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО.

22-23 числа. Погода была очень плохой. Император, сильно страдающий от зубной боли и с распухшей щекой, последние два дня не мог выходить на улицу. Большую часть из них я провел с ним, в его квартире или в гостиной, которую он превратил в прогулочный блок, открыв двери для общения одного с другим.

Среди различных тем нашего разговора он однажды рассказал мне кое-что, что он слышал и чему я очень обрадовался. Ничто не может служить более ярким доказательством ужасов нашего положения, чем то значение, которое я придавал им. Но все пропорционально ситуации, в которой мы оказались.

В другой раз император выразил сожаление по поводу своей лени в отношении английского языка. Я сказал ему, что теперь он знает из него столько, сколько хочет. Он мог читать все книги; теперь оставалось только свести все к регулярной системе — но подходили ли ему правило и компас?

Перебрав несколько тем для разговора, император заговорил о бароне Ларрее, которому он воздал высочайшие почести, сказав, что Ларрей произвел на него впечатление истинно честного человека; что с наукой он в высшей степени сочетал добродетель активной филантропии: он смотрел на всех раненых как на членов своей семьи; все соображения отступали перед заботой, которую он оказывал госпиталям. “Во время наших первых кампаний при Республике, на которые было так много клеветы, ” сказал император, - в хирургическом отделении произошла самая удачная революция, которая с тех пор распространилась на все армии Европы; и человечество в значительной степени обязано Ларрею за это. Хирург теперь разделяет опасности, подстерегающие солдата: именно в эпицентре пожара он уделяет ему все свое внимание. Ларри пользуется всем моим уважением и благодарностью” и т.д.

Это благоприятное впечатление, по-видимому, явно занимало ум Наполеона в последние минуты его жизни, поскольку он оставил Ларрею на память о себе почетное свидетельство: *“Самый добродетельный человек, которого я знал”*. Прочитав эти слова, я пришел к выводу, что какое-то особое обстоятельство, должно быть, вызвало это самое великолепное выражение уважения, и следующее является результатом моих расспросов.

После сражений при Лютцене, Вюрцене и Бауцене победоносный Наполеон послал за хирургом (Ларреем), чтобы выяснить, как обычно, количество раненых и в каком они состоянии. В этот раз их оказалось значительно больше, чем в другое время и на других мероприятиях. Император был удивлен этим обстоятельством и попытался объяснить его причину. Г-н Ларрей подумал, что, независимо от местных причин, это может быть связано с большим количеством солдат, которые сражались в тот день впервые и которые по этой причине были более неуклюжи в своих движениях и менее искусны в избегании опасности. Император, чьи мысли были чрезвычайно заняты этим делом, не удовлетворился таким объяснением и навел справки в другом месте. Поскольку в тот момент было несколько человек, которые искренне устали от войны; которые пожелали бы мира на любых условиях; и которые не были бы огорчены, увидев, что император вынужден пойти на это, будь то из расчета или убеждения; императору в ответ на его вопросы сказали, что огромное количество раненых не должно вызывать удивления; что большая часть из них была ранена в руку, и они нанесли рану себе сами, чтобы стать инвалидами в бою.

Император был поражен этим известием; он повторил свои расспросы и обнаружил, что они привели к тому же результату; он был в состоянии отчаяния. “Если это так, - воскликнул он, - то, несмотря на наш успех, наше положение безнадежно: Франция будет беззащитной перед варварами”. Барвары. И, перебирая в уме, какими средствами ему следует положить конец этой заразе, он приказал уложить всех раненых определенного вида на одну сторону; и назначил комиссию, состоящую из хирургов во главе с Ларреем, для осмотра их ран, решив самым суровым образом наказать тех, кто окажется настолько трусливым, что изувечит себя. Господин Ларре, все еще не желая верить в это добровольное членовредительство, которое, по его мнению, было пятном на чести армии и нации, предстал перед императором, чтобы еще раз высказать свое мнение другим. он. Но Наполеон, разгневанный его упрямством, которое некоторые люди позаботились возвеличить в его глазах, сурово сказал ему: “Сударь, вы изложите мне свои замечания официально; идите и выполняйте свой долг”.

Барон Ларрей немедленно приступил к делу, но в торжественной манере; он следил за самыми незначительными деталями и поэтому продвигался медленно, в то время как различные мотивы заставляли многих людей с нетерпением ждать исхода; и было известно, что сам император был не менее нетерпелив. Некоторые люди не преминули указать месье Ларрею на щекотливое положение, в которое он попал, но он оставался глух ко всем замечаниям и оставался невозмутимым. Наконец, через несколько дней, он отправился к императору, настаивая на том, чтобы ему разрешили самому выступить с докладом. “Хорошо, сэр”, - сказал император, “а вы все упорствуете в своем мнении?”—“Более того, Сир, я пришел, чтобы доказать Вашему Величеству, что я был прав; эти храбрые молодые люди были подло оговорены: я провел много времени в строжайшем расследовании, и у меня не нашли ни одного мужчину виновным; есть показания в письменном виде о личном деле каждого из тех раненых: тюки из них-следуйте за мной, Ваше Величество может приказать им пройти обследование.” Император посмотрел на него с мрачным выражением лица и, приняв его доклад с некоторым волнением, сказал: “Очень хорошо, сэр, я займусь этим”; и он зашагал по комнате быстрыми шагами, с видом взволнованного и нерешительного человека; наконец, подойдя к Ларрею с открытым лицом, он сердечно пожал ему руку и с чувством сказал: “Прощайте, господин Ларре, государю поистине повезло иметь дело с такими людьми, как вы; вы получите мои приказы”. В тот же вечер господин Ларре получил от Ларрея письмо от короля. Наполеон получил свой портрет, украшенный бриллиантами, 6000 франков золотом и государственную пенсию в 3000 франков, независимую, как было сказано, от любой другой награды, на которую он мог иметь право в соответствии с его рангом, выслугой лет и его будущими заслугами. Такие черты бесценны для истории, поскольку они демонстрируют, с одной стороны, честного человека, который без колебаний защищает истину перед разгневанным сувереном; и потому что они демонстрируют, с другой стороны, благородный ум суверена, выражающийся в счастье и благодарности, которые он выразил, когда его не ввели в заблуждение.

**ИМПЕРАТОР ПРИНИМАЕТ МОИ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЛУИДОРОВ.—ТРАГЕДИЯ
ЕВРИПИДА В ЕЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВИДЕ ЗАКАЗАНА ДЛЯ ТЕАТРА В СЕН-КЛУ.—
МАРШАЛ ЖУРДЕН.**

24—го.-Император никуда не выходил, он не посылал ни за кем из нас и не появился на обеде. Это заставило нас опасаться, что он болен. После десяти часов он послал за мной, так как я еще не ложился в постель. Он сказал мне, что весь день не вставал с дивана; он читал почти

восемнадцать часов. Он съел совсем немного супа. У него разболелись зубы. Я сказал ему, что мы опасались, что это что-то более серьезное, потому что наше горе от того, что мы не увидели его, всегда усиливалось дурными предчувствиями.

Вскоре он начал касаться наших финансовых ресурсов. Утром он, как он с юмором выразился, держал свой Совет; блюдо было взвешено, и подсчитано количество, которое должно было быть продано; результат, добавил он, позволит нам продержаться еще некоторое время. Я снова повторил предложение о четырех тысячах луидоров, которые были у меня в английских фондах, и он соизволил их принять. “У меня необычное положение, - сказал он. - Я не сомневаюсь, что, если бы мне разрешили общаться, и мои родственники или даже многие незнакомые люди могли бы заподозрить, что я нуждаюсь, я вскоре был бы в изобилии обеспечен всем, что мне требуется; но должен ли я быть обузой для моих друзей и подвергать их неоправданному преимуществу, которое английские министры могли бы извлечь из своей доброй воли? Я обратился к этим служителям за несколькими книгами, и они прислали их мне со всей невнимательностью нерадивого агента. Они требуют с меня полторы или две тысячи фунтов стерлингов, то есть около 50 000 франков, за то, что я, несомненно, мог бы приобрести менее чем за 12 000. Разве не то же самое было бы со всеми остальными вещами? Если я приму то, что вы предлагаете, это должно быть строго применено к нашим сиюминутным потребностям; потому что, в конце концов, мы должны жить, а мы действительно не можем жить на то, что они нам дают. Небольшой прибавки в размере ста луидоров в месяц было бы вполне достаточно, и это та сумма, которую вы должны запросить, и распределять ее как можно тщательнее.

Затем к нам подъехала коляска; Арчамбо вел ее вчетвером. Иначе и быть не могло после отъезда брата Арчамбо. Император сначала отказался садиться в карету; он счел это неблагоприятным среди окружавших нас пней; он вспомнил свое знаменитое падение при Сен-Клу и пожелал, чтобы один из английских слуг поехал в качестве фореитора, но Аршамбо возразил, что так он будет чувствовать себя в меньшей безопасности, чем если поедет один. По его словам, после отъезда своего брата он постоянно упражнялся среди деревьев, чтобы быть уверенным, что сможет отвечать за себя. Затем император сел в коляску, и мы сделали два поворота. По нашем возвращении он отправился посмотреть резиденцию великого маршала, с которой еще не был знаком.

Вечер закончился чтением нескольких отрывков из трагедии Лонжепьера "Медея", которое император прервал, чтобы сравнить с произведением Еврипида на ту же тему, которое он приказал принести ему. По этому поводу он упомянул, что ранее заказал представление одной из греческих трагедий в своем театре во дворце во всей ее целостности, выбрав наилучший из возможных переводов и максимально точно имитируя манеры, наряды, формы и декорации оригинала. Он не мог вспомнить, какое обстоятельство или какое препятствие помешало осуществлению этого плана.

Вернувшись к себе и не обнаружив, что ему хочется спать, он прошелся по своей комнате и бросился на диван. Он открыл что-то вроде политического альманаха, который случайно оказался под рукой, и наткнулся на список наших маршалов, который он просмотрел, добавив, в то же время, цитаты и анекдоты, уже известные или связанные с ними. Когда он пришел к маршалу Журдану, он некоторое время размышлял на эту тему и в заключение сказал: “Это человек, с которым я, несомненно, очень плохо обращался; поэтому естественно было

заклучить, что он будет сильно разгневан на меня; но я с удовольствием слышал, что после моего падения он вел себя очень сдержанно. Он подал пример той возвышенности ума, которая отличает людей и делает честь их характеру. Однако он был настоящим патриотом, и это многое объясняет”.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ За ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ И ОКТЯБРЬ.—О РАБОТЕ МИСТЕРА О'МИРА.—ИСК, ПОДАННЫЙ Против НЕГО СЭРОМ ХАДСОНОМ ЛОУ.—НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАЩИТУ ЭТОЙ РАБОТЫ.

Отныне обычное резюме не может быть длинным; строго говоря, чтобы проследить его, было бы достаточно трех предложений:

Непрекращающееся раздражение.

Абсолютное уединение.

Непогрешимое разрушение.

Остаток существования Наполеона будет лишь жестокой и продолжительной агонией.

Уже было видно, что приход нового губернатора стал для нас сигналом к началу жизни, полной страданий. Несколько дней было достаточно, чтобы его характер раскрылся; и вскоре после этого раздражения и оскорбления, инструментом которых он сам себя сделал или которые сам же и создал, достигли наивысшей степени. Он сделал нас объектом ужаса для жителей — он подверг нас самым жестоким притеснениям — он запретил нам писать без предварительной связи с ним даже тем лицам, с которыми он не препятствовал нам вести непринужденную беседу — он пригласил *генерала Бонапарта* отобедать за его столом, чтобы показать его высокопоставленной даме, которая ненадолго оказалась на острове — он арестовал одного из наших слуг.

Теперь он предъявляет депешу, в соответствии с которой пытается обязать императора вникнуть в “мельчайшие подробности его потребностей”, как выразился Наполеон, и обсудить их с ним; он умоляет императора дать денег, которых у него нет; и, сокращая предметы первой необходимости, обязывает его разобрать и продать свою посуду, определяя в то же время своей властью губернатора цену, по которой она должна быть продана, и человека, который должен ее приобрести. Он смехотворно ограничивает нас одной бутылкой вина на душу населения, включая императора. “Он удешевляет наше существование, - сказал император. - Он не жалеет для меня воздуха, которым я дышу, и то, что он посылает нам на пропитание, иногда, нет, часто, настолько плохо, что мы вынуждены обращаться за провизией в соседний лагерь!!”

Он расставляет Наполеону ловушку и ликовует в надежде, что сможет лично и помпезно передать ему сообщение, которое он называет министерским приказом, но которое настолько возмутительно, что он отказывается оставить его копию; он предписывает императору самые абсурдные правила; он капризно и с горькой иронией сужает пространство своих обычных границ; он отмечает мелом следы своих шагов; и даже заходит так далеко, что пытается регулировать характер своих бесед и тон своих выражений; он окружает нас траншеями, частоколы и редуты; он обязывает каждого из нас в отдельности, чтобы получить разрешение остаться с императором, подписать декларацию о том, что мы подчиняемся всем этим ограничениям; он использует нас как орудие для того, чтобы унижить императора, обязывая нас

называть его *Бонапартом* под страхом немедленного отстранения от его персоны и немедленной высылки с острова и т.д.

Император, раздраженный таким позорным обращением и такими беспричинными оскорблениями, без утайки открывает сэру Хадсону Лоу свои мысли; его слова не знают сдержанности; он навсегда избавляется от его отвратительного присутствия и заявляет, что никогда больше его не увидит. “Самый недостойный поступок английских министров, - сказал ему император, - заключается не в том, что они послали меня сюда, а в том, что они отдали меня в ваши руки. Я жаловался на адмирала, вашего предшественника; но у него, по крайней мере, было сердце!... Вы позорите свою нацию, и ваше имя навсегда останется пятном на ее репутации!... ”В этом губернаторе, - часто говорил нам император, - нет ничего от англичанина по складу характера; он всего лишь никчемный *сицилийский* слуга. Сначала я жаловался, что ко мне прислали тюремщика, но теперь я утверждаю, что они прислали ко мне палача” и т. Д.

Я записал эти выражения и мог бы упомянуть многие другие, какими бы резкими они ни были. Во-первых, потому, что я слышал, как они были произнесены. 2. Возможно, потому, что Наполеон использовал их в личной беседе с сэром Хадсоном Лоу или заставил повторить их ему. 3. и, наконец, потому, что они были заслужены из-за произвола, деспотизма и жестокости, с которыми губернатор, к великому возмущению самих англичан, которые были на месте и которые затем выразили свое отвращение к его поведению, злоупотребил властью, которой он был облечен во имя Нации, столь выдающейся во всем мире, принца, столь повсеместно уважаемого в Европе, и Кабинета министров, в котором все еще было несколько достойных личностей, людей, лично известных своей умеренностью и элегантными манерами.

Неприятности, которым подвергался Наполеон, были непрекращающимися; они преследовали его в каждый момент его существования. Не проходило и дня, чтобы не была нанесена свежая рана; и можно сказать, что таким образом была осуществлена одна из мук, описанных в сказочной истории.

Ах! если в этот период скорби для стольких великодушных сердец Гений Европы, Гений Истины и Гений истории когда-либо невольно обращались к Святой Елене и великому Наполеону; если они искали его на этом острове, который, по их мнению, было бы правильным попытаться, по крайней мере, превратить в своего рода Элизиум для него; каково же должно было быть их возмущение, когда они увидели его в яркой славе стольких бессмертных деяний, прикованным, подобно Прометею, к скале и, подобно ему, в когтях стервятника? , которому доставляет удовольствие разрывать его на куски!!! О позор! О вечный позор!...

В течение этого периода здоровье императора постоянно и значительно ухудшалось; его тело, которое считалось таким крепким, выдержавшее столько трудов и переутомление, подкрепленное победой и славой, теперь сгибалось под тяжестью недугов, преждевременно навлеченных несправедливостью людей. Почти каждый день на него нападает какое-нибудь новое недомогание: лихорадка, опухшее лицо, симптомы цинги, постоянные простуды; черты его лица изменяются, походка становится тяжелой, ноги отекают и т. Д.... Наши сердца разрывались, когда мы видели, как он таким образом спешит к неминуемой гибели; все наши заботы напрасны.

Он уже давно отказался от верховой езды и постепенно почти полностью отказался от поездок в коляске. Даже прогулки стали редкостью, и таким образом он был практически вынужден жить в

строгом уединении в своих апартаментах. Он больше не стремился к какому-либо постоянному занятию; он редко диктовал нам, и только по темам, которые были просто прихотью момента. Большую часть дня он провел один в своей комнате, занятый перелистыванием нескольких книг, или, скорее, ничегонеделанием. Пусть те, кто должным образом оценил силу его способностей, оценят силу духа, необходимую для того, чтобы позволить ему сневозмутимостью переносить невыносимое бремя столь утомительной и монотонной жизни; ибо в нашем присутствии он всегда демонстрировал ту же безмятежность лица и уравновешенность характера. Его ум казался столь же невозмутимым; в его разговоре были те же живые обороты выражения, и он иногда даже был склонен к веселью и юмористике; но в уединении интимного общения было легко заметить, что он больше не думал о будущем, не размышлял о прошлом и не заботился о настоящем. Он просто пассивно подчинился физическим законам природы и, испытывая глубокое отвращение к жизни, возможно, втайне вздыхал о том моменте, который должен был положить ей конец.

Таково было положение дел, когда меня насильно увезли из Лонгвуда; ибо этот период приближается — он недалек.

Я не заносил в свой Дневник все мельчайшие обстоятельства наших ссор с губернатором или многочисленные официальные сообщения, которыми мы обменивались. Я также не стал упоминать обо всех позорных лишениях, которым мы подвергались в том, что касается предметов первой необходимости и удобств жизни. Моей целью было показать характер Наполеона в его истинном свете, а не писать историю Лонгвуда и перечень его невзгод. Те, кто проявляет хоть малейшее любопытство на этот счет, могут ознакомиться с подробностями в работе мистера О'Мира. Если бы я остановился на них, то со стороны меня, одной из жертв, это вызвало бы подозрения в подлости; но что касается Доктора, который был всего лишь свидетелем, который был нам незнаком и в какой-то степени одним из противников, то он, в его нынешнем положении, мог поступить так только под влиянием сильного чувства и великодушного негодования, которые делают честь его сердцу.

Я только что услышал (1824 г.), что покойный губернатор острова Святой Елены подал иск против мистера О'Мира за диффамацию и клевету. Я испытываю глубочайшее уважение к судьям, председательствующим в главных судах Англии, потому что я знаю, как они устроены; но как можно в наши дни быть уверенным в результате такого действия? В печальном политическом ажиотаже нашего времени истина предстает, так сказать, в двух ипостасях одновременно; истинный свет для каждого человека - это то, что существует в его собственном сердце; ибо, в конце концов, его невозможно навязать самому себе, и это размышление, без сомнения, станет мотивом утешения для мистера О'Мира, каким бы ни был результат. И здесь я должен заявить, что все факты, которые я видел изложенными в работе мистера О'Мира по вышеупомянутым пунктам и которые стали мне известны во время моего пребывания на острове Святой Елены, являются строго правдивыми; и отсюда я, естественно, заключаю по аналогии, что остальное, чего я не видел, также верно. Поэтому я без колебаний заявляю, что считаю это таковым в своем сердце и совести.

Пока я писал это, я получил от сэра Хадсона Лоу несколько выдержек из конфиденциальных писем, которые, как он сообщает мне, он получил в то время от мистера О'Мира, в которых, как он заметил мне, О'Мира отзывался обо мне в очень неподобающей манере и делал ему секретные отчеты обо мне. Какие могли быть намерения у сэра Хадсона Лоу, когда он так

поступил со мной? Учитывая условия, на которых мы находимся вместе, он не мог руководствоваться очень нежным интересом. Хотел ли он доказать мне, что мистер О'Мира шпионил для него за нами? Надеялся ли он настолько настроить меня против себя, чтобы повлиять на характер и силу моих показаний в пользу его противника? И, в конце концов, сохранились ли эти письма в их первоначальном виде? разве они не были изменены по обычаю острова Святой Елены? Но, даже если предположить, что их значение истинно и недвусмысленно, в каком отношении они могут оскорбить меня? Какое право я имел тогда на снисхождение мистера О'Мира? какое право я имел ожидать этого? Это правда, что позже, после его возвращения в Европу, видя, что его преследуют и наказывают за гуманное поведение по отношению к Наполеону, я написал ему, чтобы выразить свою сердечную благодарность и предложить ему убежище в моей семье, если несправедливость вынудит его покинуть свою страну; я был рад разделить его со мной. Но на острове Святой Елены я едва знал его, и мне не кажется, что за время моего пребывания в Лонгвуде я разговаривал с ним раз десять. Я считал, что он противостоит мне по нации, по взглядам и по интересам: такова была природа моих отношений с мистером О'Мира. Следовательно, он был полностью свободен по отношению ко мне: *тогда* он мог писать все, что считал нужным, и теперь это не может изменить того мнения, которое у меня с тех пор сложилось о нем. Сэр Хадсон Лоу намеревается теперь намекнуть, что мистер О'Мира был двойным и тройным шпионом одновременно, а именно. для правительства, для Наполеона и для него, сэра Хадсона Лоу; но разве это опровергает правду и уничтожает подлинность фактов, упомянутых в его книге? Наоборот. И от какой из трех сторон он мог ожидать вознаграждения за обнародование этих фактов? Наполеона больше нет; он ничего не может от него ожидать; и его публикация сделала двух других его злейшими врагами, которые лишили его положения и угрожают нарушить его покой; ибо его истинное преступление, в их глазах, заключается в горячем рвении, которое он проявил как друг законов и приличий; который, возмущенный низменными и неприличными нападениями, которым подвергся Наполеон, вытаскивает на свет истинных их авторов, чтобы оправдать свою страну. Поэтому я рассматривал это запоздалое сообщение конфиденциальных писем, которые сэр Хадсон Лоу только что передал мне в момент своего иска против О'Мира, как своего рода заинтересованное обвинение, которое каждый будет квалифицировать так, как сочтет нужным. Я никогда даже не подтверждал получение этих писем; и еще меньше мне когда-либо приходило в голову жаловаться на их содержание.

ВЗГЛЯДЫ И НАМЕРЕНИЯ НАПОЛЕОНА ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЙНЫ В РОССИИ.— ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

Пятница, 25 октября.—Я присутствовал при туалете императора. Погода была довольно хорошей, он вышел и дошел пешком до леса. Он был очень слаб, потому что прошло уже десять дней с тех пор, как он выходил из дома. Он почувствовал слабость в коленях и заметил, что скоро ему придется опереться на меня для поддержки.

Переходя к другим темам, он высказал много замечаний о войне в России. Среди прочего он сказал: “Эта война должна была быть самой популярной из всех в наше время. Это была война здравого смысла и истинных интересов; война за покой и безопасность всех; она была чисто мирной и охранительной; полностью европейской и континентальной. Его успех установил бы баланс сил и ввел бы в действие новые комбинации, благодаря которым нынешние опасности сменились бы будущим спокойствием. В данном случае честолюбие не разделялось с моими взглядами. Возвышая Польшу, которая была краеугольным камнем всей арки, я бы позволил

королю Пруссии, эрцгерцогу Австрии или любому другому занять трон. У меня не было желания приобретать что-либо новое; и я приберег для себя только славу творить добро и благословения потомков. И все же это предприятие провалилось и стало причиной моего краха, хотя я никогда не действовал более бескорыстно и никогда не заслуживал большего успеха. Как будто общественное мнение было заражено, в одно мгновение против меня поднялся всеобщий протест, всеобщее настроение. Меня провозгласили разрушителем королей — меня, кто их создал! Меня осудили как ниспровергателя прав наций — меня, который был готов рискнуть всем, чтобы обеспечить их соблюдение! И люди и короли, эти непримиримые враги, объединились и составили заговор против меня! Все деяния моей прошлой жизни были теперь забыты. Я искренне сказал, что народная милость вернется ко мне с победой; но победа ускользнула от меня, и я был разорен. Таково человечество, и такова моя история; но и у народа, и у королей будут причины сожалеть обо мне; и моя память будет достаточно отмщена за несправедливость, совершенную по отношению ко мне: это несомненно”.

Если некоторые отрывки из приведенной выше беседы с Наполеоном потребуют иллюстрации или доказательства, они будут найдены в следующем письме. Этот документ чрезвычайно ценен своей датой и содержанием, поскольку мотивы и взгляды на русскую экспедицию здесь изложены Наполеоном в тот момент, когда он собирался пуститься в это предприятие. Вульгарные люди, конечно, были далеки от понимания или отдачи справедливости его намерениям; я говорю "вульгарные", поскольку просто хочу отметить, что среди государственных деятелей и людей дальновидных и широких взглядов война в России была очень популярна. Они не одобряли момент, в который это было предпринято, но они полностью оценили все грандиозные замыслы императора.

ИНСТРУКЦИИ, ДАННЫЕ М., ЧТОБЫ ОН СЛУЖИЛ ЕМУ ПРОВОДНИКОМ В МИССИИ, КОТОРУЮ ЕМУ ПРЕДСТОИТ ВЫПОЛНИТЬ В ПОЛЬШЕ. (18 апреля 1812 года.)

“Сэр, высокое мнение, которое император питает о вашей верности и таланте, побуждает его так далеко продвинуть вас в своем доверии, что он поручает вам миссию, представляющую величайший политический интерес. Эта миссия потребует *активности, благоразумия и осмотрительности*.

“Вы должны проследовать в Дрезден. Предполагаемой целью вашего путешествия будет вручение королю Саксонии письма, которое император вручит вам завтра после своего отъезда. Его Императорское и королевское Величество уже ознакомил вас со своими намерениями; он передаст вам устно свои последние инструкции относительно предложений, которые вы должны сделать королю Саксонии.

“Намерение императора состоит в том, чтобы к королю Саксонии относились со всем уважением, на которое он имеет право, исходя из особого уважения, которое его Величество питает к нему лично. Вы объяснитесь и с королем, и с его министрами с полной откровенностью; и вы поверите намекам, которые можете получить от графа де Сен-Пилсака.

“Что касается Саксонии, то не будет *никаких жертв без компенсации*.

“Саксония придает весьма мало значения суверенитету герцогства Варшавского в том виде, в каком оно существует сейчас: это ненадежное и хлопотное владение. Суверенитет этого фрагмента Польши ставит Саксонию в ложное положение по отношению к Пруссии, Австрии и

России. Вы будете развивать эти идеи и рассматривать этот вопрос так, как он обсуждался в вашем присутствии, в кабинете его Величества, 17-го числа. Вы обнаружите, что дрезденский кабинет министров не слишком склонен выступать против вас; его дипломатия неоднократно доводила до нас те же наблюдения. Речь идет не о расчленении владений короля Саксонии.

“После короткого пребывания в Дрездене вы объявите о своем отъезде в Варшаву; где будете ожидать новых распоряжений императора.

“Его Императорское Величество просит короля Саксонии аккредитовать вас при своих польских министрах.

“В Варшаве вы согласуете свои действия с принцем, камергером императора, и с генералом, Эти два человека, происходящие из самых знатных польских семей, пообещали использовать влияние, которым они обладают среди своих сограждан, чтобы побудить их приложить все усилия для обеспечения счастья и независимости своей страны. Вы должны сообщить правительству Великого герцогства о стремлении подготовить великие перемены, которые император предлагает осуществить в пользу польской нации.

“Необходимо, чтобы поляки поддержали замыслы императора и сотрудничали в своем собственном возрождении. *Они должны рассматривать Францию только как вспомогательную державу.*

“Император осознает трудности, с которыми ему придется столкнуться в своих попытках добиться восстановления Польши. Эта великая политическая работа пойдет вразрез *сочевидными и непосредственными интересами его союзников.*

“Восстановление Польши оружием Французской империи - рискованное предприятие, в котором Франции придется бороться как со своими друзьями, так и с врагами. Мы остановимся на нескольких деталях по этому вопросу.

“Цель, которую имеет в виду император, - это организация Польши, *со всей или частью ее старой территории*; и он желает, если возможно, достичь этой цели, не вступая в войну. В развитие этого замысла его Величество предоставил очень широкие полномочия своему послу в Санкт-Петербурге: он направил в Вену переговорщика, уполномоченного вести переговоры с главными державами и принести большие территориальные жертвы со стороны Французской империи, *в качестве компенсации за уступки, которые должны быть сделаны для восстановления королевства Польского.*

“Европа состоит из трех больших частей: на западе - Французская империя; в центре - Германские государства; и на востоке - Российская империя. Англия не может иметь большего влияния на континент, чем те Державы, которые сочтут нужным ей позволить.

“Сильная организация центра будет необходима в качестве меры предосторожности, чтобы Россия или Франция однажды, с целью расширения своей власти, не попытались добиться господства в Европе. Французская империя сейчас наслаждается полной энергией своего существования: если она не завершит политическое устройство Европы в этот момент, завтра она может потерять преимущества своего положения и потерпеть неудачу в своих предприятиях.

“Превращение Пруссии в военное государство, правление и завоевания Фридриха Великого, мнения эпохи и французской революции уничтожили Германскую конфедерацию. Рейнская конфедерация является лишь частью временной системы. Князья, которые выиграли, вероятно, пожелали бы укрепления этой системы; но те, кто потерпел поражение, народ, пострадавший от бедствий войны, и государства, которые боятся слишком большого усиления французского могущества, будут использовать любую возможность, чтобы воспротивиться сохранению Рейнской конфедерации. Даже князья, возросшие благодаря новой системе, будут стремиться выйти из нее, как только время утвердит их во владениях, которые они получили. Франция, в конце концов, окажется лишенной протектората, который, безусловно, она приобрела слишком многими жертвами.

“Император придерживается мнения, что, в конечном счете, в период, который не может быть отдаленным, будет уместно восстановить государствам Европы их полную независимость.

“Австрийский дом, владеющий тремя обширными королевствами, должен быть душой этой независимости из-за топографического положения своих государств; но он не должен быть правящей силой. В случае разрыва между двумя империями - Французской и Российской, если бы Конфедерация промежуточных держав была движима одним и тем же импульсом, неизбежно последовал бы крах одной из противоборствующих сторон. Французская империя была бы более подвержена опасности, чем Российская империя.

“Центр Европы должен состоять из государств, неравных по силе, и каждое из них обладает своей собственной особой системой политики. Эти государства, исходя из их положения и политических отношений, будут искать поддержки в защите доминирующих держав; и они будут заинтересованы в поддержании мира, потому что они всегда должны быть жертвами войны. С учетом этих взглядов, после создания новых государств и усиления старых, с целью укрепления нашей системы альянсов на будущее, создание Польши является объектом величайшего интереса императора и всей Европы. Если Королевство Польское не будет восстановлено, Европа останется без границы в этом пункте; и Австрия и Германия окажутся лицом к лицу с самой могущественной империей в мире.

“Император предвидит, что Польша, подобно Пруссии, в конечном счете станет союзницей России; но, если Польша будет обязана своим восстановлением Франции, период объединения вышеупомянутых государств будет достаточно отдаленным, чтобы дать время для укрепления установленного порядка вещей. При такой организации Европы больше не будет причин для соперничества между Францией и Россией: эти две империи будут иметь одинаковые коммерческие интересы и действовать в соответствии с одними и теми же принципами.

“До охлаждения отношений с Пруссией первым намерением императора было заключить прочный союз с королем Пруссии и возложить корону Польши на его голову. Тогда было мало препятствий, которые нужно было преодолеть, поскольку Пруссия уже владела одной третью Польши; России оставалось бы во владении то, на сохранении чего она могла бы настаивать; и Австрии были бы предоставлены контрибуции. Но ход событий заставил императора изменить свои намерения.

“Во время переговоров в Тильзите было признано необходимым создать государства именно в тех странах, которые больше всего боялись могущества Франции. Момент был благоприятным для восстановления Польши, хотя это было бы делом насилия. Война, должно быть, затянулась;

французская армия страдала от холода и нужды, а у России были пешие армии. Император был тронут великодушными чувствами, которые император Александр проявлял по отношению к нему. Он столкнулся с препятствиями со стороны Австрии и допустил, чтобы его политика была сведена на нет желанием подписать мир, который, как он надеялся, стал бы прочным, если бы благодаря влиянию России и Австрии Англию удалось склонить к общему примирению.

“Пруссия после своих неудач проявила такой дух ненависти к Франции, что было сочтено необходимым ослабить ее могущество. С этой целью было создано Великое герцогство Варшавское. Оно было передано под власть короля Саксонии, принца, вся жизнь которого была посвящена счастью его подданных. Были предприняты попытки примирить поляков путем создания учреждений, отвечающих их вкусам и соответствующих их манерам и национальному характеру. Но все было плохо организовано.

“Саксония, отделенная Пруссией от своих новых владений, не могла вместе с Польшей составить достаточно организованное тело, чтобы стать сильной и могущественной. Открытие военной дороги через территорию Пруссии для сообщения между Саксонией и Польшей сильно смирило пруссаков, и поляки жаловались на несбывшиеся надежды.

“Император предусмотрел оккупацию крепостей Пруссии, чтобы обеспечить уверенность в том, что эта держава не попытается вновь разжечь факел войны. Кампания 1809 года доказала благоразумие его политики. Он принял твердое решение неустанно трудиться над завершением создания организационной системы в Европе, которая была рассчитана на то, чтобы положить конец разрушительным войнам.

“Император полагал, что он должен казаться грозным из-за количества войск, которые он двинул к Висле, и из-за занятия крепостей Пруссии; меры, которые были необходимы для обеспечения верности его союзников и получения посредством переговоров того, чего, возможно, он, в конце концов, может добиться только войной.

“Опасности, связанные с нынешними обстоятельствами, огромны. Удаление армий на расстояние пятисот лье от их родной территории не может быть сопряжено с риском; и Польша должна полагаться в такой же степени на свои собственные усилия, как и на поддержку императора. Я еще раз повторяю, что, если начнется война, поляки должны рассматривать Францию только как вспомогательное средство, действующее за счет их собственных ресурсов. Пусть они вспомнят то время, когда благодаря своему патриотизму и мужеству они сопротивлялись многочисленным армиям, посягавшим на их независимость.

“Народ Великого герцогства желает восстановления Польши; именно он должен подготовить средства, с помощью которых узурпированные провинции смогут заявить о своих желаниях. Правительство Великого герцогства должно, как только позволят обстоятельства, объединить под знаменем независимости разрозненные фрагменты своей несчастной страны. Если случится так, что кто-либо из уроженцев Польши, находящейся под властью России или Австрии, откажется возвращаться на родину, не следует предпринимать никаких попыток принудить их к этому. Польша должна черпать свою силу в своем общественном духе и патриотизме, а также в институтах, которые составят новое социальное государство.

“Следовательно, цель вашей миссии - просвещать, поощрять и направлять польских патриотов в их действиях. Вы представите отчет о ваших переговорах министру иностранных дел, который ознакомит императора с вашими успехами; и вы пришлете мне выдержки из ваших отчетов.

“Несчастья и слабость польской республики были вызваны аристократией, которая не знала ни закона, ни ограничений. В тот период, как и в настоящее время, знать была могущественна, граждане угнетены, а огромная масса народа - ничто. Но даже среди этих беспорядков в Польше преобладала любовь к свободе и независимости, которая долгое время поддерживала ее жалкое существование. Должно быть, время и угнетение усилили эти чувства. Патриотизм - естественное для поляков чувство; оно существует даже среди членов великих семей.

Император безоговорочно выполнит обещание, данное им в статье 25 мирного договора от 9 июля 1807 года, управлять Великим герцогством по законам, рассчитанным на обеспечение свободы и привилегий народа и согласующимся со спокойствием соседних государств. Польша будет пользоваться *свободой и независимостью*. Что касается выбора ее государя, этот вопрос будет решен договором, который его Величество подпишет с другими державами. Его Величество не претендует на трон Польши ни для себя, ни для кого-либо из своей семьи. В великом деле восстановления Польши он имеет в виду только счастье поляков и спокойствие Европы. Его Величество уполномочивает вас сделать это заявление; и сделать его официально, когда вы сочтете, что это может быть полезно для интересов Франции и Польши.

“Его Величество приказал мне передать вам эту ноту и эти инструкции, чтобы вы могли обсудить их с министрами иностранных дел, которые могут находиться в Варшаве или Дрездене.

“Император приказал направить ноты военному министру и министру иностранных дел Великого герцогства. Если потребуются денежные ресурсы, его Величество окажет помощь польской казне путем присвоения чрезвычайных владений, которыми он все еще владеет в Польше и Ганновере”.

ИМПЕРАТОРУ НЕЗДОРОВИЛОСЬ.—АНЕКДОТЫ ИЗ ТЮИЛЬРИ.

26-го.—Мне сообщили, что императору очень нездоровится и что он желает, чтобы я посетил его. Я нашел его в его комнате с повязанной вокруг головы носовым платком; он сидел в кресле у большого камина, который он приказал разжечь. “Что такое, - спросил он, - самое тяжелое расстройство, самая острая боль, которым подвержена человеческая природа?” Я ответил: “Что боль в настоящий момент всегда кажется самой сильной”. — “Тогда это зубная боль”, - сказал он. У него сильно выделялась слюна, а его правая щека сильно распухла и воспалилась. Я был один при нем и попеременно согревал фланель и салфетку, которые он постоянно прикладывал к пораженному месту, и он сказал, что почувствовал от этого большое облегчение. Он также страдал от сильного нервного кашля, время от времени зевал и дрожал, что указывало на приближающуюся лихорадку.

“Какое несчастное создание человек! - сказал он. - мельчайшей клеточки в его теле, пораженном болезнью, достаточно, чтобы вывести из строя всю его систему! С другой стороны, несмотря на все болезни, которым он подвержен, иногда бывает необходимо нанять палача, чтобы покончить с ним. Что за любопытная машина эта земная одежда! И, возможно, я буду заключен в нее еще на тридцать лет!”

Он объяснил свою зубную боль поздней поездкой, поскольку пребывание на свежем воздухе произвело на него необычайное впечатление. “Природа всегда лучший советчик, - сказал он. - Я вышел из дому вопреки своему желанию и только повинуюсь голосу разума”.

Прибывший врач обнаружил, что у его пациента появились симптомы лихорадки. Остаток дня император провел в своих покоях, время от времени сильно страдая от зубной боли. Время от времени, когда боль утихала, он ходил взад-вперед между своим креслом и диваном и беседовал на разные темы.

В свое время он намекнул на низкое поведение некоторых людей, которые были рядом с ним во времена его власти. Семья, обосновавшаяся во внутренних помещениях дворца, имевшая множество льгот и, можно добавить, ведшая себя самым позорным образом во время катастрофы, однажды была уличена в том или ином проступке самим императором. Он просто упрекнул их в проступке, вместо того чтобы наказать их за это. “Но каковы были последствия?” - сказал он. “Это только разозлило их, не подав справедливого примера. Когда что-то делается наполовину, это всегда оказывается безрезультатным. Ошибка не должна быть замечена; или, если она замечена, она должна быть наказана” и т.д.

Затем он упомянул женщину, которая вместе со своим мужем занимала очень прибыльное положение и постоянно жаловалась ему на свою бедность. “Она часто писала мне, - сказал император, - прося денег, как будто у нее были на меня права; точно так же могла бы поступить мадам Бертран или любой из вас по возвращении со острова Святой Елены”.

Намекая на человека, который очень плохо обошелся с ним в 1814 году, он сказал: “Вероятно, вы предположите, что он сбежал по моем возвращении? Ничего подобного; напротив, он меня окружал. Он очень хладнокровно признал, что испытывал мимолетную привязанность к бурбонам, за что, однако, заверил меня, был сурово наказан. Но это, по его словам, послужило лишь возрождению естественной привязанности, которую все так справедливо питали ко мне. Я оттолкнула его от себя; и у меня есть веские основания полагать, что сейчас он лежит у ног королевской семьи, рассказывая обо мне всевозможные ужасы. Бедная человеческая натура, всегда и везде одинаковая!”

Наконец, он упомянул о самой гнусной интриге, которую затеяли люди, к которым он был благосклонен. Эти люди пытались убедить императрицу Жозефину подписать самое унижительное письмо под предлогом обеспечения ей спокойного проживания во Франции, но, несомненно, с реальной целью завоевать авторитет в других кругах. Письмо, которое должно было быть адресовано королю, содержало отрицание всего, чем она была раньше, и того, чем она все еще является, вместе с просьбой, чтобы король обеспечивал ее так, как ему заблагорассудится, и т.д. Императрица плакала и сопротивлялась назойливости, просила дать ей время и посоветовалась с императором Александром, который сказал ей, что такое письмо совершенно опозорит ее. Он посоветовал ей избавиться от назойливых интриганов, которыми она была окружена; заверил ее, что у него нет намерения высылать ее из Франции или каким-либо образом нарушать ее покой; и пообещал сам нести за нее ответственность в случае необходимости.

Вечером императору стало лучше, и он с удовольствием немного поспал. На его лице были явные следы перенесенной им сильной боли.

ИМПЕРАТОР ПО—ПРЕЖНЕМУ НЕЗДОРОВ.-БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ - ХУДШИЙ НЕДОСТАТОК ГОСУДАРЯ.

27—го. - Император провел весь день у камина, иногда полулежа на кушетке, а иногда сидя в кресле. Он все еще очень страдал от головной и зубной боли, а выделение слюны не уменьшилось. Он снова прибегнул к теплой фланели и салфеткам, с помощью которых вчера почувствовал некоторое облегчение. Я согрел их и наложил тем же способом, что и раньше. Император, казалось, очень остро реагировал на знаки внимания, которые я ему оказывал, и, несколько раз положив руку мне на плечо, он сказал: “Мой дорогой Лас Касес, вы меня очень выручаете!” Боль утихла, и он ненадолго уснул; затем, подняв глаза, он сказал мне: “Долго ли яспал? Вы не очень сильно устали?” Он называл меня своим *братом госпитальером, рыцарем-госпитальером Святой Елены*. Но вскоре боль вернулась с новой силой, и он послал за доктором, который обнаружил у него лихорадку. Его охватил тот же озноб, который напал на него накануне и который вынуждал его держаться поближе к огню.

Он оставался в том же состоянии весь вечер. Около семи часов он предложил лечь спать. Он ничего не стал есть, но приказал своему камердинеру поджарить немного хлеба, а сам испек маленький тост с водой, в которую положил немного сахара и воды из цветов апельсина.

В ходе вечерней беседы император высказал следующие замечания. “Безнравственность, - сказал он, - без сомнения, худший из всех недостатков Государя, потому что он вводит ее как моду среди своих подданных, которые практикуют ее ради того, чтобы доставить ему удовольствие. Она усиливает всякий порок, уничтожает всякую добродетель и заражает все общество подобно чуме: короче говоря, это бич нации. Общественная мораль, напротив, добавил он, является естественным дополнением законов: это целый кодекс сам по себе”. Он заявил, что Революция, несмотря на все ее ужасы, тем не менее была истинной причиной возрождения нравов во Франции, “подобно тому как самая благородная растительность является порождением самого грязного навоза”. Он без колебаний заявил, что его правительство ознаменует памятную эпоху возвращения к морали. “Мы продвигались на всех парусах, - сказал он, “ но, несомненно, последовавшие катастрофы в значительной степени повернут все вспять, ибо среди стольких превратностей и беспорядков трудно противостоять различным возникающим искушениям, соблазнам интриг и алчности, а также намекам на продажность. Однако нарастающий импульс к совершенствованию может быть затруднен и подавлен, но не уничтожен. Общественная мораль особенно принадлежит господству разума и информации, естественным результатом которого она является; и разум и информация не могут снова вернуться назад. Скандальная распущенность прежних эпох, двойные прелюбодеяния и распутство регентства, и распутство последующего царствования не могут снова возродиться, если только обстоятельства, при которых они существовали, не вернутся снова; а это невозможно. Прежде чем произойдет такая перемена, высшие классы общества должны снова вырождаться в состояние абсолютной праздности, чтобы не иметь другого занятия, кроме распущенности; дух трудолюбия, который сейчас оживляет и возвышает умы людей среднего звена, должен быть уничтожен; и, наконец, низшие классы должны быть снова ввергнуты в то состояние подчинения и деградации, которое когда-то низвело их до уровня простых вьючных животных. Теперь все это отныне невозможно: общественная мораль, следовательно, находится на подъеме; и можно с уверенностью предсказать, что она будет постепенно улучшаться во всем мире”.

Около девяти часов, после того как император лег спать, он пожелал, чтобы вся его свита собралась в его апартаментах. Среди них были великий маршал и его супруга. Император беседовал с нами в течение получаса; занавески вокруг его кровати были задернуты.

ИМПЕРАТОРУ ВСЕ ЕЩЕ НЕЗДОРОВИТСЯ.—НУЖНЫ ЛЕКАРСТВА.—ИТАЛЬЯНСКИЕ СОЛДАТЫ Сервана.—МАДАМ ДЕ МОНТЕССОН.

28—го. - Когда я встал утром, я почувствовал себя плохо и захотел вымыть ноги; но для этой цели нельзя было достать воды. Я упоминаю об этом обстоятельстве, чтобы дать представление, если возможно, о нашем реальном положении в Лонгвуде. Воды здесь всегда было очень мало, но сейчас ее меньше, чем когда-либо, и мы считаем, что нам необыкновенно повезло, когда нам удастся обеспечить ванну для императора. Мы не лучше обеспечены другими вещами, необходимыми для медицинского лечения. Вчера Доктор упоминал в присутствии Императора о лекарствах, инструментах и снарядях различного рода; но, перечисляя каждый предмет, он добавлял: “К сожалению, на Острове ничего нельзя достать”. — “Значит, ” сказал Император, “ когда они посылали нас сюда, они считали само собой разумеющимся, что мы всегда будем здоровы?” Действительно, мы испытываем недостаток в самых незначительных вещах и предметах первой необходимости. Вместо грелки императору пришлось просверлить отверстия в одном из больших серебряных блюд, используемых для поддержания мяса в тепле за столом, которое теперь заполнено углями и используется для согревания его постели.— В течение некоторого времени он очень сильно ощущал нехватку крепкого вина, с помощью которого он мог бы согреть свой напиток.

Императору продолжало нездоровиться весь день: его лицо все еще сильно опухло, но боль несколько утихла. Войдя в его комнату, я застал его сидящим у камина и читающим "Итальянских воинов" Сервана. Эта работа навела его на мысль о некоторых дополнениях к нашим ценным главам об Италии. Он приказал принести ему карту. Я был очень удивлен, обнаружив, что автор, опускаясь до наших дней и повествуя о кампаниях самого императора, был чрезвычайно несовершенен в своих описаниях и, казалось, не был знаком со страной, о которой писал. “Это, ” сказал император, - потому, что он прошел мимо, ничего не заметив; и, возможно, он не был бы способен понять, даже если бы заметил. Но истинный дух великих предприятий и великих результатов заключается в искусстве угадывать, даже не видя”.

Император оказался вынужденным лечь спать так же рано, как и вчера. Ему было зябко, и, казалось, ему грозил новый приступ лихорадки; он также ощущал симптомы судорог. Немного супа было единственным, что он съел со вчерашнего дня. Он жаловался, что его кровать была плохо застелена и что все казалось неправильным; постельное белье было разложено не так, как он хотел, и он приказал расстелить его по-другому. Он заметил, что все, кто его окружал, рассчитывали на то, что он сохранит свое здоровье, и что они, несомненно, были бы очень неопытны и неуклюжи, если бы на него напал серьезный приступ болезни.

Он приказал приготовить чай из листьев апельсинового дерева, которого ему пришлось ждать довольно долго. Во время задержки он проявил такую степень терпения, на которую я, безусловно, был бы неспособен.

Лежа в постели, он вспоминал ранние годы своей жизни, которые провел в Бриенне, у герцога Орлеанского, и мадам де Монтессон, которую, как он помнил, видел. Он рассказал также о семьях Ножан и Бриенн, которые были связаны с обстоятельствами его юности.

“Когда я стал главой правительства,” сказал Наполеон, “ мадам де Монтессон обратилась ко мне за разрешением принять титул герцогини Орлеанской, что показалось мне крайне нелепой просьбой”. Император предполагал, что она была всего лишь любовницей принца; но я заверил его, что она действительно была замужем за герцогом с согласия Людовика XVI и что после смерти мужа она всегда подписывалась как вдовствующая герцогиня Орлеанская. Император сказал, что он не знал об этом обстоятельстве. “Но, в любом случае,” сказал он, - какое отношение к этому делу имел первый консул? Таким всегда был мой ответ лицам, заинтересованным в этом деле, которые, однако, были мной не очень довольны. Но можно ли было ожидать, что я немедленно приму на вооружение все неправильности и абсурдности старой школы?”

ИМПЕРАТОР ВСЕ ЕЩЕ НЕЗДОРОВ. —ХАРАКТЕРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

29—го. -Мой сын был болен, да и я сама чувствовала себя не очень хорошо, меня все еще беспокоило беспокойство по ночам. К нам пришел врач. Он сообщил мне, что императору стало лучше, но что он был неправ, отказываясь принимать лекарства.

Император послал за мной только в пять часов. Он все еще жаловался на сильную головную боль. Его ноги были в воде, и он испытал небольшое облегчение от такого наполовину купания. Он лег на диван и взял "Воспоминания Ноая", из которых зачитал вслух несколько отрывков, касающихся герцога Вандомского, осады Лилля и некоторых других, касающихся герцога Бервикского; все это он сопровождал замечаниями в своем собственном стиле — новизной, оригинальностью и поразительностью. Я очень сожалею, что не могу записать их здесь; но, поскольку я не сделал точной копии этих последних листов моего дневника, когда рукопись была изъята, теперь мне помогают только заметки, часто ссылающиеся на обстоятельства, которые время стерло из моей памяти.

Император, заметив на своих ящиках несколько случайно оставленных там кондитерских изделий или сластей, пожелал, чтобы я принес их ему; и, видя, что я колеблюсь и чувствую себя неловко, не зная, как мне их преподнести, он сказал: “Возьми их в руки; теперь между нами нет необходимости в церемониях или формальностях; отныне мы должны быть товарищами по столовой”. Хотя это незначительное обстоятельство, все же для некоторых оно раскроет более убедительно, чем тома описаний, истинный склад ума, характер и предрасположенность экстраординарной личности, к которой оно относится: ибо люди рассудительные и наблюдательные поймут и сделают выводы, когда у других даже не сложится представления. Это соображение побудило меня включить в эти тома многие вещи, которые я первоначально намеревался отвергнуть из опасения, что они могут быть сочтены незначительными или, во всяком случае, бесполезными.

Я уже упоминал, что в моменты дружеского общения император имел обыкновение приветствовать меня всевозможными титулами, такими как “Доброе утро, *монсеньор*”. Как поживает *ваше превосходительство*? Что говорит *ваша светлость* сегодня?” и проч. Однажды вечером, когда я шел в гостиную, швейцар собирался открыть мне дверь, как в тот же момент отворилась дверь и в покои императора: он тоже направлялся туда. Я отступил в

сторону, чтобы дать ему пройти; и он, без сомнения, в припадке рассеянности, остановил меня и, схватив за ухо, игриво спросил: “Ну, и куда это *ваше величество* направляется?” Но едва эти слова были произнесены, как он немедленно отпустил мое ухо и, приняв серьезное выражение лица, заговорил со мной на какую-то серьезную тему. Я, правда, научился затыкать уши, когда это было необходимо; но император, очевидно, сожалел о том, что позволил выражению “*ваше величество*” вырваться у него. Он, по-видимому, думал, что, хотя другие названия могут быть использованы в шутку, все же случай с тем, который он только что использовал,использовал, сильно отличался как из-за его собственной специфической природы, так и из-за обстоятельств, в которые мы попали. Как бы то ни было, читатель может строить какие угодно догадки; я просто излагаю факт.

После обеда император принял всю свою свиту в своих покоях. Он был в постели и начал говорить о том, как мало он верит в силу медицины. Он заметил, что раньше он подкреплял свое мнение по этому вопросу такими вескими аргументами, что Корвизар и другие знаменитые врачи могли лишь слабо возражать ему, и то только ради поддержания чести своей профессии.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИМПЕРАТОРА.—АНЕКДОТ О НЕОПЛАЧЕННОМ СЧЕТЕ.—О НЕПОПУЛЯРНОСТИ.

30.— Императору сегодня было не лучше, и периодические приступы лихорадки возобновились в обычный час. Его беспокоили прыщи на губах и во рту, а также боль в горле, так что он испытывал боль при разговоре и даже при глотании. Когда вечером пришел Врач, он принес с собой полоскание для горла Императора, но мы с трудом уговорили его воспользоваться им. Здесь нет масла, пригодного для употребления императором, — оно отвратительно; а он очень привередлив.

В ходе сегодняшнего разговора император, упоминая о расточительности и долгах Жозефины, упомянул, что он сам, хотя и самый правильный человек в мире в денежных вопросах, однажды попал в неприятное положение в Сен-Клу. “Я ехал в своей коляске, - сказал он, - вместе с императрицей, когда среди огромной толпы людей ко мне обратился в восточном стиле, как обращаются к султану по дороге в мечеть, один из моих торговцев, который потребовал значительную сумму денег, выплату которой ему долгое время удерживали. Требование этого человека было справедливым, ” заметил Наполеон, “ и все же я не был виноват. Я заплатил деньги в надлежащее время: вина лежала исключительно на посреднике”.

В другой раз, упоминая о непопулярности, объектом которой, по его словам, он был в последнее время, я выразил свое удивление тем, что он не попытался противодействовать клевете, которая была опубликована против него, и вернуть расположение народа. На это он вдохновенно ответил: “Я имел в виду более высокие цели, чем заботиться о том, чтобы льстить и обхаживать низшую толпу; несколько незначительных кружков и сект. Я бы вернулся победителем из Москвы, и тогда не только эти люди, но и вся Франция, и весь мир восхищались бы мной и благословляли. Тогда я мог бы таинственным образом удалиться от мира, и народное легкоеверие возродило бы басню о Ромуле; говорили бы, что я был вознесен на небеса, чтобы занять свое место среди богов ”.

Около семи часов император, почувствовав себя очень слабым, отправился спать. Когда наш обед закончился, он принял нас всех в своей комнате, как и вчера; занавески на его кровати были задернуты. После небольшой бессвязной беседы ему захотелось, чтобы ему почитали

"Робинзона Крузо". Каждый из джентльменов прочел отрывок по очереди, за исключением меня одного из-за моего плохого зрения. Проведя таким образом час или два, император попрощался со всеми нами, за исключением самого молодого из присутствующих (генерала Гурго), которого он задержал, чтобы еще немного почитать и побеседовать с ним.

ИМПЕРАТОР НАРУШАЕТ ПРЕДПИСАНИЯ ВРАЧА. — НАЗВАНИЕ ВЕЛИКОЙ НАЦИИ, ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНЕННОЕ К ФРАНЦИИ НАПОЛЕОНОМ.

31—е число. - Теперь вернулась хорошая погода: день был восхитительный. Император не выходил из своей комнаты в течение шести дней и, устав от однообразия обстановки, решил послушаться приказа Врача. Он вышел; но чувствовал себя настолько слабым, что едва мог ходить. Он заказал коляску, и мы поехали кататься. Он был молчалив и подавлен духом и испытывал сильную боль, особенно из-за высыпаний на губах.

Вскоре после своего возвращения он попросил меня прийти к нему в его комнату. Он чувствовал сильную слабость и сонливость. Я уговорил его немного поесть; и он также выпил бокал вина, которое, по его словам, несколько взбодрило его, и он почувствовал себя лучше. Затем он вступил в разговор.

“Как только я ступил в Италию,” сказал он, “я произвел перемену в манерах, чувствах и языке нашей Революции. Я не стрелял в эмигрантов; я защищал священников и отменил те учреждения и праздники, которые были рассчитаны на то, чтобы опозорить нас. Поступая таким образом, я руководствовался не капризом, а разумом и справедливостью — этими двумя основами высшей политики. Например,” продолжил он, обращаясь к одному из присутствующих, “если бы годовщина смерти короля отмечалась всегда, у вас никогда не было бы возможности сплотиться”.

Император заметил, что он сам был первым, кто применил к Франции название *Великой нации*. “И, конечно,” сказал он, “она оправдывала это отличие в глазах поверженного мира”. Затем, после короткой паузы, он добавил: “И она все же заслужит и сохранит это гордое звание, если ее национальный характер снова поднимется до уровня ее физических преимуществ и моральных ресурсов”.

В другой раз, говоря о человеке, к которому он был очень привязан, он сказал: “Его характер напоминает характер *коровы*: мягкий и безмятежный во всем, за исключением того, что касается его детей. Если кто-нибудь вмешается в их дела, его рога немедленно выставляются вперед, и он может прийти в ярость”.

Говоря о другом человеке, которому перевалило за тридцать и который, по его словам, был слишком молод, он заметил: “И все же в этом возрасте я совершил все свои завоевания и правил миром. Я вызвал революционную бурю, объединил враждебные партии, сплотил нацию, основал правительство и империю; короче говоря, я хотел только титула императора. Я, надо признаться, - добавил он, “был избалованным дитя фортуны. С момента моего первого вступления в жизнь я привык командовать; а обстоятельства и сила моего собственного характера были таковы, что, как только я овладел властью, я не признавал никакого хозяина и не подчинялся никаким законам, кроме тех, которые я сам создал”.

ЗДОРОВЬЕ ИМПЕРАТОРА ЗАМЕТНО УХУДШАЕТСЯ.—ВРАЧ ВЫРАЖАЕТ ТРЕВОГУ.— ФРАНЦУЗСКИЕ ПЛЕННИКИ В АНГЛИИ И С.

Пятница, 1 ноября.—Сегодня была очень хорошая погода, и император вышел около двух часов. Немного погуляв по саду, он почувствовал усталость и зашел к мадам Бертран, чтобы отдохнуть. Он просидел там больше часа в кресле, не говоря ни слова и, по-видимому, сильно страдая от боли и слабости. Затем он вяло вернулся в свою комнату, где бросился на диван и погрузился в дремоту, как и накануне. Я был очень огорчен, наблюдая состояние крайней слабости, до которого он был доведен. Он пытался преодолеть свою сонливость, но не мог ни разговаривать, ни читать. Я удалился, чтобы он мог немного отдохнуть.

Английский фрегат прибыл с Кейптауна по пути в Европу. Это обстоятельство дало нам возможность написать нашим друзьям. Я, однако, лишил себя счастья сделать это, поскольку неоднократные жалобы губернатора вкупе с последствиями, которыми мне угрожали, равносильны абсолютному запрету на всякую переписку с Европой. Возможно, наступит более благоприятный момент. В любом случае, я должен набраться терпения.

Доктор О'Мира позвонил, чтобы навестить моего сына, который по-прежнему находился в очень тяжелом состоянии. Вчера у него снова было кровотечение, и в течение дня он три или четыре раза терял сознание.

Врач воспользовался возможностью поговорить со мной о здоровье императора и заверил меня, что он никоим образом не свободен от тревоги по поводу последствий своего заключения. Он сказал, что постоянно настаивает на необходимости физических упражнений; и он просил, чтобы я постарался убедить императора чаще выходить на улицу. Было очевидно, что в нем произошла тревожная перемена. Врач без колебаний подтвердил, что такое полное заключение после активной жизни повлечет за собой наихудшие последствия, поскольку любое серьезное заболевание, вызванное характером климата, или любой несчастный случай, которому он мог подвергнуться, безошибочно оказались бы для него фатальными. Эти слова и тревожный тон, которым они были произнесены, глубоко тронули меня. С этого момента я заметил искренний интерес, который Доктор испытывал к Наполеону и о котором с тех пор он предоставил так много доказательств.

Император послал за мной около шести часов. Он принимал ванну; и выглядел он хуже, чем когда я видел его в последний раз: это он объяснил вчерашним выходом из дома. Однако ванна принесла ему некоторую пользу, и он взялся за книгу лорда Макартни "Посольство в Китай", которую некоторое время продолжал читать, делая по ходу различные замечания.

Отложив книгу, он начал беседу; и положение французских военнопленных в Англии было одной из тем, которые случайно оказались предметом обсуждения. Здесь я соберу воедино некоторые замечания по этому поводу, высказанные императором в настоящем и других случаях.

Внезапный разрыв Амьенского мирного договора под таким ложным предлогом и при такой недобросовестности со стороны английского министерства сильно разозлил первого консула, который решил, что с ним сыграли шутку. Захват нескольких французских торговых судов еще до объявления войны вызвал его крайнее возмущение. "На мои настойчивые возражения," сказал император, - они хладнокровно ответили, что это была практика, которую они всегда

соблюдали; и здесь они говорили правду. Но прошло то время, когда Франция могла покорно смириться с такой несправедливостью и унижением. Я стал защитником ее прав и славы и был полон решимости дать нашим врагам понять, с кем они имеют дело. К сожалению, из-за взаимного положения двух стран я мог отомстить за один акт насилия только другим, еще более жестоким. Это было болезненно - быть вынужденным карать невинных людей; но у меня не было выбора.

“Прочитав ироничный и наглый ответ, который был дан на мои жалобы, я в ту же ночь издал приказ об аресте во всех частях Франции и на каждой территории, оккупированной французами, всех англичан любого ранга и содержания их в качестве заключенных в качестве возмездия за несправедливый захват наших кораблей. Большинство из этих англичан были людьми знатными и состоятельными, которые путешествовали ради своего удовольствия; но чем экстраординарнее мера, чем больше несправедливость, тем лучше она соответствовала моей цели. Был поднят всеобщий протест. Англичане обратились ко мне; но я направил их к их собственному правительству, только от поведения которого зависела их судьба. Несколько из этих лиц предложили собрать подписку на оплату захваченных судов в надежде таким образом получить разрешение на возвращение домой. Я, однако, сообщил им, что мне нужны не деньги, а просто для того, чтобы добиться справедливости и возмещения нанесенного ущерба. Можно ли было поверить, что английское правительство, столь же хитрое и упорное в отношении своих морских прав, как Римский суд в своих религиозных притязаниях, допустило, чтобы многочисленный и выдающийся класс англичан был несправедливо задержан на десять лет, вместо того, чтобы действительно отказаться на будущее от отвратительной системы морского грабежа.

“Когда я впервые был назначен главой консульского правительства, у меня возникло недопонимание с английским кабинетом министров по вопросу о военнопленных; но теперь я добился своего. Директория была достаточно слаба, чтобы согласиться на соглашение, крайне вредное для Франции и исключительно в интересах Англии.

“Англичане содержали своих пленных во Франции, а мы должны были содержать наших в Англии. У нас было мало английских пленных; а французских пленных в Англии было чрезвычайно много: провизию во Франции можно было получить почти даром, а в Англии она стоила непомерно дорого. Таким образом, англичанам приходилось покрывать очень незначительные расходы, в то время как нам, с другой стороны, приходилось отправлять огромные суммы в чужую страну, и это в то время, когда мы с трудом могли себе это позволить. Более того, это соглашение требовало обмена агентами между соответствующими странами; и английский комиссар оказался ни много ни мало как шпионом французского правительства; он был посредником и организатором заговоров, которые вынашивались во внутренних районах Франции эмигрантами за границей. Как только я ознакомился с таким положением вещей, я стер это оскорбление одним росчерком пера. Английское правительство было проинформировано о том, что с этого момента каждая страна должна содержать пленных, которых она должна доставить, если только не будет согласован обмен. Был поднят страшный крик и прозвучала угроза, что французские пленные умрут голодной смертью. Я не сомневался, что английские министры были достаточно упрямы и бесчеловечны, чтобы желать привести эту угрозу в исполнение; но я знал, что любая жестокость, проявленная по отношению к пленным, была бы противна чувствам нации. Английское правительство уступило в этом вопросе. Положение наших несчастных пленников было, действительно, не лучше и не хуже, чем

раньше; но в других отношениях мы получили большие преимущества и избавились от условий, которые налагали на нас своего рода ярмо и дань.

“В течение всей войны я беспрестанно делал предложения об обмене пленными, но английское правительство под тем или иным предлогом постоянно отказывалось согласиться на это, полагая, что это было бы выгодно для меня. Мне нечего сказать против этого. На войне политика должна заменять чувства; но зачем проявлять ненужную жестокость? И это то, что, несомненно, сделали английские министры, когда обнаружили, что число заключенных увеличивается. Тогда для наших несчастных соотечественников началась отвратительная система заключения в карцерах; разновидность пыток, которые древние добавили бы к ужасам адских областей, если бы их воображение было способно представить это. Я охотно допускаю, что со стороны обвинителей могло быть преувеличение; но правду ли говорили те, кто защищал себя? Мы знаем, что такое отчет перед парламентом. Мы можем составить правильное представление об этом, когда читаем клевету и ложь, которые с такой холодной наглостью произносятся в парламенте низкими людьми, которые побоялись стать нашими палачами. Заключение на борту корабля - это вещь, которая не нуждается в объяснении: факт говорит сам за себя. Если учесть, что люди, непривычные к жизни на борту корабля, теснились в маленьких, нездоровых каютах, слишком маленьких, чтобы у них было место для передвижения; что в качестве снисхождения им дважды в течение двадцати четырех часов разрешалось дышать чумными испарениями во время отлива; и что эти страдания продолжались в течение десяти или двенадцати лет; — кровь стынет в жилах при виде такой отвратительной картины бесчеловечности! В связи с этим я виню себя за то, что не предпринял репрессий. Было бы лучше, если бы я бросил в подобное заключение не бедных матросов и солдат, на жалобы которых никогда бы не обратили внимания, а всю английскую знать и состоятельных людей, находившихся тогда во Франции. Я бы разрешил им вести свободную переписку со своими друзьями и семьями, и их жалобы вскоре достигли бы ушей английских министров и остановили бы их гнусные меры. Определенные партии в Париже, которые всегда были лучшими союзниками врага, конечно, назвали бы меня тигром и каннибалом; но это не имело значения, я бы выполнил свой долг перед французским народом, который сделал меня своим защитником. В данном случае мое решение о характере подвело меня”.

Император спросил меня, содержались ли французские военнопленные в казармах в то время, когда я был в Англии. Я не мог положительно сообщить ему об этом, но я ответил, что не думаю, что это так, потому что я знал, что для них есть тюрьмы в различных частях страны, где многие англичане посещали их и покупали продукцию их промышленности. Я добавил, что они, по всей вероятности, были плохо обеспечены и подвергались многим лишениям; рассказывали историю о правительственном агенте, посетившем одну из тюрем верхом, и как только он сошел с лошади и повернулся спиной, бедное животное было схвачено, разрублено на куски и съедено заключенными. Я, конечно, не ручался за этот факт; но эту историю рассказали сами англичане, и невежественный и предубежденный класс счел ее не доказательством крайних страданий, до которых, должно быть, были доведены заключенные, а просто примером их ужасной прожорливости. Император рассмеялся и сказал, что считает этот анекдот простой выдумкой; заметив, что, если полагаться на этот факт, он был рассчитан на то, чтобы заставить содрогнуться человеческую натуру; ибо ничто, кроме голода, доведенного до безумия, не могло довести людей до такой ужасной крайности. Я был тем более склонен полагать, что план содержания на борту кораблей не был введен, когда я был в Англии, потому что я вспомнил, что много говорилось о размещении французских военнопленных на некоторых небольших

островах между Англией и Ирландией. Было предложено перевезти их туда и предоставить самим себе в состоянии полного уединения; несколько легких судов должны были постоянно курсировать поблизости для их охраны. Против этого плана, однако, были возражения, что в случае нападения противника его главной целью было бы высадиться на этих островах, раздать оружие пленным и таким образом немедленно набрать армию. Возможно, добавил я, эта идея могла бы привести к использованию громадин; ибо число пленных быстро увеличивалось, и считалось небезопасным держать их на берегу среди людей, поскольку последние проявляли сильное желание брататься с французами. “Что ж, ” сказал Наполеон, - я очень легко могу представить, что могут быть веские основания для отклонения плана, о котором вы только что упомянули. Безопасность и самосохранение превыше всего. Но заключение в карцерах - это пятно на характере англичан по отношению к человечеству, раздражающее жало, которое никогда не изгладится из сердец французских заключенных ”.

“Что касается военнопленных, - продолжал Наполеон, “ то английские министры неизменно действовали со своей обычной недобросовестностью и макиавеллизмом, который отличает школу наших дней. Будучи абсолютно преисполнены решимости избежать обмена, в отказе от которого они не хотели навлечь на себя вину, они придумывали и множили предлоги, не поддающиеся исчислению. Во-первых, то, что я осмеливаюсь рассматривать как заключенных, лиц, просто содержащихся под стражей, было признано грубым нарушением законов цивилизованных наций и принципом, который английское правительство никогда бы не признало, ни при каких обстоятельствах. Случилось так, что некоторые из задержанных, которые были на свободе условно-досрочно освобождены, сбежали и были торжественно приняты в Англии. С другой стороны, некоторым французам удалось бежать во Францию. Я выразил свое неодобрение их поведению и предложил, чтобы граждане обеих стран, которые таким образом нарушили свое условно-досрочное освобождение, были взаимно высланы обратно. Но я получил в ответ, что задержанные лица не должны считаться заключенными; что они просто воспользовались законной привилегией избежать притеснений; что они поступили правильно; и были приняты соответствующим образом. После этого я счел себя вправе склонить французов к бегству, а английские министры наполнили свои дневники самыми дерзкими оскорблениями, объявив меня человеком, который не постеснялся нарушить моральные принципы, веру и закон.

“Когда “Когда, наконец, они решили вести переговоры об обмене пленными, или, возможно, мне следовало бы скорее сказать, когда им пришло в голову шутить со мной по этому вопросу, они послали Комиссара во Францию. Все великие трудности были отброшены; и с прекрасным парадом чувств были предложены условия во имя человечества и т. Д. Они согласились включить задержанных лиц в список заключенных и допустить под этим заголовком ганноверских военнослужащих, которые были моими пленниками, но находились на свободе условно-досрочно. Этот последний пункт был постоянным препятствием, поскольку предполагалось, что ганноверцы не были англичанами. До сих пор все шло гладко, и были все шансы, что они будут доведены до конца. Но я знал, с кем мне придется иметь дело, и догадывался о намерениях, которые были у них на самом деле. В Англии было бесконечно больше французских пленных, чем английских военнопленных во Франции; и я хорошо понимал, что, как только англичане благополучно высадятся у себя дома, будет найден какой-нибудь предлог для прекращения обмена, и остальные мои бедные французы могли бы оставаться на борту этих кораблей целую вечность. Я заявил, что не соглашусь ни на какой частичный обмен; что я буду удовлетворен только полным обменом; и, чтобы облегчить дело, я

внес следующее предложение. Я признал, что английских пленнх во Франции было меньше, чем французских пленнх в Англии; но я заметил, что среди моих пленнх были испанцы, португальцы и другие союзники англичан, которые были взяты под их знамена и сражались за то же дело. С этим дополнением я, со своей стороны, мог бы привести гораздо большее количество пленнх, чем было в Англии. Поэтому я предложил сдать всех в обмен на всех. Это предложение поначалу вызвало некоторое замешательство; оно было обсуждено и отвергнуто. Однако, как только они разработали план, с помощью которого, как они думали, могли бы добиться поставленной цели, они согласились на мое предложение. Но я продолжал внимательно следить за ними: Я знал, что если мы начнем с простого обмена французов на англичан, то, как только последние будут обеспечены, будут найдены предлоги для прекращения дела и возобновятся старые увертки; ибо количество английских пленнх во Франции не составляло и трети французов в Англии. Чтобы устранить любое недоразумение с обеих сторон, я поэтому предложил, чтобы мы обменивались конвоями численностью всего по три тысячи человек за раз; чтобы мне вернули три тысячи французов и чтобы я отправил обратно тысячу англичан и две тысячи ганноверцев, испанцев, португальцев и других. Таким образом, если возникнет какое-либо недоразумение, которое положит конец обмену, мы все равно останемся в тех же относительных пропорциях, что и раньше, и не будем прибегать к какому-либо обману друг друга; но если, напротив, дело будет непрерывно продвигаться к завершению, я обещал безвозмездно выдать всех пленников, которые в конечном итоге могут остаться в моих руках. Мои предположения относительно действительных замыслов английского правительства оказались верными: эти условия, которые были действительно столь разумны и принцип которых уже был принят, были отвергнуты, и все дело было прекращено. Я не знаю, действительно ли английские министры сочувствовали положению своих соотечественников или же они были убеждены в моей твердой решимости не дать себя одурачить; но, по-видимому, они в конце концов были склонны прийти к какому-то заключению, когда я впоследствии косвенным образом затронул эту тему. Однако наши бедствия в России сразу же возродили их надежды и разрушили мои намерения”.

Затем император упомянул об обращении с военнопленными во Франции, которое, по его словам, было настолько великодушным и либеральным, насколько это вообще возможно; и он подумал, что в этом вопросе ни одна нация не может справедливо упрекнуть нас. “У нас есть, - сказал он, - в нашу пользу показания и чувства самих заключенных; ибо, за исключением тех, кто был горячо привязан к своим местным законам или, другими словами, к понятиям свободы (а это были исключительно англичане и испанцы), все остальные, а именно австрийцы, пруссаки и русские, были готовы остаться с нами: они покинули нас с сожалением и вернулись к нам с удовольствием. Такой настрой испанцев и англичан не раз влиял на упорство их усилий или на их сопротивление”.

Император также сделал следующее замечание: “Моим намерением было внести в Европу изменения в отношении обращения с заключенными. Я намеревался зачислить их в полки и заставить работать в условиях военной дисциплины на общественных работах и стройках. Они должны были получать все деньги, которые зарабатывали, и таким образом были бы защищены от страданий абсолютного безделья и возникающих из-за этого беспорядков. Они должны были быть хорошо накормлены и одеты, ни в чем не нуждаться, не будучи обузой для государства. Этот план принес бы пользу всем сторонам. Но моя идея не нашла одобрения в Государственном совете, который в данном случае поддался влиянию ошибочной филантропии, которая приводит к стольким ошибкам в мире. Было сказано, что было бы

несправедливо и жестоко принуждать людей к труду. Высказывались опасения, что наши враги предпримут репрессии; и было подтверждено, что заключенный был достаточно несчастлив в связи с потерей свободы, и его не ограничивали в использовании своего времени. Но здесь было допущено злоупотребление, на которое я жаловался и которое я хотел исправить. Заключенный, сказал я, должен ожидать, что к нему будут применены законные меры принуждения; и то, что я наложу на него, служит его собственной выгоде, а также выгоде других. Я не требую, чтобы он подвергался большим страданиям или усталости, но подвергался меньшей опасности, чем он подвергается в своем нынешнем состоянии. Вы боитесь, что враг предпримет репрессии и поступит так же с французскими пленными. Дай Бог, чтобы так оно и было! Я не желаю ничего лучшего! Тогда я увидел бы своих матросов и солдат, занятых полезным трудом на полях или дорогах общего пользования, вместо того чтобы видеть их заживо погребенными на борту этих отвратительных громадин. Они вернулись бы домой здоровыми, трудолюбивыми и приученными к труду; и в каждой стране они оставили бы после себя некоторую компенсацию за фатальные разрушения войны. В качестве уступки Государственный совет согласился организовать несколько отрядов заключенных в качестве добровольных рабочих или что-то в этом роде; но это ни в коем случае не было осуществлением плана, который я имел в виду”.

ЗАМЫСЛЫ НАПОЛЕОНА В ОТНОШЕНИИ АНТВЕРПЕНА.—ЕГО ОТКАЗ СДАТЬ ЭТОТ ГОРОД СТАЛ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ЕГО ПАДЕНИЯ.—ЕГО ВЕЛИКОДУШИЕ При ОТКАЗЕ от ШАТИЙОНСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА.—МОРСКИЕ РАБОТЫ.—ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ИМПЕРИИ В 1813 ГОДУ.—ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЕОНА.

2. Император сегодня не выходил из своих покоев. Когда я прислуживал ему, то обнаружил, что ему очень плохо из-за воздействия холода, и выделение слюны все еще продолжалось.

Я оставался с ним большую часть дня. Иногда он пытался поговорить, а иногда пытался заснуть. Он был очень беспокойным и часто подходил к огню. У него явно был жар.

В течение дня разговор зашел об Антверпене; о его арсенале, укреплениях, важности и великих военных и политических взглядах, которые он питал относительно этого выгодно расположенного места.

Он отметил, что много сделал для Антверпена, но это было мало по сравнению с тем, что он собирался сделать. Он намеревался превратить его в роковой пункт атаки для врага на море и на суше, чтобы сделать его определенным ресурсом и точкой национальной безопасности на случай больших бедствий. Он сделал бы Антверпен способным принять целую армию в случае своего поражения и выдержать плотную осаду в течение года, в течение которого, по его словам, нация смогла бы сплотиться для своего освобождения и возобновить наступление. Пять или шесть таких мест, добавил он, должны были составить новую систему обороны, которую он намеревался создать. Работы, которые были завершены в Антверпене за столь короткое время, многочисленные верфи, склады и каналы уже были предметом восхищения; но император объявил все это пустяком. По его словам, Антверпен пока был всего лишь торговым городом; военный городок должен был быть построен на противоположном берегу реки. Для этой цели земля была куплена по низкой цене, и ее предполагалось снова продать с высокой прибылью для целей строительства; так что благодаря этой спекуляции расходы, связанные с

предприятием, были бы значительно сокращены. Зимние доки были бы способны принять трехпалубные суда со всеми их орудиями на борту; а для закладки судов в мирное время должны были быть построены крытые сухие доки.

Император заметил, что разработанный им план превратил бы Антверпен в грандиозный бастион и что это была бы целая провинция сама по себе. Обращаясь к этому великолепному заведению, он заметил, что оно было одной из причин его ссылки на остров Святой Елены; что требование об уступке Антверпена было одним из обстоятельств, побудивших его отклонить условия мира, предложенные в Шатийоне. Если бы союзники согласились оставить ему во владении Антверпен, он, по всей вероятности, заключил бы мир; и он сомневался, не поступил ли он неправильно, отказавшись подписать предложенный ультиматум. “В тот период, ” сказал он, - у меня, несомненно, было много ресурсов и возможностей; но все же, как много можно сказать в пользу принятой мной резолюции! Я поступил правильно, - добавил он, - отказавшись подписать ультиматум, и я полностью объяснил причины своего отказа; поэтому даже здесь, на этой скале, среди всех моих страданий, мне не в чем раскаиваться. Я знаю, что немногие поймут меня; но, несмотря на роковой поворот событий, даже основная масса человечества должна теперь быть убеждена, что долг и честь не оставили мне другой альтернативы. Если бы союзникам до сих пор удавалось унижить меня, остановились бы они на этом? Были ли их предложения о мире и примирении искренними? Я знал их слишком хорошо, чтобы доверять их заявлениям. Разве они не воспользовались бы огромными преимуществами, предоставленными им договором, чтобы путем интриг завершить то, что они начали силой оружия? Тогда где были бы безопасность, независимость и будущее благополучие Франции? Где была бы моя честь, мои клятвы? Разве союзники не погубили бы меня в глазах народа так же эффективно, как они погубили меня на поле боя? Они обнаружили бы, что общественное мнение слишком готово воспринять то впечатление, которое они хотели бы произвести на него! Как бы Франция упрекнула меня за то, что я позволяю иностранцам распоряжаться территорией, вверенной моим заботам! Сколько ошибок приписали бы мне несправедливые и несчастные! Мог ли французский народ, полный воспоминаний о своей славе, терпеливо переносить бремя, которое неизбежно [inevitably](#) было бы на него возложено? Отсюда возникли бы новые волнения, анархия и разруха! Я предпочел рискнуть последними шансами на битву, решив в случае необходимости отречься от престола”.^[1]

Я признал справедливость замечаний императора. Он потерял трон, это правда, но добровольно; и потому, что предпочел отказаться от него, чем поставить под угрозу наше благополучие и свою собственную честь. История оценит эту возвышенную жертву. Сила и жизнь преходящи, но слава долговечна и бессмертна.

“Но, в конце концов, - сказал император, “ историку, возможно, будет трудно воздать мне должное; мир так переполнен клеветой и ложью, мои действия были так искажены, мой характер так омрачен и неправильно понят”. На это кто-то из присутствующих ответил, что сомнения могли существовать только при его жизни; что несправедливость коснется исключительно его современников; что, как он сам уже заметил, тучи будут рассеиваться по мере того, как память о нем будет возрастать в потомстве; что его репутация будет возвышаться с каждым днем и станет благороднейшим сюжетом для пера истории; и что, хотя первая катастрофа могла оказаться фатальной для его памяти из-за возмущения, которое тогда было поднято против него, все же [чудеса](#) его возвращения, деяния его недолгого правления и его изгнание на остров Святой Елены теперь увенчало его славой в глазах народов и потомков.

“Это совершенно верно, ” ответил император с видом удовлетворения, - и можно сказать, что моя судьба прямо противоположна судьбе других. Падение обычно приводит к ухудшению характера человека, но, напротив, мое падение необычайно возвысило меня. Каждый последующий день сбрасывает с меня часть моей *шкуры тирана*.

После недолгого молчания разговор возобновился на тему Антверпена и английской экспедиции. “Английское правительство и его генерал, - сказал император, - казалось, соперничали друг с другом в недостатке мастерства. Если бы лорд Чатем, которому наши солдаты дали прозвищем *лорд Джей’атендс*, решил предпринять энергичные действия, он, несомненно, мог бы разрушить наше ценное заведение *главным ударом*, но, поскольку первый момент был упущен, и наш флот проник внутрь, место было в безопасности. Было много преувеличений в отношении усилий и мер, принятых для обеспечения безопасности Антверпена. Рвение граждан было возбуждено только в связи с тайными и преступными замыслами ”.

Упомянув некоторые факты, свидетелем которых я был, я случайно заметил, что обычно смотр армиям производили маршалы; но здесь правило было изменено, и армии пересматривали своих маршалов, трое из которых сменили друг друга за очень короткое время. “Политические обстоятельства, ” сказал император, “ требовали этого изменения. Я отправил Бессьера в Антверпен, потому что кризис требовал твердого и доверенного человека; но как только критический период истек, я послал другого сменить Бессьера, потому что хотел иметь последнего рядом с собой”.

Морские работы Антверпена, несмотря на их огромные масштабы, являются лишь малой частью тех, что были выполнены Наполеоном. Будучи прикреплен в качестве члена Государственного совета к морскому ведомству, я располагаю, *по должности*, отчетом об этих работах, список которых я приведу здесь в географическом порядке, начиная с юга на Север.

1. Форт Боярд, построенный с целью расширения и защиты якорной стоянки на острове Экс, откуда благодаря упорству и отваге был обнаружен скрытый от глаз противника проход между Олероном и материком, по которому даже линейные корабли могли достигать якорных стоянок Жиронды и ее выходов.

2. Обширные и превосходные работы Шербура. Дамба, строительство которой было начато при Людовике XVI и которая сильно пострадала во время революции, была отремонтирована; центральная часть была поднята на девять футов над самым высоким уровнем моря на протяжении 100 туазов с целью установки батареи из двадцати орудий самого большого калибра. Эта работа была выполнена менее чем за два года, с 1802 по 1804 год, и с таким успехом, что, хотя с 1813 года ею пренебрегали, она не пришла в упадок и до сих пор сохраняет всю свою первоначальную силу.

В центре и внутри дамбы, которую она поддерживает и которой, в свою очередь, прикрыта, была построена большая эллиптическая башня из гранита. Массивный фундамент этой башни, строительство которой в открытом море, конечно, представляло огромные трудности, был завершен в конце 1812 года и поднят на высоту шести футов над уровнем самых высоких приливов. Прочность, которую он сохранил с того периода, хотя и находился в запущенном состоянии и подвергался сильному воздействию волн, является наглядным доказательством прочности оборонительных сооружений, которые были спроектированы на этой искусственной

скале, когда должно было прийти время для полного завершения плана. Этот план состоял в возведении на высоте одного этажа казармы, способной вместить гарнизон, пороховой склад, резервуар и т. Д.; Это должно было быть увенчано арочной платформой, защищенной от бомб и способной принять казематированную батарею из девятнадцати тридцати шестифунтовых орудий, а над ней должна была быть вторая платформа, способная при необходимости принять установленные орудия; все это венчало центральную батарею, уже существующую на самой дамбе. Таким образом, атаке противника противостояли бы четыре батареи, расположенные одна над другой.

Менее чем за восемь лет в цельной скале был раскопан военный порт. Он был способен вместить сорок пять линейных кораблей, соответствующее количество фрегатов, три стапеля для постройки и так далее. Это убежище, столь необходимое линейным кораблям из-за естественного расположения дорог Шербура, которые слишком подвержены ярости волн, было вырыто на глубине тридцати футов под уровнем моря, во время самого низкого отлива, чтобы обеспечить в любое время безопасную стоянку для самых больших кораблей. Когда он был открыт в 1813 году, молы и дамбы были полностью достроены на всем его протяжении. В то время императрица Мария Луиза и весь ее Двор стали свидетелями великолепного зрелища внезапного разлива моря, которое было допущено просто в результате самопроизвольного прорыва огромной плотины, до сих пор сдерживавшей его усилия. Самые большие суда немедленно вошли в ограду, которая с тех пор стала удобной станцией для судоходства, а также необходимыми помещениями для строительства, ремонта и оснащения: короче говоря, она обладает всеми преимуществами, которые можно ожидать от столь важного произведения искусства, и по праву считается одним из самых благородных памятников правления Наполеона. Согласно плану императора, это грандиозное сооружение предназначалось только для первого, или внешнего порта; он решил построить в боковом направлении, на небольшом расстоянии внутри него, второй, или внутренний порт, к которому следовало приступить немедленно и который был бы быстро завершен благодаря принятым ранее мерам предосторожности. Он должен был быть достаточно большим, чтобы принять двадцать пять линейных кораблей, а за этими двумя портами, протянувшись по всей их длине полукруглой формой, предполагалось построить тридцать крытых доков, где такое же количество линейных кораблей могло бы содержаться в постоянной готовности к выходу в море. Таковы были огромные работы, выполненные или запланированные только в Шербуре.

3. Многочисленные работы, предпринятые флотилией для вторжения в Англию.— Необходимо было обеспечить якорные стоянки, обеспечить одновременную подготовку и провести все наступательные и оборонительные операции. Все это требовало в различных местах строительства крепостей из камня и дерева, набережных, бассейнов, причалов, дамб, шлюзов и т.д.

Булонь была выбрана в качестве центральной точки сборки, а Вимере, Амблетез [Ambleteuse](#) и Этабль были второстепенными пунктами. Сама Булонь стала способна принимать 2000 судов различных типов. Помимо естественного порта, был образован искусственный бассейн с помощью плотины, перекрытой посередине шлюзом шириной двадцать четыре фута. Этот бассейн был способен вместить 8 или 900 судов на плаву и в постоянной готовности; а шлюз, образовавшийся после предыдущего удержания, имел то преимущество, что создавал потоки воды, которые увеличивали глубину настоящего порта и очищали его вход от песчаных отмелей, которыми он мог быть засорен. Вимере, Этабль и Амблетез одновременно получили

возможность принимать соответствующее количество кораблей: все эти начинания были завершены в течение двух лет.

4. Важные местные ремонтные работы и усовершенствования во всех портах побережья. Гавр стал доступен для фрегатов благодаря разрушению с помощью мощного шлюза галечных насыпей, преграждавших ему вход. Улучшения были произведены в Сен-Валери, Дьеппе, Кале, Гравелине и Дюнкерке; порт последнего был очищен, а болото, покрывавшее город, осушено. Вторая флотилия должна была быть собрана в Остенде, куда был обеспечен свободный вход путем расчистки фарватера.

5. Работы Флашинга.—Этот город на мгновение попал в руки англичан, они разрушили все его военные учреждения, когда эвакуировали его. Император приказал реконструировать сооружения в гораздо более масштабных масштабах, чем раньше. Полностью осознавая важное географическое положение этого места, он приказал заново выкопать и расширить котлован, а также его вход. Канал также предполагалось углубить, чтобы сделать бассейн способным принимать даже восьмидесятипушечные корабли и обеспечить зимнюю стоянку для эскадры из двадцати кораблей, всегда готовой выйти в море при одном или двух отливах. Это преимущество должно было быть обеспечено с помощью очень остроумного плана, предложенного военно-морским комендантом этого места, который состоял просто в том, чтобы удерживать воду во время прилива в городских канавах. Бассейн был самым важным приобретением, поскольку он давал возможность проводить военно-морские приготовления, свободные от всех неудобств Шельды. Наши корабли получили бы возможность плыть прямо к берегам Англии; и англичане, таким образом, были бы вынуждены постоянно держать крейсера на чеку; тогда как до сих пор, как только они узнавали, что наши корабли были разоружены во Флашинге или вернулись в Антверпен с приближением зимы, они спокойно входили в порт, ничего не опасаясь до возвращения весны. Но было необходимо сделать укрепления Флашинга равными защите целой эскадрильи: следовательно, оборонительные сооружения были умножены на различных участках; были перестроены склады и другие учреждения; и были отданы приказы сделать их бомбозащитными и установить над ними батареи. Флашинг был бы густо обложен пушками со всех сторон и, короче говоря, стал бы неприступным.

6. Работы начались в Тернезе. Важность западного устья Шельды, позволяющего нашему флоту входить и выходить из него, и неудобства, связанные с возвращением наших кораблей в Антверпен каждый год в зимний сезон, натолкнули императора на мысль о создании еще большего арсенала, чем Флашинг, вблизи устья реки. Местом назначения был выбран Тернез, расположенный на левом берегу Шельды, в трех лье от устья реки, и работы были немедленно начаты. Однако они были приостановлены из-за большой продолжительности времени, а также огромных затрат, которые потребовались бы для их завершения.

7. Грандиозные работы в Антверпене. Этот город, находящийся почти в двадцати лье от моря, от которого он отделен извилистым и очень труднопроходимым каналом, по-видимому, был лишен всех желательных преимуществ для создания морского арсенала; и до сих пор в нем были представлены только мелкие торговые заведения. Флот, построенный в Антверпене, с трудом смог бы спуститься по реке и был бы лишь плохо защищен от неблагоприятных погодных условий или попыток противника. Это было бы бесполезно в течение трети года, так как приближение зимы вынудило корабли подниматься выше, чтобы избежать течения и льда на реке; там не было мокрых доков. Но эти многочисленные трудности казались ничем в глазах

Наполеона. В своем нетерпении дать англичанам почувствовать опасность Шельды, которую они сами так часто признавали грозной, он быстро согласовал свои планы, и менее чем за восемь лет Антверпен приобрел вид важного морского арсенала, а в Шельде уже находился значительный флот. Все было сделано тщательно. Склады, причалы, доки и т.д. были построены недавно. Было найдено временное убежище для судоходства по льду реки в Рупеле, в то время как в городе Антверпене были вырыты два огромных заболоченных дока, способных принимать суда любых размеров со всеми их орудиями на борту. Двадцать листов для постройки были подняты все в линию, словно по волшебству, и двадцать судов, лежавших на этих листках одновременно, представляли путешественнику, прибывшему к Тет-де-Фландр, впечатляющее и необычное зрелище из двадцати линейных кораблей, выстроенных в ряд как эскадра. Однако большинство этих работ Наполеон рассматривал всего лишь как временное обеспечение, заимствованное из торговли. Он намеревался построить полный и гораздо больший арсенал напротив Антверпена, на берегу реки, напротив Тет-де-Фландр. Сначала у него возник смелый замысел перекинуть мост через Шельду, но в конце концов он остановился на подвесных мостах очень хитроумной конструкции. Император, как я уже отмечал, вынашивал грандиознейшие идеи относительно улучшений в Антверпене, и детали его плана простирались вплоть до моря. Он часто говорил, что намерен превратить Антверпен в провинцию, в маленькое королевство само по себе. Этой цели он посвятил себя с той степенью интереса, которую от него можно было ожидать при осуществлении одного из его самых любимых проектов. Он совершил несколько поездок в Антверпен с целью лично осмотреть работы в самых незначительных деталях.

В один из таких случаев ему случилось встретиться с капитаном или подполковником инженерных войск, который скромно помогал в укреплениях этого места, и с которым он вступил в обсуждение некоторых моментов, связанных с делом, которым он занимался. Вскоре после этого офицер неожиданно получил письмо, в котором сообщалось, что он назначен адъютантом императора, и предписывалось отправиться в Тюильри для исполнения своих обязанностей. Бедный офицер был полон изумления: он подумал, что ему это приснилось или что письмо было отправлено не по адресу. Он был настолько застенчив и обладал столь малыми знаниями о мире, что это объявление о его повышении повергло его в большое замешательство. Он вспомнил, что однажды видел меня в Антверпене, и умолял меня оказать ему свою помощь. Соответственно, по прибытии в Париж он пришел и заверил меня в своем полном незнании придворных манер и в том смущении, которое он испытывал, представ перед императором. Однако вскоре мне удалось ободрить его, и, прежде чем он достиг ворот дворца, он обрел достаточную степень уверенности. Этим офицером был генерал Бернард, чьи великие таланты были отмечены этим обстоятельством, и который во время наших бедствий отправился в Америку, где его поставили во главе военных предприятий Соединенных Штатов.

Наполеон любил таким образом застать людей врасплох. Всякий раз, когда он обнаруживал талант, он никогда не упускал случая раскрыть его в нужной сфере, не позволяя влиять на себя каким-либо второстепенным соображением. Это была одна из его поразительных черт.

8. Работы в Голландии.—Как только Голландия попала в руки Наполеона, его творческий пыл был немедленно направлен на все различные отрасли ее политической экономики. Он отремонтировал и расширил арсеналы на Маасе, в Роттердаме и Хелвоэтслуйсе. До сих пор линейные корабли не могли подойти к Амстердаму и не могли выйти из него без огромных затрат и труда; их приходилось тащить *наверблюдах*, порожних и без пушек, к устью Зюйдерзее. Эта операция не соответствовала быстроте, необходимой для крупных предприятий того

периода, и император решил перевести северный арсенал в такое положение, при котором он был бы избавлен от этих недостатков. Соответственно, он отдал приказы о создании или усовершенствовании "Нивендипа", где за короткое время двадцать пять линейных кораблей были обеспечены безопасной зимней стоянкой и пришвартованы у великолепных причалов. Этот важный пункт защищали военные учреждения Хелдера, которые составляли ключ Голландии. План Наполеона состоял в том, чтобы превратить Ньевендип в Антверпен Зюддерзее.

9. Работы на Везере, Эмсе и Эльбе.— Когда Наполеон присоединил Бремен, Гамбург и Любек к Империи, его планы и работы расширились вместе с его владениями. Он принял меры для обеспечения доступа к Эльбе линейных кораблей и спроектировал морской арсенал в Делфзиле в устье Эмса. Но целью, которая особенно particularly привлекла внимание Наполеона, было прорубание линии каналов, которые с помощью Эмса, Везера и Эльбы могли бы соединить Голландию с Балтийским морем. Таким образом, мы получили бы возможность безопасно и с помощью простой системы внутреннего судоходства сообщаться из Бордо и Средиземного моря с державами Севера. Мы могли бы легко получать от них все виды военно-морской продукции для наших портов, и мы были бы в состоянии посылать против них, когда пожелаем, наши флотилии из Ла-Манша, Голландии и т.д.

Все эти важные работы были спланированы, и большинство из них были выполнены с поразительной быстротой. Творческий гений Наполеона задумал их, и ДекреДекре, министр, неутомимо претворял в жизнь предложенные проекты. Планы были составлены, а работы выполнены Просни, Сганзином, Качином и другими. Имена, присвоенные таким памятникам, нетленны!

Если к тому, что здесь было описано, добавить другие одновременные чудеса во всех других отраслях государственной службы и в любой другой части территории; и если учесть, что все они были совершены в условиях непрекращающейся войны и без большего, возможно, даже с меньшим бременем, чем сейчас, после долгого мира, ложится на страны, составлявшие обширную Французскую империю, невозможно подавить удивление и восхищение. Все эти чудеса были совершены благодаря стойкости решимости, таланту, вооруженному властью, и разумному и экономному использованию финансов! Конечно, если в дополнение к тому, что уже было упомянуто, принять во внимание массу укреплений, множество дорог общего пользования, мостов, каналов и различного рода сооружений, то следует признать, что ни один правитель в мире никогда не делал так много за такое короткое время и не возлагал так мало бремени на свой народ.

Италия, королем которой был Наполеон, также получила свою долю от его великолепных усовершенствований. Он проложил прекрасные дороги через Альпы и Апеннины; основал морской арсенал в Генуе; укрепил Корфу, сделав этот остров ключом к Греции; отремонтировал и расширил Венецианский порт; и, пока продолжались работы, он стал способен принимать французские линейные корабли с помощью верблюдов, которые использовались в Голландии. Чтобы избежать риска нападения противника на корабль во время этой опасной перевозки, был предложен план, согласно которому они должны были иметь возможность нести свои собственные орудия; и он, я полагаю, был успешно принят. Более того, Наполеон намеревался создать военно-морской арсенал в Рагузе, другой - в Поле, в Истрии, и третий - в Анконе. Ему пришла в голову счастливая и смелая идея создать соединение между заливами Венеции и

Генуи с помощью реки По и канала, протянувшегося от Алессандрии до Савоны через Апеннины. Этот план привел бы к самым важным результатам; ибо, независимо от его огромных коммерческих и военных преимуществ, он установил бы прямое и безопасное сообщение между Венецией и Тулоном; и последний порт, таким образом, получил бы все военно-морские товары Адриатики без малейшего шанса подвергнуться нападению противника. Наконец, Наполеон очистил Рим от мусора, которым он был завален, восстановил многие древние памятники римской империи и разработал план осушения понтийских болот и т.д.

Я привожу здесь преамбулу Доклада о состоянии империи, представленного Законодательному собранию на заседании 25 февраля 1813 года графом Монталиве, министром внутренних дел. Этот превосходный отчет, основанный во всех своих пунктах на подлинных документах, призван дать справедливое представление о чудесах правления Наполеона. Я думаю, что могу должным образом закрыть эту тему, вставив официальный отчет о расходах на общественные работы в достопамятное царствование императора.

“Джентльмены, Его Величество поручил мне ознакомить вас с ситуацией Внутри Империи в 1811 и 1812 годах.

“Вы с удовлетворением заметите, что, несмотря на огромные армии, которые состояли войны, как морской, так и континентальной, сделало совершенно необходимыми, население продолжало увеличиваться; что французская промышленность достигла новых успехов; что почва никогда не была так хорошо обработана, а наши мануфактуры так процветали; и что ни в один период нашей истории богатство не распределялось так равномерно между всеми классами общества.

“Фермер теперь пользуется преимуществами, к которым раньше был незнаком. Он имеет возможность приобрести такую землю, которая ему подходит, по самой высокой цене; его пища и одежда стали лучше и обильнее, чем раньше; а его жилище - более прочным и удобным.

“Усовершенствования в сельском хозяйстве, мануфактурах и полезных искусствах больше не отвергаются только потому, что они новы. Эксперименты проводятся во всех отраслях труда, и старые методы, которые оказываются наиболее выгодными, заменяются старыми. Множатся искусственные луга; отказываются от системы залежей; лучше понимают последовательность посевов, а усовершенствованные планы возделывания увеличивают урожайность почвы. Размножается крупный рогатый скот, улучшаются различные породы. Каждый рабочий находит средства приобрести по высокой цене испанских баранов и жеребцов лучшей породы. Теперь они достаточно просвещены, чтобы знать свои истинные интересы, и без колебаний совершают эти ценные покупки. Таким образом, потребности наших промышленников, наших земледельцев и нашей армии с каждым днем удовлетворяются все лучше.

“Эту высокую степень процветания следует приписать либеральным законам, по которым правит эта великая Империя, подавлению феодализма, десятины, мортмейнов и монашеских орденов; мерам, которые создали или освободили многочисленные частные владения, которые теперь являются бесплатным достоянием множества семей, ранее просто нищих. Это также следует приписать более равному разделу богатства, ясности и упрощению законов, касающихся земельной собственности и ипотеки, и оперативности, наблюдаемой при разрешении судебных исков, число которых в настоящее время с каждым днем уменьшается. К этим же причинам и влиянию вакцинации следует отнести увеличение численности населения.

Можно даже сказать, что воинская повинность, ежегодно привлекающая под наши знамена цвет французской молодежи, внесла определенную лепту в это увеличение, умножив число браков; потому что брак навсегда определяет судьбу молодого француза, который когда-то служил в повиновении закону”.

Официальный отчет о расходах на общественные работы с момента восшествия Наполеона на императорский престол; представлен вместе с ваучерами Законодательному органу министром внутренних дел.

	Франков.
Императорские дворцы и здания, принадлежащие короне.	62,000,000
Укреплений	144,000,000
морских портов	117,000,000
дорог, хайвеев и т.д.	277,000,000
Мостов в Париже и департаментах	31,000,000
Каналов, судоходства и осушения	123,000,000
работ в Париже	102,000,000
Общественных зданий департаментов и крупных городов	149,000,000
Всего	1,005,000,000

ИМПЕРАТОР НЕЗДОРОВ И МЕЛАНХОЛИЧЕН.—ЗАБАВНЫЕ АНЕКДОТЫ.—ДВА АДЪЮТАНТА.-ЗАГОВОР МАЛЛЕТА.

3. Император все еще продолжал уединяться, как отшельник. Ближе к вечеру он послал за мной: он сообщил мне, что зубная боль у него несколько утихла, хотя в других отношениях ему лучше не стало. Он сказал, что чувствовал себя крайне слабым и подавленным и что в течение всего дня его разум был одержим мрачными мыслями. Он принимал ванну и после нескольких минут молчания сказал, словно пытаясь прийти в себя: “Ну же, *моя Динарзаде*, если ты не слишком сонлива, расскажи мне одну из своих историй. Вы давно ничего не рассказывали мне о ваших друзьях из Сен-Жерменского предместья”. — “Сир, - ответил я, - я так много рассказывал на эту тему, что, кажется, исчерпал весь свой запас историй, правдивых или вымышленных. Только скандальные истории остались невысказанными, и в них ваше величество знает, что вас самих никто не пощадил. Однако мне только сейчас приходит в голову забавный анекдот. Однажды г-н де Т., уходя из дома, чтобы заняться своими министерскими обязанностями, сообщил своей жене, что ему следует пригласить г-на Денона с собой на ужин. Он пожелал, чтобы к выдающемуся путешественнику относились с величайшим вниманием, и сказал мадам де Т., что лучшее, что она может сделать, - это просмотреть его работу, чтобы иметь возможность высказать несколько любезных комплиментов автору, одновременно сообщив ей, в какой именно части библиотеки находится эта книга. Мадам де Т. приступила к своей задаче — она нашла книгу чрезвычайно интересной и пришла в восторг от

мысли поскорее познакомиться с героем. Как только компания уселась за стол, она сообщила мсье Денону, которого позаботилась посадить рядом с собой, что читала его работу и что она ей очень понравилась. Мсье Денон поклонился, и дама продолжила рассказывать о необычных странах, которые он посетил, и о трудностях, которые ему пришлось пережить, в то же время стараясь заверить его, как глубоко она сочувствует его бедам. Мсье Денон снова поклонился; и все шло очень гладко, пока мадам де Т., все еще обращаясь к мсье де Т., не обратилась к мсье де Т. Денон заявила, как сильно она обрадовалась, когда его верная *Пятница* пришла разделить его одиночество. "Он все еще у тебя", - спросила она. Услышав это, мсье Денон вздрогнул и, повернувшись к человеку, сидевшему по другую руку от него, сказал: "Возможно ли, чтобы она приняла меня за Робинзона Крузо?" Дело в том, или, правильнее сказать, как гласит история, бедная мадам де Т. читала "Приключения Робинзона Крузо", а не "Путешествия Денона по Египту". Император от души рассмеялся и впоследствии несколько раз сам рассказывал этот анекдот.

Разговор зашел об изобретательной злобности парижского общества, и была рассказана замечательная история о столяре-краснодеревщике, который неловко открыл Б. потайной ящик бюро, в котором оказалось много секретов, связанных с его собственной семьей: был описан яростный гнев Б. против *Вентре де Биша*, сочувствие, выраженное ему мадам де В..., и исключительное утешение, которое она ему оказала, — все это было описано. Императора очень позабавили эти подробности, большинство из которых были для него новыми, и он выразил свое убеждение, что эта история не была полностью выдумкой. Он еще раз повторил свое осуждение парижских салунов, которые, по его словам, действительно можно было бы назвать адскими районами. Он заметил, что они поддерживали постоянную систему клеветы и наветов и что, следовательно, они могли бы по справедливости привлечь постоянное внимание всех трибуналов исправительной полиции столицы.

Император теперь оживился и довольно долго беседовал. Он случайно упомянул офицера, с которым, по его словам, обращался не очень хорошо; и я осмелился заметить, что, по моему, он, несмотря на это, был адъютантом выдающегося генерала. "Что это значит?" - продолжал император. "Разве вы не знаете, - продолжал он, улыбаясь, - что у генерала часто бывает два адъютанта: один для полевых действий, а другой для домашнего хозяйства?"

Он много говорил о национальной неспособности французов завершить революцию или придерживаться какого-либо установленного порядка вещей; и он упомянул знаменитое дело Малле, которое, по его шутливому замечанию, можно было бы назвать миниатюрой или карикатурой на его собственное возвращение с острова Эльба. "Абсурдный заговор Маллета," - сказал он, - действительно можно было бы считать мистификацией. Государственный узник, малоизвестная личность, добился своего собственного освобождения и, в свою очередь, заключил в тюрьму префекта и даже министра полиции, этих смотрителей подземелий и разоблачителей заговоров, которые позволили поймать себя в ловушку, как стадо овец. Префект Парижа, прирожденный покровитель своего департамента и, более того, очень преданный подданный, с готовностью соглашался на любой план создания правительства, которого еще не существовало. Министры, назначенные заговорщиками, совершали свой круг визитов, когда те, кто их назначил, снова были благополучно посажены в тюрьму. Наконец, утром жители столицы узнали о политическом дебоше, который произошел ночью, несколько не потревоженные им. Такая экстравагантная попытка, - сказал император, - никогда бы не привела к какому-либо результату. Даже если бы это удалось, оно должно было пасть само по

себе в течение нескольких часов; и победившие заговорщики думали бы только о том, как бы спрятаться среди своего успеха. Поэтому я был гораздо меньше разгневан попыткой преступника, чем легкостью, с которой тех, кто казался наиболее привязанным ко мне, уговорили стать его сообщниками. По прибытии каждый откровенно рассказал мне подробности, которые касались его самого и которые послужили обвинению всех! они откровенно признали, что были пойманы, и на мгновение полностью поверили в мое свержение. Они не отрицали, что в минутном бреду прониклись замыслами заговорщиков; и они радовались вместе со мной своему счастливому избавлению. Ни один из них не упомянул ни о малейшем сопротивлении или о малейших усилиях, предпринятых для защиты и увековечения существующего правительства. Это, казалось, никогда не приходило им в голову: они так привыкли к переменам и революциям, что все совершенно смирились с установлением нового порядка вещей. Поэтому всепеременились в лице и изобразили крайнее смущение, когда я решительным тоном сказал: 'Что ж, джентльмены, похоже, вы думали, что моему правлению пришел конец; на это мне нечего сказать. Но где были ваши клятвы королю Рима? Что стало с вашими принципами и доктринами? Вы заставляете меня трепетать за будущее.' Я счел необходимым подать пример, хотя бы для того, чтобы заставить слабых людей быть настороже на будущее; и осуждение пало на беднягу Фрошо, префекта полиции, который, я уверен, был ко мне привязан. И все же, по простой просьбе одного из этих шарлатанов-заговорщиков, вместо того, чтобы оказать сопротивление, которого требовал его долг; вместо того, чтобы проявить твердую решимость скорее погибнуть на своем посту, чем сдаться; он с большим удовлетворением отдал приказ подготовить место для заседания нового правительства!— Действительно, - сказал император, - готовность, с которой французский народ приспосабливается к переменам, рассчитана на то, чтобы продлить превратности судьбы, которые не смогла бы вынести ни одна другая нация, кроме него самого. Таким образом, отдельные представители каждой партии, кажется, убеждены, что еще не все решено; и Европа разделяет это мнение, которое основано не столько на нашем естественном непостоянстве и изменчивости, сколько на массе событий, произошедших за последние тридцать лет”.

ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ НЕДОМОГАНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИМПЕРАТОРА. — ОН ЗАМЕЧАЕТ, ЧТО ЕМУ СЛЕДОВАЛО УМЕРЕТЬ При МОСКВЕ Или ВАТЕРЛОО.— ПАНЕГИРИК ЕГО СЕМЬЕ.

4.— Сегодня император никого не хотел принимать в течение всего утра. Он послал за мной в назначенный им час для принятия ванны, во время которой и некоторое время после нее беседовал о знаниях древних, об историках, которые передали их современности, о связующих звеньях, созданных разными писателями, и т. Д. Все его размышления на эту тему привели к выводу, что мир все еще находится в зачаточном состоянии, а человеческая природа - в еще большей степени. Затем мы рассмотрели структуру земного шара, неровности его поверхности, неравномерное разделение моря и суши, численность его населения, масштабы рассредоточения этого населения, различные политические общества, в которые оно входило, и т.д. Я подсчитал, что в Европе проживает 170 000 000 человек. Император заметил, что он сам правил 80 000 000; и я добавил, что после союза с Пруссией и Австрией он был во главе более чем 100 000 000 человек. Затем император внезапно сменил тему разговора. Он попросил мой Атлас и, просматривая его, несколько раз заметил, что это поистине бесценный труд для молодежи.

Впоследствии, рассказывая о чудесах своей жизни и превратностях судьбы, император заметил, что ему следовало умереть в Москве, потому что в то время его военная слава не претерпела изменений, а его политическая карьера не имела аналогов в мировой истории. Затем он нарисовал одну из тех быстрых и оживляющих картин, которые он с такой легкостью набрасывает и которые часто достигают степени возвышенности. Заметив, что выражение лица одного из случайно присутствовавших не совсем выражало одобрение, он сказал: “Это не ваше мнение? Вы не думаете, что мне следовало завершить свою карьеру в Москве?” — “Нет, сир, “ последовал ответ, - ибо в этом случае история лишилась бы возвращения с Эльбы, самого великодушного и героического поступка, который когда-либо совершал человек, самого грандиозного и возвышенного события, свидетелем которого когда-либо был мир”. - “Что ж, - возразил император, - в этом, может быть, и есть доля правды; но что вы скажете о Ватерлоо? Разве я не должен был погибнуть там?” — “Сир, - сказал человек, к которому он обращался, “ если я добился прощения за Москву, я не вижу, почему бы мне не попросить его и за Ватерлоо. Будущее находится за пределами воли и могущества человека; оно находится только в руках Бога”.

В другой раз император говорил о разных членах своей семьи, о той небольшой помощи, которую он получал от них, о множестве неудобств, которые они ему доставляли, и т. Д. Он, в частности, упомянул о возникшем у них ошибочном представлении, что, будучи однажды поставлены во главе народа, они должны отождествляться с ним, чтобы предпочесть свои интересы интересам общей страны. Эта идея, сказал он, могла возникнуть из благородных чувств, но она была в высшей степени ошибочной и вредной в своем применении. В своих ошибочных представлениях о независимости члены его семьи иногда, казалось, рассматривали свою власть как нечто обособленное, забывая, что они были всего лишь частями большого целого, чьим взглядами интересам они должны были помогать, а не противодействовать. “Но, в конце концов, - продолжал он, “ они были очень молоды и неопытны и были окружены ловушками, льстецами и интриганами с тайными и коварными замыслами”. Затем, внезапно перейдя от их недостатков к их хорошим качествам, он добавил: “И все же, если судить по аналогии, какая семья в подобных обстоятельствах действовала бы лучше? Не каждый способен стать государственным деятелем: для этого требуется сочетание полномочий, которое не часто выпадает на долю одного человека. В этом отношении все мои братья были необычно устроены; они обладали одновременно слишком большим и слишком малым талантом. Они чувствовали себя слишком сильными, чтобы слепо подчиниться наставнику, и в то же время слишком слабыми, чтобы быть полностью предоставленными самим себе. Но, учитывая все это в целом, у меня, безусловно, есть веские основания гордиться своей семьей.

“Жозеф был бы украшением общества в любой стране, а Люсьен был бы честью для любого политического собрания. Джером, продвигаясь по жизни, развил бы в себе все качества, необходимые монарху. Людовик отличался бы в любом звании и жизненных условиях. Моя сестра Элиза была наделена мужским складом ума: в своей неблагоприятной судьбе она, должно быть, проявила себя философом. Каролина обладает большими талантами и способностями. Полин, возможно, самая красивая женщина своего времени, была и останется до конца своей жизни самым любезным созданием в мире. Что касается моей матери, то она заслуживает всякого рода почитания. Как редко такая многочисленная семья имеет право на столько похвал! Добавьте к этому, что, отбросив разногласия в политических взглядах, мы искренне любили друг друга. Со своей стороны, я никогда не переставал питать братскую

привязанность ко всем им; и я убежден, что в своих сердцах они испытывали те же чувства ко мне и что в случае необходимости они предоставили бы мне все доказательства этого.этого.”

После обеда император принял всю свою свиту, и мы оставались с ним более часа. Он был в постели, но беседовал с легкостью, и ему явно было лучше. Мы простились с ним в надежде вскоре увидеть его выздоровевшим. Мы отметили, что он не обедал с нами в течение двенадцати дней и что без него наша жизнь, наши часы, наши мгновения были безумны и лишены интереса.

ГЕОГРАФИЯ — СТРАСТЬ МОМЕНТА.—ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРОВАТЬ ПРИБЫЛА ИЗ ЛОНДОНА.-ИМПЕРАТОР НАЗЫВАЕТ ЕЕ КРЫСОЛОВКОЙ.—АНЕКДОТЫ, РАССКАЗАННЫЕ АНГЛИЧАНАМИ.—ПИСЬМА СО СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ И Др.

5. Император продолжал оставаться в своей комнате. Он послал за мной, как делал уже несколько дней, в час, назначенный для принятия ванны. Он почувствовал некоторое облегчение от боли во рту, но зубы все еще были очень нежными. Он возобновил вчерашний разговор о строении земного шара и т. Д., Поскольку император теперь проявлял абсолютную страсть к географии. Он взял мою карту мира и обратил внимание на неравномерное распределение суши и моря. Он остановился на некоторое время на обширном плоскогорье Азии; и от необъятного Тихого океана он перешел к более узкому пространству Атлантики. Он задавал множество вопросов, связанных с переменными и пассатами, муссонами Индийского океана, штилем Тихого океана, ураганами Вест-Индии и т. Д.; И он нашел в соответствующих местах на карте физические и умозрительные решения, которые наука предоставляет по этим предметам. Это чрезвычайно обрадовало его, и он продолжил изучение карты, делая замечания по ходу ее изучения: “Таблицы, - сказал он, - имеют величайшее значение для того, чтобы помочь уму проводить сравнения: они пробуждают и возбуждают идеи. Вы напали на превосходный план, составив таким образом свои таблицы истории и географии, охватывающие все замечательные обстоятельства и явления, связанные с этими науками. Я с каждым днем все больше и больше доволен вашей книгой.”^[2]

Император пожелал обратиться к некоторым из старейших книг о путешествиях, и ему принесли труды монаха Рубруки и итальянца Марко Поло. Он пробежал их взглядом и отметил, что они не содержат никакой информации и не обладают никакими другими достоинствами, кроме своего преклонного возраста.

Выйдя из ванной, он направился в свою спальню, чтобы посмотреть на большую кровать, которую ему прислали из Лондона и которую только что поставили. Он был увенчан чем-то вроде балдахина, поддерживаемого на четырех больших столбах, таких высоких, что было сочтено необходимым обрезать их у подножия, прежде чем его можно было установить в маленькой спальне императора, которую он почти заполнял. Кроме того, по той или иной причине от него исходил очень неприятный запах, и в целом он был таким громоздким и неустойчивым, что наводил на мысль о шатающемся замке. Император сказал, что это настоящая крысоловка, но что он позаботится о том, чтобы не попасться в нее. Он приказал немедленно убрать его, заметив, что не желает возиться с таким хламом. Соответственно, его убрали, а на его место поставили старую раскладушку. Путаница и неудобства, вызванные этими изменениями, сильно расстроили императора.

В течение дня у меня состоялся долгий разговор с английским моряком, восторженным поклонником императора, который рассказал мне несколько анекдотов, которые понравились мне тем более, что они были для меня совершенно новыми. Но хотя они и не общеизвестны, от этого не менее правдивы, поскольку некоторые факты рассказчик почерпнул из бесспорных источников, а другим он сам был свидетелем. Когда я впоследствии упомянул некоторые из этих подробностей императору, он немедленно вспомнил их и признал их правильность. Однако мой информатор заверил меня, что, к его великому удивлению, эти анекдоты были весьма мало распространены в Англии; и что там, так же как и во Франции, все, что делало честь Наполеону или показывало его характер в выгодном свете, было утрачено из-за той роковой случайности, на которую я так часто ссылался: клевета и ложь постоянно затмевали все хорошее, скрываясь за массой зла, которое было изобретено. Ниже приведены некоторые из анекдотов, на которые я только что ссылался.

“С нами обращались, ” сказал мой рассказчик, “ наилучшим из возможных способов. В Вердене, месте содержания английских военнопленных, мы пользовались теми же привилегиями, что и жители. Верден - очень приятный город, и мы нашли провизию и вино чрезвычайно дешевыми. Нам разрешалось выходить на несколько миль за пределы города, не утруждая себя вопросом разрешения; и мы могли, если бы пожелали, получить разрешение отсутствовать по нескольку дней кряду. Короче говоря, мы были так хорошо защищены от всякого рода неприятностей, что генерал, под командование которого мы были отданы, будучи виновен в некоторых нарушениях в обращении с нами, был отправлен в Париж специальным приказом Наполеона и из страха перед ожидавшим его наказанием покончил с собой. Однажды случилось так, что мы получили приказ оставаться в наших квартирах, и нам сообщили, что нам не разрешат покидать их в течение нескольких дней; причиной этой меры было то, что император намеревался пройти через Верден и что считалось небезопасным оставлять его в окружении такого количества пленных противника. Помимо разочарования в нашем любопытстве (ибо мы очень хотели увидеть Наполеона), этот приказ чрезвычайно задел нас. Неужели они не доверяют храбрым английским морякам? мы подумали. Возможно ли, что они путают нас с наемными убийцами? Как бы то ни было, мы были обречены на пожизненное заключение; когда в день прибытия Наполеона нам, к нашему удивлению, сообщили, что мы снова на свободе и что император очень не одобряет приказ, отданный о нашем заключении. Мы нетерпеливо устремились к императору, и он прошел мимо нас без какого-либо сопровождения, с видом полной безопасности и даже с выражением доброты, что весьма обрадовало нас. Наши приветствия были не менее искренними, чем у самих французов.

“Наполеон и Мария Луиза, возвращаясь из своего путешествия по Голландии, прибыли в Живе на Маасе, где в то время находилось несколько сотен английских пленных. Внезапно поднялась буря; прошел сильный дождь, река вышла из берегов, понтонный мост был сломан и стал непроходимым. Однако император, желая продолжить свое путешествие и не имея привычки считать что-либо невозможным, решил переправиться через реку во что бы то ни стало. Все лодочки в округе были собраны вместе, но ни один не попытался переправиться. ‘Однако, ’ сказал Наполеон, ‘ я твердо решил быть на другом берегу реки до полудня’. Он немедленно приказал привести к нему нескольких главных английских пленных. ‘Вас здесь много?’ - спросил он. “ и есть ли среди вас моряки?’ ‘Нас 500 человек, и все мы моряки’, - последовал ответ. ‘Что ж, я хочу знать, считаете ли вы возможным пересечь реку и возьметесь ли вы переправить меня на противоположный берег’. Это была признанная попытка рискованной, но некоторые из наших ветеранов взялись ее осуществить. Наполеон сел в лодку с удивившей нас уверенностью и

благополучно добрался до противоположного берега. Он сердечно поблагодарил тех, кто оказал ему эту услугу, и приказал снабдить их новой одеждой. К этому он добавил денежный подарок и даровал им свободу.

“Молодой английский моряк, охваченный страстным желанием вернуться на родину, сбежал со склада, и ему удалось добраться до побережья в окрестностях Булони, где он спрятался в лесу. Его страстное желание вернуться домой натолкнуло его на мысль смастерить небольшую лодку, которая позволила бы ему добраться до нескольких английских крейсеров, наблюдая за которыми он провел большую часть дня с вершук деревьев на берегу. Его схватили как раз в тот момент, когда он собирался выйти в море на своей маленькой лодке и предпринять отчаянную попытку добиться своей свободы. Он был заключен в тюрьму по подозрению в шпионаже или грабеже. Это обстоятельство дошло до ушей Наполеона, который в то время находился в Булони, и ему захотелось взглянуть на лодку, о которой он так много слышал. Когда ему это показали, он не мог заставить себя поверить, что какое-либо разумное существо отважилось бы выйти в нем в море. Он приказал привести к нему моряка, и молодой человек заявил, что он действительно намеревался спастись с помощью своей лодки, и единственное одолжение, о котором он просил, - это разрешение осуществить свой план. ‘Вы, кажется, очень хотите вернуться в Англию’, - сказал император. - ‘Может быть, у вас там осталась возлюбленная?’ ‘Нет,’ ответил молодой человек, ‘но дома у меня есть мать, старая и немощная, и я стремлюсь вернуться к ней’. ‘Хорошо, вы вернетесь’, — сказал Наполеон; и он немедленно приказал снабдить молодого человека новой одеждой и отправить на борт первого английского крейсера, который появится в поле зрения. Он также распорядился, чтобы ему выделили определенную сумму денег в подарок его матери, заметив, что она, должно быть, хорошая мать, раз у нее такой хороший сын”.^[3]

Среди многих актов доброты, которые император проявил по отношению к англичанам, задержанным во Франции, есть один, который стал мне известен, и объектом которого был некий мистер Мэннинг. Этот джентльмен, которого я очень хорошо знал по Парижу и которого вынудили совершить путешествие ради научных исследований, думал, что сможет получить свободу, обратившись с петицией к Наполеону с просьбой разрешить ему посетить внутренние районы Азии. Его друзья смеялись над его простотой; но он обратил смех против нас, когда по прошествии нескольких недель торжествуя сообщил нам об успехе своего заявления. Я нахожу упоминание в работе доктора О’Мира о том, что этот самый мистер Мэннинг после нескольких лет странствий посетил остров Святой Елены по возвращении в Европу и срочно попросил разрешения встретиться с Наполеоном, чтобы выразить свою благодарность, возложив к его ногам несколько подарков и ответив на любые запросы, которые он мог бы задать относительно Великого ламы, которого он имел возможность посетить благодаря особой милости Императора.

**ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИИ.—ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОЩЬ.—
ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ИНДИИ.—ПИТТ И ФОКС.—ИДЕИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.—
КОМПАНИИ, ИЛИ СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ.—М. ДЕ СЮФФРЕН.—ЗАМЕЧАНИЯ
ИМПЕРАТОРА О ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ.**

6.—Император продолжал поправляться, и около середины дня у него было несколько посетителей. Я прислуживал ему в сопровождении мадам де Монтолон. Он много беседовал о парижском обществе и рассказал несколько анекдотов о Тюильри.

Вечером император возобновил свои географические наблюдения. Он подробно остановился на Азии; на положении России и на легкости, с которой последняя держава могла бы предпринять покушение на Индию или даже на Китай, и на тревоге, которую она могла бы, следовательно, справедливо возбудить в англичанах. Он подсчитал количество войск, которые могла бы задействовать Россия, их вероятный пункт отправления, маршрут, по которому они, вероятно, будут следовать, и богатство, которое они могли бы получить в результате такого предприятия. По всем этим вопросам он сделал самые любопытные и ценные замечания. Я очень сожалею о том, что не могу записать их здесь, поскольку мои заметки в данном случае дают мне лишь незначительные намеки, и я не могу полагаться на точность своей памяти в отношении заполнения деталей.

Затем император упомянул о том, что он назвал замечательным положением России по отношению к остальной Европе, об огромной массе, которой она располагала для вторжения. Он олицетворял ту силу, которая покоилась под полюсом и была поддержана вечными ледяными бастионами, которые в случае необходимости сделали бы ее неприступной. Россия, сказал он, может быть атакована только в течение трети или четвертой части года; в то время как, напротив, у нее есть целый год, целых двенадцать месяцев, чтобы действовать против нас; ее противники столкнутся с суровостью и лишениями холодного климата и бесплодной почвы, в то время как ее войска, хлынувшие на нас, будут наслаждаться плодородием и прелестями нашего южного региона.

К этим физическим обстоятельствам, продолжал император, можно добавить преимущество огромного населения, храброго, выносливого, преданного и пассивного, включая те многочисленные нецивилизованные орды, для которых лишения и скитания являются естественным состоянием существования. “Кто может не содрогнуться, ” сказал он, “ при мысли о такой огромной массе, неприступной ни с флангов, ни с тыла, безнаказанно надвигающейся на нас; в случае победы сокрушающей все на своем пути; или, в случае поражения, отступающей среди холода и запустения, что можно назвать ее резервами на случай поражения; и обладающей всеми возможностями для повторного выступления при будущей возможности. Разве это не голова Гидры, легендарного Антея, которого можно усмирить, только схватив его целиком и задушив в своих объятиях? Но где же найти Геркулеса? Только Франция могла додуматься до такого достижения, и следует признать, что мы предприняли лишь неуклюжую попытку ”.

Император придерживался мнения, что при новом политическом раскладе в Европе судьба этой части света полностью зависит от способностей и расположения одного человека. “Если восстанет, - сказал он, - император России, доблестный, порывистый и умный; одним словом, царь с бородой на подбородке (это он произнес оченьвыразительноemphatically), Европа будет принадлежать ему. Он может начать свои операции на территории Германии, в ста лье от двух столиц, Берлина и Вены, чьи монархи являются для него единственным препятствием. Он силой обеспечивает союз одного и с его помощью одним ударом подчиняет другого. Затем он оказывается в самом сердце Германии, среди князей второго ранга, большинство из которых являются либо его родственниками, либо иждивенцами. Тем временем он может, если сочтет это необходимым, перебросить несколько головешек через Альпы, на землю Италии, готовую взорваться, и затем он может триумфально пройти в Париж, чтобы провозгласить себя новым Освободителем. Я знаю, что если бы я был в такой ситуации, я бы предпринял попытку достичь Кале за определенное время и, совершая регулярные переходы, стать хозяином и арбитром

Европы.... Затем, после нескольких минут молчания, он добавил: "Возможно, мой дорогой Лас Касес, у вас возникнет искушение сказать, как министр Пирра сказал своему хозяину: *"И, в конце концов, с какой целью?"* Мой ответ таков: установить новое состояние общества и предотвратить великие несчастья. Это благословение, которого Европа ожидает и которого добивается. Старой системе пришел конец, а новая не консолидирована и не станет таковой до тех пор, пока не пройдут долгие и яростные конвульсии".

Император снова замолчал и, измерив циркулем расстояния на карте, заметил, что Константинополь, исходя из его положения, считается центром и резиденцией всемирного владычества.

Затем он упомянул английские поселения в Индии и спросил меня, знаю ли я что-нибудь из их истории. Я рассказал ему то небольшое, что знал по этому вопросу.

Королева елизавета создала Ост-Индскую компанию в силу своей королевской прерогативы.

Столетие спустя парламент создал еще один. Однако, поскольку было установлено, что эти две компании наносят ущерб друг другу своими соревнованиями, они были объединены под одним уставом.

В 1716 году Компания получила от правителей Индии знаменитый фирман, или индийскую хартию, разрешающую им экспортировать или импортировать товары без каких-либо пошлин.

В 1741 году Компания впервые начала военное вмешательство в дела Индии в противовес французской компании, которая заняла противоположную сторону. С тех пор две нации постоянно вели войну в этой далекой стране, всякий раз, когда между ними возникало соперничество в Европе. Франция имела короткий период успеха в войне 1740 года, была разгромлена в 1755 году, сохранила равенство в 1779 году и, наконец, полностью исчезла во время Революционной войны.

Английская Ост-Индская компания в настоящее время управляет всем полуостровом, включая население численностью более 60 000 000 человек, из которых 20 000 000 являются ее подданными, 20 000 000 - ее данниками или союзниками, а остальные вовлечены в ее систему и обязаны с ней мириться.^[4]

Такова знаменитая Ост-Индская компания, которая одновременно выступает в роли купца и государя; чье богатство проистекает как из коммерческой прибыли, так и из территориальных доходов. Отсюда следует, что торговцем часто движут амбиции суверена, в то время как суверен планирует, направляет и исполняет с алчностью торговца. В этих особых обстоятельствах, в этом двойственном характере мы можем проследить причину прогресса, мер, конфликтов, противоречий, беспорядков и шумихи, которые составляют историю этой знаменитой Компании.

Английская Ост-Индская компания долгое время была абсолютной и независимой. Ее представлял и продолжает представлять Суд директоров, избираемый из числа собственников. Эти Директора делегируют и направляют в Индии посредством депеш регентство или совет, состоящий из губернатора и нескольких ассессоров, которые представляют и осуществляют суверенную власть.

В 1767 году корона впервые выдвинула претензии на территорию и доходы Индии; но Компания выкупила свой отказ от них субсидией, эквивалентной десяти или двенадцати миллионам франков.

Примерно в 1773 году Ост-Индская компания, сочтя свои дела крайне расстроеными, обратилась с заявлением в парламент, который воспользовался ее затруднительным положением, чтобы закрепить свою зависимость. Имущество Компании было подвергнуто новым политическим, судебным и финансовым регулированиям, которые, однако, не привели к удовлетворительному результату. Индийский полуостров был ввергнут в крайнее смятение; и учреждение Верховного суда, действовавшего как соперник Суверенного совета и назначенного с целью введения в стране английских законов, особенно возбудило недовольство и тревогу туземцев. Ярость партий, их взаимные обвинения и жалобы донесли до нас картину отвратительных мер, безграничной алчности и чудовищной тирании этого бурного периода, который является наименее почетным в истории Ост-Индской компании.

В 1783 году, стремясь найти радикальное средство от этого зла, мистер Фокс, который в то время был премьер-министром, выдвинул свой знаменитый законопроект, провал которого привел к его отставке. Мистер Питт, который был противником этого законопроекта, в следующем году внес другой, который заложил основу его известности и который до сих пор продолжает регулировать дела Ост-Индской компании. Законопроект Фокса фактически был бы судебным арестом; он передал бы все имущество Компании в руки управляющего комитета, который должен был погасить ее долги и избавиться от всех сотрудников. Члены этого Комитета, назначаемые королем или парламентом, должны были быть несменяемыми и заседать до тех пор, пока им не удастся наладить дела Компании на лучшей основе. Был поднят всеобщий протест против этих предложений, которые, как утверждалось, передадут важные интересы, обширное покровительство и огромное влияние в руки нескольких человек. Говорили, что Законопроект был рассчитан на введение четвертой власти в штате и создание конкурента самой короне. Мистера Фокса даже обвинили в желании навсегда утвердиться на своем посту, создав своего рода скрытый суверенитет, превосходящий суверенитет короля; поскольку, будучи в то время министром и имея парламент под своим контролем, он назначил бы предлагаемый Комитет и руководил им. Под влиянием этого Комитета он составил бы парламент и управлял им, а с помощью парламента он учредил бы и увековечил деятельность Комитета; короче говоря, власти, которой он таким образом пользовался бы, не было конца. Поднялся бурный шум, и король сделал это дело личным делом. Он обратился к своим собственным друзьям, к тем людям в Палате пэров, которые были искренне привязаны к нему, и расценил предложенные меры как посягательство на само его существование. Законопроект провалился, и Фокс уволился из министерства.

Питт был более ловок и напускал на себя вид большей сдержанности. В своем Законопроекте он просто удовлетворился тем, что поставил Компанию под своего рода опеку; передав все ее операции Комитету, назначенному для их пересмотра и переподписания. Он оставил за Компанией право назначать кандидатов на все должности, но оставил за Короной право назначать генерал-губернатора и накладывать вето на все другие кандидатуры. Этот Комитет, назначенный королем, сформировал новое подразделение в администрации. Теперь были высказаны жалобы на значительное усиление влияния, которое эта мера придавала бы королевской власти и которое, как утверждалось, безошибочно нарушило бы конституционное равновесие. Фокса упрекали в том, что он хотел сохранить это влияние совершенно отдельно от

короля, а Питта обвиняли в том, что он полностью передал его в его руки. Говорили, что все, что один хотел сделать для народа, другой сделал для монарха. Действительно, эти два различных характера, эти два противоположных зла составляли все различие между двумя законопроектами, которые привели к решающей битве между вигами и тори. Мистер Питт одержал победу, и тори восторжествовали.

Недостатки законопроекта Фокса все еще остаются гипотетическими, поскольку они никогда не подвергались проверке; но зло, которое было предсказано мерами Питта, формально исполнилось. Равновесие сил нарушено, истинная английская конституция прекратила свое существование, королевская власть, ежедневно усиливавшаяся, вторглась во все стороны и теперь беспрепятственно движется по большой дороге к произвольной и абсолютной власти.

Министры имеют в парламенте созданное ими самими большинство, которое увековечивает их власть и легализует их произвол. Таким образом, английская свобода с каждым днем все больше и больше сковывается теми самыми формами, которые были предназначены для ее защиты; и будущее, вместо того чтобы предоставлять перспективу исправления, кажется, угрожает большими несчастьями! Как план Фокса мог привести к более фатальным результатам? Ибо действительно можно сказать, что все серьезные посягательства на английскую конституцию были вызваны интересами Индии. Несомненно, вес, который Фокс хотел закрепить за народной партией, не мог быть более пагубным для дела свободы, чем тот, которым Питт завладел королевской прерогативой!

Следовательно, сейчас часто смело утверждается, что Фокс был прав, что он был мудрее и не мог быть таким озорным, как его соперник.

После того как были представлены имена Питта и Фокса, император долго останавливался на характерах, системах и мерах этих двух знаменитых государственных деятелей; и закончил следующими замечаниями, которые уже выпадали из его уст в нескольких предыдущих случаях: "Питт, " сказал он, " был хозяином европейской политики; он держал в своих руках моральную судьбу наций; но он плохо использовал свою власть. Он разжег огонь раздора по всей вселенной; и его имя, как и имя Эрострата, будет вписано в историю среди пламени, стенаний и слез!... Первые искры нашей революции, затем сопротивление, которое было противопоставлено национальной воле, и, наконец, следовавшие за этим ужасные преступления - все это было его работой. Двадцать пять лет всеобщего пожара; многочисленные коалиции, которые подлили масла в пламя; революция и опустошение Европы; кровопролитие народов; ужасающий долг Англии, благодаря которому поддерживались все эти ужасы; пагубная система займов, из-за которой угнетаются народы Европы; всеобщее недовольство, которое преобладает сейчас, — все это должно быть приписано Питту. Потомство заклеит его как бич, и человек, которого так превозносили в его время, впоследствии будет считаться гением зла. Не то чтобы я считал его по-настоящему злым или сомневался в том, что он был убежден в правильности своих действий. Но у Святого Варфоломея были и добросовестные защитники; папа и кардиналы отпраздновали его *Te Deum*, и у нас нет причин сомневаться в том, что они сделали это совершенно искренне. Такова слабость человеческого разума и суждений! Но то, за что потомки, прежде всего, будут ненавидеть память Питта, - это ненавистная школа, которую он оставил после себя, с ее наглым макиавеллизмом, глубокой безнравственностью, холодным эгоизмом и полным пренебрежением к справедливости и человеческому счастью.

“Будь то восхищение и благодарность, или результат простого инстинкта и симпатии, Питт был и останется кумиром европейской аристократии. В его характере действительно было что-то от Sylla. Его система сдерживала народное дело и привела к триумфу патрициев. Что касается Фокса, то не следует искать его образец среди древних. Он сам является образцом, и его принципы рано или поздно будут править миром”.

Император много говорил о Фоксе и выразил огромную привязанность, которую он питал к нему. Его бюст был установлен в Мальмезоне еще до того, как он познакомился с ним лично. В заключение он сделал замечание, которое часто делал в разное время и разными способами: “Конечно, - сказал он, “ смерть Фокса была одним из роковых событий в моей карьере. Если бы его жизнь продлилась, дела приняли бы совершенно иной оборот; дело народа восторжествовало бы, и мы установили бы новый порядок вещей в Европе”.

Возвращаясь к теме Ост-Индской компании, император заметил, что вопрос о сравнительных преимуществах монополии компании или свободной торговли для всех является важным предметом рассмотрения. “Компания, ” сказал он, “ предоставляет огромные преимущества в руки нескольких индивидуумов, которые могут очень хорошо заботиться о своих собственных интересах, в то время как они пренебрегают интересами массы. Таким образом, любая компания вскоре вырождается в олигархию: это всегда друг власти, которому она готова оказать любую помощь. С этой точки зрения, компании были исключительно приспособлены к старым временам и старым системам. Напротив, свободная торговля отвечает интересам всех классов; она будоражит воображение и пробуждает активность людей; она тождественна равенству и естественным образом ведет к независимости. В этом отношении она в наибольшей степени соответствует нашей современной системе. После заключения Амьенского мирного договора, по которому Франция вернула себе свои индийские владения, этот важный вопрос тщательно и обстоятельно обсуждался передо мной; я выслушал как государственных деятелей, так и коммерсантов; и мое окончательное мнение было в пользу свободной торговли и против компаний ”.

Затем император обсудил несколько вопросов политической экономии, которые рассматриваются Смитом в его книге "Богатство народов". Он признал, что они верны в принципе; но доказал, что они ложны в применении. К сожалению, скудость моих заметок здесь не позволяет мне вдаваться в подробности.

“Прежде, - сказал он, - был известен только один вид собственности, заключавшийся в земельных владениях; впоследствии возник второй вид собственности, промышленности или мануфактурных изделий, которые теперь противостоят первому; затем возник третий, тот, который проистекает из бремени, налагаемого на народ, и который, будучи распределен нейтральными и беспристрастными руками правительства, мог бы устранить зло монополии со стороны двух других, вмешаться между ними и предотвратить их фактический конфликт”. Это великое состязание современности он назвал войной *полей* против *фабрик*, *замков* против *контор*.

“Именно потому, - сказал он, - что люди не желают признавать эту великую революцию в сфере собственности, потому что они упорно закрывают глаза на эти истины, сейчас совершается так много безрассудных поступков и что нации подвержены стольким беспорядкам. Мир пережил сильное потрясение, и теперь он стремится вернуться к устоявшемуся состоянию. ”Вот, - сказал он, - в двух словах ключ к всеобщему волнению, которое преобладает в настоящее время: груз

судна был перемещен, его балласт удален с носа на корму; отсюда возникают те сильные колебания, которые могут привести его к крушению при первом шторме, если команда будет упорствовать в управлении судном обычным методом и без получения нового баланса“.

Этот день был богат материалами для моего журнала. Помимо тем, о которых я уже упоминал, было представлено несколько других. Когда речь заходила об Индии и Английской Ост-Индской компании, упоминалось имя г-на де Сюффрена.

У императора не было возможности составить правильное представление о характере этого офицера: он слышал о том, что тот оказал важные услуги своей стране, и только по этой причине он (Наполеон) был очень либерален по отношению к своей семье. Император расспрашивал меня о Сюффрене. Я не был знаком с ним лично и поэтому мог сообщить только то, что слышал о нем от других лиц на флоте. Было признано, что со времен Людовика XIV г-н де Сюффрен был единственным офицером, который имел сходство с выдающимися людьми блестящего периода нашего военно-морского флота.

Сюффрен обладал гением, изобретательностью, пылкостью, честолюбием и непреклонной уравновешенностью; он был одним из тех людей, которых природа приспособила для чего угодно. Я слышал, как очень проницательные и здравомыслящие люди говорили, что его смерть в 1789 году можно было бы рассматривать как национальное бедствие; что, если бы он был допущен в Королевский совет в критический момент, он мог бы привести дело к совершенно иному результату. Сюффрена, который был резким, капризным, эгоистичным и очень неприятным собеседником, никто не любил, хотя все ценили его и им восхищались.

Он был человеком, с которым никто не мог жить в хороших отношениях. Он был нетерпелив к контролю, любил все осуждать и, хотя постоянно выступал против полезности тактики, проявил себя как совершенный тактик. Короче говоря, он проявлял всю раздражительность и неугомонность гения и честолюбца, лишенных простора для маневра.

Получив командование индийской эскадрой, он пошел проститься с королем, и один из дворцовых офицеров с трудом смог открыть ему проход сквозь толпу. “Благодарю вас,” сказал он Билетеру, кряхтя и фыркая в своей обычной манере, “но когда я выйду, сэр, вы увидите, что я знаю, как расчистить себе дорогу”. И он говорил правду.

По прибытии в Индию он открыл новый театр "герб Франции" и показал чудеса, которые, возможно, не были должным образом оценены в Европе. Он приступил к осуществлению доселе неизвестных мер и планов командования; брал все на себя, всем рисковал, все изобретал и все предвидел. Он ломал и воспитывал своих офицеров так, как считал нужным; снаряжал и укомплектовывал экипажами корабли, которые давно были списаны; и основал на месте зимовье, когда, согласно старому распорядку, кораблям пришлось бы плыть на остров Франция, расстояние в двенадцать или полторы тысячи лье. Наконец, он нарушил все правила, приблизился к побережью, взял на борт войска, сражавшиеся со старым врагом, и, после того как они помогли ему противостоять английской эскадре, он доставил их обратно в лагерь, чтобы возобновить сражение на суше. Таким образом, французский флаг приобрел превосходство, которое привело противника в замешательство. “О,” воскликнул император, “почему Сюффрен не дожил до моего времени или почему я не обратил внимания на человека его склада? Я бы сделал его нашим Нельсоном. Я постоянно искал человека, способного поднять характер французского военно-морского флота; но я никогда не мог его найти. На военно-морском флоте

есть особенность, техническая сторона, которая препятствовала всем моим представлениям. Если бы я предложил новую идею, Гантом и все Морское ведомство немедленно ополчились бы против меня. — Сир, этого не может быть. — «Почему бы и нет?» — «Сир, ветры этого не допускают». Затем начались возражения относительно штилей и течений, и я был вынужден резко остановиться. Как возможно поддерживать дискуссию с теми, чей язык мы не понимаем? Как часто в Государственном совете я упрекал морских офицеров в том, что они злоупотребляют этим обстоятельством! Послушав их разговоры, можно было бы предположить, что нужно родиться на военно-морском флоте, чтобы хоть что-то знать о нем. И все же я часто говорил им, что, если бы в моих силах было совершить с ними путешествие в Индию, я бы по возвращении был так же хорошо знаком с их профессией, как с полем битвы. Но они не могли поверить в это. Они всегда повторяли, что ни один человек не может быть хорошим моряком, если его не приучали к этому с пеленок; и в конце концов они убедили меня принять план, относительно которого я долго колебался, а именно зачислить в школу несколько тысяч детей в возрасте от шести до восьми лет.

«Мое сопротивление было напрасным; я был вынужден уступить единодушному голосу, в то время как я заверил тех, кто призывал меня к этой мере, что я оставляю всю ответственность на них. Каков же был результат? Это вызвало шум и недовольство со стороны общественности, которая превратила все это дело в насмешку, назвав его массовым убийством невинных и т.д. Впоследствии Де Винтер, Верхуэль, все великие флотоводцы севера и другие уверяли меня, что с восемнадцати до двадцати лет (возраст для призыва на военную службу) было достаточно рано, чтобы начать изучать обязанности моряка. Датчане и шведы используют своих солдат во флоте. У русских флот — это всего лишь часть армии, которая дает неоценимое преимущество в поддержании постоянной армии и для достижения двойной цели.

«Я сам, » добавил он, « планировал нечто подобное, когда создавал свою морскую пехоту; но с какими препятствиями мне пришлось столкнуться; какие предрассудки мне пришлось преодолеть; какую настойчивость мне пришлось проявить, прежде чем я смог облачить матросов в форму, сформировать из них полки и обучить их военным упражнениям! Мне сказали, что я должен все разрушить. И все же, может ли быть большее преимущество, чем для одной страны обладать и армией, и флотом? Люди, дисциплинированные таким образом, были не худшими моряками, чем остальные, и в то же время они были лучшими солдатами. Они были, в случае необходимости, готовы служить матросами, солдатами, артиллеристами, понтонистами и т. д. Если бы вместо того, чтобы сталкиваться с подобными препятствиями, я нашел на флоте человека, способного разделять мои взгляды и продвигать мои идеи, какого значения мы могли бы не иметь! Но за время моего правления я так и не нашел морского офицера, который мог бы отойти от старой рутины и избрать новый курс. Я был очень привязан к военно-морскому флоту; я восхищался мужеством и патриотизмом наших моряков; но я никогда не находил между ними и собой посредника, который мог бы привести их в действие так, как я хотел».

ИМПЕРСКАЯ СИСТЕМА НАПОЛЕОНА.—ПРЕФЕКТЫ.—АУДИТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.—МОТИВЫ ИМПЕРАТОРА При НАЗНАЧЕНИИ НА ВЫГОДНЫЕ ДОЛЖНОСТИ.—ЕГО БУДУЩИЕ НАМЕРЕНИЯ.

7. Говоря о своей имперской системе, Наполеон заметил, что она была средством создания наиболее компактного правительства, установления наиболее быстрого кровообращения во

всех его частях и проявления самых нервных усилий, которые когда-либо были засвидетельствованы. “И ничто иное, - сказал он, - не позволило бы нам одержать победу над такими многочисленными трудностями и совершить так много чудес. Организация префектур, их деятельность и достигнутые ими результаты были достойны восхищения. Один и тот же импульс был одновременно передан более чем 40 000 000 человек; и с помощью этих центров местной активности движение в конечностях было не менее быстрым и энергичным, чем в самом сердце.

“Иностранцы, посетившие Францию и способные наблюдать и разбираться, были полны изумления. К этому единообразию действий, преобладающему на огромной территории, следует отнести те колоссальные усилия и колоссальные результаты, которые, по общему признанию, были до сих пор немыслимы.

“Префекты, обладавшие местной властью и ресурсами, сами были императорами в небольшом масштабе. Поскольку вся их власть исходила из главного источника, для которого они были лишь связующими каналами; поскольку их влияние не было личным, а проистекало из их временных функций; поскольку они не имели никакой связи с округом, на который распространялась их юрисдикция; они предоставляли все преимущества великих абсолютных агентов старой системы без каких-либо их недостатков. Было необходимо создать эту власть, ” продолжал император, “ ибо сила обстоятельств поставила меня в положение диктатора. Требовалось, чтобы все нити, исходящие от меня, были в гармонии с первопричиной, иначе моя система дала бы сбой в результате. Сеть, которую я раскинул по территории Франции, требовала сильного напряжения и поразительной силы эластичности, чтобы ужасные удары, которые постоянно наносились нам, отражались на некотором расстоянии. Таким образом, большинство пружин моего механизма были просто учреждениями, связанными с диктатурой, и мерами военной обороны. Когда бы настал момент ослабить вожжи, все мои связующие нити сочувственно расслабились бы, и тогда мы бы приступили к установлению мира и местных институтов. Если мы до сих пор не обладали ни одним из них, то лишь потому, что обстоятельства не допускали этого. Наше немедленное падение было бы неизбежным следствием, если бы мы были обеспечены ими с самого начала. Не следует предполагать, что нация была полностью готова к надлежащему использованию своей свободы. Как в отношении образования, так и характера, основная масса людей была пропитана слишком многими предрассудками прошлых времен. Мы ежедневно совершенствовались, но нам еще многое предстояло приобрести. Во время революционного взрыва патриоты, вообще говоря, были таковыми по природе и инстинкту: для них патриотизм был врожденным чувством, страстью, порывом. Отсюда искрометность, экстравагантность, ярость, которыми был отмечен тот период. Но тщетно пытаться натурализовать и развить современную систему ударами или скачками. Это должно быть привито образованием и должно укорениться разумом и убежденностью; и это безошибочно произойдет со временем, потому что современные принципы основаны на естественных истинах. Но, - добавил он, - люди нашего времени стремились к обладанию властью, которую они осуществляли свластным духом, если не сказать хуже, в то время как, с другой стороны, они были готовы стать рабами тех, кто был выше их!.... Мы всегда колебались между этими двумя крайностями. В ходе моих поездок мне часто приходилось говорить высшим офицерам, которые были рядом со мной: — Прошу вас, позвольте префекту говорить самому за себя. Если я приходил в какое-нибудь подразделение департамента, то считал необходимым сказать префекту: — Пусть супрефект или мэр выскажут свой ответ". Все так стремились затмить друг друга, и так мало они осознавали преимущество, которое могло бы возникнуть от прямого

общения со мной! Если я посылал своих высокопоставленных чиновников или министров председательствовать в коллегиях выборщиков, я всегда советовал им не выдвигаться кандидатами в Сенат, поскольку их места были обеспечены им другими средствами, и я желал, чтобы они уступили честь выдвижения видным лицам провинций: но они никогда не соглашались с моими пожеланиями ”.

Это напомнило мне о недоразумении, которое однажды произошло между императором и министром ~~декре~~[Декре](#) по упомянутому здесь вопросу. Император выразил неудовольствие назначением министра: “Сир, - ответил тот, - ваше влияние сильнее вашей воли. Я напрасно сопротивлялся и уверял их, что вы хотели бы, чтобы эти кандидатуры были выдвинуты между ними самими. Они настаивали на том, чтобы проявить уважение к вашему выбору, и если вы отправите меня обратно, я буду выдвинут только снова ”.

“Я назначил, - сказал Наполеон, - огромное жалованье префектам и другим лицам; но что касается моей щедрости в этом вопросе, необходимо проводить различие между тем, что было систематическим, и тем, что было случайным. Последнее вынудило бы меня соглашаться на выгодные назначения; первое, в конечном счете, позволило бы мне получать безвозмездные услуги. В самом начале, когда целью было примирение индивидов и восстановление какого-либо общества и морали, либеральное жалованье, абсолютные состояния были необходимы; но поскольку результат был достигнут и с течением времени естественный порядок вещей восстановлен, моим намерением, напротив, было бы сделать почти все высокие общественные обязанности безвозмездными. Я бы отказался от тех нуждающихся людей, которые не могут быть сами себе хозяевами и чьи насущные потребности порождают политическую безнравственность. Я бы произвел такое изменение во мнении, что на государственные должности следовало бы претендовать просто из-за чести их занимать. Функции магистрата или мирового судьи выполняли бы люди состоятельные, которые, руководствуясь исключительно долгом, филантропией и честолюбием, были бы самым надежным залогом независимости. Именно это составляет достоинство и величие нации, возвышает ее характер и устанавливает общественную мораль. Такая перемена стала необходимой во Франции, и нежелание становиться на свое место можно было бы считать предвестником нашего возвращения к политической морали. Мне сообщили, что мания поиска новых мест пересекла море и что зараза передалась нашим соседям. Англичане прежних времен были настолько же непримиримы к такого рода подлости, насколько жители Соединенных Штатов сейчас. Любовь к месту является величайшим препятствием для общественной морали. Человек, который домогается общественного поста, чувствует, что его независимость заранее продана. В Англии самые знатные семьи, все пары пренебрегают охотой за местами. Их оправдание заключается в том, что огромное бремя налогообложения лишает их средств к существованию без увеличения их доходов. Жалкое притворство! Это потому, что их принципы пришли в еще больший упадок, чем их состояние. Когда люди определенного ранга опускаются до того, чтобы занимать государственные должности ради получения вознаграждения, наступает конец всякой независимости и достоинству национального характера. Во Франции потрясения и потрясения нашей Революции могли бы послужить извинением за такое поведение. Все были выбиты из колеи, и все чувствовали необходимость восстановить себя. Чтобы способствовать достижению этой цели с наименьшим возможным оскорблением деликатности чувств, я был вынужден назначить значительное вознаграждение и высокие почести на все государственные должности. Но со временем я намеревался добиться изменений с помощью простой силы

мнения. И это ни в коем случае не было невозможно. Каждая вещь должна поддаваться влиянию силы, когда она направлена на истинно справедливые, благородные и великие цели.

“Я готовил счастливое правление для своего сына. Ради него я воспитывался в новой школе, в многочисленном классе аудиторов Государственного совета. Завершив свое образование, они по достижении соответствующего возраста заняли бы все государственные должности в Империи, утвердившись таким образом в современных принципах и совершенствуясь на примере своих предшественников. Все они были бы на двенадцать-пятнадцать лет старше моего сына, который таким образом оказался бы между двумя поколениями со всеми их преимуществами: зрелость, опыт и благоразумие выше его; молодость, расторопность и активность ниже”.

Здесь я не мог удержаться от выражения своего удивления по поводу того, что император никогда не упускал ни малейшего намека на грандиозные и важные объекты, которые он рассматривал. “Какой был бы смысл обнародовать мои намерения, ” сказал он. “ Меня назвали бы шарлатаном, обвинили в инсинуации и коварстве и дискредитировали. Находясь в таком положении, лишенныйнаследственной власти и иллюзии, называемой легитимностью, я был вынужден избегать выхода на ристалище вместе со своими противниками; я был обязан быть смелым, властным и решительным. Вы рассказывали мне, что в вашем Предместье обычно говорили: *Почему он не законнорожденный?* Если бы я был таким, я, конечно, не смог бы сделать больше, чем сделал; но мое поведение могло бы показаться более дружелюбным”.

ВАНДЕЯ.—ШАРЕТТ.—ЛАМАРК.—ТРАГЕДИИ ЭСХИЛА И СОФОКЛА.—НАСТОЯЩИЕ ТРАГЕДИИ РИМЛЯН.—"МЕДЕЯ" СЕНЕКИ.—УНИКАЛЬНЫЙ ФАКТ.

8—го числа император продиктовал что-то одному из своей свиты, чему мы были очень рады, поскольку это было доказательством того, что он почувствовал себя лучше.

Я зашел к нему после обеда. Напряжение от диктовки, казалось, подняло его настроение. Он был в очень разговорчивом настроении, и мы беседовали вместе, расхаживая взад и вперед по его комнате. Смуты Вандеи и люди, которые отличились в них, стали основными темами разговоров.

Шаретт был единственным человеком, которому император придавал особое значение. “Я читал историю Вандеи, ” сказал он, - и, если детали и портреты верны, Шаретт был единственным великим персонажем, настоящим героем того замечательного эпизода нашей Революции, который, если и принес большие несчастья, то, по крайней мере, не принес в жертву нашей славе. В вандейских войнах французы уничтожали друг друга; но они не унижались: они получали помощь от иностранцев; но они не опускались до позора, маршируя под их знаменами и получая ежедневное жалованье просто за выполнение их приказов. Да, ” продолжал он, “ Шаретт произвел на меня впечатление великого персонажа. Я заметил, что в нескольких случаях он действовал с необычайной энергией и бесстрашием. Он выдал гениальность ”. Я упомянул, что очень хорошо знал Шаретта в юности; мы вместе служили в морской пехоте в Бресте, и долгое время мы жили в одной комнате и ели за одним столом. Блестящая карьера и подвиги Шаретта очень удивили всех, кто раньше был с ним знаком. Мы смотрели на него как на заурядного человека, лишённого информации, с дурным характером и крайне ленивого; и все мы в один голос заявили, что он принадлежит к классу незначительных существ. Это правда, что, когда он начал становиться знаменитостью, мы вспомнили об одном

обстоятельстве, которое, несомненно, свидетельствовало о решительности его характера. Когда Шаретта впервые призвали на службу, во время американской войны, и он был еще совсем юношей, зимой он отплыл из Бреста на катере. Катер потерял мачту, а для судна такого класса такая авария была равносильна неминуемой гибели. Погода была очень штормовой. Смерть казалась неизбежной, и матросы, упав на колени, потеряли всякое присутствие духа и отказались предпринимать какие-либо усилия, чтобы спастись. Шаретт, несмотря на свою чрезвычайную молодость, убил одного из матросов, чтобы заставить остальных приложить необходимые усилия. Этот ужасный пример возымел желаемое действие, и судно было спасено. “Видите ли, ” сказал император, “ истинное определение характера всегда проявляется само по себе в критических обстоятельствах. Вот та искра, которая отличала героя Вандеи. Склонности людей часто неправильно понимают. Есть спящие, чье пробуждение ужасно. Клебер был обычным дремлющим человеком, но в нужный момент он, как лев, никогда не упускал случая проснуться”.

Я добавил, что часто слышал, как Шаретт рассказывал, что в конкретный момент крайней опасности вся команда куттера, повинаясь спонтанному порыву, дала обет отправиться в одних рубашках и босиком, чтобы отнести свечу к Брестской Богоматери Воздаяния, если она соизволит обеспечить их безопасность. “И вы можете верить в это или нет, как вам заблагорассудится, - добавил Шаретт с величайшей простотой. - Но факт остается фактом: не успели они произнести свою молитву, как ветер внезапно стих, и с этого момента у нас появилась надежда на спасение”. По возвращении на сушу матросы во главе со своими офицерами свято исполнили свой обет. Это было не единственное чудесное обстоятельство, связанное с маленьким катером. Это было в декабре месяце, и ночь была долгой и темной. Судно попало на рифы и, не имея мачты или какой-либо навигационной помощи, плыло наугад, и команда уже покорила воле судьбы, когда неожиданно услышала звон колокола. Они протрубили и, обнаружив небольшую глубину, бросили якорь. Каково же было их удивление и радость, когда на рассвете они оказались в устье реки Ландернау! Колокол, который они слышали, принадлежал соседней приходской церкви. Катер чудом избежал многочисленных камней, разбросанных у входа в Брест: его отнесло через узкий залив в порт, он миновал три или четыре сотни кораблей, стоявших на рейде, и, наконец, нашел убежище точно в устье реки, в тихом и уединенном месте. “Это, ” сказал император, “ показывает разницу между усилиями человека с завязанными глазами и определенным ходом природы. То, чему вы выражаете столько удивления, обязательно должно было произойти. Весьма вероятно, что при полной силе проявления высочайшего мастерства минутная неразбериха и ошибки привели бы к крушению судна; тогда как, несмотря на столько неблагоприятных случайностей, природа спасла его. Прилив уносил ее вперед; сила течения несла ее точно через середину каждого канала, так что она никак не могла потеряться”.

Снова ссылаясь на Вандейскую войну, император упомянул, что он был отозван из альпийской армии с целью перевода в Вандейскую; но что он предпочел сложить с себя полномочия поступлению на службу, где, по его мнению, он должен был участвовать только во вредительстве, без вероятности получения какой-либо личной выгоды. Он сказал, что одним из первых действий его консульства было подавление беспорядков в Вандее. Он много сделал для этого несчастного департамента, жители которого были ему очень благодарны; и когда он проходил через него, даже священники, казалось, были искренне благосклонны к нему. “Таким образом, - продолжал император, - последние восстания не носили того характера, что первое. Их выдающейся чертой был не слепой фанатизм, а просто пассивное повиновение правящей

аристократии. Как бы то ни было, Ламарк, которого я отправил в Вандею в разгар кризиса, сотворил чудеса и даже превзошел мои надежды”. Чего только не стоило его влияние в великой борьбе, ибо самые выдающиеся вожди Вандеи, те, кто, несомненно, в этот момент пользуется благосклонностью Двора, признали через Ламарка Наполеона императором даже после Ватерлоо, даже после его отречения! Было ли это из-за того, что Ламарк не знал реального положения вещей, или это была просто прихоть со стороны завоевателя? Как бы то ни было, Ламарк находится в изгнании: он один из тридцати восьми, “потому что легче запретить, чем победить”.

Император обедал с нами сегодня, впервые после своей болезни, то есть за шестнадцать дней. Таким образом, наш обед был своего рода праздником, но мы не могли не отметить с сожалением перемену во внешности императора, на которой были очевидные следы пагубных последствий его долгого заключения.

После ужина мы возобновили наши чтения, которые были так надолго приостановлены. Император прочел "Агамемнона" Эсхила, которым он очень восхищался за его огромную силу и простоту. Нас особенно поразила градация ужаса, которая характеризует постановки этого отца трагедии. Было замечено, что это была первая искра, от которой можно проследить свет современной драмы.

Когда "Агамемнон" был закончен, император попросил показать "Эдипа Софокла", который также чрезвычайно заинтересовал нас, и император выразил сожаление по поводу того, что его не исполнили в Сен-Клу. Тальма всегда возражал против этой идеи, но император сожалел, что он отказался от нее. “Не то чтобы я хотел исправить нашу драму по античным образцам, “ сказал он. Боже упаси! Но я просто хотел иметь возможность оценить, насколько древняя композиция соответствовала бы современным представлениям”. Он сказал, что убежден, что такое исполнение доставило бы удовольствие; и он сделал несколько замечаний о впечатлении, которое, вероятно, произведут на современный вкус греческие хоры Корифея и т. Д.

Затем он обратился к "Эдипу" Вольтера, которому дал высокую оценку. По его словам, это произведение содержит лучшую сцену во французской драме. Что касается его недостатков, например, абсурдной страсти Филоктета, то их, по его словам, следует приписывать не поэту, а нравам эпохи и великим актрисам того времени, законам которых драматический писатель обязан подчиняться. Эта похвала Вольтеру несколько удивила нас: в устах императора это было что-то новое и необычное.

В одиннадцать часов, после того как император лег спать, он послал за мной и возобновил свой разговор о древней и современной драме, по поводу которого сделал много любопытных замечаний. Во-первых, он выразил свое удивление по поводу того, что у римлян не было трагедий; но затем он снова заметил, что трагедия в драматическом представлении была бы плохо рассчитана на то, чтобы пробудить чувства римлян, поскольку они разыгрывали настоящую трагедию в своих цирках. “Бои гладиаторов, ” сказал он, - зрелище людей, отданных на растерзание диким зверям, были гораздо ужаснее всех наших драматических ужасов, вместе взятых. Фактически, это были единственные трагедии, которые подходили для железных нервов римлян”.

Однако было замечено, что у римлян имелось несколько драматических эссе, написанных Сенекой. Кстати, любопытен тот факт, что в "Медее" Сенеки хор отчетливо предсказывает

открытие Америки, которое произошло через четырнадцать столетий после написания этой драмы. В отрывке, на который здесь ссылаются, говорится: “Новый Тифис, сын земли, в грядущие века откроет отдаленные регионы на западе, и Туле больше не будет концом Вселенной”.^[5]

ИМПЕРАТОРУ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ.—ИСТОРИЯ "АДСКОЙ МАШИНЫ".—МАДАМ Р. ДЕ СЕН-ЖО- Д'А--- -ДВЕ ИМПЕРАТРИЦЫ.-ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ ЖОЗЕФИНЫ.- ХАРАКТЕРНЫЕ АНЕКДОТЫ ОБ ИМПЕРАТОРЕ.

9.— Сегодня император чувствовал себя несравненно лучше. Его окружила вся его свита, и он начал рассказывать о чудесах своей ранней карьеры, которые, по его словам, должны были произвести большое впечатление на мир. “Настолько сильное впечатление, - сказал один из присутствующих, - что некоторые были склонны считать их сверхъестественными”. По этому поводу был рассказан следующий анекдот: во время взрыва адской машины человек, только что услышавший эту новость, зашел в дом в определенном квартале столицы и, поспешно войдя в гостиную, где собралась компания, сообщил присутствующим, что Наполеона больше нет; и после рассказа о только что произошедшем событии он закончил словами: “Он совершенно взорван. ”Он взорвался!“ - воскликнул старый австрийский офицер, который жадно слушал все, что было сказано, и который был свидетелем многих опасностей, которых так чудесным образом избежал молодой генерал итальянской армии. ”Он взорвался! Ах! вы ничего о нем не знаете. Осмелюсь сказать, что в этот самый момент он такой же, как и любой из нас. Я знаю его и все его старые проделки!”

Было упомянуто имя мадам Р. де Сен-Жо-д'А, и кто-то заметил императору, какую сильную привязанность она проявляла к нему во время его пребывания на острове Эльба. “Как? она?” воскликнул император со смешанным чувством удивления и удовлетворения.— Да, сир.“ Бедная леди! ” сказал он с глубоким сожалением. “ И все же как дурно я с ней обращался! Что ж! это, по крайней мере, воздаст мне за неблагодарность тех ренегатов, на которых я расточал столько милостей.... Затем, после нескольких мгновений молчания, он многозначительно произнес: ”Совершенно очевидно, что никогда нельзя узнать характеры и чувства людей, пока не пройдут великие испытания“.

За обедом император был очень добродушен и жизнерадостен. Он поздравил себя с тем, что справился со своей поздней болезнью, не прибегнув к лекарствам, не воздав должное Доктору. По его словам, последний был очень раздосадован. Он был бы доволен самым малым, малейшим признанием; он только просил соблюдать форму, как священник на исповеди. Император рассмеялся и добавил, что из простой любезности он попробовал полоскание для горла, но его сильная кислотность не понравилась ему. Это привело его к выводу, что мягкие лекарства лучше всего подходят для его конституции. “Мягкие средства, будь то физические или моральные, - сказал он, - это единственные, которые действуют на меня”.

В ходе беседы император заговорил об императрицах Жозефине и Марии Луизе, о которых он рассказал несколько очень интересных подробностей, и закончил своим обычным замечанием, что одна была образцом граций со всеми их прелестями, а другая - символом невинности со всеми ее прелестями.

Император упомянул, что Мальмезон стоил около трехсот-четыре-хот тысяч франков, то есть все, чем он владел в то время. Затем он подсчитал сумму, которую императрица Жозефина, должно быть, получила от него, и добавил, что при небольшом порядке и регулярности она, вероятно, могла бы оставить после себя пятьдесят или шестьдесят миллионов франков. “Ее расточительность,” сказал император, “раздосадовала меня сверх всякой меры. Как бы я ни был расчетлив, я, конечно, предпочел бы пожертвовать миллион франков, чем видеть, как сто тысяч растрачиваются впустую. Он сообщил нам, что, однажды неожиданно ворвавшись на утренний кружок Жозефины, он застал там знаменитую модистку, которой категорически запретил приближаться к императрице, поскольку она разоряла ее своими экстравагантными требованиями. Мое неожиданное появление вызвало большое смущение на академическом заседании. Я незаметно отдал несколько распоряжений, и после ухода дамы ее схватили и доставили в Бисетр. В высших кругах Парижа был поднят большой шум; говорили, что мое поведение было позорным. Вскоре стало модным навещать модистку в ее заключении, и к воротам тюрьмы ежедневно подъезжала вереница экипажей. Полиция сообщала мне об этих фактах. — Тем лучше, - сказал я. - Но я надеюсь, с ней не обращаются сурово, не запирают в темницу? - “Нет, сир, у нее есть апартаменты и гостиная”. Ну что ж! оставь ее в покое. Если эта мера будет признана тиранической, тем лучше; это будет ударом по диапазону для очень многих других. Очень немного покажет, что я могу сделать больше”. Он также упомянул знаменитого модиста, который, по его словам, был самым наглым типом, которого он когда-либо встречал за всю свою жизнь. “Однажды, - сказал император, - я разговаривал с ним *оприданом*, которое он мне предоставил, когда он имел наглость поставить под сомнение мое поведение. Он сделал то, на что не отважился бы ни один человек во Франции, кроме него самого: он начал с большой словоохотливостью доказывать мне, что я не выделял достаточного содержания императрице Жозефине и что она не могла оплатить свою одежду из такой суммы. Вскоре я положил конец его дерзкому красноречию; я оборвал его взглядом и оставил прикованным к месту”.

Когда император удалился в свои покои, он послал за мной, и после того, как он лег спать, он продолжал очень весело беседовать на различные темы. Он сказал, что чувствует себя намного лучше и что ему приятно поболтать. Однако его очень беспокоил кашель, и это вынудило его встать из-за стола раньше, чем он сделал бы в противном случае. “Я бездумно взял слишком много табаку,” сказал он, “мое внимание было поглощено текущим разговором. В таком случае тебе всегда следует забирать мою табакерку: так нужно служить тем, кого любишь”.

ВОЙНА НА БОЛЬШИХ ДОРОГАХ.—ДЮМУРЬЕ СМЕЛЕЕ НАПОЛЕОНА.—ПРИНЦЕССА ШАРЛОТТА УЭЛЬСКАЯ И ПРИНЦ САКСЕН-КОБУРГСКИЙ.

10—е. - Вот уже несколько дней император читает труды о войне, укреплениях, артиллерии и т. Д. Он изучил Вобана, отчет о кампаниях во время революции, Словарь Гассенди и Тактику Гиберта; всем этим он очень доволен. Эти темы побудили его рассказать о нескольких генералах, которые уже были часто замечены в ходе написания этого Дневника. “Они могли

вести войну только на больших дорогах, - сказал он, - и в пределах досягаемости пушек, когда поле их битвы должно было простираться на целую страну”.

За ужином он заговорил о Кампании Дюмуре в Шампани, которую только что прочитал. Он был невысокого мнения о герцоге Брауншвейгском, который, разработав план наступательных операций, продвинулся всего на восемнадцать лье за сорок дней. Но, с другой стороны, он очень сильно винил Дюмуре, положение которого, по его словам, было слишком опасным. “Для меня это говорит о многом, - добавил он, - поскольку я считаю себя самым отважным человеком на войне, который, возможно, когда-либо жил. И все же я, конечно, побоялся бы сохранить позицию, которую занимал Дюмуре; так многочисленны были опасности, которые это представляло. Я мог объяснить его маневр только предположением, что он не мог рискнуть отступить; отступая, он, вероятно, столкнулся бы с большим риском, чем оставаясь там, где был. Веллингтон оказался в такой же ситуации при Ватерлоо.

“Французы - самые храбрые войска в мире. Они будут сражаться, на какой бы позиции на них ни напали; но они не могут отступить перед победоносным врагом. Если они испытывают малейшую проверку, они теряют всякое присутствие духа и дисциплину; они как бы ускользают у вас сквозь пальцы. Дюмуре, я полагаю, рассчитывал на это; или, возможно, на него могли повлиять какие-то секретные переговоры, о которых мы ничего не знаем”.

В газетах, которые мы просматривали сегодня, упоминалось о женитьбе принца Леопольда Саксен-Кобургского на принцессе Шарлотте Уэльской.

“У принца Леопольда, - сказал император, - однажды был шанс стать моим адъютантом. Он добивался этого назначения, и я не знаю, что помешало ему его получить. Однако ему повезло, что его заявление оказалось безуспешным: если бы было иначе, его нынешний брак никогда бы не состоялся. Кто может претендовать на то, чтобы говорить, что является удачным или неудачным в событиях человеческой жизни?..”

Следующей темой разговора стала принцесса Шарлотта Уэльская. Кто-то заметил, что она чрезвычайно популярна в Англии и что она дала много недвусмысленных доказательств энергии характера. Англичане придерживались мнения, что она станет второй Елизаветой, и она сама, казалось, лелеяла эту идею. Человек, сделавший эти замечания, сказал, что ему довелось быть в Лондоне в 1814 году, в то время, когда юная принцесса, возмущенная жестоким обращением со своей матерью, ускользнула от принца-регента и, сев в первую наемную карету, которая попалась ей на улице, поехала в резиденцию своей матери, к которой она была нежно привязана. В этом случае природная суровость англичан сменилась снисходительностью, и все были склонны простить нарушение приличий, принимая во внимание дружеские чувства, вызвавшие его. Юная принцесса не хотела покидать свою мать до тех пор, пока герцог Йоркский или другой ее дядя и, как говорили, лорд-канцлер не убедили ее вернуться к отцу, заверив, что упорство в избранном ею курсе поставит под угрозу счастье ее матери, возможно, даже ее жизнь.

Принцесса Шарлотта уже продемонстрировала решительность характера, отказавшись выйти замуж за принца Оранского. Ее причиной отказа от этого союза было то, что это вынудило бы ее время от времени проживать за пределами Англии; и это поистине национальное чувство способствовало тому, что она стала еще более дорога английскому народу.

Англичане, находящиеся на острове Святой Елены, уверяют нас, что ее союз с принцем Саксен-Кобургским полностью соответствовал ее собственным желаниям, и что она публично заявила, что надеется на счастье, потому что в своем выборе руководствовалась исключительно чувствами. Говорили, что она была очень привязана к принцу Леопольду. “Я охотно верю этому, — сказал император. — Я помню его очень хорошо; и когда он появился в Тюильри, я подумал, что он один из самых красивых молодых людей, которых я когда-либо видел”. В течение этих нескольких дней англичане, которые находятся здесь, рассказали случай, который они рассматривают как доказательство высокого духа и благородства чувств со стороны их будущей королевы. Незадолго до ее замужества один из министров посетил ее с целью уладить некоторые домашние дела и, сделав ей несколько предложений, которые она сочла недостаточно либеральными, сказала: “Милорд, — сказала она, — я наследница трона Великобритании; и мой разум поднялся до уровня того высокого положения, которое мне суждено занять. Следовательно, я должен быть обеспечен соответствующим образом. Не воображайте, что, выйдя замуж за принца Леопольда, я когда-либо смогу или захочу опуститься до положения *госпожи Кобург*. Умоляю вас, не допускайте подобной мысли.

Юная принцесса — кумир английского народа, который с нетерпением ждет ее правления, поскольку оно открывает перспективу будущего счастья.

Император, снова намекая на принца Леопольда и на шанс, который у него был, стать его адъютантом, сказал: “Толпа немецких принцев просила о такой же милости. Когда я учредил Рейнскую конфедерацию, монархи, которые входили в нее, считали само собой разумеющимся, что я намеревался возродить в своем лице этикет и формы Священной Римской империи; и все, даже сами короли, стремились присоединиться к моей свите. Один пожелал быть назначенным моим виночерпием, другой — моим великим дворецким и т. д. В это время немецкие принцы буквально наводнили Тюильри; они переполняли салоны и скромно общались с офицерами моего двора. То же самое было с итальянцами, испанцами и португальцами; короче говоря, в Тюильри собрались все самые возвышенные личности Европы. Дело в том, ” добавил император, “ что во время моего правления Париж был королевой наций, а французы — первой нацией в мире!..”

ЗАМЕЧАНИЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ ВАЖНЫМ ТЕМАМ.—ДЕБЮТ НАПОЛЕОНА В ДИПЛОМАТИИ.—КОНЦЕНТРАЦИЯ НАЦИЙ ЕВРОПЫ.—ЗАВОЕВАНИЕ ИСПАНИИ.—ОПАСНОСТЬ СО СТОРОНЫ РОССИИ.—БЕРНАДОТТ.

11—е число.— Император сегодня не выходил из своих покоев. Я провел с ним почти весь день, потому что оставил его только для того, чтобы пойти обедать.

Разговоры в тот день были рассеянными и интересными, поскольку император был чрезвычайно разговорчив. Он обсуждал множество тем, совершенно разнородных по своей природе, хотя они естественным образом переходили одна от другой. Его беседа изобиловала идеями и фактами, совершенно новыми для меня. Но количество и важность замечаний императора сделали для меня невозможным охватить их все. Мое стремление записать прошлое наблюдение иногда приводило к тому, что настоящее ускользало от меня; но именно по этой причине я могу с большей уверенностью поручиться за точность того, что я сохранил.

Говоря об элементах общества, император сказал: “Демократия может быть разъяренной, но у нее есть сердце, она может быть тронута. Что касается аристократии, то она всегда холодна и неумолима”.

В другой раз, после некоторых предварительных наблюдений, он сказал: “Все человеческие институты представляют две противоположные точки зрения; у всех есть свои преимущества и недостатки: например, как республиканское, так и монархическое правительство можно защищать и противостоять ему. Несомненно, теоретически легко доказать, что и то, и другое одинаково хорошо и очень хорошо; но на практике это не так просто”. Он заметил, что крайней границей правления многих была анархия; и что крайней границей правления одного человека был деспотизм; что справедливое посредничество между обоими, несомненно, было бы наилучшим, если бы в силах мудрости неуклонно следовать таким курсом. Он добавил, что эти истины повторялись до тех пор, пока не стали абсолютно банальными, не принося никакого хорошего результата; что на эту тему было написано много томов, и многие из них все еще будут написаны без эффекта.

Император в другой момент сказал: “Деспотизм не абсолютен, а всего лишь относителен. Человек не может безнаказанно вбирать в себя всю власть. Если султан отрубает головы своим подданным по сиюминутной прихоти, он рискует потерять свои собственные из-за такого же каприза. Избыток всегда будет склоняться либо в одну, либо в другую сторону. То, что море приобретает, вторгаясь в одном направлении, оно теряет в другом. Когда я был в Египте завоевателем, абсолютным правителем и повелителем, диктующим законы людям простыми повседневными приказами, я не мог бы осмелиться обыскивать дома, и не в моих силах было бы помешать жителям свободно разговаривать в их кофейнях, где свобода и независимость царили даже в большей степени, чем в Париже. Во всех других местах люди уступали, как рабы; но они решили пользоваться полной свободой в своих кофейнях, которые были абсолютными цитаделями свободы, базарами общественного мнения. Здесь они громко декламировали и выносили суждения о мерах дня: было бы невозможно закрыть им рты. Если мне случалось входить в эти места, все склонялось передо мной, это правда; но это был знак уважения лично ко мне. Такого почтения не было оказано ни одному лейтенанту.

“Как бы то ни было, ” сказал он, переходя к другой теме, “ Франция, будучи подвержена противоположному влиянию многих, была на грани падения под ударами объединенной Европы; но она передала руль в руки одного, и немедленно Первый консул установил закон для Европы. Такова сила единства и концентрации; это факты, которые должны быть убедительными для самого скудного понимания.

“Любопытно было наблюдать, что старые кабинеты министров Европы были неспособны осознать важность этой перемены и что они продолжали относиться к ней с единством и сосредоточенностью точно так же, как они поступали с множеством и рассеянием. Не менее примечательно, что император Павел, на которого смотрели как на сумасшедшего, был первым, кто оценил это различие; в то время как английские министры, слывшие столь искусными и опытными, были самыми последними. *“Я отбрасываю абстракции вашей революции, - писал мне Поль, - я ограничиваюсь фактом; для меня этого достаточно: в моих глазах вы - правительство, и я обращаюсь к вам, потому что мы можем понимать друг друга, и я могу вести переговоры с вами”.*

Что касается английского министерства, то мне всегда приходилось завоевывать и принуждать к миру, а также полностью отделять Англию от остальной Европы, прежде чем я мог заставить их выслушать меня; и даже когда они начали со мной переговоры, они продолжали придерживаться старой рутины. Они пытались отвлечь мое внимание задержками, протоколами, бланками, церемониями, прецедентами и я не знаю еще чем. Но я чувствовал себя настолько сильным, что мог позволить себе смеяться над всем этим!

“Новое положение вещей требовало новой линии поведения; но английские министры, казалось, не имели ни малейшего представления ни о веке, ни о людях и вещах, ему принадлежащих. Мое поведение совершенно сбilo их с толку. Я начал с дипломатии, как уже начал с оружия. — Вот мои предложения, - сказал я английскому министерству. - Мы хозяева Голландии и Швейцарии; но я готов подать в отставку с обеих сторон в обмен на компенсации, которые вы сделаете нам или нашим союзникам. Мы также являемся хозяевами Италии, от которой я откажусь одной частью и сохраню другую, чтобы гарантировать существование всем. Таковы мои основы; опирайтесь на них, сколько вам заблагорассудится; меня это не волнует; но цель и результат должны оставаться такими, как я указал. Я ни на йоту не отступлю от своей решимости. Моя цель состоит не в том, чтобы купить у вас уступки, а в том, чтобы заключить разумные, почетные и долгосрочные обязательства. Вот круг, который я очертил. Мне кажется, у вас нет представления о наших соответствующих ситуациях или ресурсах. Я не боюсь вашего отказа, ваших усилий или каких-либо трудностей, которые вы можете создать на моем пути. У меня сильная рука, и я хочу всего лишь поднять вес.

“Этот необычный язык, - продолжал император, “ произвел желаемый эффект. На переговорах в Амьене они намеревались просто отвлечь нас; но теперь они начали действовать серьезно. Не зная, в какой момент я был уязвим, они предложили сделать меня королем Франции. Это была хорошая идея! Король, по милости иностранцев, когда я уже был Сувереном по воле народа!...

“Влияние, которое я приобрел, было таким сильным, что даже во время завершения переговоров я заставил итальянцев назначить меня президентом их Республики; и это обстоятельство, которое в обычном ходе европейской дипломатии, естественно, создало бы так много препятствий, не привело к прерыванию процесса. Дело было доведено до конца; и я добился своего простым обращением, лучше, чем если бы я вдавался во все обычные дипломатические тонкости. Множество клеветнических памфлетов и манифестов не лучшего свойства обвиняли меня в вероломстве и нарушении доверия во время моих переговоров; но я никогда не заслуживал этих обвинений, которые, напротив, всегда могли быть справедливо применены к другим кабинетам министров Европы.

“В Амьене я искренне думал, что судьба Франции и Европы, а также моя собственная судьба решены навсегда; я надеялся, что война подошла к концу. Однако английский кабинет министров снова разжег пламя. Англия одна несет ответственность за все бедствия, от которых с тех пор страдает Европа. Со своей стороны, я намеревался полностью посвятить себя внутренним интересам Франции; и я уверен, что мне удалось бы сотворить чудеса. Я бы ничего не потерял на шкале славы, и я бы многое приобрел на шкале счастья. Тогда я добился бы морального завоевания Европы, которое впоследствии собирался осуществить силой оружия. Сколькой славы я был таким образом лишен!

“Мои враги всегда говорили о моей любви к войне; но разве я не был постоянно занят обороной? Разве после каждой одержанной мною победы я не делал немедленно предложений о мире?”

“Правда в том, что я никогда не был хозяином своих действий. Я никогда не был полностью самим собой. Я мог бы задумать много планов, но в моей власти никогда не было привести ни один в исполнение. Я крепко держал штурвал, но ярость волн была больше любой силы, которую я мог приложить, сопротивляясь им; и я благоразумно уступил, чтобы не подвергаться риску утонуть из-за упорного сопротивления. Я никогда не был по-настоящему хозяином самому себе, но всегда находился под контролем обстоятельств. Таким образом, в начале моего возвышения, во время консульства, мои искренние друзья и горячие приверженцы часто спрашивали меня с наилучшими намерениями и в качестве руководства к собственному поведению, *к чему я клоню?* и я всегда отвечал, что не знаю. Они были удивлены, возможно, недовольны, и все же я говорил правду. Впоследствии, во времена Империи, когда было меньше фамильярности, многие лица, казалось, задавали мне один и тот же вопрос; и я все еще мог бы дать тот же ответ. На самом деле, я не был хозяином своих действий, потому что не был настолько глуп, чтобы пытаться подогнать события под свою систему. Напротив, я формировал свою систему в соответствии с непредвиденным развитием событий. Это часто выглядело как неустойчивость и непоследовательность, и в этих недостатках меня иногда несправедливо обвиняли”.

Коснувшись некоторых других тем, император сказал: “Одним из моих великих планов было воссоединение, концентрация тех самых географических наций, которые были разделены революцией и политикой. Правда, в Европе рассеяно свыше тридцати миллионов французов, пятнадцать миллионов испанцев, пятнадцать миллионов итальянцев и тридцати миллионов немцев; и моим намерением было объединить каждого из этих людей в одну нацию. Было бы благородно перейти в потомство с такой свитой и пользоваться благословениями будущих веков. Я чувствовал себя достойным этой славы!

“После такого краткого упрощения можно было бы потакать химере *идеала* красоты цивилизации. При таком положении вещей был бы некоторый шанс установить в каждой стране единство кодексов, принципов, мнений, сентиментов, мировоззрений и интересов. Тогда, возможно, с помощью всеобщего распространения знаний кто-то мог бы подумать о том, чтобы попытаться в великой европейской семье подать заявление в Американский Конгресс или в Амфикионы Греции; и тогда какая перспектива власти, величия, счастья и процветания! Какое грандиозное, какое великолепное зрелище!

“Концентрация тридцати или сорока миллионов французов была завершена и доведена до совершенства; а концентрация пятнадцати миллионов испанцев была почти достигнута; ибо нет ничего более обычного, чем превращение случайности в принцип. Поскольку я не покорил испанцев, отныне будут утверждать, что они были непобедимы. Но факт в том, что они действительно были завоеваны, и в тот самый момент, когда они сбежали от меня, кортесы Кадисатайно заключили со мной договор. Они были освобождены не благодаря своему собственному сопротивлению или усилиям англичан, а из-за поражений, которые я терпел в отдаленных пунктах; и, прежде всего, из-за ошибки, которую я совершил, удалившись со всеми своими силами на расстояние тысячи лье от них и погибнув там; ибо никто не может отрицать, что если бы, как только я вступил в эту страну, Австрия не объявила мне войну, а оставила меня

еще на четыре месяца спокойно в Испании,^[6] на этом дело было бы закончено; испанское правительство консолидировалось бы; общественное мнение успокоилось бы; различные партии сплотились бы. Три или четыре года вернули бы испанцам глубокий мир и блестящее процветание; они стали бы сплоченной нацией, и я вполне заслужил бы их благодарность, ибо я спас бы их от тирании, которой они сейчас угнетены, и от ужасных волнений, которые их ожидают.

“Что касается пятнадцати миллионов итальянцев, то их концентрация уже была далеко продвинута: им нужна была только зрелость. Люди с каждым днем все более укреплялись в единстве принципов и законодательства, а также в единстве мысли и чувства, этого надежного и непогрешимого цемента человеческой концентрации. Объединение Пьемонта с Францией и объединение Пармы, Тосканы и Рима были, по моему мнению, лишь временными мерами, призванными просто гарантировать и способствовать национальному образованию итальянцев.^[7] Вы можете судить о правильности моих взглядов и о влиянии общих законов. Части Италии, которые были присоединены к Франции, хотя это объединение могло быть расценено как завоевательное оскорбление с нашей стороны, были, несмотря на их итальянский патриотизм, именно теми частями, которые оставались наиболее привязанными к нам. Теперь, когда они вернулись к самим себе, они понимают, что подверглись вторжению и были лишены наследства; и так оно, несомненно, и было!..

“Таким образом, весь Юг Европы вскоре стал бы компактным с точки зрения местности, взглядов, мировоззрений, сентиментов и интересов. При таком положении вещей, каков был бы вес всех народов севера? Какие человеческие усилия могли бы преодолеть столь прочный барьер?

“Сосредоточение немцев должно было осуществляться более постепенно; и поэтому я сделал не более того, что упростил их чудовищное усложнение. Не то чтобы они не были готовы к концентрации; напротив, они были слишком хорошо подготовлены к этому, и они могли бы слепо восстать против нас, прежде чем поняли бы наши замыслы. Как случилось, что ни один немецкий принц до сих пор не составил себе правильного представления о духе своей нации и не обратил его во благо? Конечно, если бы небеса сделали меня принцем Германии среди многих критических событий нашего времени, я бы безошибочно управлял тридцатью миллионами объединенных немцев; и, исходя из того, что я знаю о них, я думаю, что могу рискнуть утверждать, что, если бы они однажды избрали и провозгласили меня, они бы не оставили меня, и я никогда бы не оказался на острове Святой Елены”.

Затем, после некоторых меланхолических подробностей и сравнений, он таким образом продолжил: “В любом случае, эта концентрация будет достигнута, рано или поздно, самой силой событий. Импульс дан; и я думаю, что после моего падения и разрушения моей системы в Европе невозможно установить великое равновесие, кроме как путем концентрации и конфедерации основных наций. Государь, который в первом великом конфликте искренне поддержит дело народа, окажется во главе всей Европы и сможет делать все, что ему заблагорассудится.

“Возможно, меня спросят, почему я не допустил, чтобы эти идеи проявились? почему я не вынес их на общественное обсуждение, поскольку они, несомненно, стали бы популярными, а популярность стала бы для меня огромным подкреплением? Мой ответ таков, что недоброжелательность всегда более активна, чем добрые намерения; что в наши дни сила

остроумия берет верх над здравым смыслом и затемняет по своему желанию самые яркие моменты; и что вынести эти важные темы на общественное обсуждение означало бы отдать их на милость партийного духа, страсти, интриг и сплетен, в то время как безошибочным результатом были бы дискредитация и противодействие. Поэтому я решил, что секретность была наиболее целесообразным курсом. Я окружил себя тем ореолом таинственности, который радует и интересуется толпу; порождает спекуляции, которые занимают общественное сознание; и, наконец, предоставляет возможности для тех внезапных и блестящих разоблачений, которые оказывают такое важное влияние. Именно этот принцип ускорил мой неудачный поход в Москву. Будь я более обдуманым, я мог бы предотвратить любое зло; но я не мог медлить и тратить время на комментарии. Когда моя карьера уже была намечена, когда у меня сформировались идеи на будущее, было необходимо, чтобы мое движение и мой успех казались, так сказать, сверхъестественными”. Здесь император обратился к русской экспедиции, повторив многие наблюдения, которые я уже записал в другом месте. Сейчас я записываю только то, что считаю новым.

“Я назову другой случай, ” сказал он, “ когда случайность была принята за принцип. Я потерпел неудачу в своей экспедиции против русских; и они, следовательно, считают себя непобедимыми. Но может ли что-либо быть более ошибочным? Спросите здравомыслящих людей среди них! Спросите самого Александра, и пусть он вспомнит, какого мнения он придерживался в то время! Был ли я побежден усилиями русских? Нет! мой провал следует отнести на счет чистой случайности, абсолютного фатализма. Сначала столица была сожжена дотла, вопреки ее жителям, из-за иностранных интриг и вопреки своим жителям; затем зима наступила с такой необычной внезапностью и суровостью, что это рассматривалось как своего рода явление. К этим бедствиям следует добавить массу ложных сообщений, глупых интриг, предательства, тупости и, короче говоря, многого другого, что, возможно, однажды всплывет наружу и что извинит две большие ошибки, которые я совершил в дипломатии и войне; а именно, предпринять такое предприятие, оставив на своих флангах, которые вскоре стали моим тылом, два кабинета, которыми я не был командиром, и две союзные армии, которые при малейшей задержке стали бы моими врагами. Но чтобы прийти к выводу и одним словом опровергнуть все обвинения, которые могут быть выдвинуты против меня, я могу сказать, что эта знаменитая война, это смелое предприятие были совершенно произвольными с моей стороны. Я не хотел сражаться; Александр тоже; но, оказавшись однажды рядом, обстоятельства подтолкнули нас, а судьба довершила остальное”.

Помолчав несколько минут и как бы очнувшись от задумчивости, император добавил: “В руках француза была судьба мира! Если бы он обладал здравым смыслом и духом, соответствующими тому высокому положению, в котором он находился, если бы он был хорошим шведом, каким притворялся, он мог бы восстановить славу и могущество своей приемной страны, отвоевать Финляндию и прибыть в Санкт-Петербург раньше, чем я добрался до Москвы. Но им руководили личные соображения, глупое тщеславие и всевозможные низменные страсти. Его голова вскружилась, когда он увидел, что за ним, старым якобинцем, ухаживают и льстят законные представители; когда он обнаружил, что ведет политические и дружеские переговоры лицом к лицу с императором всея Руси, который прилагал большие усилия, чтобы задобрить его. Утверждается, что ему даже намекали на возможность получения руки одной из сестер русского императора путем развода со своей женой; и в письме, адресованном ему французским принцем, автор с самодовольством отмечал, что Беарн был колыбелью обоих их домов!*Дом Бернадота* несомненно!

“В своем опьянении он пожертвовал и своей новой страной, и своей матерью, своей собственной славой, своей истинной властью, делом народа и благосостоянием Европы! За это он дорого заплатит! Не успел он выполнить все, что от него ожидалось, как начал чувствовать, что его ждет. Говорят, что он раскаялся в своем поведении, но он еще не искупил его. Сейчас он единственный выскочка-монарх в Европе. Скандал не может остаться безнаказанным; это был бы слишком опасный пример”.

ИМПЕРАТОР МАЛО ДОВЕРЯЕТ ИСХОДУ 1815 ГОДА.—ФЕМИСТОКЛ.—ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 1814 ГОДА У САМОГО НАПОЛЕОНА НА МГНОВЕНИЕ ВОЗНИКЛА МЫСЛЬ ВОССТАНОВИТЬ БУРБОНОВ.—РУКОПИСЬ БАРОНА ФЕЙНА 1814 ГОДА.—ОТРЕЧЕНИЕ ФОНТЕНБЛО И Др.

12. Император, рассказывая о своем возвращении с острова Эльба и своем втором падении при Ватерлоо, сделал несколько замечательных замечаний по обоим этим предметам.

“Совершенно очевидно, ” сказал он, “ что во время событий 1815 года я отказался от надежды на окончательный успех: я потерял свою первую уверенность. Возможно, я обнаружил, что нахожусь не в том возрасте жизни, в котором фортуна обычно оказывается благосклонной; или, возможно, в моих собственных глазах, в моем собственном воображении чары, нависшие над моей чудесной карьерой, были разрушены; но, во всяком случае, я чувствовал, что чего-то не хватает. Благосклонная Фортуна больше не следовала по моим стопам и не получала удовольствия, расточая мне свои улыбки; теперь ее сменил суровый Рок, который щедро отомстил за те немногие милости, которые я получил, так сказать, силой. Примечательно, что за каждым преимуществом, полученным мной в этот период, немедленно последовал обратный эффект.

“Я прошел маршем по Франции и прибыл в столицу среди энтузиазма и всеобщих приветствий народа; но не успел я добраться до Парижа, как по какому-то волшебству и без какой-либо адекватной причины все вокруг внезапно отшатнулось от меня и похолодело.

“Я привел правдоподобные причины для достижения искреннего примирения с Австрией, куда я направил агентов, более или менее признанных.^[8] Но Мурат был там со своим роковым предприятием. В Вене пришли к выводу, что он действовал по моему приказу; и, оценивая меня по своей шкале, они расценили все мое поведение как хитроумную уловку и решили перехитрить меня с помощью контринтриги.

“Начало моей кампании было хорошо организовано и оказалось наиболее успешным. Я бы застал врага врасплох в деталях, если бы дезертир из числа наших генералов не сообщил ему своевременно о моих планах.

“Я одержал блестящую победу при Линьи, но мой лейтенант лишил меня ее плодов. В конце концов, я одержал победу даже при Ватерлоо и был немедленно сброшен в пропасть. И все же я должен признаться, что все эти удары судьбы огорчили меня больше, чем удивили. Я предчувствовал печальный результат. Не то чтобы это каким-либо образом повлияло на мои решения и меры; но дурное предчувствие определенно преследовало мой разум ”.

То, что таково было на самом деле состояние чувств Наполеона в тот период, о котором здесь идет речь, очевидно из следующего анекдота, который настолько примечателен, что я не могу удержаться от того, чтобы не представить его читателю. Однажды рано утром, находясь на

берегах Самбры, император подошел к бивуачному костру в сопровождении только своего дежурного адъютанта (генерала К.); на огне варилось несколько картофелин, и император попросил одну и начал есть. Затем, с задумчивым и несколько меланхоличным выражением лица, он произнес следующие отрывистые фразы: “В конце концов, это хорошо, это терпимо.... Человек может жить в любом месте и любым способом.... Возможно, этот момент недалек.... Фемистокл!...” Вышеупомянутый адъютант, который сам рассказал мне об этом обстоятельстве после моего возвращения в Европу, заметил, что, если бы император добился успеха, эти слова прошли бы мимо, не оставив на него никакого впечатления; но что после катастрофы, и особенно после прочтения знаменитого письма принцу-регенту, он был поражен воспоминанием о бивуаке на Самбре; и манеры, тон и выражение лица Наполеона с тех пор так преследовали его, что он никогда не мог изгнать это обстоятельство из своей памяти.

Ошибочно полагать, что Наполеон во всех случаях был вдохновлен той внутренней уверенностью, которую, казалось, обозначали его действия и решения. Когда он покинул Тюильри в январе 1814 года, чтобы начать свою бессмертную, но неудачную кампанию в окрестностях Парижа, его душу угнетали мрачные предчувствия: и обстоятельством, свидетельствующим о его проницательности и дальновидности, является то, что в рассматриваемый период он был убежден в том, о чем большинство окружающих его людей были далеки от того, чтобы подозревать, а именно, что если он падет, то это сделают бурбоны. Эту мысль он поделился с несколькими своими близкими друзьями, которые тщетно пытались вызвать у него доверие, утверждая, что бурбоны забыты, что они совершенно неизвестны нынешнему поколению: “Реальная опасность существует”, — был его неизменный ответ. Так, сразу же после своей красноречивой и впечатляющей речи перед офицерами национальной гвардии, в которой он, среди прочего, сказал: “Вы избрали меня, я — ваше дело, и вы должны защищать меня”; и которую он завершил, представив им императрицу и короля Рима, сказав: ““Я” Иду противостоять врагу и верю вашему попечению все, что мне всего дороже”: — сразу же после произнесения этой речи, собираясь покинуть Тюильри, он предвидел, что в этот решающий момент императрица и король Рима будут представлены ему. в этот момент он осознал предательство и вероломство, которые его ожидали, и решил обезопасить личность того, кто оказался главной пружиной заговора, с помощью которого было осуществлено его свержение. Ему помешали осуществить свое намерение только представления и, можно даже сказать, предложения личной ответственности со стороны некоторых его министров, которые заверили его, что подозреваемый имел больше причин, чем кто-либо другой, опасаться возвращения бурбонов. Наполеон уступил, в то же время решительно выразив опасения, что у него могут быть причины пожалеть о своей сдержанности!...

Следующее малоизвестное обстоятельство важно, поскольку оно доказывает, насколько сильно в разгар кризиса. Мысли Наполеона были обращены к бурбонам. После проверки выдержана в Бриенне, эвакуация Труа, вынужденной отступать на сене, и унижающие достоинство условия, которые передавались из Шатийон, но которые были так щедро отклонены императором, который беседовал с одним из своих друзей, подавлен при виде горести, которые были надвигающаяся на Францию, вдруг поднялся со стула, воскликнув с жаром:—“возможно, я все еще обладаю средством спасения Франции.... Что, если бы я сам вспомнил Бурбонов? Тогда союзники были бы вынуждены приостановить свой курс под страхом быть опозоренными и уличенными в двуличии; под страхом быть вынужденными признать, что их замыслы были направлены против нашей территории, а не против моей личности. Я должен пожертвовать всем ради страны. Я должен стать посредником между французским народом и

бурбонами. Я бы обязал последних подчиниться национальным законам и поклясться в верности существующему договору: моя слава и имя были бы гарантией для французского народа. Что касается меня, то я царствовал достаточно долго. Моя карьера полна славных деяний, и это последнее не будет оценено ни в малейшей степени. Я поднимусь еще выше, спустившись так далеко”Затем, после паузы в несколько мгновений, он добавил: “Но может ли отвергнутая династия когда-нибудь простить?... Может ли она когда-нибудь забыть?... Можно ли доверять бурбонам?... Разве Фокс не может быть прав в своей знаменитой максиме относительно реставраций?...”

Охваченный горем и тревогой, он бросился на свое ложе и вскоре после этого был разбужен, чтобы ознакомиться с продвижением фланга корпуса Блюхера, за которым он в течение некоторого времени тайно наблюдал. Он поднялся, чтобы привести в действие этот новый источник ресурсов, энергии и славы, который навсегда прославит имена Шамп-Обер, Монмирай, Шато-Тьерри, Во-Шан, Нанжи, Монтеро, Краон и других. Эти удивительные успехи встревожили Александра и англичан и подсказали им целесообразность ведения войны: они действительно могли бы полностью изменить положение дел, если бы замыслам Наполеона не помешали случайности, недоступные человеческому расчету. Например, важные приказы, которые не дошли до вице-короля, дезертирство Мюрата, леность и небрежность некоторых вождей и, наконец, даже успешные действия французов, которые, отделив австрийского императора от других союзных государей, оставили последнему полную свободу планировать отречение Фонтенбло, событие, которое навсегда войдет в историю нашей судьбы и нашего морального облика.

Мыслители-философы, художники человеческого сердца, обратите свои взоры на Фонтенбло и созерцайте падение величайшего из монархов! Обратите внимание, как свита, окружавшая несчастного героя, — те, кого он осыпал милостями, почестями и богатством, — при первом же ударе судьбы покинули, предали и даже пытались оскорбить его!... Обратите внимание, как первый среди них по рангу, по благосклонности, по доверию — тот, кого великий принц тщетно пытался внушить возвышенные чувства, обращаясь с ним как со своим товарищем и другом, — обратите внимание, как этот человек опустился до уровня мамелюка, чьи природные манеры делали его, возможно, более простительным, и который считал совершенно естественным покинуть своего павшего господина.

В Фонтенбло, когда кризис был преодолен, и пока Наполеон был серьезно занят, этот любимый товарищ предстал перед ним, чтобы попросить разрешения отправиться в Париж, только, как он сказал, на короткое время, и с целью уладить кое-какие дела, после чего он заявил, что должен вернуться к императору и никогда больше не покидать его. Но Наполеон умел читать тайны человеческого разума, и едва этот человек удалился, как император, отвлекшись от предмета, которым он занимался, сказал тому, с кем беседовал: “Он уходит, чтобы закрепить свое собственное унижение; и, несмотря на все его заверения, он никогда больше не вернется“, - он говорил правду; дезертир поспешил встретить первые лучи восходящего солнца; и как только оно осветило его, он отрекся от своего благодетеля, своего друга и учителя!... Известно, что, говоря об императоре, он даже употреблял выражение “*этот человек*”! И все же Наполеон с такой готовностью прощал человеческую слабость и был настолько выше всякого чувства злобы и негодования, что по возвращении с Эльбы выразил сожаление по поводу того, что не смог повидать человека, сыгравшего столь вероломную роль, добавив с улыбкой: “Я полагаю, этот негодяй боится меня, но у него нет причин для этого. Единственным наказанием, которому

я должен был подвергнуть его, было бы потребовать, чтобы он предстал передо мной в своем новом костюме. Мне сказали, что он выглядит еще уродливее, чем обычно “.

А сколько примеров частной распущенности можно было бы не упоминать! Я сам могу засвидетельствовать, что важная персона, которая была наиболее примечательна своим низменным поведением по возвращении из Фонтенбло, выглядела одной из самых дерзких в Тюильри 20 марта. Казалось, он был очень смущен случайным или намеренным одиночеством, в котором его оставили все остальные. Свидетель его недавнего проступка, похоронив воспоминания о прошлых неприятностях в теперешней радости, поспешил к нему и избавил его от смущения. Такая щедрость мало чего стоила в тот момент.

Я обращаюсь к рукописи 1814 года, чтобы получить представление об этих унижительных событиях.^[9] Читатель может узнать — но нет, он не узнает ничего нового — При любых обстоятельствах, во все времена и во всех странах люди, и особенно придворные, всегда одни и те же; и следует помнить, что к этому времени лагерь Наполеона превратился во Двор.— Пусть эти люди не говорят, что их поведение было продиктовано заботой о благополучии и интересах своей страны. Мысль о том, чтобы обеспечить себе беспрепятственное пользование богатством и почестями, которые они приобрели, вытеснила в их умах все патриотические соображения. Но история будет справедливой. Я говорю "история", поскольку основная часть нынешнего поколения не может даже претендовать на эту печальную честь. Где было наше возмущение? Где было произнесено наше осуждение подлинно и торжественно?... И пусть будет понятно, что это вопрос, совершенно не связанный с политическими соображениями. Вопрос не в том, какое дело поддерживали эти люди, а просто в том, какой моральный принцип они исповедовали. Но не следует предполагать, что неудовлетворенная мизантропия побудила бы меня нарисовать картину, обескураживающую все сердца, и завершить ее проскрипцией всего человечества. Ни в коем случае: Я хорошо осознаю, что момент великих испытаний - это момент великих крайностей; и что среди самых низменных страстей бросаются в глаза самый блестящий героизм и благородная добродетель. Поэтому да будут почтены те группы-ветераны, чьи горькие слезы свидетельствовали об их искреннем горе! Да будут почтены бесчисленные младшие офицеры, для которых одно слово было бы сигналом к пролитию каждой капли их крови! Честь великодушным крестьянам, которые отдали нашим войскам свой последний кусок хлеба и, не обращая внимания на собственные лишения, расстались со всем, чтобы помочь храбрым защитникам своей страны! Да будут почтены те благородные чувства, которые были выражены гражданами всех классов, пола и возраста! Если, с одной стороны, сердце пробуждается к негодованию, с другой стороны, оно находит восхитительный источник удовлетворения.

На острове Святой Елены император продиктовал отчет о событиях в Фонтенбло и о своем переселении на остров Эльба; но моя память не позволяет мне привести ни один из фактов, столь подробно описанных. Я не записывал их, потому что, стремясь сократить свой собственный труд, я установил правило пропускать те темы, которые были продиктованы другим, будучи уверенным, что они будут точно записаны. Поэтому я просто приведу несколько подробностей, почерпнутых из бесед Наполеона или из других достоверных источников.

Когда бедствия 1814 года стали очевидны, когда опасность стала неминуемой, особенно после вступления союзников в Париж, многие французские генералы начали колебаться. Те, в ком эгоизм возобладал над патриотизмом; те, кто предпочел бы уйти от тягот войны, чем подчиниться велениям долга, чести и славы; подстрекали к катастрофе, вместо того чтобы

пытаться предотвратить ее. Самые выдающиеся Вожди осмелились посоветовать отречься от престола и объявили это необходимым. Некоторые даже зашли так далеко, что намекнули императору, что они не могут отвечать за последствия недовольства и негодования, которые солдаты проявляли по отношению к нему; в то время как, напротив, как сказал сам Наполеон, “привязанность войск и преданность офицеров были таковы, что, если бы я раскрыл замышлявшиеся махинации, я, несомненно, подвергнул бы опасности тех, кто был виновен в таком искажении фактов. Одно мое слово принесло бы их в жертву”. Наполеон произвел смотр войскам: их приветствия были восторженными и всеобщими. Казалось, что невзгоды служили только для того, чтобы сделать Императора еще более дорогим для них, поскольку их привязанность никогда не выражалась так решительно. “Невозможно, чтобы могло быть иначе, - сказал Наполеон, - эти храбрецы были так похожи на меня, и у нас была такая взаимная симпатия, что я никогда не сомневался в их привязанности”.

Оказавшись в столь критической ситуации, Наполеон глубоко задумался о том, какой курс ему было бы целесообразно избрать. У него все еще было сорок или пятьдесят тысяч солдат, лучших и наиболее преданных в мире; он мог бы, не рискуя, внушить благоговейный страх или отправить в отставку неверных генералов. При таком положении вещей ему по очереди представились три различных показателя.

Первым было вернуться в Париж, ибо он воображал, что ни у одного полководца на земле не хватит смелости дать ему бой с такой огромной столицей в тылу. “По моему приказу, - сказал император, - восстало бы все население. Я бы внезапно обнаружил, что мои силы пополнились на сто или двести тысяч человек. Но союзники, отступая, могли сжечь столицу, и это бедствие было бы сочтено моей работой. Это правда, сожжение Парижа могло бы на самом деле стать спасением Франции, как сожжение Москвы было спасением России; но на такие жертвы могут пойти только заинтересованные стороны”.

Вторая идея, пришедшая в голову императору, заключалась в том, чтобы отправиться в Италию и соединиться с вице-королем. “Но это, ” сказал Наполеон, “ было бы отчаянным ходом, без шансов на достижение адекватного результата. Это отодвинуло бы театр военных действий на слишком большое расстояние. Общественный энтузиазм успел бы утихнуть, и мы бы больше не сражались во Франции, только на священной земле которой мы могли надеяться сотворить чудеса, ставшие необходимыми”.

Ни одна из этих двух мер не была бы практически осуществимой. Таким образом, оставался только третий путь, и он заключался в том, чтобы продолжать обороняться, оспаривать каждый фут земли и поддерживать войну до тех пор, пока не возникнут новые возможности. Оцепенение, вызванное присутствием захватчиков, скоро рассеется; бедствия, которые они создали, вскоре сделают их объектами проклятия; национальный энтузиазм возродится; и союзники найдут свои могилы на земле, которую они осмелились осквернить. Но это неизбежно должно было быть делом времени; одним словом, успех был сомнительным или, по крайней мере, отдаленным, в то время как страдания людей были несомненными, непосредственными и неисчислимыми. Благородный ум Наполеона был тронут, и он решил отречься от престола.

Тем временем он отправил к императору Александру депутацию маршалов, среди которых был герцог Рагузский, один из тех, к кому он был наиболее нежно привязан. Депутации было поручено предложить отречение Наполеона в пользу его сына. Таким образом император

надеялся спасти Францию, обеспечить ее независимость и продолжительность существования существующих институтов. Император Александр, который за несколько дней до этого публично заявил, что не будет вести никаких переговоров ни с Наполеоном, ни с кем-либо из членов его семьи, тем не менее обсуждал этот вопрос вразрез с той партией Сената, которая предложила отречение. Маршалы выступали горячо и от имени всей армии. Решимость Александра была поколеблена, и партия, благоприятствующая регентству, казалось, возобладала, когда пришло известие о дезертирстве герцога Рагузского; и это обстоятельство утвердило Александра в его прежнем решении. Это событие озарило его, как луч света: значит, армия не единодушна, подумал он! С этого момента, отбросив всякую сдержанность, он объявил себя непреклонным. При таком положении вещей Наполеон был окружен, его уговаривали и изводили, чтобы он подписал свое положительное и безоговорочное отречение. Он уступил после большой внутренней борьбы и продиктовал акт об отречении в следующих выражениях:

“Союзные державы провозгласили, что император Наполеон является единственным препятствием к восстановлению мира в Европе, император, верный своей клятве, отказывается ради себя и своих наследников от тронов Франции и Италии и заявляет, что нет такой жертвы, даже жизни, на которую он не готов пойти ради интересов Франции”.

Это заявление, которого союзники отнюдь не ожидали в столь безоговорочной форме, устранило все трудности, и маршалы вернулись с так называемым Фонтенблонским мирным договором, который я сейчас включу.

Я нахожу в рукописи барона Файна 1814 года полное объяснение некоторых замечаний императора, которые я тогда записал, не совсем понимая их значения. В предыдущей части этого Дневника император, ссылаясь на мирный договор в Фонтенбло, говорит: “Я не буду иметь ничего общего с этим договором; я отказываюсь от него. Я далек от того, чтобы гордиться этим, я краснею за это. Это обсуждалось за меня и против моей воли” и т. Д. И в другой раз он говорит: “Когда история событий в Фонтенбло станет известна, это даст достаточно возможностей для удивления”. Рукопись 1814 года доказывает, что Наполеон действительно не имел никакого отношения к Фонтенблоскому мирному договору. Были приложены максимальные усилия, чтобы убедить его подписать международный договор; и в конце концов на него повлияли только общественные соображения, которые были приведены в его поддержку. Он считал, что подписывать этот договор унижительно и бесполезно. Пережив свое величие, он пожелал отныне жить как частное лицо; и ему было стыдно думать о том, что огромная жертва, принесенная ради мира во всем мире, должна быть примешана к денежным выплатам. “Какой смысл в договоре, ” сказал он, - если они не будут согласовывать со мной интересы Франции? Если затрагиваются только мои личные интересы, в договоре нет необходимости. Я побежден; я покоряюсь судьбе оружия. Все, о чем я прошу, - это чтобы меня не считали военнопленным: а для этого достаточно простого картеля!”

Все попытки обратить его мысли к своей личной ситуации, своему существованию и будущим желаниям оказались тщетными. На все подобные предложения он энергично отвечал: “Какое это имеет значение? Лошадь и корона в день - это все, чего я хочу”.

Я, со своей стороны, могу засвидетельствовать, что император бесконечно сожалел о ратификации мирного договора в Фонтенбло; и это было не единственное решение того периода, которое тяжело давило на его разум. Он также очень сожалел о том, что, находясь на

своем посту в Сен-Дизье и Дулеване, поддавался различным заявлениям и предложениям, которыми его атаквали и которые вернули его вопреки его намерениям в Париж. [“Здесь Париж.](#) [“Здесь](#) мне нужна была твердость, - сказал он. - Я должен был осуществить свое намерение продвинуться к Рейну, собрать подкрепления из всех гарнизонов на своем пути и поднять крестьянство на восстание. Таким образом, я вскоре получил бы в свое распоряжение огромную армию. Мюрат немедленно присоединился бы ко мне; и он и вице-король сделали бы меня хозяином Вены, если бы союзники осмелились лишить меня Парижа. Но нет: враг отступил бы перед опасностями, которыми он был бы окружен. Союзные монархи сочли бы за милость получить разрешение удалиться; и тогда вулкан иностранцев, направленный против нас, был бы полностью потушен. Мир был бы заключен и искренне поддерживался; ибо все были измучены; у всех были раны, которые нужно было залечить!... За границей о войне больше нельзя было и помыслить; а дома такой результат, должно быть, разрушил все иллюзии, расстроил все злые замыслы и навсегда смешал мнения и интересы всех сторон. Я бы снова с триумфом воссел на трон, окруженный своими непобедимыми отрядами. Героическая и верная часть народа привела бы к согласию тех, кто колебался; и люди, которые проявили такое стремление к покою, могли бы насладиться им. Новое поколение руководителей изменило бы наш характер. Все усилия были бы направлены на внутреннее благополучие страны, и Франция была бы счастлива!”

Говоря о смятении, вызванном приближением союзников в Париже; об унынии, если не использовать более сильного термина, которое демонстрировали высшие классы; о добром духе и энтузиазме, проявленных большей частью народа, который был готов сражаться, если бы они могли раздобыть оружие, — я заметил, что отъезд императрицы оказал роковое воздействие на общественное мнение. Я упомянул в качестве исключительного обстоятельства, что молодой король Рима, вопреки обычаю, упрямо отказывался покинуть дворец: он горько плакал, и было сочтено необходимым увезти его силой. Я также добавил, что повсюду ходили слухи о том, что императрица желает остаться, и что Совет был склонен поддержать ее желание до тех пор, пока не будут получены точные приказы от императора, предписывающие ей покинуть Париж в случае острой опасности со стороны врага. “Да, - сказал император, - [и](#) эти приказы были очень необходимы. Императрица была молода и совершенно неопытна. Если бы она была способна принимать личные решения, мои указания были бы совершенно противоположными. Тогда Париж был бы ее надлежащим постом. Но я предвидел интриги, объектом которых она станет, и хотел предотвратить в Париже то, что впоследствии произошло в Орлеане. Там люди, которые планировали регентство, рассчитывая править при императрице, помешали ей присоединиться ко мне. К каким роковым последствиям это привело! Молю Небеса, чтобы я также своевременно отдал приказ, предписывающий ей покинуть Орлеан!”

Несомненно, что в [Фонтенбло](#) [Фонтенбло](#) Наполеон почти в один и тот же момент стал жертвой всевозможных психических расстройств, с которыми только может столкнуться человек. Покоренный предательством, а не силой оружия, он испытывал все, что могло вызвать негодование возвышенного ума или разбить любящее сердце. Его друзья оставили его; его слуги предали его; один сдал свою армию; другой - свои сокровища. Люди, которых он вырастил, содержал и осыпал милостями, были теми, кто совершил его свержение. Члены сената, которые всего за день до этого в изобилии снабжали его призывниками для борьбы с врагом, не постеснялись стать орудиями этого самого врага. Под напором иностранных штыков они вменили ему в вину то, что было их собственным делом, и подло разрушили идола, которого

они сами создали и которому так раболепно поклонялись. Какая глубина позора и деградации!... Наконец (и этот удар Наполеон ощутил сильнее, чем все остальные), его жену и ребенка увезли от него; и, вопреки договорам и законам, вопреки всем моральным принципам, ему никогда больше не позволили их увидеть!...

Похоже, что Наполеон, подавленный этим грузом невзгод, окруженный этой отвратительной порочностью, в своем крайнем презрении к человеческой природе и всему, что связано с этим миром, принял решение покончить со своей жизнью. Сохранилось письмо, написанное его собственной рукой императрице, в котором он говорит, что настал момент, когда она должна подготовиться ко всему; что все возможно, *даже смерть императора*. Это был, несомненно, намек на таинственное событие ночи 12 апреля, которое было окутано глубокой тайной. Рукопись 1814 года, однако, содержит некоторые подробности, относящиеся к этому событию, которые, если они верны, не доставят разъяренным врагам Наполеона даже удовольствия повторить глупое и вульгарное замечание, *что у него не хватило мужества умереть*; ... ибо, согласно Рукописи, оказывается, напротив, что *он не мог умереть*! Это не самое экстраординарное событие в карьере Наполеона. Его замечание: "*Небесапредопределили, что я буду жить!*" и спокойная и благородная покорность, которая с этого момента пришла на смену, кажется поистине возвышенной.

Хорошо известны знаменитое прощальное обращение Наполеона к своим войскам и его последние объятия тех орлов, которых он увековечил. Присутствовавший при этом прусский дипломат заверил меня, что эта сцена произвела на него впечатление, которое время никогда не сможет стереть. Он добавил, что английский комиссар, стоявший рядом с ним и ранее бывший заклятым врагом Наполеона, был так глубоко тронут, что прослезился.

Таковы были чувства уважения и преклонения, естественно внушаемые Наполеоном, что, несмотря на опасность и неудобства, вызванные его присутствием во Франции, никто не осмелился ускорить его отъезд; и ему было предоставлено полное время, чтобы сделать все приготовления, какие он пожелает.

Договор об отречении датирован 11 апреля, и Наполеон покинул Фонтенбло только 20-го, через девять дней после этого. На протяжении всей первой части своего путешествия он был объектом всеобщего уважения и часто самого теплого и нежного интереса.^[10]

До сих пор иностранцы, по-видимому, не имели представления ни о духе, царившем во Франции, ни об истинных чувствах народа по отношению к императору. Однако было сочтено благоразумным устроить все так, чтобы Наполеон достиг Лиона ночью; или, я скорее полагаю, это было сделано для того, чтобы вообще помешать ему войти в этот город. Я получил следующие сведения от английского джентльмена, одного из тех, кто долгое время находился под стражей во Франции и кому случилось в рассматриваемый период проживать в Лионе. Мой информатор и австрийский генерал переоделись и смешались с толпой, собравшейся посмотреть, как проходит свергнутый монарх. Они ожидали, что их очень позабавят проклятия, объектом которых, как они пришли к выводу, он будет. Но как только появился император, в толпе воцарилось глубокое молчание; и пожилая женщина, по всем признакам стоявшая выше обычного класса, одетая в глубокий траур и с лицом, полным энтузиазма, бросилась к дверце императорской кареты. "Сир, " сказала она с торжественным видом, " да пребудет с вами благословение Небес! Постарайтесь сделать себя счастливым. Они отрывают вас от нас, но наши сердца с вами, куда бы вы ни пошли". Австрийский генерал, совершенно сбитый с толку,

сказал своему спутнику: “Давайте уйдем; у меня нет терпения общаться с этой старой сумасшедшей женщиной. У людей нет здравого смысла”.

Немного за Лионом на дороге показался главнокомандующий восточной армией, и Наполеон, выйдя из своей кареты, прошел с ним значительное расстояние. Когда генерал отклонялся, один из союзных комиссаров осмелился выразить свое удивление по поводу того, что император отнесся к нему с такой видимостью дружбы и доверия. “Почему бы и нет?” — спросил Наполеон. - “Ваше величество, возможно, не осведомлены о его поведении?” — “Что он сделал?” — “Сир, он заключил с нами соглашение несколько недель назад”. “Тем не менее, - сказал император, - тот, кому я доверил защиту Франции в этом вопросе, пожертвовал страной и предал ее”. После многочисленных жалоб на вероломство людей, которым он доверял, он в заключение сказал: “Маршал больше не был солдатом. Его раннее мужество и добродетели возвысили его над толпой; но почести, высокое положение и богатство снова низвели его до обычного уровня. Завоеватель Кастильоне мог бы оставить после себя имя, дорогое его стране. Но Франция будет проклинать память лионского предателя и всех, кто действовал так, как он, если, конечно, их будущие заслуги не загладят их прошлые обиды”.

Это обстоятельство продиктовало знаменитую прокламацию, которую император издал по возвращении. “Французы, ” сказал он, “ дезертирство герцога Кастильоне оставило Лион беззащитным и во власти врага. Армия, командование которой я доверил этому главнокомандующему, была, судя по количеству ее батальонов, а также мужеству и патриотизму ее войск, способна разгромить противостоящий ей корпус австрийской армии и наступать в тыл левому флангу войск противника, угрожавших Парижу. Победы при ШамШамОбере, Монмирайле, Шато-Тьерри, Во-Шан, Мормане, Монтеро, Краоне, Реймсе, Арси-сюр-Об и Сен-Дизье; восстание храбрых крестьян Лотарингии, Шампани, Эльзаса, Франш-Конте и Бургундии; позиция, которую я занял в тылу врага, перехватывая его склады, резервные базы, обозы и экипажи, — все это отбросило вторгшегося противника в сторону. загоняет в безвыходное положение. У французского народа никогда не было перспективы стать более могущественным. Отборный корпус противника был бы безвозвратно потерян и нашел бы свои могилы на тех равнинах, которые он так безжалостно опустошал, когда измена герцога Рагузского сдала столицу и дезорганизовала армию. Неожиданное поведение этих двух генералов, которые одновременно предали свою страну, своего Принца и своего благодетеля, изменило судьбу войны. Таково было катастрофическое положение противника после событий, имевших место под Парижем, что он оказался совершенно без боеприпасов, будучи оторванным от своих резервных парков” и т.д.^[11]

По мере приближения к Провансу Наполеона встречали все менее благосклонно, поскольку там козни его врагов предвосхитили его прибытие. Он избежал засады Мобрейля, но не смог избежать засады Оргона; и эта часть его продиктованного повествования не менее любопытна.

По прибытии к месту посадки он обнаружил два судна, готовых принять его: одно французское, а другое английское. Наполеон поднялся на борт английского фрегата, заметив, что он никогда не допустит, чтобы it говорили, что его увез француз.

Таков краткий отчет об этом великом событии, подробности которого, продиктованные самим Наполеоном, будут, как я уже упоминал, впоследствии представлены публике. В то время Франция была наводнена брошюрами на эту тему, настолько полными лжи и абсурда, что

каждый честный и здравомыслящий человек теперь краснеет за то, что поверил им или даже имел смелость прочесть их.

Ниже приводится мирный договор в Фонтенбло, на который я уже ссылался. Оно было тщательно замалчиваемо в момент составления, так и не было опубликовано в *Moniteur* и долгое время оставалось неизвестным. Его можно найти только в официальных коллекциях, и даже там копии отличаются одна от другой. Поэтому я полагаю, что его включение здесь не будет сочтено излишним. Она тесно связана с предметом, о котором я только что говорил, и многие из ее статей до сих пор являются темами повседневных разговоров; и, конечно, должно быть удовлетворительно иметь возможность обсуждать их с полным знанием фактов.

МИРНЫЙ ДОГОВОР В ФОНТЕНБЛО.

“Статья I. Его Величество император Наполеон отказывается за себя, своих преемников и потомков, а также за всех членов своей семьи от всякого права суверенитета и владычества над Французской империей и королевством Италия, а также над любой другой страной.

II. Их Величества император Наполеон и императрица Мария Луиза сохраняют свои титулы и звание, которыми будут пользоваться при жизни.

“Мать, братья, сестры, племянники и племянницы Императора также сохраняют, где бы они ни проживали, титулы принцев Императорской семьи.

“III. Остров Эльба, принятый его Величеством императором Наполеоном в качестве места своей резиденции, образует при его жизни отдельное княжество, которым он будет обладать в полном суверенитете и собственности.

“Кроме того, императору Наполеону будет предоставлен в полную собственность ежегодный доход в размере 2 000 000 франков в виде арендной платы в великой книге Франции, из которых 1 000 000 будет возвращено императрице.

“IV. Все Державы обещают использовать свои добрые услуги для обеспечения уважения Берберийскими державами флага и территории острова Эльба; с этой целью отношения с Берберийскими державами должны быть приравнены к отношениям Франции.

“V. Герцогства Парма, Пiacентия и Гуасталла будут предоставлены в полную собственность и под суверенитет ее Величества императрицы Марии Луизы. Они перейдут к принцу, ее сыну, и к его потомкам по правоянии. Отныне принц принимает титул принца Пармы, Пiacентии и Гуасталлы.

“VI. На территориях, от которых отказывается настоящий договор, за его Величеством императором Наполеоном для него самого и его семьи будут зарезервированы домены, арендная плата заносится в великую книгу Франции, принося годовой доход, без учета всех вычетов и сборов, в размере 2 500 000 франков. Эти владения, или арендная плата, будут принадлежать в полной собственности принцам и принцессам императорской семьи, которые будут распоряжаться ими по своему усмотрению, и будут разделены между ними таким образом, чтобы доходы каждого были в следующей пропорции, а именно:

Франков.

Мадам Мер	300,000
Королю Жозефу и его королеве	500,000
Королю Людовику	200,000
Королеве Гортензии и ее детям	400,000
Королю Жерому и его королеве	500,000
Принцессе Элизе	300,000
Принцессе Паулине	300,000

“Принцы и принцессы семьи императора Наполеона, кроме того, сохраняют за собой все движимое и недвижимое имущество любого рода, которым они могут владеть по частному праву; вместе с арендной платой, которой они также владеют как частные лица, в великой книге Франции или Монте-Наполеоне Милана.

“VII. Годовая пенсия императрицы Жозефины должна быть уменьшена до 1 000 000 в виде доменов или записей в великой книге Франции. Она будет продолжать пользоваться в полной собственности всем своим личным состоянием, движимым и недвижимым, с правом распоряжаться им в соответствии с французскими законами.

“VIII. Принцу Евгению, вице-королю Италии, будет предоставлено подходящее учреждение за пределами Франции.

“IX. Собственность, которой император Наполеон владеет во Франции либо в качестве чрезвычайного владения, либо в частном владении, останется за короной.

“Из средств, внесенных императором в великую книгу Франции, во французский банк, в *Военные действия* или любым другим способом и которые его Величество передает короне, должен быть зарезервирован капитал, не превышающий 2 000 000 франков, который будет израсходован в качестве вознаграждения в пользу лиц, имена которых будут внесены в список, подписанный императором Наполеоном, и который должен быть передан французскому правительству.

“X. — Все бриллианты короны останутся во Франции.

“XI. Его Величество император Наполеон возвращает в Казну и в другие государственные фонды все суммы и имущество, которые могли быть изъяты оттуда по его приказу, за исключением того, что было присвоено по гражданскому списку.

“XII. Долги двора его Величества императора Наполеона, какие могут быть на момент подписания настоящего договора, должны быть немедленно погашены за счет задолженности государственного казначейства по гражданскому списку согласно списку, который должен быть подписан Уполномоченным, назначенным для этой цели.

“XIII. Обязательства миланского Монте—Наполеоне по отношению ко всем кредиторам, будь то французы или иностранцы, должны быть пунктуально выполнены без каких-либо изменений в этом отношении.

“XIV. Будут выданы все необходимые паспорта для свободного проезда его Величества императора Наполеона, императрицы, принцев и принцесс и всех лиц их свиты, которые пожелают сопровождать их или установить свое местожительство в зарубежных странах, а также для проезда всех экипажей, лошадей и имущества, принадлежащих им.

“Вследствие этого союзные державы предоставят офицеров и матросов для сопровождения.

“XV. Французская императорская гвардия выделит отряд численностью от 1200 до 1500 человек всех родов войск для сопровождения императора в Сен—Тропе, место его отправления.

“XVI. — Должны быть снаряжены бриг и необходимые транспортные суда для доставки к месту назначения его Величества императора Наполеона и его семьи. Бриг будет принадлежать в полной собственности его Величеству Императору.

“XVII. Императору разрешается взять с собой и сохранить в качестве своей охраны 400 человек, добровольцев и офицеров, а также младших офицеров и солдат.

“XVIII.—Каждый француз, который может последовать за императором Наполеоном или его семьей, будет считаться утратившим свои права француза, если он не вернется во Францию в течение трех лет; по крайней мере, если он не будет включен в исключения, которые французское правительство оставляет за собой право предоставлять по истечении этого срока.

“XIX. Польские войска всех родов войск, находящиеся на службе Франции, будут вольны вернуться домой и сохранят свое оружие и багаж как свидетельство их честной службы. Офицеры, младшие офицеры и солдаты сохраняют награды, которые были им пожалованы, и пенсии, прилагаемые к этим наградам.

“XX. Союзные державы гарантируют выполнение статей настоящего договора и обещают добиться его принятия и гарантий со стороны Франции.

“XXI. Настоящий акт подлежит ратификации и обмену ратификационными грамотами в Париже в течение десяти дней или, по возможности, раньше.

Совершено в Париже 11 апреля 1814 года.

(Подпись) Коленкур, герцог Виченцкий;
 Маршал Макдональд, герцог Тарентский;
 Маршал Ней, герцог Эльхингенский;^[12]
 Принц Меттерних”.

Те же статьи были подписаны отдельно и под той же датой графом Нессельроде от имени России и бароном Харденбергом от имени Пруссии.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТ ИМЕНИ ЛЮДОВИКА XVIII.

“Нижеподписавшийся, министр и статс-секретарь министерства иностранных дел, представив королю запрос, который их превосходительству полномочным представителям Союзных держав было приказано их суверенами провести в отношении договора от 11 апреля, к которому присоединилось Временное правительство; его Величеству было угодно уполномочить его от своего имени заявить, что положения договора, в той мере, в какой это касается Франции, будут неукоснительно выполняться. Следовательно, нижеподписавшийся имеет честь препроводить настоящее заявление их превосходительствам.

(Подпись) “Принц Беневенто.

“Париж, 31 мая 1814 года.”

Великий европейский триумвират подписал мирный договор в Фонтенбло, Англия присоединилась к нему, декларация, сделанная от имени короля Франции, обещала его выполнение в той мере, в какой это касалось его; и все же, несмотря на все эти гарантии, можно сказать, что едва ли какая-либо из статей была соблюдена. Конечно, было бы трудно представить себе более вопиющее нарушение добросовестности или более абсолютный компромисс с августейшими подписями, которые, как и следовало ожидать, каждая сторона была бы индивидуально заинтересована в сохранении незапятнанными и священными. На этих явных нарушениях было основано моральное оправдание предприятия Наполеона в 1815 году. Это мнение было довольно широко распространено: его отстаивали самые выдающиеся члены английского парламента, эти неутомимые сторонники великих принципов, и выдающиеся государственные деятели всех стран. Я могу добавить к этим высоким авторитетам личное мнение, которое, хотя и было несколько комично выражено, возможно, было не менее справедливым. Австрийский дворянин высокого ранга, находившийся в Париже в 1815 году и являвшийся яростным врагом Наполеона, навел меня как раз в то время, когда наступление императора на столицу начало производить большую сенсацию. Австриец уже решил отправиться в путь и сказал мне со всей возможной серьезностью и искренностью: “Конечно, до сих пор он занимал трон Франции как узурпатор: это бесспорно! Но, - добавил он, дипломатично препираясь сам с собой, - если бы он сейчас завоевал Францию, после того как все монархи Европы признали его сувереном и дали ему право начать войну, не соблюдая условий, на которые они вступили, дело было бы совсем по-другому. И, честное слово! ... по крайней мере, со своей стороны ... Я думаю, что в таком случае ... могут быть некоторые основания утверждать, что он стал законнорожденным. По крайней мере, я думаю, что сам был бы склонен считать его таковым.

ПИСЬМО ЛОРДА КАСЛРИ ЛОРДУ БАТЕРСТУ,

ОТНОСИТЕЛЬНО МИРНОГО ДОГОВОРА В ФОНТЕНБЛО.

(Париж, 15 апреля 1814 г.)

“...Поэтому в данном случае я ограничусь объяснением того, что произошло относительно будущего назначения и поселения Наполеона и его семьи.

“Ваша светлость уже проинформированы лордом Кэткартом об Акте отречения, который был подписан Бонапартом 4-го числа, и об заверении, данном ему Российским императором и

Временным правительством, о денежном обеспечении в размере шести миллионов франков и предоставлении убежища на острове Эльба. Рассматриваемый акт был передан на хранение г-ну де Коленкуру и маршалам Нею и Макдональду для отказа от него после надлежащего выполнения обязательств со стороны союзников в отношении предлагаемого соглашения. Эти лица были также уполномочены согласиться на перемирие и установить такую демаркационную линию, которая могла бы удовлетворить союзников, и, тем временем, предотвратить ненужное кровопролитие.

“По прибытии я обнаружил, что это соглашение находится в стадии исполнения. Была обсуждена конвенция, которая фактически была бы подписана в течение дня российским министром, если бы не было объявлено о приближении союзных министров. Мотивами для ускорения немедленного завершения этого акта были неудобства, если не опасность того, что Наполеон останется в Фонтенбло, окруженный войсками, которые все еще в значительной степени оставались ему верны; опасение интриг в армии и в столице; и важность, придаваемая значительной частью офицеров какому-либо соглашению, выгодному их начальнику, в целях удовлетворения их личной чести, прежде чем они покинули его.

“В ночь моего прибытия четыре министра совещались с принцем де Беневенто по поводу предлагаемой конвенции, против которой я высказал свои возражения, желая, в то же время, чтобы это было понято как то, что я не настаивал на них тогда, подвергая риску внутреннее спокойствие Франции, и не ставил под сомнение то, что было добросовестно связано с заверениями, данными Россией в силу остроты момента.

Принц де Беневенто признал весомость многих высказанных возражений, но заявил, что он действительно считает задачей первостепенной важности со стороны Временного правительства недопущение чего-либо, что могло бы принять характер гражданской войны, даже на самое короткое время: что он также считает необходимой какую-либо подобную меру, чтобы заставить армию перейти в наступление, которое можно использовать. На основании этих заявлений и заявлений графа де Нессельроде о том, что император, его повелитель, счел необходимым в отсутствие союзников действовать во благо, как от их имени, так и от своего собственного, я снял все дальнейшие возражения против принципа принятия мер, предложив лишь некоторые изменения в деталях. Я пожелал, однако, отклонить предложение моего правительства, поскольку оно является чем-то большим, чем просто присоединяющейся стороной к договору, и заявил, что Акт присоединения со стороны Великобритании не должен выходить за рамки территориальных договоренностей, предложенных в Договоре. Мои возражения против излишнего смешения форм, особенно в вопросе признания титула Наполеона при нынешних обстоятельствах, были сочтены совершенно разумными: и теперь я прилагаю протокол и записку, в которых объясняется, в какой степени я взял на себя обязательство дать гарантии со стороны моего Двора.

“По моему предложению признание императорских титулов в семье было ограничено их соответствующей жизнью, для чего был прецедент в случае с королем Польши, когда он стал курфюрстом Саксонии.

“Против соглашения в пользу императрицы я не только не испытывал возражений, но считал его должным той выдающейся жертве семейными чувствами, которую австрийский император принес во имя дела Европы. *Я хотел бы заменить Эльбу местом отступления Наполеона на другое место; но ни одно из них, обладающее качеством безопасности, на котором настаивал*

Наполеон, не представлялось приемлемым, против чего не возникало равных возражений; и я не чувствовал, что могу одобрить альтернативу, о которой, как заверил меня г-н де Коленкур, неоднократно упоминал Бонапарт, а именно убежище в Англии.

“В ту же ночь союзные министры провели совещание с г-ном де Коленкуром и маршалами, на котором я присутствовал. Мирный договор был рассмотрен и согласован с изменениями: с тех пор он подписан и ратифицирован, и Бонапарте начнет свое движение на юг завтра или послезавтра.

(Подпись) “КАСЛРИ”.

Я счел целесообразным расшифровать это письмо; оно проливает полный свет на договор от 11 апреля, о деталях которого я не знал даже тогда, когда был на острове Святой Елены; и в нем представлены два момента, на которые я особенно хотел бы обратить внимание. Это объясняет замечание, вырвавшееся у императора, когда я заметил ему, что по важному поводу он, по-видимому, забыл о признании его титула англичанами в Фонтенбло: когда он просто ответил, что это было сделано намеренно. Теперь я узнаю из процитированного выше письма, что лорд Каслри старательно избегал признания; но это не ставит под сомнение скрупулезную правильность утверждений Наполеона.

Второй момент, на который беспристрастность побуждает меня обратить внимание, заключается в том, что лорд Каслри в своем письме говорит об альтернативе, предложенной Наполеоном, - отступлении в Англию в случае отказа от острова Эльба. Несколько страницами далее (16 ноября) будет обнаружено, что Наполеон, напротив, упрекает лорда Каслри в том, что тот дал ему понять, что принятие Англии в качестве места жительства было бы предпочтительным курсом. Эти два утверждения, безусловно, весьма противоречат друг другу; но, как я уже отмечал, уважение к беспристрастности побудило меня вставить их. Читатель, следовательно, волен решать так, как он сочтет нужным; ибо, как я часто слышал от императора, слово одного человека так же ценно, как и слово другого. Что касается меня, то мой выбор вскоре определен: я принимаю слова Наполеона, несмотря на утверждения лорда Каслри. Я все еще помню ошибочные заявления лорда Уитворта, которые упоминались в ходе этого Дневника; скандальные утверждения относительно Наполеона, сделанные лордом Каслри в парламенте или на публичных собраниях; искаженные документы, на основании которых было принято решение о низложении Мюрата; и многочисленные опровержения, столь уверенно высказанные лордом Батерстом в Палате лордов, ложь которых была очевидна каждому человеку на острове Святой Елены и привела в замешательство даже сэра Хадсона Лоу. Поэтому я буду придерживаться сложившегося у меня мнения до тех пор, пока не найду веских причин изменить его.

МЕЧ ФРИДРИХА ВЕЛИКОГО.—ПОСЛЕ ЖЕНИТЬБЫ НАПОЛЕОНА НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО ЛЕВ УСНЕТ.—МУЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА.—НАША УЧАСТЬ ЗАВИДНА, ДАЖЕ СРЕДИ НАШИХ СТРАДАНИЙ.

13—е число.- Сегодня утром, когда я был безработным в апартаментах императора, мне пришлось в голову осмотреть большие часы Фридриха Великого, которые висят рядом с камином. Это побудило императора сказать: “Я был обладателем славных и ценных реликвий. У меня был меч Фридриха Великого, а испанцы подарили мне в Тюильри меч Франциска I. Это был высокий комплимент, и он, должно быть, стоил им определенных жертв. Турки и персы также присылали

мне оружие, которое, как говорили, принадлежало Чингисхану, Тамерлану, Надир-шаху и я не знаю кому еще; но я придавал значение не факту, а намерению”.

Я выразил свое удивление, что он не попытался сохранить шпагу Фридриха. “Ну, у меня была моя собственная,” сказал он, улыбаясь и нежно ущипнув меня за ухо. Он был прав; я, конечно, сделал очень глупое замечание.

Впоследствии, намекая на свой второй брак, он сказал, что ~~intended~~[intended](#) сделать выбор в пользу француженки, и было бы хорошо, если бы он это сделал. “Такой союз был бы в высшей степени национальным”, - заметил он. “Франция была достаточно велика, а ее монарх достаточно могуществен, чтобы отбросить все соображения внешней политики. Кроме того, среди монархов кровные узы всегда уступают место политическим интересам: отсюда то, какие скандальные нарушения нравственных чувств часто демонстрируются миру. Другое возражение, которое может быть выдвинуто против браков такого рода, - это допуск иностранной принцессы к государственным тайнам, которые у нее может возникнуть соблазн выдать; и если государь доверяет своим связям за границей, он может обнаружить, что ступил в пропасть, покрытую цветами. Короче говоря, абсурдно предполагать, что такие союзы могут гарантировать какое-либо преимущество”.

Объявление о втором браке императора стало источником радости для тех благоразумных граждан, которые с нетерпением ждали будущего.—Через несколько дней после того, как он принял решение, Наполеон сказал одному из своих министров (герцогу ~~Декре~~[Декре](#)) в момент добродушной фамильярности: “Что ж, похоже, люди очень довольны моим предполагаемым браком”. — “Да, сир”. — “Я полагаю, они ожидают, что лев уснет”. “По правде говоря, сир, мы несколько склонны к такому ожиданию.” “Что ж,” продолжал наполеон после нескольких минут молчания, - это ошибка, и лев в этом тоже не виноват. Сон был бы для него таким же сладким, как и для любого другого. Но разве вы не видите, что, хотя я, по всей видимости,*постоянно нападаю*, я, тем не менее, всегда занимаюсь*самообороной*?”

В правильности этого утверждения можно было бы усомниться, пока длился ужасный конфликт; но радость и неосмотрительность торжествующей стороны в достаточной степени подтвердили его истинность. Некоторые хвастались, что сформировали решимость продолжать войну до тех пор, пока не завершат уничтожение своего врага: другие^[13] беззастенчиво заявляли, что заговор с целью свержения Наполеона вынашивался под маской союза и дружбы!

В течение этого и двух последующих дней мое внимание было полностью занято состязанием, которое касалось меня лично и которое оказало такое большое влияние на мою последующую судьбу, что я не могу обойти его молчанием. С тех пор как я поселился в Лонгвуде, у меня в прислуге работал свободный мулат, которым я был очень доволен; но сэру Хадсону Лоу внезапно взбрело в голову убрать его.

Движимый решимостью помучить нас всеми способами, какие только могло подсказать его воображение, или (как многие склонны полагать) следуя вероломно разработанному плану, он послал дежурного английского офицера сообщить мне, что у него возникли некоторые сомнения относительно того, уместно ли, чтобы меня сопровождал уроженец Острова; и что он намеревался убрать моего слугу и прислать ко мне кого-нибудь по своему выбору. Мой ответ был краток и утвердителен: “Губернатор,” сказал я, “в его власти отослать моего слугу, если ему заблагорассудится; но он может избавить себя от хлопот и прислать мне кого-нибудь по своему

выбору. С каждым днем я все лучше и лучше учусь обходиться без жизненных удобств. Я могу, если необходимо, позаботиться о себе сам; это дополнительное лишение будет лишь слегка ощущаться среди страданий, которым мы подвергаемся”.

Это обстоятельство послужило причиной обмена огромным количеством сообщений и записок. Сэр Хадсон Лоу три или четыре раза в день писал дежурному офицеру, предписывая ему передавать мне различные сообщения. Он заметил, что не понимает моих угрызений совести и не может понять, почему я должен возражать против любого слуги, которого он мог бы мне прислать.—Один из выбранных им вариантов был так же хорош, как и любой другой — предложение сделать выбор самому было просто знаком внимания и т.д.

Я был огорчен, видя, как бедного офицера так безжалостно гоняют туда-сюда; к тому же я сам смертельно устал от всего этого. Поэтому я попросил его избавить себя от дальнейших хлопот, заверив губернатора, что на все его обращения мой ответ должен быть неизменно одним и тем же, а именно, что он может отослать моего слугу, если пожелает; но что он не должен думать о том, чтобы обязать меня принять кого-то по его выбору; что он может поместить меня в гарнизон силой, но никогда с моего собственного согласия. Пока шла эта переписка, за моим слугой послали, его допросили, отстранили от службы, затем снова отправили обратно и, наконец, отозвали.

Я доложил обо всем императору, который высоко оценил мою решимость не допускать к нам шпиона. “Но, ” сказал он самым располагающим тоном, “ поскольку эта жертва была принесена в интересах всех, не подобает, чтобы страдал только ты. Пошлите к Джентилини моего *камердинера де пье*, и пусть он прислуживает вам: он будет очень рад заработать несколько наполеонов в дополнение к своему жалованью; кроме того, скажите ему, что это по моему желанию. Джентилини поначалу с радостью взялся за это дело; но вечером бедняга пришел сообщить мне, что кто-то сказал ему, что одному из слуг императора не подобает ухаживать за частным лицом!... Император был так добр, что послал за Джентилини и повторил приказ собственными устами.

Таким образом, Губернатор ежедневно преследует нас всеми мыслимыми способами. Я не упоминаю обо всех обстоятельствах такого рода, которые постоянно происходят, не потому, что привычка научила меня приспосабливаться к ним, но потому, что неприятности, возникающие из-за простого дурного характера, - это всего лишь мелочи по сравнению с большими страданиями, которые нам приходится терпеть....

Если я попытаюсь описать ужасы моего собственного положения в одиночку, пусть будет принято во внимание, что я сослан, и, вероятно, навсегда, на пустынную скалу, в двух тысячах лиг от дома, заключен в маленькую тюрьму, под небом, в климате и на почве, совершенно отличных от тех, что в моей родной стране. Я спешу к преждевременной смерти, единственно возможному завершению моих страданий. Лишенный своей жены, детей и друзей, которые, хотя и все еще живы, можно сказать, что их больше нет в одном мире со мной; отрезанный от всякого общения с человечеством, я сожалею о воспоминаниях о семейных привязанностях и прелестях дружбы и общества.... Конечно, нет человека, какой бы ни была его страна или его мнения, который не должен был бы посочувствовать моей участи.... Но через мгновение я могу перевернуть картину, и мое положение покажется завидным!...

Где сердце, которое не билось бы при воспоминании о достижениях Александра и Цезаря? Кто может приблизиться к мощам Карла Великого без эмоций? Как бы мы были счастливы, если бы могли вспомнить слова, акцент Генриха IV.! Таким образом, когда я подавлен душевным унынием, когда я чувствую необходимость поднять свой упавший дух, когда мое сердце переполнено этими ощущениями, а мой ум наполнен этими идеями, я восклицаю: я обладаю всем этим и даже больше, чем этим! Здесь я окружен не простыми иллюзиями и историческими воспоминаниями; я нахожусь в реальном контакте с живым человеком, совершившим так много чудес. Каждый день, каждое мгновение я могу созерцать черты того, кто одним взглядом отдавал приказы о битвах и решал судьбы империй. Я могу смотреть на чело, украшенное лаврами Риволи, Маренго, Аустерлица, Ваграма, Йены и Фридланда. Я могу осмелиться прикоснуться к руке, которая держала в руках так много скипетров и раздала так много корон; которая приняла знамена врага при Арколе и Лоди; и которая по торжественному случаю вручила в руки убитой горем жены единственные доказательства вины ее мужа. Я слышу голос того, кто, обращаясь к своим войскам при виде египетских пирамид, сказал: “Ребята, с вершин этих памятников на нас смотрят сорок веков!” кто, остановившись и обнажив руки перед колонной раненых австрийских солдат, воскликнул: “Честь и почтение несчастному храбрецу”. Я беседую почти фамильярно с монархом, который правил Европой; чьим времяпрепровождением было украшение наших городов и процветание наших провинций; кто возвысил нас до столь высокого положения в глазах народов; и кто вознес нашу славу до небес!... Я вижу его, я слышу, как он говорит, я ухаживаю за ним и, возможно, даже помогаю утешить его!... Могу ли я тогда претендовать на жалость? Напротив, разве тысячи людей не позавидуют моей участи? Кто может похвастаться наличием стольких источников счастья в обстоятельствах, подобных нашим?

НОВЫЕ РАБОТЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ИМПЕРАТОРОМ.—ЗАМЕЧАНИЯ О ВЕЛИКИХ ПОЛКОВОДЦАХ; ВОЙНА И Т.Д.—МНЕНИЕ НАПОЛЕОНА О РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.—АДВОКАТЫ.—ВИКАРИИ.—РАЗНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ.

14—го.- Император послал за мной около шести часов. Он сообщил мне, что только что диктовал главу о морских правах. Он рассказал мне о некоторых других работах, которые он имел в виду. Я осмелился напомнить ему о четырнадцати параграфах, которые он уже запланировал и на которые я ссылался ранее. Казалось, он был доволен, что я упомянул об этом обстоятельстве, и заверил меня, что когда-нибудь приведет свой замысел в исполнение.

Он прочитал и исправил ценные заметки, которые он продиктовал великому маршалу о древних и современных войнах, о различных планах формирования и управления армиями и т. Д. Впоследствии он вступил в разговор и, среди прочего, сказал: “Никакая серия великих поступков не является простой работой случая и фортуны; это всегда результат размышлений и гениальности. Великие люди редко терпят неудачу в самых опасных начинаниях. Посмотрите на Александра, Цезаря, Ганнибала, великого Густава и других; они всегда преуспевали. Были ли они великими людьми только потому, что им повезло? Нет; но потому, что, будучи великими людьми, они владели искусством управлять судьбой. Когда мы начинаем исследовать причины их успеха, мы с удивлением обнаруживаем, что они сделали все, чтобы добиться его.

“Александр, едва перешагнув юношеский возраст, всего лишь с горсткой храбрых воинов завоевал четверть земного шара. Но было ли это достижение результатом простого случайного вторжения, своего рода неожиданного потопа? Нет; все было глубоко просчитано, смело выполнено и благоразумно управляемо. Александр сразу проявил себя выдающимся воином, политиком и законодателем. К сожалению, достигнув зенита славы и успеха, он вскружил голову, а сердце испортил. Он начал свою карьеру с ума Траяна, но завершил ее с сердцем Нерона и манерами Гелиогабала”. Император здесь описал кампании Александра таким образом, что это позволило мне взглянуть на предмет в совершенно новом свете.

Ссылаясь на Цезаря, император заметил, что он, противоположность Александру, начал свою карьеру в преклонном возрасте; что его юность прошла в праздности и пороке; но что в конечном итоге он проявил самый активный и возвышенный ум. Он считал его одним из самых приятных персонажей в истории. “Цезарь, - заметил он, - победил галлов и законы своей страны. Но его великие военные достижения не следует приписывать только случаю и удаче”. Здесь он проанализировал победы Цезаря так же, как он анализировал победы Александра.

- Ганнибал, - продолжал Император, “является, пожалуй, самым удивительным удивительного персонажа любого, от смелости, уверенности и величия, выразившиеся во всех его предприятиях. В возрасте двадцати шести лет он задумал то, что едва ли возможно, и осуществил то, что, должно быть, считалось невозможным. Отказавшись от всякого общения со своей страной, он прошел маршем через враждебные или неизвестные народы, на которые он был вынужден нападать и покорять. Он пересек Пиренеи и Альпы, которые считались непроходимыми, и вторгся в Италию, пожертвовав половиной своей армии ради простого завоевания поля битвы, простого права сражаться. Он оккупировал Италию и правил ею в течение шестнадцати лет, несколько раз находясь на волосок от того, чтобы овладеть Римом, и отдавал свою добычу только тогда, когда его враги, воспользовавшись преподанным им уроком, отправлялись нападать на карфагенскую территорию. Можно ли предположить, что славная карьера и достижения Ганнибала были простым результатом случая и благосклонности фортуны? Несомненно, Ганнибал, должно быть, был наделен огромной силой ума, и он также, должно быть, обладал обширным сознанием своего собственного мастерства в военном искусстве, когда, отвечая на вопросы своего юного завоевателя, он без колебаний поставил себя, хотя и покоренного, следующим по рангу после Александра и Пирра, которых он почитал как первых из воинов.

“Все великие полководцы древности, - продолжал наполеон, - и те, кто в наше время успешно шел по их стопам, достигали огромных успехов, только следуя правилам и принципам искусства, то есть путем правильных комбинаций и справедливого сравнения соотношения между средствами и последствиями, усилиями и препятствиями. Они преуспевали только благодаря строгому соблюдению этих правил, какими бы смелыми ни были их предприятия или масштабы полученных преимуществ. Они неизменно практиковали войну как науку. Таким образом, они стали нашими великими образцами, и только тщательно подражая им, мы можем надеяться приблизиться к ним.

“Мои величайшие успехи были приписаны просто счастливой случайности; и мои неудачи, без сомнения, будут приписаны моим недостаткам. Но если я напишу отчет о своих кампаниях, то будет видно, что в обоих случаях мой разум и способности действовали в соответствии с принципами”.

Хочется надеяться, что император осуществит идею написания своих кампаний. Какими бесценными были бы комментарии Наполеона!

Император проанализировал характеры Густава-Адольфа и Конде: у последнего, по его словам, наука, казалось, была инстинктивной, природа создала его со зрелым интеллектом. Тюренн, напротив, довел свой талант до совершенства благодаря усердию и учебе. Я заметил, что у Тюренна не было учеников, в то время как Конде оставил после себя многих выдающихся людей. “Это был простой каприз случая,” ответил император. “должно было произойти обратное. Но не всегда во власти учителя воспитать хороших учеников; природа должна оказать свою помощь: семя должно быть посеяно в плодородную почву”. Он сделал много замечаний об Эжене, Мальборо, Вандоме и других. Фридрих Великий, по его словам, был во всех отношениях превосходным тактиком и владел искусством превращать свои войска в абсолютные машины. “Как часто,” сказал он, - характеры мужчин оказываются совершенно не такими, какими кажутся их первые поступки! Знают ли они сами, кто они на самом деле? Фридрих, - продолжал он, - в начале своей карьеры бежал от собственной победы; и, конечно, вся его последующая история доказывает, что он был самым бесстрашным, самым цепким и хладнокровным из людей”.

После обеда император, который был доволен темой диктовки и беседой, в которой он участвовал в течение утра, почти час рассуждал на те же темы, самым виртуозным и остроумным образом обсуждая различные вопросы, связанные с военным искусством.

Намекая на огромную разницу между древней и современной войной, он заметил: “Изобретение огнестрельного оружия привело к полным переменам. Это великое открытие работает исключительно на пользу нападающим, хотя многие современные ученые придерживаются противоположного мнения. Физическая сила древних,” добавил он, - находилась в гармонии с их наступательным и оборонительным оружием; наше, с другой стороны, полностью выходит за рамки нашей сферы”.

Если император оставит после себя свои мысли по этим вопросам, они будут поистине бесценны. В течение вечера он высказал свое мнение по нескольким военным вопросам, иногда затрагивая самые важные вопросы, а иногда опускаясь до мельчайших деталей.

Он заметил, что война часто зависит от случайностей и что, хотя командир должен руководствоваться общими принципами, все же он никогда не должен упускать из виду ничего, что может позволить ему извлечь выгоду из случайных обстоятельств. Вульгарные люди называют удачей то, что, напротив, создается гениальными расчетами.

При нынешнем режиме военных действий он считал целесообразным, чтобы третьему эшелону пехоты была придана большая последовательность или чтобы он был подавлен^{suppressed}; и он объяснил свои причины для этого. В

Он придерживался мнения, что пехота, атакуемая кавалерией, должна вести огонь издали, а не с близкого расстояния, согласно нынешней практике. Он доказал преимущество этого метода.

Он заметил, что пехота и кавалерия, предоставленные самим себе, без артиллерии, не могут добиться решающего результата; но что с помощью артиллерии, при прочих равных условиях, кавалерия может уничтожить пехоту. Он ясно объяснил эти факты и многие другие помимо них.

Он добавил, что артиллерия действительно решает судьбу армий и народов; что люди теперь сражаются ударами пушечных ядер так же, как они сражались ударами кулаков; ибо в битве, как и при осаде, искусство состоит в том, чтобы направить многочисленные залпы в одну и ту же точку; что в разгар конфликта тот, кто обладает достаточной сообразительностью, чтобы внезапно направить массу артиллерии на любой конкретный пункт сил противника, был уверен в победе. Это, по его словам, было его великим секретом и грандиозным планом тактики.

Император полагал, что невозможно сформировать совершенную армию без революции в манерах и образовании солдата, а возможно, даже офицера. Этого нельзя было достичь с нашими печами, складами, буфетами и вагонами. Не могло быть совершенной армии до тех пор, пока, в подражание римлянам, солдат не получал свой запас зерна, не молол его на своей ручной мельнице и сам не пек хлеб. Мы не могли надеяться обзавестись армией, пока не упраздним всю нашу чудовищную свору гражданских служащих.

“Я обдумывал все эти перемены, - сказал он, - но они никогда не могли быть осуществлены на практике, за исключением периода глубокого мира. Армия, находящаяся в состоянии войны, безошибочно восстала бы против таких нововведений”.

Я вставлю сюда некоторые заметки, которые я собрал в разное время, относительно новых планов, разработанных императором, не только в армии, но и по многим другим вопросам, важным для социальной организации.

Император часто замечал, что он намеревался после установления мира побудить европейские державы значительно сократить свои постоянные армии. Он желал, чтобы каждый государь ограничился своей гвардией, как костяком армии, которую можно было бы увеличить в случае необходимости. Он намеревался, если бы ему пришлось содержать многочисленную армию в мирное время, использовать войска на общественных работах, дисциплинировать их и снабжать продовольствием по особому плану.

Он сказал, что обнаружил, что в его планах кампаний и экспедиций наибольшая трудность возникает из-за современного метода обеспечения войск продовольствием, при котором сначала необходимо найти кукурузу, затем ее смолоть, а затем из муки приготовить хлеб. Римский обычай, который он высоко одобрял и который намеревался ввести полностью или частично, устранил бы все эти неудобства. “Приняв древний план,” сказал он, “армия могла бы пройти маршем на край света. Но для осуществления такого перехода потребовалось бы время. Это не могло быть достигнуто простым распорядком дня. Я давно вынашивал идею такого изменения; но как бы велика ни была моя власть, я никогда бы не попытался осуществить его силой. С пустым желудком нет никакой подчиненности. Такая цель могла быть достигнута только в мирное время и незначительными темпами: я бы достиг этого, создав новые военные манеры”.

Император постоянно настаивал на том, чтобы подчинить всю нацию законам о воинской повинности. “Я неумолим в вопросе об освобождении от ответственности, - сказал он однажды в Государственном совете. — Это было бы преступлением. Как я мог примирить это со своей совестью - подвергать опасности жизнь одного человека в интересах другого? Я даже не думаю, что освободил бы своего собственного сына”. В другой раз он сказал: “Воинская повинность - это вечный корень нации, ее моральное очищение, реальная основа ее привычек. Посредством призыва на военную службу, - добавил он, - нация была классифицирована в соответствии с ее

реальными интересами защиты за рубежом и спокойствия внутри страны. Организованный, воспитанный таким образом французский народ мог бы бросить вызов миру и с полным правом мог бы повторить высказывание гордых галлов: *”Если небо упадет, мы поддержим его нашими копьями”*."

Согласно планам Наполеона, воинская повинность не только не препятствовала образованию, но и способствовала бы его развитию. Он намеревался создать в каждом полку школу для начала или продолжения обучения любого рода, будь то наука, свободные искусства или просто механика. “И все было бы не так просто”, - заметил он. “После принятия принципа мы должны были обеспечить каждый полк всем необходимым из его собственных рядов. И какие преимущества принесло бы обществу рассеяние этих молодых людей с их приобретенными знаниями, даже если бы они были всего лишь элементарными, и привычками, неизбежно выработанными ими!”

Однажды император в ходе беседы заметил, что, если бы у него был досуг, было бы мало учреждений, в которых он не внес бы улучшения. Он подробно остановился на зле, проистекающем из судебных исков, которые, по его словам, были абсолютной проказой, социальной раковой опухолью. “Мой кодекс, ” сказал он, - необычайно сократил количество судебных исков, поместив множество причин в поле зрения каждого человека. Но законодателю еще многое предстояло сделать. Не то чтобы он мог надеяться помешать людям ссориться: это они делали во все века; но он мог бы помешать третьей стороне в обществе жить за счет ссор двух других и даже разжигать споры в своих собственных интересах. Поэтому моим намерением было установить правило, согласно которому адвокаты никогда не должны получать гонорары, за исключением случаев, когда у них есть основания. Таким образом, какие судебные процессы были бы предотвращены! При первом рассмотрении дела юрист отклонил бы его, если бы оно было хоть сколько-нибудь сомнительным. Не было бы никаких опасений, что человек, живущий своим трудом, взялся бы за ведение судебного процесса из простого тщеславия; а если бы он это сделал, то сам был бы единственным пострадавшим в случае неудачи. Но моей идее было противопоставлено множество возражений, и так как я не мог терять времени, я отложил дальнейшее рассмотрение этого вопроса. И все же я по-прежнему убежден, - добавил он, - что с некоторыми изменениями эту схему можно было бы использовать наилучшим образом”.

Говоря о духовенстве, император отметил, что он намеревался сделать викариев очень важным и полезным классом людей. “Чем более просвещенными они будут, ” сказал он, ” тем меньше будут склонны злоупотреблять своим служением”. Поэтому, в дополнение к их богословским занятиям, он хотел, чтобы они приобрели знания в области сельского хозяйства, а также основы медицины и юриспруденции. “Таким образом, ” сказал он, “ догматизм и полемика, боевой конь и оружие глупцов и фанатиков, постепенно становились бы все более редкими за кафедрой, откуда провозглашались бы доктрины чистой морали, всегда приятные, красноречивые и убедительные. Поскольку мужчины обычно любят порассуждать о том, что они знают, духовенство наставляло бы крестьян в их сельскохозяйственных работах, предостерегало их от придирок и давало советы больным. Такие пасторы были бы настоящим благословением для своей паствы; и поскольку им была бы предоставлена щедрая стипендия, они пользовались бы высоким уважением: они уважали бы себя и были бы уважаемы всеми. Они обладали бы властью феодалов и могли бы, не подвергаясь опасности, использовать все свое влияние. Священник был бы естественным мировым судьей, истинным моральным лидером, которому

можно было бы безопасно доверить руководство населением, потому что он сам зависел бы от правительства в плане своего назначения и жалования. Если ко всему этому добавить учебу и лишения, необходимые для этого призвания, и предположить, что люди обладают хорошими качествами сердца и ума, то следует признать, что пасторы, сформированные таким образом, произвели бы революцию в обществе, весьма выгодную для дела нравственности”.

Я припоминаю, что слышал, как император в Государственном совете выступал против привилегий служителей Евангелия и указывал на неприличие их торговли, как он сказал, священными и все же необходимыми предметами. Поэтому он предложил положить конец этой практике. “Делая религиозные акты безвозмездными,” заметил он, “мы сделаем их достоинство, благотворительность и милосердие более заметными и окажем большую помощь бедным. Нет ничего проще, чем заменить эти привилегии юридическими поборами. Каждый человек рождается, многие вступают в брак и все умирают; и все же рождения, браки и смерти - это три великих предмета религиозной деятельности, которые, на мой взгляд, особенно нежелательны, и которые я хотел бы отменить. Поскольку это вопросы, которые касаются всех в равной степени, почему бы не обложить их специальным налогом или не включить их в число объектов общего налогообложения?” Это предложение не имело результата.

Я также припоминаю, что слышал, как император предлагал, чтобы все государственные служащие и люди, работающие при правительстве, даже офицеры армии, сами формировали фонд для своих будущих пенсий путем небольшого вычета из их годового жалования. “Таким образом,” сказал он, “будущая поддержка этих людей больше не была бы предметом просьбы или одолжения; это было бы правом. Вычеты, сделанные из их заработной платы, будут направляться в амортизационный фонд, подлежащий выплате в соответствии с настоящим заявлением. Это было бы определенное имущество, которое они могли бы считать своей собственностью и которым они могли бы без сопротивления воспользоваться при уходе с государственной службы”. В качестве возражения было заявлено, что существуют доходы, в частности доходы военнослужащих, которые не подлежат вычету. “Хорошо,” ответил император, “я восполню этот недостаток, я добавлю все, что необходимо для вывода”. — “Но”, “Но”, - был задан вопрос, - какой ответ это даст? Если нам придется заплатить такую же сумму, где будет экономия? в чем будет преимущество?” — “Преимущество, - ответил император, - будет заключаться в разнице между определенностью и неопределенностью; между установившимся курсом казначейства, у которого больше не будет повода беспокоиться об этих случайностях, и спокойствием граждан, которые, таким образом, получают свою гарантию”.

Император горячо защищал эту идею и неоднократно обращался к ней; однако это не дало никакого результата. Я уже отмечал, что часто видел, как он таким образом вступал в импровизированные дискуссии и даже комментировал другие после того, как они были напечатаны.

Следующая краткая цитата даст представление о трудах и активности императорского правления: “Было подсчитано, что правительство Наполеона за четырнадцать лет и пять месяцев представило Государственному совету 61 139 обсуждений по различным вопросам!”^[14]



НАПОЛЕОН На ОСТРОВЕ СВЯТОЙ Елены.

Лондон: Опубликовано для Генри Колберна, апрель 1836г.

Я часто слышал, как Наполеон повторял, что он хотел бы учредить Европейский институт и европейские премии, чтобы контролировать и стимулировать научные общества каждой страны.

Он хотел бы установить по всей Европе единообразие монет, мер и весов, а также единообразие законодательства. “Почему,” сказал он, - разве мой Кодекс Наполеона не мог послужить основой для Европейского кодекса, а мой Императорский университет не мог стать основой Европейского университета?” Таким образом, все население Европы стало бы одной семьей, и каждый человек, путешествуя за границу, все равно чувствовал бы себя дома”.

В разное время обсуждались и другие темы вышеупомянутого характера, но я воздерживаюсь от их упоминания, поскольку моя память не позволяет мне вдаваться в подробности.

ТРЕВОЖНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В ИМПЕРАТОРЕ.—ГУБЕРНАТОР ОКРУЖАЕТ НАС УКРЕПЛЕНИЯМИ.—ПАНИЧЕСКИЙ УЖАС СЭРА ХАДСОНА ЛОУ.—ГЕНЕРАЛ ЛАМАРК.—МАДАМ РЕКАМЬЕ И ПРУССКИЙ ПРИНЦ.

15—го.- Около трех часов император, с которым я завтракал сегодня утром, послал за мной. Ему захотелось подышать свежим воздухом, и он попытался дойти до леса, но воздух был слишком свеж для него. Затем он зашел к главному маршалу и довольно долго сидел в кресле, по-видимому, совершенно измученный. Мы обратили внимание на цвет его лица, на то, как сильно он осунулся, и на его очевидную немощь; и мы были очень огорчены заметной в нем переменой.

Когда мы проходили через лес, император бросил взгляд на окружающие нас укрепления и не смог удержаться от улыбки при виде этих бесполезных и абсурдных сооружений. Он заметил, что земля в нашем районе была полностью обезображена из-за удаления дерна, которым она была покрыта, и который был унесен с целью возведения насыпей. Фактически, в течение последних двух месяцев губернатор непрерывно копал рвы, возводил парапеты, частоколы и так далее. Он полностью блокировал нас в Лонгвуде, и конюшня в этот момент представляет собой настоящий редут. Мы затрудняемся угадать, какая выгода будет эквивалентна затратам и труду, затраченным на эти работы, которые, в свою очередь, вызывают неприязнь и насмешки солдат и китайцев, занятых на них, и которые теперь называют Лонгвуд и его конюшни *Форт Гудзон* и *Форт Лоу*. Нас заверили, что сэр Хадсон Лоу часто просыпается, чтобы придумать новые меры безопасности. “Конечно,” сказал император, “это похоже на безумие. Почему этот человек не может спать спокойно и оставить нас в покое? Неужели у него недостаточно здравого смысла, чтобы понять, что безопасность нашего местного положения здесь достаточна, чтобы развеять все его панические страхи?” — “Сир, — сказал один из присутствующих, — он не может забыть Капри, который с 2000 человек, тридцатью орудиями, укрытый в облаках, был взят 1200 французами под командованием храброго Ламарка, которые смогли добраться до сэра Хадсона Лоу только с помощью тройной эскалады”. — “Что ж, — сказал император, — это только доказывает, что наш губернатор лучший тюремщик, чем генерал”.

В течение некоторого времени я испытывал серьезную тревогу за здоровье моего сына. Боли, на которые он жаловался ранее, сменились сильным сердцебиением, сопровождавшимся обмороками; и ему часто приходится вставать ночью, чтобы облегчиться, прогуливаясь по комнате или принимая какое-либо определенное положение. Доктор О'Мира подумал, что у него появились симптомы аневризмы, и счел, что он находится в опасном состоянии. Я попросил главного врача доктора Бакстера провести консультацию с доктором О'Мира. Результат значительно облегчил мое беспокойство, поскольку было объявлено, что в его состоянии нет ничего особо тревожного.

В ходе дневных бесед император упомянул мадам де Сталь, о которой, однако, не сказал ничего нового, за исключением упоминания о некоторых письмах, которые были изучены полицией и которые касались мадам Рекамье и прусского принца.

“Эта переписка, — сказал император, — представляла собой недвусмысленные доказательства обаяния мадам Рекамье и высокого уважения, которое принц питал к ней. В письмах содержалось не что иное, как предложения или обещания жениться с его стороны”.

Ниже приводится объяснение этого дела. Прекрасная мадам Рекамье, чья безупречная репутация не пострадала в те бурные времена, когда мало кто избежал порицания, жила с мадам де Сталь, которой она героически посвятила себя, когда один из прусских принцев, попавший в плен в Эйлау и направлявшийся в Италию с разрешения Наполеона, остановился в замке Коппе с намерением отдохнуть всего несколько часов. Здесь, однако, он был задержан на все лето чарами мадам Рекамье, которая добровольно разделяла изгнание своей подруги. Эта дама и молодой принц оба считали себя жертвами Наполеона, и их общая ненависть к нему, на которого они смотрели как на своего угнетателя, вероятно, породила взаимный интерес, который они питали друг к другу. Охваченный пылкой страстью, принц, несмотря на трудности, которые, естественно, предполагало его высокое положение, задумал жениться на мадам Рекамье. Он поделился своим замыслом с мадам де Сталь, чье поэтическое воображение

побудило ее одобрить план, рассчитанный на то, чтобы вызвать своего рода романтический интерес к Коппету. Принца отозвали в Берлин, но отсутствие не привело к изменению его настроений. Он по-прежнему горячо настаивал на своем иске, но мадам Рекамье постоянно отклоняла это неожиданное повышение, то ли из природной щедрости чувств, то ли из-за своего католического предубеждения против разводов.

Этому обстоятельству мы обязаны изображением Коринны, которое считается одним из самых оригинальных творений карандаша Жерара. Принц заказал эту картину в качестве комплимента мадам Рекамье.

Возвращаясь к мадам де Сталь, я воспользуюсь этой возможностью и замечу, что после публикации предыдущих частей моего Дневника меня посетили некоторые из самых близких друзей этой знаменитой женщины. Эти лица заверили меня, что мадам де Сталь часто употребляла выражения по отношению к Наполеону, на которые она была совершенно неспособна, — например, фразу *"Робеспьер на коне"*, которую, по их словам, они могли бы взять на себя обязательство добросовестно дезавуировать. Более того, мне сообщили, что мадам де Сталь часто была более благосклонна к Наполеону в своих частных беседах, чем в своих произведениях, которые, следует признать, во всем, что касается императора, пропитаны духом злобы и негодования. Один из ее друзей заверил меня, что был очень рад, обнаружив в моем Дневнике упоминание о том, что Наполеон на острове Святой Елены сравнил мадам де Сталь сразу с Армидой и Клориндой. Мне сообщили, что мадам де Сталь, со своей стороны, в момент своего увлечения молодым генералом итальянской армии сравнила его сразу со Сципионом и Танкредом; потому что, как она сказала, он сочетал простые достоинства одной с блестящими достижениями другой.

После обеда император приказал принести своего любимого Расина и прочел нам несколько лучших отрывков из *"Ифигении"*, *"Митридата"* и *"Баязета"*. "Хотя Расин создал шедевры сами по себе, - сказал он, " все же он напустил на них постоянный налет пресности. Вечно присутствует любовь с ее томным тоном и утомительным сопровождением. Но эти недостатки следует приписывать не только Расину, но и нравам эпохи, в которую он писал. Любовь была тогда и даже в более поздний период всем делом жизни каждого человека. Так бывает всегда, когда общество пребывает в состоянии праздности. Что касается нас, - сказал он, - то великие события революции жестоко обратили наши мысли к другим предметам".

Император, между прочим, также осудил весь знаменитый план кампании Митридата. Он заметил, что это, может быть, и прекрасно как повествование, но абсурдно как концепция.

ПОРТРЕТЫ НЫНЕШНИХ АНГЛИЙСКИХ МИНИСТРОВ.—ИМПЕРАТОР ОСУЖДАЕТ ВСЕ МИНИСТЕРСТВА.—ДОСТОЙНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ.—ЧУВСТВА НАПОЛЕОНА К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ЕМУ СЛУЖИЛИ.

16—го. - Я застал императора забавляющимся, просматривая английское издание, что-то вроде политического альманаха. Ссылаясь на сотрудников английского министерства, которые упоминались в этой работе, он сказал мне: "Вы знаете кого-нибудь из них? Каково было общее мнение о них, когда вы были в Англии?" — "Сир, - ответил я, - прошло так много времени с тех пор, как я покинул Англию, что почти все, кто сейчас отличается в министерстве, тогда только начинали свою карьеру. В то время ни один из них не появился на месте происхождения".

Император, упомянув лорда Ливерпуля, сказал: “Мне кажется, он самый достойный человек среди них. Я слышал о нем много хорошего. Кажется, у него есть некоторое чувство приличия. Я не возражаю против того, чтобы человек был моим врагом: у каждого есть свое дело и свои обязанности, которые он должен выполнять; но я, безусловно, имею право возмущаться недостойным поведением и мерами”. Я упомянул императору, что, когда я был в Англии, отец лорда Ливерпуля, мистер Дженкинсон, который последовательно становился лордом Хоксбери и лордом Ливерпулем, сколотил свое политическое состояние. Говорили, что он был очень хорошим человеком и личным другом Георга III; он отличался усидчивостью и особое внимание уделял дипломатическим документам.

Затем император упомянул лорда Сидмута. “Мне говорили, - сказал он, “ что он тоже достаточно достойный человек, но он не обладает большим умом. Он один из тех честных болванов, которые с предельной искренностью участвуют во всевозможных пакостях”.

“ Сир, - сказал я, - в мое время лорд Сидмут под именем мистера Аддингтона был членом Палаты общин и пользовался всеобщим уважением. Говорили, что он был креатурой мистера Питта, который, как считалось, назначил Аддингтона своим преемником, чтобы обеспечить себе возможность вернуться в министерство, когда сочтет нужным. Публика, несомненно, была очень удивлена, увидев, что Питта сменил мистер Аддингтон, поскольку считалось, что этот пост выходит далеко за рамки его талантов. Одна из английских оппозиционных газет, ссылаясь на мистера Аддингтона, процитировала замечание философа (кажется, Локка), который говорит, что разум ребенка - это чистый лист бумаги, на котором природа еще ничего не написала; и в упомянутом Журнале с юмором отмечалось, что, когда природа писала на чистом листе Доктора (прозвище, данное тогда мистеру Аддингтону), следует признать, она оставила много полей ”.

“ Итак, ” продолжал император, “ что вам известно об этом печальном человеке, на попечение которого мы были переданы, — о лорде Батерсте? “Абсолютно ничего, сир, — ответил я, - ни о его происхождении, ни о его личности, ни о его характере”. - “Что касается меня, - сказал он с некоторой долей теплоты, - то у меня нет возможности узнать его, кроме как по его поведению по отношению ко мне; и, исходя из этого, я считаю его *самым подлым the most cowardly of men*”. Жестокость его приказов, грубость его языка, выбор его агента - все это дает мне право сделать это заявление. Такого палача, какого он прислал сюда, нелегко найти. Такой выбор не мог быть сделан наугад. Его, должно быть, искали, судили и инструктировали. Конечно, этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы оправдать моральное осуждение человека, который мог опуститься до столь низменного поступка. По руке, которой он двигает, легко догадаться, каким должно быть его сердце!”

Должен признаться, что, поддавшись чувству деликатности, я сначала почти убедил себя умолчать или смягчить процитированные выше выражения, но, с другой стороны, определенные угрызения совести удержали меня от этого. Тень того, кто был так глубоко ранен, подумал я, в этот момент парит надо мной и, кажется, говорит: “Раз уж ты заставляешь меня говорить, по крайней мере, сохрани мои слова”. Справедливость отстаивает свои права. Мужчины, пользующиеся почестями и властью, должны чувствовать, что на них лежит обязанность отвечать на выдвинутые против них обвинения. Пусть обвиняемый оправдывается: — если он может, тем лучше.

Говоря о лорде Каслри, император сказал: “Этот человек управляет всеми остальными и даже самим принцем с помощью наглости и интриг. Поддерживаемый большинством своих сородичей, он всегда готов с предельной наглостью бороться против разума, закона, справедливости и истины. Никакая ложь непоражает его: он не останавливается ни перед чем, прекрасно зная, что всегда может заставить голоса аплодировать и узаконить все, что он делает. Он полностью пожертвовал своей страной и ежедневно унижает ее, действуя вопреки ее политике, доктринам и интересам: короче говоря, он полностью предал ее Континенту. Положение Англии становится все хуже и хуже. Бог знает, как она выкрутится!”

“Насколько мне известно, на лорда Каслри, - продолжал он, - даже в Англии смотрят как на человека политически аморального. Он начал свою карьеру с акта политического вероотступничества, который, хотя и является достаточно распространенным явлением в его стране, тем не менее, всегда оставляет неизгладимое пятно. Он вступил в общественную жизнь как защитник народа и в конце концов стал двигателем власти и деспотизма. Если все, что о нем говорят, верно, его должны ненавидеть его соотечественники, ирландцы, которых он предал, и англичане, которые могут справедливо считать его разрушителем их внутренних свобод и иностранных интересов.

“У него хватило наглости выдвинуть в парламенте в качестве достоверных фактов заявления, которые, как он знал, были ложными и которые, вероятно, он сам сфабриковал: и все же, на основании этих документов было принято решение о свержении Мюрата. Лорд Каслри считает своим долгом ежедневно опровергать себя в парламенте и на публичных собраниях, вкладывая в мои уста выражения, рассчитанные на то, чтобы нанести ущерб мне в глазах англичан, хотя он прекрасно осознает, что делает ложные утверждения. Такое поведение тем более низменно, что он сам лишает меня возможности опровергнуть его.

“Лорд Каслри - ученик Питта, которому он, вероятно, считает себя равным, хотя он всего лишь подражатель этому выдающемуся государственному деятелю. Он неустанно осуществлял планы и заговоры своего господина против Франции; но даже здесь упорство и упрямство были, пожалуй, его единственными хорошими качествами. Но у Питта были грандиозные планы: интересы его страны стояли для него превыше всего. Он обладал талантом и изобретательностью; и из Англии он по своему желанию двигал рычагом, с помощью которого правил и влиял на континентальных монархов. Каслри, напротив, заменяя изобретательность интригами, а гениальность субсидиями, действует безотносительно к интересам своей страны и постоянно использует кредит и влияние континентальных монархов просто для подтверждения и увековечения своей собственной власти у себя дома. Однако таков ход вещей в этом мире, что Питт, при всем своем таланте, постоянно терпел неудачу, в то время как неспособный Каслри добивался полного успеха. О, слепота судьбы!

“Каслри полностью проявил себя человеком континента. Когда он стал хозяином Европы, он удовлетворил всех монархов континента и забыл только о своей собственной стране. Его поведение было настолько пагубным для национальных интересов, настолько несовместимым с доктринами его страны, и в целом представляет собой такую видимость непоследовательности, что трудно представить, как такой мудрый народ, как англичане, может позволить управлять собой такому дураку!

“Он принимает легитимность за основу своего вероучения и желает утвердить ее как политическую догму, в то время как этот принцип подорвал бы саму основу трона его

собственного суверена. Кроме того, он признает Бернадотта в противовес законному Густаву IV, который пожертвовал собой ради Англии; и он признает узурпатора Фердинанда VII в ущерб своему достопочтенному отцу Карлу IV.

“Он и союзники устанавливают, в качестве еще одной фундаментальной основы, восстановление старого порядка вещей, возмещение того, что они называют прошлыми обидами, несправедливостью и грабежом; наконец, возвращение политической морали. И все же Каслри не постеснялся пожертвовать Венецианской республикой и Генуей, передав первую Австрии, а вторую присоединив к Пьемонту. Он обогатил Россию владением Польшей. Он ограбил короля Саксонии в интересах Пруссии, которая больше не может оказывать никакой помощи Англии. Он отделил Норвегию от Дании, в то время как, если бы последняя держава оставалась более независимой от России, она могла бы уступить Англии ключ к Балтийскому морю; и Норвегия была передана Швеции, которая, потеряв Финляндию и острова Балтийского моря, полностью перешла под власть России. Наконец, нарушив основные принципы общей политики, он пренебрег, в своем всемогущем положении, восстановлением независимости Польши, тем самым подвергнув опасности Константинополь, подвергнув опасности всю Европу и подготовив тысячу смут в Германии.

“Мне нет нужды говорить о чудовищной ~~непоследовательности~~[непоследовательности](#) министра, представителя нации в высшей степени свободной, возвращающего Италию под ярмо рабства, удерживающего Испанию в состоянии рабства и прилагающего все усилия, чтобы сковать оковами весь континент. Неужели он думает, что свобода присуща только англичанам, а остальная Европа не приспособлена для того, чтобы наслаждаться ею?^[15] Но даже если предположить, что он придерживается такого мнения, как он объясняет свое поведение по отношению к своим соотечественникам, которых он ежедневно лишает некоторых из их прав? Например: приостановление действия Закона о Хэбеас корпус, правильного или неправильного; приведение в исполнение законопроекта об иностранцах, по которому (будет ли он зачтен?) жена англичанина, если ей случится быть иностранкой, может быть изгнана из Англии по воле и удовольствию министра; бесконечное рассеяние шпионов и осведомителей, этих возбуждающих агентов и адских подстрекателей, с помощью которых всегда могут быть созданы преступники и умножены жертвы. Короче говоря, Каслри установил у себя дома систему холодного насилия, железное ярмо, которое он надевает на иностранные владения.^[16] Нет; Лорд Каслри не предназначен для того, чтобы быть министром свободного народа или вызывать уважение иностранных государств. Он визирь континентальных государей, по их наущению обращающий своих соотечественников в рабство: он связующее звено, проводник, по которому английское золото рассеивается по континенту, а деспотические доктрины других стран импортируются в Англию.

“Он проявляет себя приверженцем, подобострастным сподвижником Священного Союза — того таинственного союза, о значении или цели которого я не могу догадаться, который не может принести ни пользы, ни преимущества. Может ли это быть направлено против турок? Тогда англичане должны были бы противостоять этому. Действительно ли это может иметь целью поддержание всеобщего мира? Это химера, с помощью которой невозможно обмануть дипломатические кабинеты. С ними союзы могут создаваться только с целью противостояния или уравнивания. Все они не могут быть объединены вместе. Поэтому я не могу понять этот Священный Союз иначе, как рассматривая его как лигу суверенов против подданных; но, в

таком случае, какое отношение к нему имеет Каслри? Если это так, то не заплатит ли он, не должен ли он однажды дорого заплатить за свое поведение?

“Когда-то в моей власти был лорд Каслри, ” сказал император. “Он интриговал в Шатийоне, когда во время одного из наших кратковременных успехов мои войска вышли за пределы резиденции Конгресса, которая, таким образом, была окружена. Премьер-министр Англии не имел публичного статуса и был лишен международного права.

“Он осознавал свое неловкое положение и проявлял крайнюю неловкость из-за того, что оказался в моей власти. Я намекнул ему, что он может успокоиться, поскольку находится на полной свободе. Я сделал это от себя лично, а не от него, поскольку, конечно, у меня не было причин ожидать от него ничего хорошего. Однако некоторое время спустя он выразил свою благодарность весьма своеобразным образом. Когда он увидел, что я остановил свой выбор на острове Эльба, он добился того, чтобы мне предложили убежище в Англии, и использовал все свое красноречие и хитрость, чтобы побудить меня выбрать эту страну в качестве места жительства. Теперь, однако, я могу справедливо заподозрить неладное в предложениях Каслри, и, несомненно, он уже обдумал то ужасное обращение, которое в данный момент проявляет по отношению ко мне!

“Несчастьем для Англии было то, что ее премьер-министр лично обращался с континентальными суверенами: это было нарушением духа британской конституции. Англичане сначала почувствовали, что их гордость польщена, когда увидели, что их представитель диктует законы Европе; но теперь у них есть масса причин для раскаяния, поскольку результат доказал, что, напротив, он лишь привел к смущению, деградации и потерям.

“Это несомненный факт, что Каслри мог бы получить все; в то время как, напротив, из-за слепоты, неспособности или вероломства он пожертвовал всем. Сидя на пиру у монархов, он краснел, диктуя мир, как торговец, и был полон решимости вести себя щедро, как лорд. Таким образом, он кое-что приобрел в плане тщеславия; и, можно предположить, он ничего не потерял в плане интересов: пострадала только его страна и еще долго будет страдать.

“И континентальные монархи также, вероятно, расскажут в том, что позволили своим премьер-министрам вступать в личный контакт друг с другом. Результатом, по-видимому, стало то, что эти премьер-министры создали между собой своего рода вторичный суверенитет, который они взаимно гарантируют друг другу; и есть веские основания предполагать, что это сопровождается субсидиями, предоставляемыми с ведома их соответствующих Суверенов. Этим бизнесом можно очень легко управлять; ничто не может быть более простым и, в то же время, более изобретательным. Распределяя деньги секретной службы, очень легко упомянуть, что такой человек на континенте был очень полезен, что он все еще может оставаться таким, и, следовательно, уместно выразить признательность за его услуги. Этот человек, в свою очередь, может заявить своему правительству, что тот или иной человек за границей оказал важные услуги и даже поставил под угрозу свои собственные интересы, и что, следовательно, о нем не следует забывать. Вероятно, именно подобные мероприятия побудили известную особу в Вене воскликнуть в минуту досады: *“Такое мероприятие стоило мне лишних глаз в моей голове!”* Несомненно, однажды эти позорные схемы и сделки выйдут наружу. Тогда мы увидим, какие огромные состояния были растрочены таким образом. Возможно, впоследствии они будут записаны в новых письмах Барийона; но ничто не будет раскрыто, никакие персонажи не будут опозорены, потому что современники все предвидели”.

После этой долгой и энергичной вылазки, в ходе которой, могу сказать, я впервые услышал, как Наполеон высказался в частном порядке с такой теплотой и горечью по отношению к этим людям, на которых у него лично были причины жаловаться, он несколько мгновений молчал. Затем, продолжая, он сказал: “И лорд Каслри достаточно хитер, чтобы полностью полагаться на лорда Веллингтона (чье имя император в данный момент нашел среди членов английского министерства). Веллингтон стал его креатурой! Возможно ли, что современный Мальборо присоединился к свите Каслри и связал свои победы с низостью политического шарлатана? Это непостижимо! Может ли Веллингтон вынести такую мысль? Разве его разум не поднялся до уровня его успеха? ...”

Я заметил, что император вообще не любил говорить о лорде Веллингтоне. Казалось, он тщательно избегал высказывать свое мнение о нем, чувствуя, без сомнения, неприличие публично принижать генерала, одержавшего над ним победу. Однако в данном случае он без всяких оговорок позволил себе полностью выразить свои чувства. Сознание обрушившихся на него унижений, казалось, в этот момент с силой поднялось в его сознании. Хотя обычно он был таким спокойным и безразличным к тем, кто причинил ему самые большие обиды, сейчас он проявлял такую теплоту, какой я никогда раньше в нем не замечал. Его жесты, черты лица, тон голоса - все выражало крайнее негодование. Я слушал его с изумлением.

- Мне сказали, - сказал он, - что я здесь благодаря Веллингтону, и я верю этому.^[17] Это поведение вполне достойно того, кто вопреки торжественной капитуляции позволил Ней погибнуть; — Ней, с которым он так часто сражался на поле боя! Что касается меня, то я совершенно уверен, что подарил ему ужасные четверть часа. Это обычно является притязанием благородных умов; он был неспособен этого почувствовать. Мое падение и жребий, который, возможно, был уготован мне, предоставили ему возможность пожать плоды большей славы, чем он добыл всеми своими победами. Но он этого не понимал. Что ж, во всяком случае, он должен быть сердечно благодарен старому Блюхеру: если бы не он, я не знаю, где его *светлость* мог бы быть сегодня; но я знаю, что меня, по крайней мере, не было бы на острове Святой Елены. Войска Веллингтона были достойны восхищения, но его планы были отвратительны; или, я бы скорее сказал, что он вообще ничего не строил. Он поставил себя в ситуацию, в которой было невозможно что-либо сформировать, и, по странной случайности, именно это обстоятельство спасло его. Если бы он мог начать отступление, он безошибочно был бы потерян. Он, безусловно, оставался хозяином поля боя; но был ли его успех результатом его мастерства? Он пожал плоды блестящей победы; но подготовил ли это для него его гений? Его слава полностью отрицательна. Его недостатки были огромны. Он, европейский генералиссимус, в руки которого было вверено так много интересов, и имея перед собой такого проворного и отважного врага, как я, оставил свои силы рассеянными и дремал в столице, пока его не застали врасплох. И все же такова сила рока! В течение трех дней я трижды видел, как судьба Франции и Европы ускользала от меня.

“Во-первых, если бы не измена генерала, который дезертировал из наших рядов и предал мои планы, я рассеял бы и уничтожил все отдельные отряды противника прежде, чем они смогли бы объединиться в корпус.

Далее, если бы не необычные колебания Нея при Катр-Бра, я уничтожил бы всю английскую армию.

“Наконец, справа от меня необычайные маневры Груши, вместо того чтобы обеспечить победу, довершили мое крушение и сбросили Францию в пропасть.

“Нет, - продолжал он, “ Веллингтон обладает лишь особым талантом: у Бертье тоже был свой талант! В этом он, пожалуй, превосходит всех. Но у него нет изобретательности; фортуна сделала для него больше, чем он для нее. Как это отличается от Мальборо, которого он, кажется, считает равным себе. Мальборо выигрывал сражения, управлял кабинетами министров и руководил государственными деятелями; что касается Веллингтона, то он лишь показал, что способен следовать взглядам и планам Каслри. Мадам де Сталь сказала о нем, что, когда он покинул поле битвы, у него не было двух идей. Парижские салоны, столь отличавшиеся изысканностью и правильностью вкуса, сразу же решили, что мадам де Сталь права, и французский полномочный представитель в Вене подтвердил это мнение. Его победы, их результат и их влияние войдут в историю, но его имя умрет еще при его жизни”.

Говоря о министерствах в целом, но особенно о коллективных министерствах, об интригах, великих и мелких страстях, которые волнуют людей, их составляющих, император сказал: “В конце концов, это всего лишь многочисленные бедствия. Никто не избежит этой заразы. Человек может быть честным, когда он поступает на служение; но редко случается, чтобы он уходил с него, не утратив чистоты характера. Я могу, пожалуй, исключить только два: мое и Соединенных Штатов — мое, потому что мои министры были просто моими деловыми людьми, и я один нес ответственность; и Соединенных Штатов, потому что там министры - люди общественного доверия, всегда честные, всегда бдительные и всегда жесткие ”. В заключение он произнес следующие замечательные слова:

“Я верю, что ни один Государь никогда не был окружен более верными слугами, чем я к концу своего правления. И если я не получил должной оценки за сделанный мною выбор, то лишь потому, что французы слишком склонны беспрестанно роптать ”. Затем он провел обзор своих главных министров, пересчитав их по пальцам.

“Два моих великих сановника, ” сказал он, “ Камбасерес и Лебрен, были выдающимися людьми и обладали прекрасными нравами. Бассано и Коленкур, два человека, замечательных своей искренностью и прямоотой. Моле, чье имя прославляет французскую магистратуру, вероятно, суждено сыграть определенную роль в будущих министерствах. Монталивебыл честным человеком; министерство Декреса было чистым и строгим; Годен отличался упорным и хорошо направленным трудом; Мольен обладал огромной проницательностью и расторопностью; и все мои государственные советники были благоразумны и усердны! Все эти имена останутся неразрывно связанными с моими. Какая страна, какая эпоха когда-либо представляли более сдержанное или более нравственное Служение? Счастлива нация, которая обладает такими инструментами и знает, как использовать их с пользой!... Хотя я не был удостоен похвалы, и хотя мое одобрение было в целом чисто отрицательным, все же я полностью оценил ценность тех, кто служил мне и кто имеет вечные права на мою благодарность. Их число огромно, и самые скромные из них не менее достойны уважения. Я не буду пытаться перечислять их, потому что многим пришлось бы жаловаться на то, что они были опущены, и такое упущение могло бы показаться неблагодарностью с моей стороны!”

ГЕНЕРАЛЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ.—НАПОЛЕОН, ПРИЕМНЫЙ ОТЕЦ ОДНОГО ИЗ СВОИХ АДЪЮТАНТОВ.-СКАНДАЛЬНЫЙ РОМАН.-НЕЛЮБОВЬ НАПОЛЕОНА К АЗАРТНЫМ ИГРАМ.—СЕМЬЯ ЛАРОШФУКО И Т.Д.

17—го. -Император был нездоров и весь день никого не видел. Вечером он послал за мной. Я выразил свою глубокую озабоченность состоянием его здоровья, но он заверил меня, что у него больше нездоровье духа, чем тела. Он начал беседовать на самые разные темы, и это, казалось, подняло его настроение.

Он еще раз сделал обзор генералов итальянской армии, описав их характеры и процитировав множество анекдотов о них. Он говорил об эгоизме одного, о ложных притязаниях другого, о глупости третьего; о грабежах, совершенных одними, о хороших качествах других и о важных услугах, оказанных всеми. Особенно он остановился на одной из них, к которой был очень привязан и чье дезертирство, по его словам, нанесло тяжелую рану его сердцу. Император заметил, что из того, что он знал об этом человеке, он был уверен, что тот должен время от времени глубоко страдать от угрызений совести. “Никогда, - заметил он, - дезертирство не было более фатальным и столь решительно провозглашенным. Это было записано в “Монитор” его собственной рукой. Это была непосредственная причина наших бедствий, могила нашего могущества, облако нашей славы. И все же, - добавил он с нежностью в голосе, - я убежден, что его чувства лучше, чем его репутация; его сердце выше его поведения. Он сам, по-видимому, сознает это. Газеты сообщают нам, что, когда, тщетно прося прощения у Лавалетта, он с жаром воскликнул в ответ на препятствия, выдвинутые монархом: “*сир, разве я не дал вам больше, чем жизнь*”? ”Мы были, это правда, - сказал император, - преданы другими, и еще более подлым образом; но ни один другой акт вероотступничества не был так торжественно зафиксирован официальными документами“.

Затем император заметил, что в ранний период жизни он играл роль отца по отношению к упомянутому выше генералу, который не смог поступить в королевский артиллерийский корпус и был вынужден поступить в провинциальный полк. “Он был, ” сказал император, “племянником одного из моих товарищей по Бриенской школе и по полку Ла-Фер, который, эмигрируя из Франции, поручил своего юного родственника моим заботам. Это обстоятельство налагало на меня обязанность играть роль его дяди и отца, что я буквально и исполнил. Я проявлял реальный интерес к его благополучию и испытывал удовольствие от того, что приумножал его состояние. Его отец был рыцарем ордена Людовика Святого, владельцем нескольких металлургических заводов в Бургундии и человеком со значительным состоянием.”состояние”.

Наполеон упомянул, что в 1794 году, возвращаясь из армии из Ниццы в Париж, он посетил замокотца, где с ним великолепно обращались, поскольку он уже начинал пользоваться определенной репутацией. Отец, по словам сына, был абсолютным скрягой. Тем не менее, он решил устроить достойный прием гостю, который был так добр к его сыну. Его развлечения отличались той показухой, которую любят демонстрировать скупцы. Он проявлял полную расточительность. Это было в июле или августе, и он приказал разжечь огромные каминные во всех покоях. “Это, - сказал император, - стало бы событием для Мольера”.

Говоря о нравах Парижа и его огромном населении, император упомянул о многих пороках, которые, по его словам, неизбежно должны существовать во всех великих столицах, где разврат

любого рода постоянно стимулируется нуждой, страстью, остроумием и удобствами, предоставляемыми суетой и неразберихой. Он часто повторял, что все столицы - это Вавилоны. Он привел несколько доказательств отвратительного распутства по отношению к Парижу; и он упомянул, что после того, как он стал императором, он внимательно прочитал самую скандальную книгу, которая когда-либо создавалась самым развращенным воображением. Это был роман, который даже во времена Конвента оказался настолько оскорбительным для общественной морали, что привел к тюремному заключению его автора, который с тех пор продолжал находиться в заключении и которого император считал все еще живым. Я забыл имя сценариста, и это был первый раз, когда я услышал упоминание о постановке.

Император сказал, что он старался, насколько позволяли обстоятельства, подавить многие источники безнравственности; но в некоторых случаях у него не хватало смелости вдаваться в подробности. Например, он запретил азартные игры в масках и даже намеревался запретить все игорные дома; но когда я пожелал, чтобы эта тема была тщательно обсуждена в моем присутствии, это оказалось очень трудным вопросом. Я упомянул, что полиция даже запретила нам играть частным образом в одном из главных домов Сен-Жерменского предместья. Император заметил, что он понятия не имел об этом акте тирании; и все же, как я заверил его, он был осуществлен Фуше от его имени. “Возможно, - сказал он, - но я ничего об этом не знал; и так было со всеми подробностями работы полиции, высшей, средней и низшей”.

Затем он спросил меня о том виде игры, о котором я только что упомянул; и, заметив, что в своих ответах я всегда употребляю множественное число *мы*, он прервал меня, сказав: “Вы сами были одним из участников? Вы были игроком?— “Увы! Сир, к сожалению, я им был. Правда, только с большими перерывами. Но, наконец, когда меня охватил приступ, это подтолкнуло меня к крайностям”. “Я очень рад, что в то время ничего не знал об этом, “ сказал император, “ иначе вы были бы подорваны в моем уважении. Это обстоятельство показывает, как мало мы знали друг о друге, и это также доказывает, что ты не мог нажить себе много врагов, ибо рядом со мной были милосердные души, которые позаботились бы сообщить мне о твоём провале. Мое предубеждение против азартных игр было хорошо известно. Игрок наверняка лишил бы меня доверия. У меня не было времени разобраться, прав я или нет; но всякий раз, когда я слышал, что человек пристрастился к азартным играм, я больше не полагался на него”.

Этот намек на Сен-Жерменское предместье побудил нас упомянуть многие известные имена столицы. Император сделал несколько замечаний о различных членах семьи Ларошфуко. Он упомянул фрейлину императрицы Жозефины; ее мужа, который был послом в Вене и Голландии; ее брата, члена Законодательного органа; их отца, месье де Лианкура, которого он очень уважал; и, наконец, дочь, которую он выдал замуж за принца Альдобрандини, брата принца Боргезе. Он повторил, что когда-то у него была идея сделать ее женой Фердинанда VII. Он также упомянул другого, месье де Ларошфуко, который умер в тюрьме в начале своего правления, и спросил меня, в каком родстве он состоял с остальными. Я не мог сообщить ему. Я ничего не знал ни о человеке, ни об обстоятельствах, упомянутых императором.

“Он был, - сказал Наполеон, - автором заговора против меня лично, о котором я вам никогда не упоминал: это только сейчас пришло мне на память.

“Этот господин де Ларошфуко организовал в Париже от имени короля, который в то время находился в Миттау, заговор, первым ударом которого должна была стать смерть главы правительства. Господин де Ларошфуко закончил свои дни в тюрьме после длительного

заклучения. Кто-то, узнав об этом деле, тайный агент полиции притворился, что участвует в заговоре и стал одним из самых активных его участников. Он получил свои верительные грамоты *взамке* в Лотарингии от пожилого джентльмена, который имел выдающийся чин в армии Конде и которому амнистия Первого консула позволила вернуться во Францию. Этот джентльмен, который, надо отдать ему справедливость, был очень достойным человеком, был назначен аккредитовать участников заговора и предоставить им необходимые условия для получения доступа к Людовику XVIII. в Миттау. Он выказал большое отвращение к участию в заговоре. Он сказал, что теперь слишком поздно думать о таких предприятиях, поскольку Франция начинает наслаждаться покоем. Он торжественно заявил о своем неодобрении любого насилия в отношении Первого консула, на которого он теперь смотрел как на нечто священное. После нескольких бесед с Людовиком XVIII. в Миттау полицейский агент вернулся с информацией обо всем случившемся. М. де Ларошфуко и его группа были арестованы. Если бы они только знали, кто раскрыл их заговор!”

ПОНЯТОВСКИЙ — НАСТОЯЩИЙ КОРОЛЬ ПОЛЬШИ.-ХАРАКТЕРНЫЕ АНЕКДОТЫ О НАПОЛЕОНЕ.

18—го, 19—го.-Разговор зашел о Польше, встрепенувшейся, как она была, услышав голос наполеона. Мы говорили о людях, которым, казалось, было суждено взойти на трон этой страны: каждый высказывал свои собственные предположения на этот счет. Император некоторое время хранил молчание и, наконец, прервал нас, сказав: “Понятовский был настоящим королем Польши. Он обладал всеми качествами, необходимыми для этого высокого положения”. Больше он ничего не сказал.

В другой момент император улыбнулся усилиям, которые были предприняты, чтобы стереть его эмблемы и девизы с общественных памятников, которые он воздвиг: “Они могут, “ сказал он, ” быть скрыты от глаз общественности; но их нельзя стереть со страниц истории или из памяти знатоков и художников. Я действовал по-другому, - добавил он. - Я уважал все признаки королевской власти, которые существовали, когда я пришел к власти. Я даже восстановил *лилии* и другие королевские эмблемы, когда того требовала хронологическая корректность ”.

Один из присутствующих заметил, что принц Люсьен проявлял точно такие же чувства. Пале-Рояль был назначен его резиденцией по возвращении императора в 1815 году, и, поднимаясь по лестнице, он заметил группы *лилии* на гобеленах, которые висели на стенах, он сказал сопровождавшему его офицеру: “Я полагаю, все это будет снято?”“Почему, монсеньор?” “Потому что это уловки врага”. “Хорошо! Монсеньор, почему бы им не остаться нашими трофеями?”“Вы правы, ” ответил принц, “ именно так я смотрю на этот вопрос”.

Сегодня мне удалось лишь немного почерпнуть из беседы с императором.... Поэтому я заполню этот пробел и пробел следующего дня, вставив несколько анекдотов, которые я нахожу в разрозненных заметках на обложке моего обычного дневника: ибо здесь я записал те подробности, которые, как я обнаружил, забыл вставить в их надлежащее место, вместе с любыми старыми воспоминаниями, которые случайно пришли мне в голову, или деликатными моментами, к которым в нашем положении пленения требовалось относиться с осторожностью. Эти заметки также содержат много фактов, которые впоследствии были собраны из бесспорных источников.

Многие из этих статей не имеют отношения друг к другу; но все они связаны с целью настоящей работы, независимо от того, служат ли они доказательством ложных красок, в которых был изображен Наполеон, или, наоборот, они раскрывают реальные черты его характера. Пусть прочтение этого Дневника побудит тех, кто был рядом с императором, записать со своей стороны все, что они знают или слышали о нем!

Раньше много говорилось о чрезмерной суровости и насилии, проявляемых императором по отношению к лицам, окружавшим его особу. Теперь, однако, признано, что каждый, кто служил ему, обожал его именно за доброту сердца и манеры. Со времени моего возвращения в Европу джентльмен высокого ранга, одного имени которого было бы достаточно, чтобы заслужить доверие, и чьи высокие функции постоянно держали его при особе императора, как в зарубежных экспедициях, так и внутри дворца, заверил меня, что он никогда в своей жизни не видел, чтобы Наполеон ударил слугу, за исключением одного случая. Это произошло, когда один из его конюхов при отступлении в Сен-Жан-д'Акр отказался отдать свою лошадь для перевозки инвалидов, в то время как он, главнокомандующий, сдал свою и обязал весь свой штаб сделать то же самое. Но, в конце концов, добавил мой информатор, было легко понять, что этот поступок был продиктован политикой, а не природной суровостью характера: сцена произошла в присутствии удрученных солдат, которым необходимо было продемонстрировать живой интерес, который к ним испытывали.

Раньше было распространено замечание, что Наполеон был не менее угрюм к своим Придворным, чем к тем, кто находился у него на службе, и что он никогда не мог сказать никому ничего комплиментарного или приятного. Среди множества фактов, которые можно было бы привести в противоречие с этим утверждением, я упомяну следующий, свидетелем которого я сам был. По возвращении из катастрофической кампании под Лейпцигом император принял офицеров своего двора в необычный час. Он предстал перед нами с печальным видом. Подойдя к человеку, который был рядом со мной (я думаю, мсье де Бово), чей сын, еще будучи юношей, служил в кампании, в почетном карауле или в каком-то другом отряде. Наполеон сказал ему: “Поведение вашего сына достойно восхищения. Он прославил свое имя. Он был ранен, но что из этого? Он может с гордостью похвастаться тем, что так рано пролил свою кровь за свою страну”.

ВAt То же время, на одной из своих дамб, отдав несколько приказов генералу Жерару, репутация которого тогда начинала привлекать внимание, император закончил несколькими словами, явно доброжелательными, хотя и несколько туманными. Пройдя несколько шагов, чтобы продолжить свой обход, он повернулся к генералу Жерару, очевидно прочитав по его лицу, что тот не совсем понял его, и очень отчетливо сказал: “Я заметил, что, если бы у меня было много таких людей, как вы, я считал бы все свои потери возмещенными и считал бы себя хозяином своей судьбы”.

Примерно в тот же период у меня была возможность стать свидетелем доказательства власти, которую Император мог оказывать над человеческим разумом, и того почитания, с которым к нему относились. Генерал, имени которого я не знаю, который был тяжелоранен в ногу, присутствовал на церемонии прощания с императором. Наполеону сообщили, что ампутация была объявлена абсолютно необходимой, но несчастный офицер упрямо отказывался подчиниться ей. “Почему вы возражаете против операции, которая сохранит вам жизнь?” - спросил Наполеон. “Это не может быть недостатком мужества, поскольку вы так часто бросали

вызов опасности на поле боя! Это презрение к жизни? Но разве ваше сердце не подсказывает вам, что даже с оставшейся конечностью вы можете быть полезны своей стране и оказать ей неоценимые услуги?” Офицер молчал; выражение его лица было спокойным и безмятежным, но по-прежнему негативным. Император, казалось, пожалел его и перешел к разговору с другими лицами, когда офицер, который, по-видимому, принял внезапное решение, повернулся к императору со словами: “Сир, если ваше Величество прикажет мне подчиниться операции, я немедленно это сделаю”, — “Мой дорогой сэр, ” ответил император, “ у меня нет на это полномочий. Я хотел тронуть вас убеждением, но Боже упаси меня приказывать вам! Кажется, я слышал, что, покинув дворец, раненый офицер подчинился операции.

Император, возвращаясь с острова Эльба, прибыл в Тюильри очень поздно вечером. Его дамба на следующий день была, как и можно предположить, чрезвычайно многочисленной. Когда дверь распахнулась и он предстал перед нами, мне было бы трудно объяснить, каковы были мои идеи и ощущения. Император выглядел так же, как обычно; точно он никогда не покидал дворца и только вчера устраивал прием; его лицо, поза, одежда, манеры - все осталось неизменным. Я был сильно взволнован, и, полагаю, мои чувства разделяли все присутствующие. Сила чувств возобладала над уважением; и все бросились вперед, чтобы встретить его. Сам император был явно тронут; и он обнял нескольких самых выдающихся персон. Затем он, как обычно, начал свой обход. Его голос был мягким, лицо безмятежным, а манеры приветливыми: он говорил с добротой ко всем. “Как! - сказал он, обращаясь к одному человеку, “ Что! генерал-майор белой армии в двух шагах от меня!” Некоторые из присутствующих, казалось, пребывали в некотором замешательстве из-за только что произошедших экстраординарных событий; что касается Наполеона, то он вел себя так, как будто ничего не произошло. Он не забыл, что освободил их всех от присяги в Фонтенбло.

Следующие анекдоты доказывают его правильность суждений и хладнокровие. Они также показывают, что, когда он был на вершине власти, его умеренность и справедливость никогда не были поколеблены, даже в вопросах самого прямого личного характера и в тех вопросах, в которых его можно было считать наиболее деликатным и восприимчивым.

Когда Моро был арестован по обвинению в причастности к делу Жоржа и Пишегрю, один из адъютантов первого консула, который, возможно, был также адъютантом Моро или служил под его командованием, посетил его в тюрьме и проявил к нему большой интерес. “Все это вполне естественно, - сказал Наполеон, узнав об этом обстоятельстве, - я, конечно, не могу осуждать такое поведение; но я должен назначить другого адъютанта. Эта должность является совершенно конфиденциальной: в таком личном деле, как это, не может быть разногласий ”. Наполеон передал командование полком этому адъютанту (полковнику. Laucée), который некоторое время спустя погиб во главе ее в одной из операций, предшествовавших капитуляции Ульма.

Примерно в то же время префект Льежа, столь же замечательный своими административными талантами и превосходным характером, был внезапно вызван в Париж; и он поспешил туда, довольный предвкушением доказательств удовлетворения, которые, как он надеялся, он получит, потому что он их заслуживал. Однако Верховный судья пригласил его навестить его, прежде чем он должен был предстать перед Первым консулом; и он неожиданно оказался допрошенным, *ex officio*, по поводу письма, которое было ему вручено. Сначала он не мог отрицать эту подпись, настолько точно была воспроизведена его собственная; но он

решительно дезавуировал содержащиеся в ней чувства. Оно состояло из оправдания Моро и было наполнено проклятиями в адрес консула. Все это было гнусным заговором, задуманным высокопоставленным государственным чиновником, врагом префекта, с целью его разорения. Префект, доказав, что он ничего не знал о приписываемом ему письме, явился на большую аудиенцию первого консула. Наполеон относился к нему с особым вниманием, и когда он уходил, он сказал ему: “Возвращайся и продолжай выполнять свои обязанности, которые ты так хорошо умеешь выполнять. Ты пользуешься моим глубочайшим уважением. Пусть это публичное свидетельство вашего хорошего поведения утешит вас в тех болезненных чувствах, которые могли вызвать у вас клевета и обман”.

Следующее покажет, что Наполеон не был склонен поспешно осуждать определенную степень независимости, даже если это могло быть несколько неразумно:—

Г-н де Монталиве, который был министром внутренних дел во времена Империи, сообщил мне, что, оставшись однажды наедине с императором после Совета министров, он обратился к нему следующим образом: “Сир, я не без немалого смущения осмеливаюсь упомянуть вашему Величеству обстоятельство, которое, безусловно, крайне нелепо; но префект, молодой аудитор, упорно отказывается присвоить мне титул, который обычай присваивает всем вашим министрам. Некоторые лица, занимающие более низкое положение в моем ведомстве, заметив, что он никогда не употреблял общепринятого титула "монсеньор", говоря обо мне, и сочтя это проявлением жеманства, весьма нелепо потребовали от него от моего имени соблюдения формальности; и он категорически отказался. Мне очень стыдно, что возникло это дело; но как бы то ни было, дело дошло до такой степени, что я не могу от него отказаться”. Поначалу император едва ли мог поверить в такое упрямство и безрассудство со стороны префекта. После короткой паузы он с улыбкой сказал месье де Монталиве: “Но, в конце концов, в Кодексе нет такого обязательства. Молодой человек, возможно, хороший фрукт, хотя еще и не созрел. Однако это непокорное поведение должно быть пресечено. Пожелай, чтобы его отец пришел ко мне; уверен, молодой человек не ослушается его приказов”. Какое тонкое нравственное чувство было передано таким образом!

Вечером 20 марта, не успев император войти в свои апартаменты в Тюильри, как перед ним предстал капитан драгун Г. Д. Он был свидетелем капитуляции Венсенна, которая только что была достигнута благодаря необычайному мужеству и ловкости. Наполеон сначала улыбнулся, услышав подробности, которые ему сообщили; но, пораженный страстными манерами и языком рассказчика, и внезапно вспомнив судьбу губернатора Пювера в Венсенне, он поспешно воскликнул: “Но, сударь, вы ничего не говорите о губернаторе; что с ним стало?” — “Сир, - продолжал офицер более спокойным тоном, - ему выдали паспорт, и его вывезли из Парижа”. Затем Наполеон подошел и схватил офицера за руку с выражением, которое в достаточной степени выдавало тревогу, охватившую его только что. “Я доволен”, - сказал он. “Вы поступили хорошо, очень хорошо!”

В одной из своих записей я нахожу, что император однажды заметил, что лучшее военное письмо, которое он когда-либо читал, было написано во время консульства солдатом юга по имени Леон. Исходя из этой высокой оценки, следует, конечно, предположить, что письмо было очень необычным. Сам я ничего об этом не знаю, но я просто упоминаю об этом обстоятельстве в надежде, что кого-нибудь удастся побудить обнародовать этот документ на случай, если он еще не был зарегистрирован.

Наполеон за свою военную карьеру провел шестьдесят сражений; Цезарь - всего пятьдесят.

Однажды в присутствии Наполеона нас спросили, как это получается, что несчастья, которые еще не определены, часто огорчают нас больше, чем те, от которых мы уже страдаем. “Потому что, - заметил император, - в воображении, как и в расчетах, сила неизвестного *неизмерима*”.

Дав кому-либо важное задание или наметив план какого-либо великого предприятия, император часто говорил: “Ну же, господин, поторопись: используй оперативность; и не забывай, что мир был сотворен за шесть дней”.

В заключение по случаю такого рода он сказал человеку, к которому обращался: “Просите меня чем угодно, кроме *времени*: это единственное, что выше моих сил”.

В другом случае Наполеон поручил одному человеку выполнить какое-то важное дело, которое, как он ожидал, будет завершено в течение того же дня. Однако оно не было завершено до позднего вечера следующего дня. При этом император выразил некоторую степень недовольства; и человек, в свое оправдание, сказал, что работал весь день. “Но разве вы тоже не провели там всю ночь?” - ответил Наполеон.

Император уделял особое внимание благоустройству и украшению рынков столицы. Он любил повторять: “Рыночная площадь - это Лувр простых людей”.

Равенство прав, то есть право стремиться и добиваться, которым обладали все люди, было одним из пунктов, которому Наполеон придавал особое значение. Это стремление к равенству было одной из его особых черт и, казалось, было врожденным свойством его характера. “Я правил не всю свою жизнь, - говорил он, - помню, что до того, как я стал государем, я был подданным; и я никогда не смогу забыть, как сильно чувство равенства влияет на ум и оживляет сердце”.

Когда однажды он давал проект для составления одному из своих государственных советников, он сказал: “Позвольте мне призвать вас уважать свободу и, прежде всего, равенство. Что касается свободы, то ее можно было бы ограничить в случае крайней необходимости; обстоятельства могли бы потребовать и оправдать такой шаг; но Боже упаси нас когда-либо посягать на равенство! Это страсть нашего времени, и я хочу продолжать быть человеком своего времени!”

В глазах Наполеона заслуга была единственной, сама по себе, и он вознаграждал ее равномерно. Таким образом, одни и те же титулы и одни и те же награды были в равной степени присвоены священнослужителю, солдату, художнику, философу и литератору. Поистине можно сказать, что ни в одной другой стране или периоде заслуги не почитались так высоко, а талант не вознаграждался так великолепно. В этих вопросах взгляды императора были безграничны. Я уже упоминал, что однажды он сказал: “Если бы Корнель жил в мое время, я бы сделал его принцем”.

Император сказал однажды на острове Святой Елены: “Природа, кажется, создала меня для великих неудач; они нашли меня с мраморным разумом. Молния не может произвести на него впечатления, а просто скользит по нему.

В другой раз, когда на острове Святой Елены возникла какая-то заваруха, один из приближенных Наполеона воскликнул: “Ах, сир, это, должно быть, еще больше усилило вашу

ненависть к англичанам”. На что император, пожав плечами, сказал смешанным тоном шутки и презрения: “Предубежденный человек! Скажем скорее, что самое большее это может усилить мою ненависть к тому или иному конкретному англичанину.... Но, раз уж мы затронули эту тему, позвольте мне сказать вам, что мужчина, тот, у кого есть истинные мужские чувства, никогда не питает ненависти. Его гнев или дурное настроение никогда не выходят за рамки минутного раздражения - удара электрическим током. Тот, кто создан для выполнения высоких обязанностей и осуществления власти, никогда не рассматривает людей; его взгляды направлены на вещи, их вес и последствия”.

Однажды он заметил, что не сомневается в том, что его репутация будет возрастать пропорционально тому, как она будет передаваться потомкам; и что будущие историки будут считать себя обязанными отомстить за несправедливость современников. За излишеством всегда следует реакция. Кроме того, он придерживался мнения, что, если смотреть на него издали, его характер предстал бы в более выгодном свете, если бы он был освобожден от многих бесполезных обременений. Отныне о нем можно было бы судить по общим взглядам, а не по мелким деталям. Все было бы гармонично, и все местные отклонения исчезли бы. Прежде всего, его будут сравнивать не с самим собой, а с тем, что может существовать в будущем. Он добавил, что теперь, как и впредь, он может с гордостью подвергать каждый акт своей частной жизни самому строгому контролю, уверенный, что самые строгие судьи объявят его невиновным в совершении преступления.

Однажды император сказал мне, что у него возникла идея составить Историю своей дипломатии, или полный отчет о своих переговорах, от Кампо Формио до своего отречения. Если бы ему удалось осуществить свой замысел, какое историческое сокровище было бы таким образом представлено миру!

Говоря о военном красноречии, император сказал: “Когда в пылу сражения, проходя вдоль строя, я обычно восклицал: ‘Солдаты, расправьте свои знамена, момент настал’, наши французы буквально подпрыгивали от радости. Я видел, как они умножились во сто крат. Тогда я не считал ничего невозможного”.

Многие военные речи Наполеона хорошо известны. Следующее было сообщено мне человеком, который слышал это на месте. Во время смотра 2-го конно-егерского полка в Лобенштейне, за два дня до битвы при Йене, Наполеон, обращаясь к полковнику, сказал: “Сколько здесь людей?” “Пятьсот, - ответил полковник, “ носреди них много необстрелянных солдат”. — “Что это значит, ” спросил император тоном, в котором сквозило удивление по поводу этого замечания, “ разве они не все французы?” Затем, повернувшись к полку, он сказал: “Ребята, вы не должны бояться смерти. Когда солдаты бросают вызов смерти, они загоняют его в ряды врага”. Здесь он сделал движение рукой, выражающее действие, на которое он намекал. При этих словах внезапное движение среди войск, сопровождаемое гулом энтузиазма, казалось предвестником достопамятной победы, которая сорок восемь часов спустя разгромила колонну Росбаха.

В битве при Лютцене армия состояла в основном из призывников, которые никогда не участвовали ни в каких боевых действиях. Говорят, что в разгар сражения Наполеон ехал в арьергарде 3-й шеренги пехоты, поддерживая и ободряя молодые войска. “Это ерунда, ребята, - сказал он, - будьте тверды. Франция положила на вас глаз. Покажите, что вы можете умереть за свою страну”.

Наполеон питал большое уважение к немцам. “Я обложил их многомиллионными налогами, это правда, - сказал он, - это было необходимо; но я никогда не стал бы оскорблять их или относиться к ним с презрением. Я уважал немцев. Они могут ненавидеть меня; это вполне естественно. Я был вынужден десять лет сражаться на трупах их соотечественников. Они не могли знать моих истинных замыслов или воздать мне должное за мои конечные намерения, которые были рассчитаны на то, чтобы превратить Германию в великую нацию”.

Император, ссылаясь на одно из своих решений, заметил: “Я ничего не мог поделать в этом случае, я позволил взволновать себя и уступил. Тут я был неправ: сердце государственного деятеля должно быть в его голове”.

Наполеон заметил, что физические способности людей укрепляются под воздействием опасностей или их потребностей: “Так, - сказал он, - бедуин пустыни обладает пронзительным зрением рыси, а лесной дикарь обладает острым нюхом хищных зверей”.

Однажды упоминался человек, который, хотя и отличался своими идеями и поступками, тем не менее обнаруживал серьезные недостатки в своих манерах и способе самовыражения. Император объяснил это несоответствие словами: “Вы видите, что ошибка кроется в его первом образовании; его пеленки не были ни изящными, ни чистыми”.

Говоря об опасности, которой он подвергся среди Пятисот человек 18 Брюмера, он объяснял это местными условиями в военном отношении. Ему пришлось войти в Оранжерею с одной из сторон и пройти вдоль нее по всей длине. “Несчастье заключалось в том, - сказал он, - что вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу со своими противниками, я был вынужден подставить им свой фланг”.

Когда мы ссылались на человека, который, казалось, думал, что сможет внушить нам благоговейный страх, говоря почти угрожающим тоном, император сказал: “Это очень абсурдная идея. Сейчас никто не боится. Ребенок бы не испугался. Даже маленький Эммануэль (указывая на моего сына) обменялся бы пистолетными выстрелами с любым, кто потребовал бы от него этого.” Эти слова императора, вероятно, будут влиять на моего сына всю оставшуюся жизнь.

Наполеон, вернувшись из русской кампании, был настолько поражен мужеством и силой духа, проявленными Неем, что провозгласил его князем Московским, и часто слышали, как он говорил: “У меня в казне двести миллионов, и я отдал бы их все за Нея”.

Говоря об уверенности в конечном торжестве современных принципов, император сказал: “Они не могут невосторжествовать. Обратите внимание на ход событий: даже нынешнее угнетение оборачивается в ущерб угнетателю”.

Однажды императору было замечено, что он не любит выставлять напоказ свои собственные заслуги; “Это потому, - ответил он, - что у меня мораль и великодушие не на устах, а в нервах. Моя железная рука находилась не на конце моей руки, она была непосредственно связана с моей головой. Я не получил ее от природы; только расчет позволил мне использовать ее”.

Говоря о дурном настроении и недовольстве, часто проявляемых жителями Парижа, император спросил, чего от него ожидают после всего, чего он достиг. “Сир, ” сказал кто-то из присутствующих, - я хотел, чтобы ваше величество остановили свою лошадь”. “Остановите мою

лошадь!” - продолжал Наполеон, - “Это было легко сказать. Правда, моя рука была достаточно сильна, чтобы остановить одной остановкой всех лошадей континента. Но я не мог обуздать английский флот: в этом и заключалась вся беда. Неужели у людей не хватило ума понять это?”

Однажды, когда император упрекал человека за то, что тот не исправляет пороки, которыми, как он знал, тот обладал, “Господин, - сказал он, - когда человек осознает свою моральную немощь, он может вылечить свой разум точно так же, как он вылечил бы свою руку или ногу”.

Император, говоря о созданном им дворянстве, выразил сожаление по поводу того, что его так плохо поняли. По его словам, это была одна из его самых грандиозных и счастливых идей. Он имел в виду три цели высочайшей важности, и все три были бы достигнуты: 1-я, примирить Францию с Европой и восстановить гармонию, как бы переняв европейские обычаи; 2-я, теми же средствами добиться полного примирения и союза между старой и новой Францией; и 3-я, изгнать феодальную знать, единственный вид, который является оскорбительным, деспотичным и неестественным. “Согласно моему плану, ” сказал император, “ мне вскоре удалось бы заменить устаревшие и отвратительные предрассудки положительными и достойными уважения качествами. Мои национальные титулы в точности восстановили бы то равенство, которое запрещалось феодальной знатью. Они были дарованы как награда за заслуги любого рода. Вместо генеалогических пергаментов я заменил благородные поступки, а вместо частных интересов - интересы страны. Семейная гордость больше не была бы основана на неясных и воображаемых обстоятельствах, а покоилась бы на самых благородных страницах нашей истории. Наконец, я бы изгнал отвратительную претензию на кровь; абсурдную идею, теорию, которая не имеет реального существования; ибо все мы очень хорошо знаем, что существует только одна раса людей, и что один не рождается с сапогами на ногах, а другой - с вьючным седлом за спиной.

“Вся знать Европы, те, кто действительно управляет ею, были довольны моим планом. Они единодушно приветствовали институт, новизна которого усиливала его превосходство; и все же сама эта новизна подорвала бы его фундамент и безошибочно разрушила бы его. Почему это мнение, которому я обеспечил триумф, послужило именно целям его врагов? Но я не раз терпел это несчастье”.

О ТРУДНОСТЯХ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ ИСТОРИЯ.—ЖОРЖ Пишегрю, МОРО, ГЕРЦОГ Энгийенский.

20. “Следует признать, мой дорогой Лас Кейс, ” сказал мне сегодня император, - что труднее всего добиться абсолютной уверенности в целях истории. К счастью, в целом это скорее вопрос простого любопытства, чем реальной важности. Существует так много видов истин! Например, правда, которую расскажет Фуше или другие интриганы его типа; даже та, которую могут рассказать многие очень честные люди, в некоторых случаях будет существенно отличаться от правды, которую я могу изложить. Историческая правда, о которой так много говорят, к которой с нетерпением взывает каждый орган, слишком часто оказывается всего лишь термином. Во время событий, в разгар противоречивых страстей, это не может существовать; и если позже все стороны придут к согласию относительно этого, то это потому, что тех лиц, которые были заинтересованы в событиях, тех, кто мог бы опровергнуть то, что утверждается, больше нет. Что же тогда, вообще говоря, является правдой истории? Согласованная басня, как было очень остроумно замечено. В этих вопросах есть два существенных момента, очень отличных друг от

друга: положительные факты и моральные намерения. Что касается положительных фактов, то, казалось бы, они должны быть неопровержимыми; и все же вы не найдете двух свидетельств, согласующихся друг с другом в изложении одного и того же факта: некоторые моменты оставались спорными по сей день и навсегда останутся таковыми. Что касается моральных намерений, то как мы можем судить о них, даже признавая искренность тех, кто рассказывает о событиях? И что будет, если рассказчики неискренни или если ими движет интерес или страсть? Я отдал приказ, но кто смог прочесть мои мысли, мои истинные намерения? И все же каждый примет этот порядок и измерит его в соответствии со своей собственной шкалой или приспособит к своим собственным планам или системе. Посмотрите, какую окраску придаст этому интриган, чьим планам это мешает или благоприятствует: посмотрите, как он это исказит. Человек, напускающий на себя важность, которому министры или государь, возможно, намекнули что-то по секрету на этот счет, сделает то же самое; как и многочисленные дворцовые бездельники, которым нечем заняться, кроме как подслушивать у дверей и выдумывать, когда они не могут слышать. И каждый человек будет так уверен в том, что он говорит! а низшие классы людей, получившие информацию из этих привилегированных уст, в свою очередь, будут так уверены в ее правильности! и тогда перевариваются мемуары, пишутся меморандумы, распространяются остроты и анекдоты; и из таких материалов составляется история!

“Я видел, как план моего собственного сражения, намерения моих собственных приказов оспаривались со мной, и общественное мнение было против меня! Разве это не создание, которое лжет своему создателю? Тем не менее, у моего оппонента, который мне противоречит, найдутся свои сторонники. Именно это помешало мне написать свои собственные личные мемуары, раскрыть свои личные чувства, которые, естественно, раскрыли бы оттенки моего личного характера. Я не мог снизойти до написания признаний в манере Жана-Жака Руссо, на которые все могли бы напасть; и поэтому я счел уместным ограничить темы моих диктовок здесь публичными действиями. Я отдаю себе отчет в том, что даже эти отношения могут быть оспорены: ибо где в этом мире есть человек, каковы бы ни были его права и сила и могущество этого права, который не подвергался бы нападкам и противоречиям со стороны противной стороны? Но, по мнению тех людей, которые мудры и беспристрастны, тех, кто размышляет и рассудителен, мой голос, в конце концов, будет так же хорош, как и чей-либо другой; и я мало опасаясь за окончательное решение. В наши дни было рассеяно так много света, что я полагаюсь на великолепие, которое останется после того, как страсти утихнут и тучи рассеются. Но, тем временем, сколько возникнет ошибок! Людичасто будут приписывать мне большую глубину и проницательность в случаях, которые сами по себе были, возможно, самыми простыми; меня будут подозревать в планах, которых я никогда не строил.^[18] Будет задан вопрос, стремился ли я в действительности к вселенскому владычеству или нет. Будет подробно рассмотрен вопрос, были ли моя абсолютная власть и мои произвольные действия результатом моего характера или моих расчетов; были ли они обусловлены моей собственной склонностью или влиянием обстоятельств; был ли я втянут в войны, в которых я постоянно участвовал, по моей собственной склонности или против моей воли; было ли мое ненасытное честолюбие, которое так сильно осуждалось, разжигается жадностью власти и славы или моей любовью к порядку и заботой об общем благе; ибо это честолюбие заслуживает рассмотрения во всех этих различных аспектах. Люди будут расспрашивать о мотивах, которыми я руководствовался в катастрофе герцога Энгиенского,^[19] и так далее в отношении многих других событий. Иногда они искажают то, что было совершенно прямым, и уточняют то, что было вполне естественным. Не

мне было обсуждать здесь все эти темы: это выглядело бы так, как будто я отстаиваю свою правоту — а этим я брезгую заниматься. Если прямота и проницательность историков позволяют им сформировать на основе того, что я продиктовал по общим вопросам, правильное мнение и справедливые представления относительно тех вещей, о которых я не упомянул, тем лучше. Но, наряду со слабым лучом, предоставленным таким образом, сколько ложного света предстанет перед ними — от басен и вымыслов великих интриганов (у каждого из которых были свои взгляды, свои заговоры, свои частные переговоры, которые, будучи смешанными с основными целями, имеют тенденцию превращать все в неразрывный хаос), до разоблачений, *портфелей* и даже утверждений моих министров, которые с наилучшими намерениями должны будут заявить не столько о том, что действительно существовало, сколько о том, что, по их мнению, существовало; ибо кому из них когда-либо принадлежала вся власть? общая концепция моего разума? Их доля в этом была, чаще всего, одним из элементов великого целого, о котором они не подозревали. Следовательно, они увидят только ту сторону призмы, которая их касалась; и даже тогда, как они ее увидят? Дошла ли она до них целиком? Не была ли она уже разбита? И все же, вероятно, каждый из них, судя по тому, что он видел, выдаст фантастический результат своих собственных комбинаций за мою истинную систему; и здесь мы снова имеем признанную басню, которая будет называться историей. Да и не может быть иначе. Это правда, что, поскольку их много, они будут далеки от согласия друг с другом. Однако в своих положительных утверждениях они имели бы преимущество передо мной, поскольку мне очень часто было бы труднее всего уверенно утверждать то, что составляло все мои мысли по тому или иному вопросу. Хорошо известно, что я не стремился подчинять обстоятельства своим идеям; но что я вообще позволил себе, напротив, быть ведомым ими; а кто может заранее просчитать шансы случайных обстоятельств или неожиданных событий? Поэтому я часто считал необходимым существенно изменить свой план действий и всю жизнь действовал, руководствуясь общими принципами, а не в соответствии с установленными планами. Совокупность общих интересов человечества, то, что я считал преимуществом большей части, — таковы были якоря, на которые я полагался, но вокруг которых я чаще всего плыл по прихоти случая” и т. Д.

После этих запоминающихся высказываний настоящее является наилучшей возможностью вернуться к историческому моменту, о котором я обещал рассказать в начале этой работы и которому следовало бы найти место задолго до этого; я имею в виду заговор Жоржа и Пишегрю и суд над герцогом Энгиенским. Сейчас я изложу истинные причины этого переноса и возникшей длительной задержки.

“Война с Англией, — сказал император, — возобновилась некоторое время назад, когда внезапно наши побережья, наши большие дороги и столица были наводнены агентами бурбонов. Многие из них были арестованы; но их планы пока не могли быть раскрыты. Они были всех рангов и описаний. Все страсти были возбуждены, возбуждение общественности достигло предела; надвигалась буря; кризис принял самые тревожные формы; агенты полиции исчерпали все свои средства, не будучи в состоянии получить никакой информации. Моя собственная проницательность спасла меня”, — заметил Наполеон. “Однажды, когда я поднялся ночью, чтобы поработать, как я часто делал раньше, *случайность, которая правит миром*, обратила мой взор на один из последних полицейских отчетов, содержащий имена тех лиц, которые уже были арестованы в результате этого дела, к которому еще не было получено никаких зацепок. Среди этих имен я заметил имя армейского хирурга; я сразу же пришел к выводу, что такой человек, должно быть, интриган, а не преданный фанатик, и я приказал немедленно применить против него все меры, которые могли бы побудить к немедленному признанию. Дело было

немедленно передано в руки военной комиссии; утром ему вынесли приговор и пригрозили немедленной казнью, если он не заговорит. Полчаса спустя он раскрыл все, вплоть до самых мельчайших деталей. Характер и масштабы заговора, который был задуман в Лондоне, были тогда известны, и вскоре после этого были раскрыты интриги Моро, присутствие Пишегрю в Париже и т. Д.”.

Я опускаю все подробности этого дела; их можно увидеть в Письмах, написанных с Кейпа в опровержение писем доктора Уордена, и в работе мистера О'Мира. Подробности, которые я должен был бы изложить, были бы в точности такими же, как те, что содержатся в последней упомянутой работе; они взяты из того же источника. Что касается обвинения в смерти Пишегрю, который, как утверждалось, был задушен по приказу Первого консула, Наполеон сказал, что оно слишком абсурдно и что было бы унижительно пытаться опровергнуть его: “Какую выгоду, “ заметил он, - я мог бы извлечь из его смерти? Человек моего склада не действует без какого-либо веского мотива. Известно ли вам, что я когда-нибудь проливал кровь из-за каприза? Несмотря на все усилия, которые были предприняты, чтобы очернить мою репутацию и исказить мой характер, те, кто знает меня, знают, что преступность чужда моей натуре. За все время моего правления не было ни одного частного поступка, о котором я не мог бы открыто рассказать перед трибуналом не только без какого-либо ущерба для себя, но даже с некоторой похвалой в свой адрес. Дело в том, что Пишегрю оказался в безвыходном положении; его возвышенный ум не мог вынести мысли о позоре публичной казни; он отчаялся в моем милосердии или побрезговал воззвать к нему и положил конец своему существованию.

“ Если бы я был склонен к преступлению, - продолжал император, - я нанес бы удар не Пишегрю, который не мог причинить вреда, а Моро, который в тот момент поставил меня в самое опасное положение. Если бы последний, к сожалению, тоже покончил с собой, находясь в тюрьме, мое оправдание было бы гораздо более затруднительным из-за того, что мне было бы очень выгодно избавиться от него. Вы, джентльмены, которые были за границей, и ультрароялисты, которые были во Франции, никогда не знали истинного состояния общественного мнения во Франции. Пишегрю, однажды разоблаченный как предатель нации, больше не вызывал сочувствия ни в чьей душе; и это чувство зашло так далеко, что того обстоятельства, что он был связан с Моро, было достаточно, чтобы погубить последнего, который увидел, что многие из его приверженцев покинули его; ибо в борьбе партий большинство народа больше заботилось о государстве, чем о отдельных личностях. Я настолько правильно судил в этом деле, что, когда Реаль пришел предложить мне арестовать Моро, я без колебаний отклонил это предложение. Моро - человек слишком важный, сказал я ему; он слишком прямо настроен против меня, я слишком заинтересован в том, чтобы избавиться от него, чтобы таким образом подвергать себя домыслам общественного мнения. Но, возразил Реаль, если Моро сговорился с Пишегрю?— Тогда дело обстоит иначе; докажите мне это, покажите, что Пишегрю в Париже, и я немедленно подпишу приказ о задержании Моро. "Реаль" получил косвенную информацию о прибытии Пишегрю, но пока не смог проследить за его действиями. Беги к его брату, сказал я; если он покинул свое жилище, это будет убедительным доказательством того, что Пишегрю в Париже; если он все еще у себя, арестуй его: его удивление скоро сообщит тебе правду. Этот брат был монахом и жил на четвертом этаже в Париже. Как только он обнаружил, что его арестовали, он спросил, прежде чем ему был задан какой-либо вопрос, какую вину он совершил и вменяется ли ему в вину как преступление то, что он против своей воли получил визит от своего брата. По его словам, он был первым, кто рассказал ему об опасности его положения и посоветовал ему снова уехать. Этого было вполне достаточно. Приказ об аресте Моро был отдан и приведен в

исполнение. Сначала Моро, казалось, не подвергался никакому задержанию; но когда после того, как его отвели в тюрьму, он обнаружил, что арестован за участие в заговоре с Пишегрю и Жоржем против государства, он был совершенно сбит с толку и чрезвычайно взволнован. Что касается большей части тех, кто составлял эту партию, - добавил Наполеон, - то имя Пишегрю показалось им триумфом; они со всех сторон кричали, что Пишегрю в Лондоне и что через несколько дней это будет доказано; ибо они либо не знали, что он в Париже, либо полагали, что ему будет легко бежать оттуда”.

Первый консул давно порвал с Моро, которым всецело управляла его жена. “Это, ” сказал император, “ всегда большое несчастье, потому что мужчина в таком случае не является ни самим собой, ни своей женой, он ничто”. Моро проявлял себя иногда благосклонно к Первому консулу, а иногда против него; иногда подобострастно, иногда саркастично. Первый консул, желавший снискать расположение Моро, оказался перед необходимостью совсем отказаться от него. “Моро, ” сказал он, “ в конце концов возьмет на себя самые серьезные обязательства; когда-нибудь он разобьет голову о колонны Дворца”. И к этому его слишком сильно подтолкнуло бесцеремонное поведение и нелепые претензии его жены и тещи. Последний зашел так далеко, что боролся за первенство с женой Первого консула. “Министр иностранных дел, - сказал Наполеон, - был вынужден однажды, во время приема, устроенного министрами, прибегнуть к насилию, чтобы заставить ее прекратить”.

После ареста Моро Первый консул сообщил ему, что ему будет достаточно признаться в том, что он видел Пишегрю, чтобы прекратить все судебные разбирательства против него. Моро ответил письмом, в котором принял повышенный тон; но впоследствии, когда сам Пишегрю был арестован и дело начало приобретать серьезный характер, Моро написал Первому консулу очень покорное письмо, но было слишком поздно.

Совершенно верно, что Моро совещался с Пишегрю и Жоржем и дал следующий ответ на их предложения: “При нынешнем положении дел я ничего не мог для вас сделать, я не мог полагаться даже на своих собственных адъютантов; *но избавьтесь* от Первого консула, у меня есть партия в Сенате, и я немедленно буду назначен на его место. Вы, Пишегрю, будете допрошены по предъявленному вам обвинению в предательстве национального дела; будьте уверены, вам необходимо предстать перед судом, но я буду отвечать за результат: с этого момента вы будете вторым консулом; а впоследствии мы выберем третьего по нашему желанию и продолжим все вместе, согласованно и без помех”. Жорж, который присутствовал и которого Моро никогда раньше не знал, очень настойчиво требовал для себя это третье место. “Этого не может быть, - сказал Моро, - вы ничего не знаете о состоянии общественного мнения во Франции; вы всегда были белым,^[20] и вы видите, что Пишегрю будет вынужден смыть пятно от того, что у него было намерение стать белым”. “Я понимаю вас”, - сказал Жорж, крайне разгневанный. “Что за фарс мы здесь разыгрываем и за кого вы меня принимаете? Значит, вы работаете только на себя, а вовсе не на короля? Если это так, и если должна быть синяя^[21] во главе правительства я предпочитаю того, кто находится там сейчас”. На этом они разошлись в раздражении, и Моро попросил Пишегрю больше не приводить этого грубияна, этого быка, лишнего здравого смысла и всякой информации.

“На суде, - сказал Наполеон, “ твердость сообщников, великодушие, с которым они отстаивали свое дело, и линия абсолютного отрицания, рекомендованная его защитником, спасли Моро. На вопрос, соответствуют ли действительности выдвинутые против него обвинения в

проведении конференций и интервью, он ответил "Нет". Но победитель при Гогенлиндене не привык ко лжи; внезапный румянец залил каждую черту его лица, и никто из присутствующих не был обманут. Однако он был оправдан, а большинство сообщников приговорены к смертной казни. Я простил нескольких из них; все те, чьим женам удалось проникнуть в мое присутствие или в чью пользу были сделаны решительные ходатайства, получили свои жизни. Полиньяки, Г-н де Ривьер и другие, несомненно, погибли бы, если бы не вмешательство некоторых счастливых обстоятельств. Другим, менее известным, таким как человек по имени Борель, Инган де Сен-Мор, Рошель и другие, повезло не меньше. Это правда," добавил он, "что впоследствии они не выказали особой благодарности за такую услугу, и что, если бы они были достойны расследования своего поведения, было бы установлено, что их действия не были по своей природе побуждающими к милосердию. Один из них, который в вышеупомянутом случае был обязан своей жизнью главным образом домогательствам Мюрата, был точно таким же человеком, который назначил цену за голову Мюрата в Провансе в 1815 году. Если он думал, что верность должна перевешивать благодарность, то жертва, по крайней мере, была для него самой болезненной. Другой - человек, который больше всего способствовал распространению обвинения, столь же нелепого, сколь абсурдным было обвинение Пишегрю в убийстве английского лейтенанта Райта,^[22] & c.

"В разгар событий с Жоржем, Пишегрю и Моро, - сказал император, - произошло происшествие с герцогом Энгиенским, которое привело к странным осложнениям". И затем он подробно рассказал об этом деле. Это последнее обстоятельство и есть причина, побудившая меня в то время перенести на сегодняшний день всю статью, которую я сейчас привожу, поскольку я чувствовал очень большое отвращение затрагивать тему, столь болезненную саму по себе и столь огорчающую нескольких моих знакомых, которые были в непосредственном родстве с принцем или лично к нему привязаны. Больше всего я боялся пробудить законную скорбь высокопоставленной особы, которая некогда оказала мне несколько знаков доброты, воспоминание о которых я всегда хранил. Таковы мои мотивы; они будут поняты и оценены по достоинству. Но, однако, сейчас я приближаюсь к концу своей работы, и мой долг, как добросовестного историка, повелевает мне вернуться к этой печальной теме, чтобы мое абсолютное молчание не было неверно истолковано. Тем не менее, по причинам, изложенным ранее, я опущу все детали, которые уже известны и которые, возможно, были прочитаны в уже цитированных работах ("Письма с Кейпа" и работа мистера О'Мира): мой рассказ был бы таким же, поскольку все они были услышаны из уст самого Наполеона; я приведу лишь несколько подробностей, которые не попали в вышеупомянутые книги, и только те, которые кажутся мне слишком тесно связанными с характерными оттенками характера Наполеона, чтобы не возлагать на меня обязанность упомянуть их.

Это событие произвело в то время глубокое впечатление как на меня, так и на жителей Парижа. Я, возможно, чувствовал это еще сильнее из-за принципов моего детства, привычек и связей моей юности, а также линии моих политических взглядов; и в то время я был далек от того, чтобы это чувство взяло верх. Это первое впечатление все еще оставалось во всей своей силе, и мои представления на этот счет были таковы, что я, конечно, не осмелился бы произнести имя принца в присутствии императора: мне показалось бы, что оно содержит в себе упрек. Я зашел в этом чувстве так далеко, что, когда впервые услышал, как он сам произносит это имя, покраснел от смущения. К счастью, я шел за ним по узкой тропинке, иначе он наверняка заметил бы мое замешательство. И все же, несмотря на все эти предыдущие рассуждения с моей стороны, когда император впервые развил это дело во всех его общих чертах, деталях и

обстоятельствах; когда я услышал, как он раскрывает свои различные мотивы с той краткостью, блеском и силой убеждения, которые составляют характерные черты его логики, я должен признаться, что дело, казалось, приобрело новый аспект. Когда он замолчал, я оставался удивленным, погруженный в свои мысли; я мысленно перебирал в памяти свои прежние возражения; я злился на себя за то, что мне почти нечего было ответить в этот момент, и я был вынужден внутренне признаться, что я оказался сильнее в чувствах, чем в аргументах или веских возражениях.

Император часто возвращался к этой теме, что дало мне возможность заметить в нем некоторые очень ярко выраженные характерные оттенки. В таких случаях я наиболее отчетливо и часто видел в нем частного человека, борющегося с общественным авторитетом, и естественные чувства его сердца, борющиеся с теми, которые были вызваны его гордостью и достоинством его положения. В минуты откровенного дружеского общения он выказывал небезразличие к судьбе несчастного принца; но если его разговор касался общественных забот, это было совсем другое дело. Однажды, поговорив со мной о молодости и безвременной кончине этого злополучного принца, он закончил словами: “И с тех пор я узнал, мой дорогой Лас Касес, что он был благосклонен ко мне. Меня заверили, что раньше он говорил обо мне с некоторой долей восхищения; таково карающее правосудие в этом мире!” Эти последние слова были произнесены с таким выражением, каждая черта его лица была настолько гармонирующей с этим выражением, что я не сомневаюсь, если бы человек, которого жалел Наполеон, был в тот момент в его власти, он был бы свободно прощен, какими бы ни были его действия или намерения. Это, без сомнения, было чувство, высказанное в неосторожный момент, когда я, так сказать, застал его врасплох; и я не думаю, что многие люди оказывались в подобном положении. Эта деликатная тема была слишком тесно связана с гордостью Наполеона и особым складом его ума, чтобы позволить ему быть щедрым в выражении подобных чувств; и поэтому он менял свои аргументы и слова по этому поводу по мере того, как расширялся круг его слушателей. Мы только что видели, как он выражался в доверительной частной беседе; его язык был даже иным, когда мы все собирались вместе: это дело, как он потом говорил, могло вызвать у него некоторое сожаление, но не вызвало никаких угрызений совести или даже каких-либо угрызений совести. Но в присутствии посторонних он заявлял, что принц заслужил свою участь.

Император обычно рассматривал это дело в двух совершенно различных аспектах: со ссылкой на общее право, или установленные правила правосудия, и со ссылкой на закон природы, или акты насилия. С нами он охотно обсуждал этот вопрос, и обычно на принципах общего права; и он, казалось, снисходил до этого из-за фамильярности, которая существовала между нами, или из-за своего превосходства над нами. Обычно он завершал эти беседы замечанием, что его, возможно, можно было бы упрекнуть в суровости, но что его нельзя обвинить в каком-либо нарушении правосудия; потому что, несмотря на всю клевету и ложь, изобретенную поэтому вопросу, все формы, требуемые законом, регулярно соблюдались и строго соблюдались.

В присутствии посторонних император придерживался аргументации, основанной почти исключительно на законе природы и государственной политике. Было очевидно, что ему было бы слишком больно настолько унизиться перед ними, чтобы настаивать на принципах общего права: сделать это выглядело бы как попытка оправдать себя. “Если бы в мою пользу не были приняты законы страны о наказании преступника, - говорил он им, - я все равно имел бы право

по закону природы на законную самооборону. Герцог и его свита постоянно преследовали только одну цель - лишить меня жизни: на меня нападали со всех сторон и в каждое мгновение; для этой цели использовались духовые ружья, адские машины, заговоры, засады всякого рода. Наконец я устал и воспользовался случаем, чтобы в свою очередь нагнать на них страху в Лондоне; мне это удалось, и с этого момента всем заговорам был положен конец. Кто может винить меня за то, что я так поступил? Что?! удары, угрожающие моему существованию, наносятся мне изо дня в день с расстояния в сто пятьдесят лиг; никакая сила на земле, никакой трибунал не могут возместить мне ущерб; и мне не будет позволено воспользоваться правом природы и ответить войной на войну! Какой человек, непредвзятый к партийным чувствам, обладающий хоть малейшей долей здравого смысла и справедливости, может взять на себя смелость осудить меня? с чьей стороны он не бросит упреков, одиозности и уголовных обвинений? Кровь за кровь - таков естественный, неизбежный и безошибочный закон возмездия: горе тому, кто его спровоцирует! Те, кто разжигает гражданские раздоры или провоцирует политические волнения, сами становятся их жертвами. Было бы доказательством идиотизма или безумия воображать и притворяться, что целая семья должна обладать странной привилегией день за днем угрожать моему существованию, не давая мне права на возмездие: они не могли разумно притворяться, что они выше закона, чтобы уничтожить других, и требовать выгоды от этого для собственного сохранения: шансы должны быть равны. Я никогда лично не оскорблял никого из них; великая нация выбрала меня своим правителем; почти вся Европа одобрила их выбор; в конце концов, моя кровь - это не вода из канавы; пришло время поставить ее в один ряд с их кровью. А что, если бы я продолжил мстить дальше? Я мог бы это сделать: мне не раз предлагали распоряжаться их судьбой, жизнями каждого из них, от высших до низших, но я с негодованием отвергал это предложение. Не то чтобы я думал, что с моей стороны было бы несправедливо согласиться на это в том положении, в которое они меня поставили; но я чувствовал себя таким могущественным, я считал себя в такой безопасности, что мне следовало бы счесть это низким и беспричинным актом трусости. Мой главный принцип всегда заключался в том, что на войне, как и в политике, каждое злонамеренное действие, даже если оно законно, может быть оправдано только в случае абсолютной необходимости: все, что выходит за рамки этого, является преступным.

“Было бы нелепо со стороны тех, кто так открыто нарушал международное право, апеллировать к нему самим. Посягательство на территорию Бадена, о котором так много говорилось, совершенно не имеет отношения к сути вопроса. Закон о неприкосновенности территории был придуман не в интересах виновных, а лишь для сохранения независимости наций и достоинства суверена. Следовательно, герцог Баденский, и только он, должен был жаловаться, а он этого не сделал; он, без сомнения, поддался насилию и чувствовал своей политической неполноценности; но даже в таком случае, какое это имеет отношение к достоинствам заговоров и бесчинств, на которые я должен был жаловаться и за которые я имел полное право быть отомщенным?” И он пришел к выводу, что истинными виновниками ужасной катастрофы, лицами, которые одни были ответственны за нее, были те, кто поддерживал и возбуждал из-за границы заговоры, организованные против жизни Первого консула. “Ибо, - сказал он, - либо они вовлекли в них несчастного принца и таким образом предрешили его участь; либо, не предупредив его о том, что происходит дальше, они позволили ему неосторожно уснуть на краю пропасти и оказаться так близко к границам в тот момент, когда во имя и по поручению его семьи должен был быть нанесен столь серьезный удар”.

Нам, в интимной частной беседе, император сказал бы, что вина во Франции может быть возложена на чрезмерное рвение тех, кто его окружал, или на темные интриги или личные взгляды; что его опрометчиво втянули в это дело; что они как бы застали его врасплох; и что его меры были ускорены, а их результаты predetermined заранее. “Однажды я был один,” сказал он, “я хорошо это помню; я пил кофе, полусидя за столом, за которым только что обедал; когда мне внезапно сообщили, что раскрыт новый заговор. Меня горячо призывают положить конец этим чудовищам; они показывают мне, что наконец-то пришло время преподать урок тем, кто изо дня в день замышлял покушение на мою жизнь; что этой цели можно достичь, только пролив кровь одного из них; и что герцогд'Энгиенд'Энгиен, которого теперь могут обвинить в участии в этом новом заговоре и уличить в самом факте, должен быть этим человеком. Добавлялось, что его видели в Страсбурге; что даже предполагалось, что он был в Париже; и что план состоял в том, чтобы он въехал во Францию с востока в момент взрыва, в то время как герцог Беррийский высаживался на западе. Я должен сказать вам,” заметил император, “что я даже не знал точно, кто такой герцог Энгиенский (революция произошла, когда я был еще очень молод, и я никогда не был при Дворе); и что я был в полном неведении относительно того, где он был в тот момент. Будучи проинформирован по этим пунктам, я воскликнул, что, если бы это было так, герцога следовало бы арестовать и отдать соответствующие распоряжения. Все было предвидено и подготовлено; различные приказы были уже составлены, ничего не оставалось делать, как подписать их, и таким образом судьба молодого принца была решена. В течение некоторого времени он проживал на расстоянии около трех лье от Рейна, в Баденской земле. Если бы я раньше осознал этот факт и его важность, я бы обиделся на него и не позволил бы принцу оставаться так близко к границам Франции; и это обстоятельство, как оказалось, спасло бы ему жизнь. Что касается выдвинутых в то время утверждений о том, что мне оказывали яростное сопротивление в этом деле и что ко мне обращались с многочисленными просьбами, то они совершенно ложны и были выдуманы только для того, чтобы выставить меня в еще более одиозном свете. То же самое можно сказать и о различных мотивах, которые приписывались мне; эти мотивы, возможно, существовали в сердцах тех, кто играл второстепенную роль в этом случае, и, возможно, руководили ими в их личных взглядах; но на мое поведение повлияла только природа самого факта и энергия моего расположения. Несомненно, если бы я был вовремя проинформирован об определенных обстоятельствах, касающихся взглядов принца и его характера; если бы, прежде всего, я увидел письмо, которое он написал мне и которое, Бог знает по какой причине, было доставлено мне только после его смерти, я бы, несомненно, простил его”.

Нам было легко понять, что эти выражения императора были продиктованы его сердцем и природой и что они предназначались только для нас; ибо он почувствовал бы себя очень униженным, если бы предположил, что кто-то мог на мгновение подумать, что он пытается переложить вину на кого-то другого; или что он снизошел до того, чтобы оправдать себя. И это чувство зашло так далеко, что, когда он разговаривал с незнакомцами или диктовал на эту тему для всеобщего обозрения, он ограничивался словами, что, если бы он увидел письмо принца, он, возможно, простил бы его из-за больших политических преимуществ, которые он мог бы извлечь из этого; и, проследивая собственной рукой свои последние мысли, которые, как он заключает, будут записаны в нынешнюю эпоху и дойдут до потомков, он все еще высказывается по этому вопросу, который, как он знает, будет считаться самым деликатным для его памяти, что, если бы его снова поместили в то же самое место, где он жил. в сложившейся ситуации он

должен снова действовать таким же образом!! Таков был этот человек, таков был склад его ума и поворот его характера.

Пусть те, кто наслаждается исследованием человеческого сердца в его самых сокровенных уголках, чтобы делать выводы, теперь проявят свою изобретательность: я снабдил их ценными материалами, я разложил перед ними подлинные документы. Я добавлю еще одно и последнее, что не в последнюю очередь заслуживает внимания.

Однажды Наполеон сказал мне по поводу того же предмета: “Если бы я вызвал всеобщий ужас этим печальным событием, какое всеобщее чувство ужаса вызвало бы другое зрелище, которым я мог бы удивить мир!..

“Мне часто предлагали жизни тех, чьи места я занимал на троне, по миллиону за голову. На них смотрели как на моих конкурентов, и предполагалось, что я жажду их крови; но, даже если бы мой нрав отличался от того, что было на самом деле, если бы я был создан для совершения преступлений, я бы отбросил все мысли о преступлении, которое мне таким образом предлагали, как кажущееся совершенно беспричинным. Я был тогда таким могущественным, у меня было такое прочное положение; а их, казалось, так мало следовало бояться! Вернемся к периодам Тильзита и Ваграма; к моему браку с Марией Луизой; к состоянию и отношению Европы! Однако в разгар кризиса между Жоржем и Пишегрю, когда на меня напали убийцы, момент был сочтен благоприятным, чтобы соблазнить меня, и предложение было возобновлено, имея в качестве объекта личность, на которую общественное мнение как в Англии, так и во Франции указывало как на главного зачинщика всех этих ужасных заговоров. Я был в Булони, куда прибыл податель этих предложений; мне пришлось в голову лично удостовериться в истинности и характере этого предложения. Я приказал привести его ко мне. ‘Хорошо, сэр!’ — сказал я, когда он появился. ‘Да, первый консул, мы отдадим его вам за миллион’. ‘Сэр, я дам вам два миллиона, но при условии, что вы доставите его живым. — ‘Ах! этого я не мог обещать,’ — сказал мужчина, колеблясь и сильно смущенный тоном моего голоса и выражением моего взгляда в тот момент. — Значит, вы принимаете меня за простого убийцу? Знайте, сэр, что, хотя я могу считать необходимым наложить наказание или подать великий пример, я не расположен поощрять вероломство с засадой’; и я прогнал его от себя. Действительно, само его присутствие уже было слишком сильным осквернением”.

СЛУГА, КОТОРОГО У МЕНЯ ЗАБРАЛИ, НАНОСИТ МНЕ ТАЙНЫЙ ВИЗИТ.—ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.—ВТОРОЙ ВИЗИТ.—ТРЕТИЙ ВИЗИТ.—Я ДОВЕРЯЮ ЕМУ МОЕ ПИСЬМО ПРИНЦУ ЛЮСЬЕНУ, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ МОЕГО ОТЪЕЗДА С ОСТРОВА СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ.

С 21 по 24 число.— Накануне я оставался у императора до часа или двух ночи; вернувшись в свои апартаменты, я обнаружил, что во время моего отсутствия меня посетил человек, которому надоело меня ждать.

Тот *визит*, который нанес моему сыну мой сын и который благоразумие вынудило меня занести в мой дневник в то время под покровом тайны, может быть и должен быть теперь полностью объяснен.

Этот визит был ни много ни мало, как таинственным повторным появлением слуги, которого сэр Хадсон Лоу забрал у меня и который, пользуясь ночной темнотой и своим знанием окрестностей острова, преодолел все препятствия, избежал часовых и взобрался на пропасти, чтобы прийти ко мне и сказать, что, договорившись с человеком, который через несколько дней собирается отправиться в Лондон, он пришел, чтобы безоговорочно предложить мне свои услуги. Он довольно долго ждал меня в моих собственных покоях и, видя, что я не возвращаюсь от императора, ушел, опасаясь, что его поймут; но он обещал вернуться либо под предлогом посещения своей сестры, которая работала в нашем доме, либо прибегнув к тому же средству, к которому он только что прибегнул.

На следующий день я немедленно сообщил о своей удаче императору, который, казалось, был очень доволен этим известием и придавал некоторое значение этому обстоятельству. Я очень тепло отнесся к этому вопросу; я усиленно настаивал на том, что мы уже прожили здесь больше года, не сделав ни единого шага к перспективе лучших дней; напротив, мы с каждым днем становились все более ограниченными, с нами плохо обращались и нас мучили. Мы были затеряны во вселенной; Европа не знала о нашем реальном положении; нам следовало сообщить об этом. Из дня в день газеты раскрывали нам завесу обмана, которая была наброшена на нас, и наглухо и отвратительную ложь, объектами которой мы были; я настаивал на том, чтобы мы опубликовали правду; она достигла бы ушей монархов, которым она, возможно, неизвестна; она стала бы известна народу, сочувствие которого было бы нашим утешением, и чье негодование, по крайней мере, отомстило бы за нас нашим жестоким преследователям и т.д.

Мы немедленно начали рыться в наших записях. Император распределил их поровну, указав, какую долю должен взять каждый из нас, чтобы переписать их с большей оперативностью. Однако день прошел без каких-либо действий по этому поводу. На следующий день (в пятницу), как только я увидел императора, я взял на себя смелость напомнить ему о наших планах на предыдущий день; но теперь он, казалось, меньше думал об этом и закончил разговор словами: *“Мы должны посмотреть”*. Этот день прошел так же, как и предыдущий; я был как на иголках. Ночью, словно для того, чтобы усилить мое нетерпение, мой человек пришел снова и возобновил безоговорочное предложение своих услуг. Я сказал ему, что должен воспользоваться ими, и что он может действовать без колебаний, поскольку я не должен вовлекать его в какое-либо преступление или опасность. На это он ответил, что его это не волнует и что он возьмет на себя заботу о любой вещи, которую я, возможно, пожелаю ему дать, заметив только, что он в обязательном порядке зайдет за ней послезавтра (в воскресенье), что, по всей вероятности, будет кануном его отплытия. На следующий день (суббота), как только я увидел императора, я поспешил сообщить ему то, что услышал от слуги, остановившись на том обстоятельстве, что у нас осталось всего двадцать четыре часа; но император с величайшим равнодушием перевел разговор на какую-то другую тему, совершенно чуждую моей цели. Я был поражен до глубины души. Я знал нрав императора и был совершенно уверен, что безразличие, своего рода рассеянность, которую он проявлял в этот момент, не могли быть результатом случайности, еще меньше результатом каприза; но каковы же тогда могли быть его мотивы? Эта мысль не давала мне покоя целый день и повергала в меланхолию и уныние. Ночью то же

чувство, которое волновало мою грудь днем, не давало мне уснуть. Я мучительно вспоминал все обстоятельства, связанные с этим делом, как вдруг меня озарил новый свет. "Чего я требую от императора, - подумал я, - чтобы он опускался до выполнения пустяковых деталей, которые слишком недостойны его". Без сомнения, отвращение и тайная неудовлетворенность стали причиной молчания, которое вызвало мое беспокойство. Неужели мы должны быть бесполезны для него? Разве мы не можем служить ему, не причиняя ему страданий? И тогда мне на ум пришли некоторые из его прежних наблюдений. Если бы я не сообщил ему об этом деле; если бы он не одобрил его; чего еще я мог ожидать?^[23] Отныне действовать должен был я, и я принял решение в одно мгновение. Я решил продолжить это дело, не обмолвившись ему больше ни словом на эту тему; и, чтобы оно оставалось более секретным, я решил держать его полностью при себе.

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как мне удалось переслать знаменитое письмо в ответ сэру Хадсону Лоу, касающееся уполномоченных союзных держав, и которое было единственным документом, отправленным в Европу до того периода. Человек, который любезно позаботился об этом, принес мне большой кусок атласа, на части которого было написано письмо. Немного еще оставалось; и это было именно то, что мне было нужно. Таким образом, все вместе подталкивало меня к пропасти, в которую мне было суждено упасть.

Как только рассвело, я отдала остаток атласа моему сыну, на чье благоразумие я могла положиться; и он провел весь день, переписывая на нем мое письмо принцу Люсьену. Наступила ночь, и, верный своему слову, появился мой юный мулат. Он немного разбирался в портновском деле; он собственными руками сшил атлас для своей одежды и распрощался со мной. Я пообещал подарить ему кое-какие другие вещи, если он снова навестит меня перед своим отъездом, и пожелал ему приятного путешествия на случай, если я его больше не увижу. — после этого я лег спать с легким сердцем и чувством удовлетворения, возникающим при мысли о хорошо проведенном дне, отмеченном счастливым событием. В тот момент я был далек от мысли, что только что собственными руками перерезал нить своей судьбы в Лонгвуде!

Увы! вскоре станет ясно, что не прошло и двадцати четырех часов, как под предлогом того, что я написал это письмо, я был выдворен из Лонгвуда, и моя личность и бумаги оказались во власти и полном распоряжении губернатора сэра Хадсона Лоу. И если бы меня сейчас спросили, как я мог быть таким неосторожным и не подозревать, что, возможно, для меня расставлена ловушка, я бы сказал, что мой слуга показался мне честным, что я верил в его преданность, и что мне все еще была чужда всякая идея подстрекательства к шпионажу, новому изобретению, честь которого британские министры того периода могут считать своей, и которое с тех пор так хорошо процветает на континенте!

МОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗ ЛОНГВУДА. — ОДИНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОСТРОВЕ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ (ПРИМЕРНО НА ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ).

25-го. Император послал за мной около четырех часов; он только что закончил работу и, казалось, был очень доволен результатом своих дневных занятий. "Мы с Бертраном весь день были заняты укреплениями, " сказал он мне, - и день показался мне очень коротким". Я уже говорил, что это был недавно приобретенный вкус императора, вполне актуальный; и, видит Бог, подобные развлечения здесь ценны!

Я последовал за императором на лужайку, примыкающую к палатке; оттуда мы направились к углу дорожки, ведущей в глубь сада. Пять апельсинов принесли на тарелке, с ножом и небольшим количеством сахара. Апельсины на острове в большом дефиците; их присылают с мыса. Император очень любит этот фрукт. Это был подарок леди Малькольм, и адмирал всегда присылал ему что-нибудь, когда они у него были. В этот момент мы были втроем симператором; он дал мне один из этих апельсинов, чтобы я положил его в карман для моего сына, а остальные нарезал ломтиками и приготовил; и, усевшись на ствол дерева, весело ел их, одновременно фамильярно раздавая часть нам. Повинуясь роковому инстинкту, я как раз в тот момент размышлял о наслаждении этой сиюминутной ситуацией! Увы! Я была далека от мысли, что тогда принимала последний подарок, который могла получить из его рук! ..

Затем император прогулялся по саду; ветер стал холодным; он снова вошел в дом и велел мне одному следовать за ним в гостиную и бильярдную, в то время как сам ходил взад и вперед по обеим комнатам. Он снова заговорил со мной о том, как он провел свой день, и спросил меня, как я провел свой; затем, когда разговор зашел о его женитьбе, он заговорил о празднествах, которые состоялись по этому случаю и которые закончились ужасным несчастным случаем, произошедшим на балу у мистера Шварценберга. Я слушал и мысленно собирался опубликовать интересную статью в своем журнале на эту тему, когда император внезапно прервал свой разговор, чтобы заметить в окно большое количество английских офицеров, которые приближались к нам от ворот нашей ограды: это был губернатор в окружении нескольких человек из его штаба. Великий маршал, который в этот момент вошел в комнату, заметил, что губернатор уже был там утром; и что он был у себя дома и оставался там некоторое время; он добавил, что говорили об определенном перемещении войск. Эти обстоятельства казались странными; и — обратите внимание на последствия нечистой совести! мысль о моем тайно отправленном письме немедленно пришла мне в голову, и тайное предчувствие мгновенно предупредило меня, что все эти странные события касаются меня. Так оно и было на самом деле, ибо через несколько минут мне принесли сообщение, в котором сообщалось, что английский полковник, креатура сэра Хадсона Лоу, ждет меня в моих собственных апартаментах. Я сделал знак, что я с императором, который через несколько минут сказал мне: “Иди, ЛасКейс, и посмотри, чего от тебя хочет это животное”. И, когда я уходил, он добавил: “и возвращайся поскорее”. Это были последние слова Наполеона, обращенные ко мне. Увы, с тех пор я его ни разу не видел! но его акцент, тембр его голоса до сих пор звучат в моих ушах. Как часто с тех пор я получал удовольствие, позволяя своему воображению останавливаться на них! и какие смешанные ощущения удовольствия и сожаления могут быть вызваны болезненным воспоминанием!

Полковник, пожелавший меня видеть, был человеком, всецело преданным пожеланиям губернатора, его *factotum*, с которым мне часто приходилось общаться в качестве переводчика. Не успел я войти в комнату, как он с выражением благожелательности как в голосе, так и на лице с нежным интересом осведомился о моем здоровье. Это был поцелуй Иуды; ибо, сделав ему знак рукой, чтобы я сел на диван, и сам тоже сел на него, он воспользовался этой возможностью, чтобы встать между мной и дверью; и, сразу изменив свой тон и выражение лица, он сообщил мне, что арестовал меня от имени губернатора, сэра Хадсона Лоу, на основании показаний моего слуги, который обвинил меня в ведении секретной переписки.

Мою комнату уже охраняли драгуны, все представления с моей стороны стали бесполезны, я был вынужден уступить насилию, и меня увели под усиленным конвоем. Впоследствии

император написал, как будет видно из дальнейшего, что, увидев меня из окна, спешащего по равнине в окружении вооруженных людей, проворство многочисленного персонала, гарцующего вокруг меня, и быстрое колыхание их высоких перьев, парящих в воздухе, напомнили ему о свирепой радости диких обитателей островов Тихого океана, танцующих вокруг пленника, которого они собираются сожрать.

Меня разлучили с моим сыном, которого держали взаперти в моей квартире; но вскоре он тоже присоединился ко мне под конвоем: так что внезапное прерывание и окончательное прекращение наших сношений с Лонгвудом относится к этому моменту. Мы оба были заперты в жалкой лачуге, недалеко от бывшего жилища генерала Бертрана и его семьи. Я была вынуждена спать наубогом тюфяке и освободить место для моего бедного сына рядом со мной, чтобы ему не пришлось лежать на полу; я считала, что в этот момент его жизнь была в опасности, ему угрожала аневризма, и несколько дней назад он был на грани смерти у меня на руках. До одиннадцати часов нас продержали без еды; и когда, чтобы удовлетворить потребности моего сына, я подошел к двери и каждому окну, чтобы попросить у охранявших их людей кусочек хлеба, они ответили мне только тем, что предъявили свои штыки.

МОИ ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРЕНЫ, И С.

25-е, 26—е. -Какая ужасная ночь - первая ночь, проведенная в тюрьме, в четырех стенах! Какие идеи, какие размышления возникают в голове! Моей последней мыслью ночью и первой, когда я проснулся утром, было то, что я все еще нахожусь всего в нескольких минутах ходьбы от Лонгвуда, и все же, возможно, я уже разлучен с ним навсегда.

В течение утра великий маршал в сопровождении офицера проходил в непосредственной близости от моей лачуги. Я получил возможность спросить его из своей темницы, как поживает император. Великий маршал направлялся к губернатору в Плантейшн-Хаус. Его визит, несомненно, был из-за меня, но какова могла быть цель его миссии? Каковы были идеи и пожелания императора по этому поводу? Это занимало все мои мысли. Проходя снова, по возвращении, великий маршал с выражением грусти на лице сделал мне знак, который навел меня на мысль попрощаться и который тронул мое сердце. В течение утра генерал Гурго и г-н де Монтолон также добрались до бывшей резиденции мадам Бертран, которая находилась напротив моей тюрьмы и недалеко от нее. Для меня было утешением видеть и интерпретировать их знаки дружбы и нежного участия. Они тщетно просили разрешить им войти в мою тюрьму; они были вынуждены вернуться, так и не добившись успеха. Вскоре после этого мадам Бертран прислала мне несколько апельсинов, сообщив при этом, что она только что косвенно получила некоторые известия о моей жене и что она в добром здравии. Это внимание, эти проявления доброты со стороны всех моих товарищей были для меня доказательством того, что первого проявления несчастья достаточно, чтобы пробудить чувства семейной привязанности, и в этот момент я находил некоторое утешение в том, что был пленником.

В моей бывшей квартире после ареста времени даром не теряли: офицер полиции (недавно доставленный в колонию и, я полагаю, первая попытка подобного рода, предпринятая на британской земле) написал свое первое эссе обо мне. Он обыскал мой секретер, взломал ящики и изъяс все мои бумаги; и, желая продемонстрировать свою ловкость и размах своих способностей, он немедленно принялся разбирать наши кровати, разбирать мой диван и даже поговаривал о том, чтобы убраться пол.

Губернатор, получив в свое распоряжение все мои бумаги, теперь с триумфом предъявил их мне. Он вошел в покойный дом мадам Бертран, расположенный напротив меня, сопровождаемый восемью или десятью офицерами, и послал спросить меня, не хочу ли я пойти и присутствовать при описи, которая должна была быть произведена, или я предпочитаю, чтобы он пришел ко мне. Я ответил, что, поскольку он оставил мне выбор, последний план был бы для меня наиболее приемлемым. Когда все расселись, я встал, чтобы самым решительным образом выразить протест против неприличного способа, которым меня увезли из Лонгвуда, против незаконного опечатывания моих бумаг в мое отсутствие и против надругательства, которое вот-вот будет совершено над моими личными бумагами, священными хранилищами моих мыслей, которые должны были существовать только для меня и которые по сей день оставались тайной для всего мира. Я протестовал против злоупотреблений, которые могут быть допущены к их содержанию властью; я сказал сэру Хадсону Лоу, что, если он считает, что обстоятельства дела требуют, чтобы он изучил их, он должен действовать по своему усмотрению; что я не боюсь последствий; но что я обязан перед самим собой и общими принципами полностью возложить ответственность за этот акт на него, уступить только насилию и не санкционировать его с моего согласия.

Эти слова, произнесенные мной в присутствии всех его офицеров, вызвали раздражение губернатора, который воскликнул: “Граф Лас Кейсес, не делайте ваше положение хуже, чем оно есть; оно и так уже достаточно плохо!” - намекая, вероятно, на смертную казнь, которой, как он часто напоминал нам, мы подвергнемся, если окажем содействие в попытке осуществить побег великого Пленника. Он, без сомнения, пришел к выводу, что мои статьи приведут к самым важным открытиям: бог знает, как далеко могут зайти его идеи по этому вопросу.

Прежде чем сэр Хадсон начал читать мои документы, он позвонил генералу Бингхэму, заместителю командующего на острове, чтобы лично посодействовать в их прочтении; но представления этого офицера о деликатности полностью отличались от представлений губернатора. “Сэр Хадсон Лоу, - ответил он с выражением явного отвращения на лице, - прошу меня извинить, я не думаю, что смогу прочесть такой французский почерк”.

На самом деле у меня не было серьезных возражений против того, чтобы губернатор ознакомился с моими бумагами; и поэтому я сказал ему, что не в качестве судьи или магистрата, поскольку он не был для меня ни тем, ни другим, а по собственному желанию и из чистого снисхождения я считаю уместным позволить ему ознакомиться с ними. Он сразу же наткнулся на мой дневник. Можно представить его радость и ожидания, когда он понял, что он будет день за днем сообщать ему обо всем, что происходило между нами в Лонгвуде. Он был достаточно организован, чтобы иметь оглавление или указатель тем в начале каждого месяца. Сэр Хадсон Лоу, часто встречая его имя, немедленно обращался к указанной в указателе странице, чтобы ознакомиться с подробностями; и я не мог удержаться, чтобы не заметить ему, что если он часто считает необходимым проявлять сдержанность, то это не моя вина, а вина его собственной неосмотрительности. Я заверил его, что о моем Дневнике не знал никто; что сам император, который был единственным его автором, прочитал только первые страницы; что его контекст далек от выяснения и что предполагалось, что в течение некоторого времени он останется тайной, известной только мне.

После того, как сэр Хадсон Лоу потратил два или три часа на просмотр моего дневника, я сказал ему, что моим намерением было дать ему возможность составить правильное представление о

природе его содержания, и что, теперь, сделав это, я чувствую себя обязанным по многим причинам запретить, насколько это было в моих силах, ему идти дальше; что он, конечно, *может* поступать, как ему заблагорассудится, но что я должен протестовать против насилия, которое он таким образом применит, и злоупотребления своей властью. Я легко мог понять, что это было для него большим разочарованием; он даже заколебался; однако мой протест возымел свое действие, и к моему дневнику больше никто не прикасался. Я мог бы распространить протест на все другие мои документы, но они меня не очень интересовали, и в течение нескольких дней они подвергались самому тщательному изучению.

Мое последнее завещание было запечатано: я был обязан вскрыть его, как и другие бумаги, не менее священные. Добравшись до дна портфеля, содержащего некоторые вещи, на которые я не отваживался взглянуть с момента моего отсутствия в Европе, я был вынужден открыть их. Этому дню суждено было стать для меня днем волнения: вид этих предметов пробудил в моей груди некоторые старые воспоминания, которые мое мужество подавляло с тех пор, как произошла некая болезненная разлука. Я был взволнован и вынужден поспешно покинуть комнату. Мой сын, который оставался в ней, сказал мне впоследствии, что сам губернатор, казалось, был несколько взволнован этим обстоятельством.

МОЙ ПЕРЕЕЗД В КОТТЕДЖ БАЛЬКОМБА.

С 28—го по 30-е.-Сегодня, 28-го, нас перевели из нашей жалкой лачуги в нечто вроде коттеджа, принадлежащего мистеру Балькомбу, нашему бывшему хозяину в Брайарсе, и расположенного примерно в лиге от него. Дом был маленьким, но очень сносным и располагался напротив Лонгвуда, на небольшом расстоянии от него: нас отделяли от него только несколько гребней пропастей и крутых вершин гор. Нас охранял отряд шестьдесят шестого полка; многочисленные часовые наблюдали за нами и запрещали приближаться к нашей тюрьме. Сэр Хадсон Лоу любезно сообщил, что в нашем распоряжении находится офицер, и, как он подтвердил, для нашего удобства. Все сообщения строго перехватывались; мы были помещены в состояние полнейшего уединения. На вершине холмов, окружавших лощину, в которой находился наш дом, проходила дорога, по которой мы видели сегодня генерала Гурго в сопровождении английского офицера. Мы могли наблюдать за его попытками приблизиться к нам настолько, насколько это было возможно, и с чувством радости и привязанности принимали знаки и демонстрации дружбы, которые наш спутник адресовал нам с такого расстояния, и отвечали ему тем же. Добрая и превосходная мадам Бертран снова прислала нам апельсины: нам не разрешили написать ей, чтобы поблагодарить, и мы были вынуждены ограничиться выражением нашей благодарности, отправив ей несколько роз, которые мы сорвали в нашей тюрьме.

На следующий день сэр Хадсон Лоу приехал навестить нас в нашей новой резиденции. Он пожелал узнать, какая у меня была кровать, и я отвел его в соседнюю комнату и показал матрас на полу. Такое же внимание было уделено нашей еде. “Я рассказываю вам об этих вещах, - сказал я, - потому что вы спросили меня; но, со своей стороны, мне на них наплевать”. Затем он очень рассердился на человека, которому доверил управление нашим заведением здесь, и присылал нам еду со своего стола в Плантейшн-Хаус, хотя и на расстоянии двух лиг, и продолжал это делать до тех пор, пока наши нужды не были регулярно удовлетворены.

Стало необходимо придумать какое-нибудь занятие в нашей новой тюрьме, чтобы мы могли выдержать нагрузку времени. Я разделил наши часы так, чтобы заполнить наши дни: Я

регулярно давал уроки истории и математики своему сыну; мы читали, а в свободные минуты гуляли по нашему загону. Место было достаточно приятным для острова Святой Елены, здесь было немного зелени и несколько деревьев. Там содержалось большое количество обыкновенной домашней птицы, которую выращивали для употребления в пищу Лонгвуда, а также несколько цесарок и других крупных птиц, которых мы вскоре приручили: заключенные изобретательны и сострадательны. Вечером мы обычно разжигали костер, и затем я рассказывал своему сыну несколько семейных историй; я сообщал ему о своих семейных заботах, упоминал при нем и заставлял его записывать имена тех людей, которые были добры ко мне в течение моей жизни или оказали мне какую-либо услугу. Короче говоря, наша жизнь была скучной и меланхоличной, но такой спокойной, что не была лишена своеобразного приятного чувства. Одна только мысль была чрезвычайно болезненной и постоянно преследовала нас: император был там, почти в пределах видимости, и все же мы населяли два разных мира; нас разделяло лишь небольшое расстояние, и все же всякое общение прекратилось! В этой ситуации было что-то ужасное; я больше не была с ним, и я не была со своей семьей, которую я оставила, чтобы последовать за ним. Что же тогда мне оставалось? Мой сын разделял эти чувства: побуждаемый сложившейся ситуацией и энтузиазмом юности, милый мальчик в минуту волнения предложил мне воспользоваться ночной темнотой, ускользнуть от бдительности нашей охраны, спуститься по многочисленным пропастям и взобраться на крутые высоты, отделявшие нас от Лонгвуда, повидать Наполеона и привезти мне от него какие-нибудь новости, что он обещал сделать засветло. Я успокоил это рвение, которое, даже если бы оно сделало попытку осуществимой, не привело бы к какому-либо другому результату, кроме чувства личного удовлетворения, и могло бы привести к самым серьезным последствиям. Император беседовал со мной так часто и так подробно, что я не предполагал, что было что-то, о чем он мог бы пожелать сообщить мне; и если бы такая попытка моего сына была раскрыта, какой бы это наделало шум, какое значение придал бы этому губернатор, какие абсурдные истории он бы придумал и представил! и т.д.

МОЕ РЕШЕНИЕ. — МОИ ПИСЬМА СЭРУ ХАДСОНУ ЛОУ И К.

С воскресенья, 1 декабря, по пятницу, 6 декабря. Дни нашего заключения медленно сменяли друг друга, и губернатор, хотя и продолжал часто навещать нас, ничего не говорил о нашем положении: он просто намекнул мне, что мое пребывание на Острове и заключение могут затянуться до тех пор, пока не придут инструкции из Лондона.

Прошло почти восемь дней, но без малейшего приближения к какому-либо результату. Такое состояние бездеятельности и пассивности никак не вязалось с характером моего характера. Состояние здоровья моего сына временами вызывало наибольшую тревогу. Лишенный всякой связи с Лонгвудом, я остался один, чтобы поразмышлять в одиночестве. Я обдумал ситуацию, в которой оказался, наметил план и принял решение. Я выбрал его, экстремальный по своей природе, думая, что, если он будет одобрен императором, это может оказаться полезным, и что было бы очень легко вернуться по моим следам, если бы он этого пожелал. Я поэтому therefore написал губернатору следующее письмо:

“Сэр, в результате ловушки, устроенной моим слугой, 25-го числа я был окончательно выдворен из Лонгвуда, и все мои бумаги были изъяты за нарушение ваших ограничений, которым я ранее подчинился. Если бы вы доверяли соблюдению этих ограничений моему слову или моей деликатности, я бы считал их священными; но вы предпочли охранять их, назначив наказания

за их нарушение, и я предпочел рискнуть столкнуться с ними. Вы применили эти наказания по своему усмотрению, и я не возражал против этого. Все это, насколько это возможно, совершенно закономерно; но мера наказания не должна превышать меру правонарушения. В чем же сейчас дело? Два письма были доставлены для передачи без вашего ведома: одно из них содержит изложение произошедших с нами событий, написанное для принца Люсьена и которое прошло бы через ваши руки, если бы вы не сообщили мне, что продолжение моей переписки и стиль моих писем повлекут за собой мое отстранение вами от особы императора. Другое письмо было просто дружеским письмом. Однако это обстоятельство предоставило в ваше распоряжение все мои бумаги, вы видели их все, даже самые секретные. Я сам настолько способствовал вашим исследованиям, что согласился позволить вам ознакомиться исключительно с вашими словами, с тем, что было известно только мне, что пока еще представляет собой массу непереваренных идей, неопределенных и в каждый момент подлежащих исправлению или модификации; одним словом, с тайной, хаосом моих мыслей. Поступая таким образом, я хотел убедить вас и взываю к вашей откровенности, когда говорю, что, надеюсь, убедил вас в том, что во множестве бумаг, которые вы наспех просмотрели, нет ничего, что можно было бы рассматривать как препятствующее выполнению высокой и важной части ваших функций: ни заговора, ни плана, ни даже мысли, связанной с побегом Наполеона. Вы не смогли их найти, потому что их не существовало. Мы придерживаемся мнения, что его побег невозможен, и мы не думаем об этом. И все же я не стану отрицать, что я бы охотно попытался осуществить это, если бы видел возможность успеха. Я бы охотно пожертвовал своей жизнью, чтобы вернуть ему свободу. Я бы пал мучеником из-за своего рвения, и память обо мне навсегда жила бы во всех благородных и великодушных сердцах. Но, повторяю, никто не считает эту попытку осуществимой; и никто не думает ее предпринимать. Планы и желания императора Наполеона по-прежнему остаются теми, которые он сформировал, когда *добровольно и добросовестно* находился на борту "Беллерофонта", то есть отправиться на поиски спокойной жизни в Америке или даже в Англии под защитой законов.

“Уладив эти вопросы, я изо всех сил протестую против того, чтобы вы впредь читали, я бы сказал, все мои личные бумаги, но я ограничиваюсь тем, что называю своим *дневником*. Из-за огромного уважения, которое я питаю к августейшей особе, чье имя заполняет страницы этой книги, я обязан выразить свое серьезное несогласие с вашим поступком по отношению ко мне. Поэтому я требую либо немедленного возвращения мне этих бумаг, если вы добросовестно считаете, что их содержание чуждо великой цели вашего управления; или, если из того, что вы прочитали о них, вы считаете, что определенные части следует представить британским министрам, я требую, чтобы вы переправили их все в Англию и послали меня с ними. На вас, сэр, так часто ссылаются в этих газетах, что деликатность повелевает вам выбрать один из этих двух вариантов. Вы не можете пытаться воспользоваться этой возможностью больше, чем я вам позволил, чтобы прочитать в них то, что касается вас лично, чтобы не подвергать себя выводам, которые будут сделаны путем индукции из этого злоупотребления вашей властью, чтобы это обстоятельство не было сочтено связанным с расставленной для меня ловушкой и с большим переполохом, который был поднят из-за такого пустяка. Как только я прибуду в Англию с этими бумагами, я, в свою очередь, спрошу министров и обращусь ко всему миру, можно ли с точки зрения закона придавать какое-либо значение документу, фиксирующему изо дня в день, со всей небрежностью, гарантируемой строгой конфиденциальностью, разговор, слова и, возможно, даже жесты императора Наполеона? Я спрошу их, в частности, не имею ли я права требовать от них строжайшей секретности относительно каждой части Дневника, который

является лишь грубым наброском моих мыслей, которого, собственно говоря, не существует, который содержит только еще не переваренные материалы; который я мог бы без колебаний дезавуировать почти во всех деталях, поскольку он еще далек от того, чтобы утвердиться в моем собственном сознании, и в котором мне случалось каждый день исправлять в ходе новой беседы ошибки предыдущей, ошибки, которые должны быть неизбежны и часто встречаться как в отношении человеку, который говорит, не зная, что за ним наблюдают, и человеку, который собирает информацию, не считая себя обязанным гарантировать подлинность своей информации. Что касается того, что касается вас, сэр, на этих страницах, если у вас часто был повод жаловаться на высказанные мной мнения или факты, которые я излагал, то очень легко указать человеку на ошибки, в которые я, возможно, впал. Вы не можете доставить мне большего удовольствия, чем предоставить мне возможность быть справедливым; и какого бы мнения я ни придерживался, после вашего объяснения вы, по крайней мере, будете обязаны признать мою прямоту. Как бы то ни было, сэр, и каковы бы ни были ваши намерения по отношению ко мне, я с этого момента выхожу, насколько позволяет мое нынешнее положение, из состояния добровольного подчинения, в которое я поставил себя по отношению к вам. Когда я заключал это обязательство, вы сказали мне, что я по-прежнему волен отказаться от него в любое время; и поэтому с настоящего момента я желаю быть восстановленным в рядах обычного класса граждан. Я снова отдаю себя в руки ваших гражданских законов; я взываю к вашим трибуналам не для того, чтобы умолять их о милости, а для того, чтобы добиться их справедливости и вынести их приговор. Я полагаю, генерал, что вы слишком уважаете законы ислишком много врожденной справедливости в вашем сердце, чтобы мне было необходимо оскорблять вас настолько, чтобы заметить, что вы станете ответственным за все нарушения закона, которые могут быть применены против меня прямо или косвенно. Я не думаю, что *буква* ваших инструкций, которая могла бы побудить вас удерживать меня в качестве пленника здесь или на Мысе в течение нескольких месяцев, могла бы защитить вас от *духа* тех же инструкций, к которым апеллируют сила, превосходство, величие законов.

Эти инструкции, если я их правильно понял, предписывающие вам задерживать всех лиц, принадлежащих к заведению в Лонгвуде, в течение определенного времени, прежде чем вы вернете их на свободу, имеют своей целью, без сомнения, только нарушить связь, которая могла бы поддерживаться с этой ужасной тюрьмой, и дать время пройти после их прекращения. То, каким образом я был оторван от мира, было достаточным для достижения этой цели. Для меня было невозможно избавиться от какого-либо представления о том моменте. Я был, так сказать, поражен внезапной смертью. Кроме того, если меня отправят в Англию по обвинению и отдадут под действие законов, они, если меня признают виновным, в достаточной степени устранят неудобства, которых пытались избежать. Если я невиновен, на меня все равно будут распространяться положения Закона об иностранцах; или, если этого недостаточно, я заранее даю свое добровольное согласие на все меры предосторожности, какими бы произвольными они ни были, которые может быть сочтено целесообразным принять против меня в данном случае.

“Еще не зная, сэр, каковы могут быть ваши намерения относительно распоряжения моей персоной, я уже возложил на себя величайшую из всех жертв. Я все еще очень близок к Лонгвуду, и, возможно, меня уже отделяет от него вечность; ужасная мысль, которая терзает мою душу и будет продолжать преследовать мое воображение!.... Но несколько дней назад вы заставили бы меня пойти на величайшие жертвы из-за страха быть удаленной от особы императора; сегодня не в вашей власти вернуть меня ему. На мне лежало пятно из-за того, что

он задержал меня почти у него на глазах, я больше не могу быть для него источником утешения; он увидел бы во мне только обесчещенное существо, наводящее на болезненные воспоминания. И все же его присутствие, знаки внимания, которые я с удовольствием оказывал ему, мне дороже моей жизни. Но, может быть, издалека ко мне проявят хоть какую-то жалость! Что-то подсказывает мне, что я вернусь; но по очищенному каналу, принося с собой все, что дорого моему существованию, чтобы помочь мне окружить благочестивыми и нежными заботами бессмертный памятник, установленный на краю Вселенной и медленно разрушающийся из-за сурового климата, вероломства и жестокости человечества. Выговорили говорили со мной, сэр, из ваших собственных страданий; мы не подозревают, что вы упомянули все невзгоды, с которыми вы не одолевали, но каждый знает и чувствует, что его собственные страдания только. Вы, со своей стороны, не подозреваете, сэр, что Лонгвуд покрыт траурной вуалью. Имею честь” и проч.

Однажды установив переписку с сэром Хадсоном Лоу, я не стал бездействовать. На следующий день я снова написал ему, чтобы сообщить, что в связи с моим письмом от предыдущего дня я теперь официально и по всей форме требую моего высылки с острова Святой Елены и возвращения в Европу. На следующий день я затронул ту же тему и рассматривал ее применительно к моей ситуации, как затрагивающую мои домашние заботы.

“В двух моих предыдущих письмах, ” сказал я ему, - оба касались моего политического положения, я счел неуместным упомянуть хоть одно слово, касающееся моих личных дел; но теперь, когда я снова считаю себя принадлежащим к массе простых граждан, я без колебаний, как случайный обитатель вашего острова, расскажу вам обо всех ужасах моего личного положения. Вы знаете об опасном состоянии здоровья моего сына: врачи, должно быть, сообщили вам об этом. С тех пор как он увидел, что дорогие и священные узы, связывавшие нас с Лонгвудом, разорваны, все его идеи, все его желания, все его надежды горячо обращены к Европе, и его болезнь будет усугубляться нетерпением и силой воображения. Такого физического положения, которое, по возможности, еще больше ухудшает мое моральное положение. Мне приходится бороться в одно и то же время с чувствами моего сердца и беспокойством моего разума. Я не могу без чувства ужаса думать о том, что несу ответственность перед самим собой за то, что привел его сюда и за то, что стал причиной его содержания здесь. Что я должен ответить его матери, которая спросит меня о своем сыне? Что я должен ответить множеству бездельников и прочих людей, которые, хотя и безразличны к обстоятельствам, всегда готовы судить и порицать? Я ничего не говорю о своем собственном здоровье, оно не имеет большого значения среди таких эмоций и таких причин беспокойства. И все же я нахожусь в самом плачевном состоянии; ибо, поскольку у меня больше нет перед глазами причины, которая поддерживала в действии способности моего разума, мое тело погружается в ужасный хаос, произведенный восемнадцатимесячной борьбой, волнениями и невзгодами, такими, что воображение едва ли может заикнуться. Я больше не нахожусь рядом с августейшей особой, ради которой я с радостью переносил их, и, тем не менее, я также разлучен со своей семьей, отсутствие которой причинило мне столько горя. Лишенный обеих целей, мое сердце разрывается между ними; оно блуждает в бездне; оно больше не может выносить этого положения. Я оставляю вас, сэр, взвесить эти соображения. Не приносите в жертву двух жертв. Я прошу вас отправить нас в Англию, к источнику науки и всяческой помощи. Это первое требование любого рода, которое я предъявляю либо к вам, либо к вашему предшественнику. Но плачевное состояние здоровья моего сына пересиливает мой стоицизм; разве это не пробудит в вас человечность? На ваше решение могут повлиять несколько

мотивов: все они изложены в моем письме от 30 ноября. Я просто добавлю здесь, что сейчас у вас есть возможность показать великий и редкий пример беспристрастности, направив таким образом к своим министрам одного из ваших противников“.

Получив эти два письма, сэр Хадсон Лоу нанес мне визит и, ссылаясь на первое, сразу же отрицал, что расставлял мне какую-либо ловушку через посредство моего слуги. Однако он признал, что внешний вид подтверждает мои подозрения.

Впоследствии сэр Хадсон Лоу перешел к устному обсуждению некоторых отрывков из моих писем, особо остановившись на некоторых выражениях, которые, как он дружелюбно передал мне, не могли не быть ему неприятны. Он нашел меня не только в этом, но и в нескольких других случаях того же характера совершенно любезным. Моим ответом на его замечания, как правило, было немедленно взяться за перо и стереть или изменить выражения, которые ему не понравились.

Я опускаю довольно объемистую переписку на ту же тему; я просто укажу, что в целом сэр Хадсон Лоу избегал давать письменный ответ и что его обычаем было приходить, как только что было замечено, чтобы побеседовать со мной относительно только что полученных писем и добиваться некоторых подчисток, после чего он удалялся, говоря, что вскоре даст обстоятельный ответ: этого он не делал в то время и никогда не делал с тех пор; но, как мне сообщили из Англии, теперь он оплачивает периодические издания, или случайные клеветники, злоупотребляющие моей работой и поносящие ее автора.

Поскольку в многочисленных словесных дискуссиях, поводом к которым послужили мои письма, сэру Хадсону Лоу не удалось, за исключением стирания нескольких выражений, добиться какой-либо важной уступки или достичь какой-либо из целей, которые он имел в виду; расставаясь со мной, он представлял меня человеком глубоко хитрым и, как он утверждал, заслуживающим большого опасения: ибо рядом с ним был человек очень хитрый, очень коварный и очень опасный, у которого хватало ума не поддаваться слепо всем его взглядам и не попадаться в его ловушки. Однако следующий трюк - единственный, который я когда-либо разыгрывал с ним. Праздность и суровость заключения обостряют изобретательность; кроме того, между нами все было по-честному: неоспоримое право заключенного - пытаться обмануть своего тюремщика.

В начале этой работы я сказал, что император в момент нашего отъезда на остров Святой Елены тайно доверил мне бриллиантовое ожерелье очень значительной ценности.

Привычка носить его с собой в течение столь длительного времени заставила меня больше не думать об этом, так что только после нескольких дней уединения, и совершенно случайно, я вспомнил об этом. Как бы пристально за мной ни наблюдали, я не видел никакой возможности вернуть его императору, который, без сомнения, забыл о нем так же, как и я. После долгих размышлений на эту тему я ухитрился использовать для этой цели самого сэра Хадсона Лоу. Я попросил разрешения попрощаться с моими спутниками и написал главному маршалу следующее письмо:

”Сэр, оторванный от всех вас, предоставленный самому себе, лишенный какого бы то ни было общения, я был вынужден основывать свои решения на собственном суждении и собственных чувствах. Я официально направил их сэру Хадсону Лоу 30 ноября. В обмен на предоставленную мне свободу, я воздерживаюсь от произнесения ни единого слова по этому поводу и полагаюсь

наделикатность высоких властей в том, чтобы передать вам мое письмо полностью, если какая—либо его часть когда-либо будет упомянута или на нее намекнут - я покоряюсь своей судьбе.

“Мне остается только просить вас положить к ногам императора заверения в моем уважении и привязанности: моя жизнь по-прежнему всецело посвящена ему. Я никогда не буду наслаждаться никаким счастьем, кроме как рядом с его августейшей персоной.

“В том прискорбном состоянии нищеты, до которого вы все доведены, я бы очень хотел оставить кое-что из драгоценностей моей жены ... ожерелье ... вдовья лепта! Но как я осмелюсь предложить ее?... Я часто предлагал четыре тысячи луидоров, которыми располагаю в Англии, и теперь я снова возобновляю это предложение; мое положение, каким бы оно ни было, не может привести к каким-либо изменениям в моих намерениях. Отныне я буду гордиться тем, что нахожусь в нужде! Еще раз, сэр, заверьте императора в моей полной преданности его особе, в моей верности и непоколебимом постоянстве....

А вы, мои дорогие товарищи по Лонгвуду, позвольте мне вечно жить в ваших воспоминаниях! Я знаю о лишениях и невзгодах, которым вы подвергаетесь, и мое сердце обливается кровью за вас. С вами я не имел большого значения; вдали от вас вы узнаете мое рвение и мою нежную заботу, если у них хватит человечности позволить мне проявить их. Я очень нежно обнимаю вас всех и прошу вас добавить от себя, сэр, заверения в моем уважении.

“P.S. Это письмо было готово для тебя некоторое время; время; оно было написано, когда я думал, что меня отсюда заберут. Сегодня губернатор, разрешая мне отправить его вам, сообщает мне, что я должен ждать здесь, пока не придут ответы из Англии. Таким образом, я проведу несколько месяцев на острове Святой Елены, и все же Лонгвуд перестанет существовать для меня; новый вид мучений, о котором я и не думал!”

Сэр Хадсон Лоу, которому я вручил это письмо открытым, поскольку таково было его состояние, прочитал его, одобрил и был настолько любезен, что взялся доставить его сам, что привлекло внимание императора и в значительной степени, хотя и косвенно, способствовало возврату вклада Наполеону.

Был составлен реестр всех писем от моих лондонских друзей, чтобы выяснить в государственных учреждениях, не поступило ли какое-либо из них непрямым путем. Я начал второе письмо принцу Люсьену; губернатор придал ему особое значение. Напрасно я уверял его, что оно было испещрено подчистками и почти стертыми карандашными пометками; что оно не было написано и, следовательно, не существовало в реальности; что я мог бы без зазрения совести отречься от него; что было невозможно каким-либо *законным* или *честным* его использованием: он настаивал на том, чтобы некоторые части письма были скопированы; Бог знает с какой целью!

Он был очень озадачен запиской супруги вице-губернатора. Покидая остров Святой Елены и направляясь в Англию, она сказала нам, что закон запрещает ей брать на себя ответственность за какие-либо письма, но что она с большим удовольствием была бы полезна нам любым другим способом. Я послал ей для моих лондонских друзей несколько предметов, которыми пользовался император или которые исходили от него самого. Кажется, маленькая серебряная чернильница, какие-то слова, написанные его рукой, возможно, прядь его волос; я не знаю, что именно. Я назвал их драгоценными реликвиями. Миссис Скелтон ответила, что будет

относиться к ним со всем уважением, которого они заслуживают, но должна признаться мне, что не смогла устоять перед искушением взять небольшую часть из них.

Сэр Хадсон Лоу не смог объяснить, почему я не смог или не захотел сообщить, что это были за драгоценные предметы. Я был бы огорчен, если бы они вызвали какие-либо неприятные последствия для этой леди. Я просто сохранил записку на память и в знак уважения к ней. Мистер и миссис Скелтон были нравственной и добродетельной парой, которым мы причинили много вреда, хотя, несомненно, и против нашего желания; но их вежливость и внимание к нам постоянно возрастали по мере того, как мы причиняли им вред. Наше прибытие на остров привело к тому, что они были изгнаны из Лонгвуда, потеряли свое положение и были отправлены обратно в Европу, где, должно быть, остались без провизии.

Наконец, спустя некоторое время, знаменитые секретные документы вышли в свет в свою очередь: мое письмо принцу Люсьену и письмо моему лондонскому знакомому. Сэр Хадсон Лоу распорядился, чтобы их тщательно скопировали, но со многими пробелами, поскольку я не смог прочитать все, некоторые слова были стерты с атласа из-за того, что документы случайно намочили после того, как я расстался с ними. Я довел свою покладистость и добродушие до того, что восстановил их; и тогда началось нечто вроде допроса.

Внимание губернатора было сильно приковано к двум моментам, которые он хотел бы прояснить, если, по его словам, у меня нет возражений против этого. Первый вопрос касался следующих слов из моего письма принцу Люсьену: “Те, кто нас окружает, горько жалуются, что их письма фальсифицируются в государственных газетах” и т. Д. Меня спросили, кто эти люди. Адъютант взял ручку, чтобы записывать мои ответы. Я хотел, чтобы он написал, что, не видя никаких неудобств в ответе, я сделаю это, но исключительно по собственному желанию; ибо, если губернатор вздумает задать вопрос в силу своих полномочий, я должен промолчать; и тогда я сказал, “что эти слова моего письма были расплывчатыми, общими и не имеющими никакого отношения к делу; что они были сказаны нам всеми, когда они пытались утешить нас за очень неподобающие выражения или описания в наш адрес, которые мы иногда находили в лондонских газетах под датой Святой Елены”.

Второй вопрос губернатора касался моего частного письма. В нем, среди прочего, содержалась просьба спросить лорда Холланда, получил ли он посылки, которые я ему направил. Сэр Хадсон Лоу поинтересовался, что это были за посылки и кем я их отправил и т.д.; и тут он явно удвоил мягкость своего поведения, чтобы получить удовлетворительный ответ, признавшись, что у него нет права принуждать меня к ответу; но это было бы, по его словам, средством существенного ускорения и упрощения моего собственного дела и т.д. Я ответил довольно торжественно, что этот пункт был моим *секретом*, который, очевидно, произвел впечатление на физиономию сэра Хадсона Лоу; и, поскольку мои слова записывались по мере того, как я их произносил, я продолжал диктовать, добавив, что ответ, который я только что дал, был лишь тем, который побудили меня дать мое образование и привычки, что любой другой мог бы вызвать сомнения губернатора и что мне не подобает подвергать правдивость моих слов малейшим подозрениям; что, однако, после этого предварительного заявления у меня больше нет никаких возражений. заявить, что я никогда, за всю свою жизнь, не общался с лордом Холландом. Это неожиданное завершение стало *театральным переворотом*, настоящей комедийной сценой; трудно описать удивление губернатора, изумление офицеров; перо замерло в руке писавшего. Сэр Хадсон Лоу, не колеблясь, ответил, что он полностью верит мне, но должен признаться, что

совершенно не разбирается в этом деле. Я, в свою очередь, признался, что не мог удержаться от смеха над тем замешательством, которое вызвал у него, но что я рассказал ему все. Дело в том, что я намеревался, когда мой слуга вернется, передать ему, кроме того, несколько подлинных документов о нашем положении для лорда Холланда, но у меня не было на это времени; они пришли слишком рано, чтобы забрать меня. Я имел честь знать его светлость только по благородству и достоинству его публичного поведения; но сообщить ему правду как наследственному законодателю своей страны и члену верховного суда Великобритании показалось мне очень уместным для нас обоих и в равной степени подобающим и полезным для чести британского характера.

МОИ ТРЕВОГИ. —ПИСЬМО ОТ ИМПЕРАТОРА, НАСТОЯЩЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

16—го.—Прошло более двадцати дней, а ничто пока не предвещало каких-либо изменений в нашем ужасном положении. Болезнь моего сына продолжала демонстрировать самые тревожные симптомы; мое здоровье заметно ухудшалось из-за горя и тревоги. Наше заключение было настолько строгим, что мы еще не слышали ни единого слова из Лонгвуда; я был совершенно не в курсе, как там истолковали мое злосчастное происшествие; я только узнал, что император не покидал своих апартаментов в течение последних пятнадцати или восемнадцати дней и почти всегда обедал там в одиночестве. Чего только я не натерпелся от этих обстоятельств! Император, очевидно, был тронут, но каким образом? Должен ли я в этом признаться? это сомнение было для меня источником невыносимых мучений; оно преследовало меня каждую минуту с тех пор, как я покинул Лонгвуд, ибо император был в совершенном неведении о причине моего похищения; так распорядилась судьба. Что бы он подумал, услышав о моих тайных письмах? Каким было бы его мнение, какой мотив он приписал бы моему переодеванию по отношению к нему; я, которая по привычке не сделала бы ни шагу и не рискнула бы ничего сказать, не пообщавшись с ним? Я связал эти недостатки, которые я даже преувеличивал, с трогательной добротой последних минут, которые я провел с ним. За несколько минут до того, как меня оторвали от него, он был более весел по отношению ко мне, казался даже более расположенным, чем обычно; а несколько мгновений спустя, возможно, ему пришло в голову найти что-то загадочное в моем поведении. Мысль о праве на упрек и сомнение, возможно, уже возникла в его сознании. Эта мысль огорчила меня больше, чем я мог выразить, и заметно повлияла на мое здоровье. К счастью, губернатор приехал, чтобы вернуть меня к жизни. Он явился ближе к вечеру, выглядя очень занятым тем, что должен был мне сказать, и после длинной преамбулы, которую мне было трудно понять, в заключение сообщил мне, что держит в руке письмо, которое мое положение давало ему право утаить от меня; но что он знает, как дорога мне была рука, написавшая его, как высоко я ценю чувства, которые в нем выражены, и что поэтому он собирается показать его мне, несмотря на множество личных мотивов, которые у него могли быть, чтобы не делать этого! Это было письмо от императора!

Какой бы вред ни причинил нам сэра Хадсон Лоу, каковы бы ни были его мотивы, в этот момент я по-настоящему обязан ему за счастье, которое он мне подарил; и, когда я вспоминаю об этом, меня так и подмывает упрекнуть себя во многих деталях и определенных обвинениях; но я был

обязан им ради истины и соображений высочайшей важности. Я выказал такое сильное волнение, что он, казалось, был тронут этим и согласился на мою просьбу позволить мне снять копию того, что было сугубо личным в письме. Мой сын переписал его в спешке, так сильно мы боялись, что он передумает; и когда он ушел от нас, мы переписали его разными способами и во многих местах; мы даже выучили его наизусть, так велик был наш страх, что ночные размышления могут заставить сэра Хадсона Лоу раскаяться. И действительно, когда он снова появился на следующее утро, он выразил мне свое сожаление по этому поводу; и я без колебаний предложил вернуть ему снятый мной экземпляр, заверив его, что от этого я не буду чувствовать себя менее благодарным. Мы позаботились о том, чтобы быть щедрыми, не причиняя неудобств. Подозревал ли он, что дело обстоит именно так, или продолжал проявлять ту же доброту, я не знаю; но он отклонил мое предложение. Теперь я представляю читателю это письмо, оригинал которого хранился у сэра Хадсона Лоу, которое, как он дал мне слово, постигнет та же участь, что и другие мои бумаги, и которое я, тем не менее, приложил все возможные усилия, чтобы заполучить, когда английское правительство после смерти Наполеона решило, что не сможет избежать возвращения мне моего Дневника. Я перепишу здесь те отрывки из письма, которые сэр Хадсон Лоу разрешил мне скопировать в то время, и те, которые были опубликованы после моего возвращения в Европу; те части, которые он утаил, помещены в примечаниях внизу страниц: вместе они составят весь оригинал.

“Мой дорогой граф де Лас Касес, мое сердце глубоко тронут тем, что вы сейчас испытываете. Оторванный от меня две недели назад, ты с тех пор находишься в тесном заключении, без возможности получать от тебя какие-либо известия или посылать их тебе; без какой-либо связи с кем-либо, будь то француз или англичанин; лишенный даже присутствия слуги по твоему собственному выбору.

“Ваше поведение на острове Святой Елены было, как и вся ваша жизнь, благородным и безукоризненным; я с удовольствием даю вам это свидетельство.

“Ваше письмо одному из ваших друзей в Лондоне не содержит ничего предосудительного; вы просто вкладываете свое сердце в лоно дружбы.

[Здесь не хватало половины письма.^[24]

“Мне было необходимо твое общество. Ты единственный, кто умеет читать, говорить и понимать по-английски. Сколько ночей ты наблюдал за мной во время моей болезни! Однако я советую вам, а при необходимости и приказываю вам потребовать от губернатора этой страны отправить вас на Континент; он не может отказать, поскольку не имеет над вами власти, кроме как в силу акта, который вы добровольно подписали. Для меня будет большим источником утешения знать, что вы на пути в более благоприятные края.

“Оказавшись в Европе, независимо от того, отправитесь ли вы в Англию или вернетесь домой, постарайтесь забыть о зле, которое вам пришлось претерпеть; и хвастайтесь верностью, которую вы проявили по отношению ко мне, и всей привязанностью, которую я испытываю к вам.

“Если вы когда-нибудь увидите моих жену и сына, обнимите их за меня; последние два года я не получал от них никаких известий, ни прямых, ни косвенных.

[Здесь не хватало трех или четырех строк.^[25]

А пока утешьтесь и утешьте моих друзей. Мое тело, это правда, подвергается ненависти моих врагов; они не упускают ничего, что могло бы способствовать удовлетворению их мести; они заставляют меня терпеть длительные пытки медленной смерти; но Провидение слишком справедливо, чтобы позволить этим страданиям длиться намного дольше. Я чувствую, что вредность этого ужасного климата, нехватка всего, что поддерживает жизнь, скоро положат конец моему существованию.

[Здесь не хватало четырех или пяти строк.^[26]]

“Поскольку есть все основания предполагать, что вам не разрешат навестить меня перед вашим отъездом, примите мои объятия и заверения в моей дружбе. Пусть вы будете счастливы!

Суважением,

“НАПОЛЕОН”.

*“Лонгвуд; 11 декабря 1816 г.” */*

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПИСЬМОМ ИМПЕРАТОРА.—НОВЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, СОЗДАННЫЕ СЭРОМ ХАДСОНОМ ЛОУ.

Со вторника 17 декабря по четверг 19 декабря 1816 г. Письмо императора стало для меня источником настоящего утешения. Оно постоянно присутствовало в моих мыслях; оно рассеяло мои тревоги, укрепило мою решимость и, короче говоря, сделало меня по-настоящему счастливым. Я внимательно перечитывал его снова и снова. Я взвешивал каждое содержащееся в нем слово. Исходя из моих собственных знаний об императоре, я думал, что могу догадаться, как его побудили написать это. Я мог себе представить, каково было бы его беспокойство по поводу причины моего высылки и его удивление, узнав о тайной переписке. Из-за его постоянной привычки рассматривать вещи со всех возможных точек зрения я был убежден, что его проницательность позволила ему точно выяснить, что произошло, и что вследствие этого он решил написать мне. Мои догадки по всем этим пунктам оказались верными, поскольку впоследствии я узнал, что император после некоторой задержки решил написать мне, не зная, какого характера могли быть бумаги, ставшие причиной моего ареста.

Нужно ли мне говорить, как высоко я ценил это письмо! Я, который так часто слышал, как император заявлял, что он не будет писать своей жене, матери или братьям, поскольку он не мог этого сделать без того, чтобы его письма не вскрывали и не читали тюремщики. Но письмо ко мне было вскрыто с его собственного согласия и его собственными руками; ибо после того, как офицер охраны отправил его сэру Хадсону Лоу, оно было возвращено с замечанием, что оно не может быть доставлено мне, пока не будет прочитано и одобрено губернатором. Император полулежал на своем диване в тот момент, когда ему вернули письмо с этим новым препятствием. Он не произнес ни слова, но, подняв руку над головой, взял письмо, сломал печать и немедленно вернул его, даже не взглянув на человека, который его вручил.

Еще одним обстоятельством, придававшим этому письму ценность в моих глазах, было то, что на нем стояла полная подпись императора; и я знал, как сильно он не любил подробно расписываться своим именем в новых обстоятельствах, в которые он попал. Я полагаю, это был первый раз, когда он поставил свою подпись полностью с тех пор, как побывал на острове Святой Елены, и, изучив оригинал, легко понять, что это стоило ему некоторого внимания.

Сначала он написал своей рукой только дату: “*Лонгвуд, 11 декабря 1816 г.*”, закончив своим обычным шифром. Но, сочтя это недостаточным, он добавил ниже: “*ваш преданный Наполеон*”, повторив свой шифр. Все это носит явные следы того, что было написано в состоянии смущения.^[27]

Но самое большое удовлетворение, которое доставило мне письмо императора, заключалось в том, что оно точно указывало курс, который я ранее решил избрать. “Я умоляю вас, а в случае крайней необходимости *приказываю* вам покинуть остров”, - сказал император. И это было именно то, что я решил сделать в первые дни моего затворничества, когда я был разлучен со всеми моими друзьями и у меня не было другого советника, кроме меня самого. Я подумал, что я больше не могу быть чем-либо полезен императору здесь; но я, возможно, смогу быть полезен ему в другом месте. Я поеду в Англию и обращусь к министрам. Они не могут заподозрить, что мое поведение было преднамеренным, учитывая, что я был, так сказать, спасен от внезапной смерти. Все, что я скажу, очевидно, будет исходить от моего сердца. Я расскажу правду, и они не могут не быть тронуты теми страданиями, которые я им открою. Они улучшат состояние прославленного пленника, и я сам вернусь и положу к его ногам утешение, которое принесет мое усердие.

Поэтому я возобновил свои молитвы и мольбы; и обстоятельство, которое еще больше побудило меня сделать это, заключалось в том, что у моего сына как раз в это время случился рецидив, и он в течение получаса находился в состоянии бесчувственности без какой-либо другой помощи, кроме той, которую я был способен ему оказать. Мое огорчение и тревога могут быть легко поняты; к тому же я сам был очень нездоров. Я написал письмо губернатору, в котором писал: “Вы доводите меня до крайних страданий. Какую ужасную ответственность ты берешь на себя! Ты отец; и тревоги, подобные тем, которые сейчас терзают меня, возможно, однажды напомнят тебе о моих тщетных мольбах”. Было очевидно, что, задерживая нас, он торопил нас со смертью. Я не мог понять, что могло побудить его таким образом ввязаться в новые затруднения; мне казалось совершенно естественным, что он предпочел позволить нам умереть в другом месте.

В тот же день позвонил сэр Хадсон Лоу. Он сказал, что поводом для его визита послужила записка, которую он получил о состоянии здоровья моего сына. Он послал за доктором Бакстером, который прибыл вскоре после него.

В ходе долгого разговора я очень хорошо смог понять, что сэр Хадсон Лоу теперь имел в виду какую-то тайную цель в отношении меня. Мы обменялись мнениями по различным вопросам; и губернатор в заключение заметил, что он не может отправить меня обратно в Англию, потому что я настоял на том, чтобы взять с собой свой Дневник; в то время как, с другой стороны, на него претендовал император, поскольку он был написан по его приказу. Хитрость и абсурдность этого рассуждения были достаточно очевидны. Затем, словно охваченный внезапной мыслью и мимолетным чувством снисхождения, он добавил, что, если я захочу вернуться в Лонгвуд, он охотно согласится на это. Я затрепетал, услышав это.... Однако, вспомнив письмо и знаменательные слова императора, я ответил, что, хотя идея возвращения в Лонгвуд полностью противоречит моему нынешнему намерению, все же, если император выразит желание на этот счет, я должен немедленно изменить свое решение. Сэр Хадсон Лоу заметил, что у него есть веские основания полагать, что император действительно желает моего возвращения. Мысли губернатора, очевидно, были заняты каким-то новым планом в отношении меня; но я не мог

догадаться, что это было. Я дал понять, что мне необходимо написать в Лонгвуд, чтобы узнать, каковы пожелания императора. Губернатор решительно не возражал против этого, но выражался крайне туманно. Наконец он ушел; по крайней мере, я предполагал, что он ушел. Однако он просто удалился на время, чтобы провести совещание со своим доверенным лицом; после чего он пришел сообщить мне, что, обдумав это дело, он счел целесообразным для меня написать великому маршалу по поводу моего возвращения в Лонгвуд, в то же время заметив, что, в зависимости от того, как я смогу выразиться в своем письме, император будет склонен или не будет склонен выразить желание моего возвращения. Это было совершенно очевидно, и я не мог не улыбнуться этому наблюдению.

ОФИЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО МОЕГО ПЕРЕВОДА На КЕЙП.— ПОВЕДЕНИЕ СЭРА ХАДСОНА ЛОУ.

20, 21. Сэр Хадсон Лоу, обеспокоенный моими непрекращающимися обращениями к нему и сбитый с толку неловким положением, в которое он себя поставил, начал, по-видимому, раскаиваться в том, что поднял столько шума из-за такого пустяка. Он, очевидно, хотел, чтобы я вернулся к императору, что, конечно, избавило бы его от всякого смущения и положило бы конец всему этому делу. Следовательно, с целью побудить меня быстрее предпринять этот шаг, губернатор направил мне официальное решение относительно моего переезда на мыс Доброй Надежды; и этот документ он сопровождал письмом, в котором он еще раз очень заученным языком упомянул о том, что он предоставил мне возможность вернуться в Лонгвуд. Я избегал, насколько это было возможно, вставлять документы, связанные с этой перепиской, и сократил несколько моих собственных писем, опасаясь утомить читателя. Однако будет уместно, если я представлю все, что необходимо для объяснения этого дела, и поэтому я прилагаю официальное решение и письмо, на которое я только что ссылался.

ДЕКЛАРАЦИЯ.

“Губернатор, должным образом рассмотрев все обстоятельства, связанные с делом графа Лас Кейсса, принял следующее решение:—

“Граф Лас Кейзес, совершивший прямое и преднамеренное нарушение правил, установленных на острове Святой Елены, в силу полномочий британского правительства по отношению к генералу Бонапарту, подорвав верность жителя острова настолько, что сделал его преступным и тайным способом отправителем секретных писем в Европу; и нарушив таким образом одно из непеременимых условий, на которые он добровольно согласился, подписывая свое заявление о получении разрешения на проживание на острове Святой Елены, упомянутый граф Лас Кейзес был отделен от лица, которому он предоставил разрешение проживать на острове Святой Елены”. генерала Бонапарта; и, в соответствии с инструкциями британского правительства, он будет доставлен на мыс Доброй Надежды.

“Графу Лас Касес разрешается взять с собой все свое имущество и бумаги, за исключением, однако, тех из последних, которые могут иметь отношение к генералу Бонапарту, начиная с того времени, когда он находился под властью британского правительства, а также ту корреспонденцию, которая, возможно, не прошла по официальным каналам английских властей.

“Губернатор будет ожидать распоряжений британского правительства относительно этих документов, характер которых может быть предметом спора.

(Подпись) “ХАДСОН ЛОУ”.

*“Плантаторский дом, 20 декабря 1816 г.” */ #/*

ПИСЬМО СЭРА ХАДСОНА ЛОУ, СОПРОВОЖДАВШЕЕ ПРЕДЫДУЩИЙ ДОКУМЕНТ.

“Сэр, сообщая вам прилагаемое решение, позвольте мне упомянуть то, что я уже заявил устно, что я не буду возражать против вашего пребывания на острове, если вы предпочтете сделать это, а не отправиться на мыс Доброй Надежды и ждать там, пока я не получу инструкции от британского правительства относительно вас.

“В случае, если вы предпочтете остаться на острове Святой Елены, я считаю необходимым потребовать от вас заявления, выражающего ваше желание на этот счет, и обещания подчиниться тем же ограничениям, при которых вам до сих пор разрешалось проживать здесь.

“Таким образом, сэр, на ваше усмотрение остается либо отправиться на мыс Доброй Надежды, либо оставаться здесь, с вашими документами за печатью, пока я не получу инструкций от правительства.

“Имею честь быть и т.д.

(Подпись) “ХАДСОН ЛОУ”.

Я немедленно подтвердил получение этих двух документов, в то же время запросив подтверждение получения всех моих писем, поскольку до сих пор у меня не было никаких намеков на получение какого-либо из них. Желая ответить на предложение губернатора разрешить мне вернуться в Лонгвуд, я немедленно отправил письмо по этому поводу главному маршалу, которое я отправил сэру Хадсону Лоу, чтобы он мог ознакомиться с ним и переслать по назначению.

Вряд ли кто-то поверит, что сэр Хадсон Лоу отправил это письмо обратно. Он пометил карандашом каждый отрывок, против которого возражал, и сократил все до нескольких строк, взяв на себя привилегию диктовать мне, что я должен был написать графу Бертрану. Возвращенное письмо сопровождалось сообщением, которое, как заметил губернатор, послужит ответом на всю мою предыдущую корреспонденцию.

ПЕРЕПИСКА ПРОДОЛЖАЛАСЬ.—ГУБЕРНАТОР ОБЕСКУРАЖЕН МОИМ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ.

22, 23—е. - Губернатор приезжал, чтобы убедиться в силе своего заявления и двух писем. Он не сомневался, что они произвели большое впечатление, и рассчитывал найти мое письмо великому маршалу уже написанным с предложенными им исправлениями; он ожидал, что сообщение этого письма приведет к моему возвращению в Лонгвуд. Но я хладнокровно сообщил ему, что, поскольку он взял на себя смелость диктовать мне, я вообще не буду писать. Услышав это, он, казалось, был удивлен и сбит с толку и, после некоторого размышления, зашел так далеко, что поинтересовался, были ли внесенные им исправления единственными препятствиями, которые меня удерживали. Эта необычная снисходительность с его стороны

была для меня достаточным ориентиром. Поэтому я продолжал настаивать и оборвал разговор, заметив, что вечером он получит от меня мое бесповоротное решение и причины, на которых оно было основано, вместе с моими замечаниями по поводу различных писем, которые он мне адресовал.

Мое письмо было следующего содержания:—

“Сэр, Вы прислали мне обратно, с вашими исправлениями, письмо, которое я написал графу Бертрону, относительно вашего устного предложения разрешить мне вернуться в Лонгвуд. Но, как это почти всегда здесь бывает, это предложение было искренним только внешне, и оно было обречено на провал в деталях своего исполнения. Я не был сильно удивлен этому. На днях, после вашего отъезда, когда я пришел поразмыслить над сделанным вами предложением, я предвидел, что дело закончится так, как оно закончилось на самом деле. У вас хватило откровенности сказать мне, что вы не могли позволить мне и сотрудникам "Лонгвуда" объединить наши идеи или, другими словами, выяснить наши *истинные желания*. У вас, несомненно, есть для этого очень веские причины. Я ничего не говорю против этого; только я не могу допустить, чтобы меня одурачили или чтобы я был средством ввести в заблуждение тех, кто проявляет интерес к моей судьбе.

“Вы“Вы слишком выгодно расположены, сэр, между мной и Лонгвудом; и если я должен написать графу Бертрону не о своих чувствах, а о том, что вы сочтете нужным продиктовать, я отказываюсь поддерживать с ним какие-либо сношения. Я буду считать, что вашего предложения никогда не было сделано, потому что оно не может быть принято; и я должен бесповоротно изложить свои мысли, чувства и решения по этому вопросу в моем письме от 30 ноября.

“Вы ошибаетесь, сэр, если полагаете, что я хотел получить ответы на все аргументы и статьи, содержащиеся в моих письмах. Я осознаю важность ваших занятий и ценность вашего времени, и поэтому я просто попросил подтвердить получение моих писем ради регулярности. Я предполагал, что у вас не может быть причин отказываться от этого.

“ Вы, кажется, удивлены, сэр, плачевным состоянием моего собственного здоровья и здоровья моего сына; и вы дважды выражаете удивление по поводу того, что я не пожаловался вам на этот счет, когда был в Лонгвуде. Я мало думал о своем здоровье, сэр, когда был в Лонгвуде; и, кроме того, когда я почувствовал недомогание, я счел более целесообразным пожаловаться Врачу, чем губернатору. Что касается моего сына, я удивлен, что вы ничего не слышали о его ситуации, учитывая консультации, которые были проведены по его делу, припадки, которые у него были, и то, сколько раз ему пускали кровь. Стоит ли удивляться, что наши нынешние обстоятельства увеличивают наши немощи?

“ Теперь я выполняю ваш приказ о моем перемещении на Мыс. Я нахожу, что все бумаги, имеющие какое-либо отношение к августейшей особе, которой я посвятил свое существование, должны быть задержаны. Какими еще бумагами, сэр, я могу располагать? Что подразумевается под словами, что я волен забрать все остальное? Разве это не предложение, но при этом ничего не дающее?

“Вы задерживаете мой Дневник, единственный и реальный объект всего этого недоразумения; хранилище, еще неполное и неправильное, в котором я ежедневно регистрировал все, что думал, видел или слышал. Может ли какая-либо из моих бумаг быть для меня более ценной, чем

эта? Вы не можете притворяться, что не знакомы с ее содержанием, поскольку я позволил вам просматривать ее в течение двух часов по вашему собственному усмотрению. Не будете ли вы нести ответственность за злоупотребление этой привилегией? Не придется ли вам, возможно, однажды оправдываться за ложные представления, которые вы, несомненно, донесли до английских министров относительно этой рукописи? Вы назвали это *Политическим журналом*. Вы заметили, что в той ситуации, в которую я попал, я не имел права вести какой-либо отчет о том, что было сказано императором Наполеоном, и вы особенно возражаете против того, что я включил официальные документы в свой дневник. Как будто все, что я видел, читал и слышал, не по праву и не без нарушения приличий принадлежало моим собственным мыслям и составляло часть моей собственной собственности, пока запись хранилась в тайне! Кто бы мог предположить, что такие принципы могли быть усвоены либеральными идеями Англии? Не являются ли они скорее частью одиозных полицейских максим континента? И, в конце концов, каково содержание этого Журнала? В нем описываются возвышенный язык и поведение августейшего человека, который является его объектом, происшествия из его жизни, а также многие вещи, которые, вероятно, не очень приятны вам! Но кто предал огласке эти факты? Все должно было быть заново затронуто, изменено и исправлено. Кто этому помешал? Однако, сэр, вы можете быть уверены, что обстоятельства, которые только что произошли, никогда не побудят меня сказать о вас что-либо, в чем я твердо не уверен, что это правда.

“В вашем решении от 20 октября вы заявляете, что я буду удален из Лонгвуда и отправлен на мыс Доброй Надежды. По форме и языку этого решения можно было бы, естественно, предположить, что оно противоречило моим желаниям; в то время как на самом деле вы тем самым произносите предложение, которое сейчас и было в течение многих прошедших дней чуждым новому вопросу, возникшему между нами. Вы удаляете из Лонгвуда человека, который двадцать дней назад отказался от подчинения вашей власти, в которое он добровольно себя отдал; и который в течение последних восемнадцати дней официально требовал его высылки с острова. Кто бы мог догадаться об этих фактах, прочитав ваш документ? Вы прилагаете свое решение к письму, в котором оставляете мне выбор: подчиниться вашему приговору или вернуться в Лонгвуд. Но, пользуясь счастьем, которое вы мне таким образом предлагаете, я обеспечил бы вам триумф и удовлетворение от того, что вы являетесь хозяином моих самых личных бумаг; я снова стал бы вашим пленником и подвергался бы тем же обыскам и конфискациям, когда бы вам ни было угодно их произвести.... Нет, сэр! Я не могу сделать выбора. Я могу только повторить то, что уже говорил раньше. Я подчиняюсь законам. Если я виновен, пусть меня судят; если я невиновен, верните мне свободу. Если мои документы не связаны с этим делом, верните их мне. Если вы считаете нужным подвергнуть их серьезному рассмотрению, передайте их английским министрам и позвольте отправить меня с ними. Кроме того, поскольку мое собственное здоровье и здоровье моего сына настоятельно требуют всевозможной медицинской помощи, я искренне умоляю вас отправить нас в Англию.

“Ничего не было проще, чем это дело, и все же оно было сопряжено с трудностями. Напрасно вы ссылаетесь на свои инструкции; их никогда нельзя применить к таким необычным случаям, как этот. Ваша собственная нерешительность доказывает мне, что ваши инструкции не являются ни ясными, ни точными. Сначала вы хотели держать меня на острове в одиночном заключении, отдельно от Лонгвуда; вы считали неправильным отправлять меня на Кейп. Теперь вы подвергаете пыткам буквальный смысл своих инструкций, чтобы дать им принудительное толкование. Но помните, что вы будете нести ответственность перед вашим правительством за то, что неправильно истолковали их, и передо мной за то, что я нарушил закон в своем лице.

Помните, что большинство ваших мер в конечном счете окажутся возмутительными и произвольными действиями. Я не знаю, какие права, какие ресурсы предоставят мне ваши законы; но я дремлю в этом неведении; ибо я верю, что они так или иначе защитят меня. Вы рассчитываете избавиться от меня, когда меня перевезут на Кейп, разлучив с моими бумагами, которые вы намерены оставить у себя. Но даже если меня будут держать там пленником, ветры донесут мои жалобы до наших дней. Я сообщу о душевных ранах и телесных страданиях, которые вы таким образом усугубите; ибо, если меня задержат на Мысе, это должно произойти через вас, либо по вашему прямому приказу, либо по секретным инструкциям. Запечатанные бумаги могут быть вскрыты только в присутствии заинтересованной стороны. Прикажете ли вы доставить меня обратно с Кейпа с целью взлома печатей, которые прикреплены к моим? Или вы задержите меня на Кейптауне, пока не получите приказ отправить мои документы в Англию? Какую цель преследуете всем этим? Существовал и до сих пор существует простой способ организации каждой вещи! Моя природная склонность приспосабливаться заставляла меня, так сказать, предвидеть любые трудности. Я был готов обойти все. Я бы охотно подвергся в Англии любым предварительным мерам, какими бы произвольными они ни были, которые могли бы быть эквивалентны карантину на Мысе. Состояние моего собственного здоровья и здоровья моего сына было веской причиной для этого.

“Страх отступления от буквального значения любого конкретного пункта ваших инструкций был для вас сильнее, чем необходимость и право уступить их духу, силе обстоятельств и чувствам человечности. Еще не слишком поздно дать то, о чем я прошу. Я готов верить, что человечность определит вас; и если так, я останусь вашим должником. То обстоятельство, что документы были востребованы в Лонгвуде и мной, не может рассматриваться как разумное препятствие. Кроме того, может возникнуть вопрос, что вы сделали, чтобы их изъять? Вы хотите, чтобы я сам написал на эту тему? Трех слов было бы достаточно, чтобы мы пришли к взаимопониманию.

“В любом случае, сэр, к какому бы решению вы ни пришли, какую бы досаду вы ни приберегли для меня, ничто не может сравниться с тем, что я испытываю, находясь взаперти на этом ужасном острове, разлученный с августейшей особой, за которой я последовал сюда. Часы и минуты, которые я провожу в этой ситуации, подобны годам в моей несчастной жизни и опасно усугубляют шаткое состояние здоровья моего сына. Поэтому я снова требую и буду требовать постоянно, чтобы вы увезли меня из этого ненавистного места. Я есмь” и т.п.

Губернатор был очень раздосадован моим намерением не возвращаться в Лонгвуд, хотя я не мог точно угадать причину. Однако мое решение было полностью подтверждено на следующий день, когда он пришел ко мне, и после длинной и очень туманной преамбулы, уважая его искренность и добрые намерения, он сказал мне, что, чтобы облегчить мне общение с Лонгвудом, он согласится переслать мое первое письмо графу Бертрону в том виде, в каком я сама его написала; и более того, отправить вместе с ним копию всей моей корреспонденции, чего он до сих пор постоянно отказывался делать. Но чем больше он шел на уступки, тем решительнее я отвергал их: “Слишком поздно, - сказал я, - жребий брошен. Я вынес приговор самому себе. Я не буду писать Лонгвуду и в сотый раз требую, чтобы вы уволили меня отсюда без дальнейших проволочек”. — “В таком случае, по крайней мере, “ сказал губернатор, - сообщите ли вы Лонгвуду о моих предложениях и о вашем отказе?” — “Я не возражаю против этого”, - ответил я. Затем сэр Хадсон Лоу отбыл, очень смущенный, упомянув в качестве последнего стимула, что он может отправить нас только на борту транспортного средства, что

он не знает, когда судно может отплыть, и что на борту нет врача, что было бы серьезным неудобством, учитывая состояние здоровья моего сына.

НАШ ПЕРЕЕЗД ИЗ КОТТЕДЖА БАЛЬКОМБА В ГОРОД.

24—го.—Моему сыну ночью стало очень плохо, да и мне самой было очень плохо. На рассвете я послал запрос о немедленном вызове докторов Бакстера и О'Мира; и в крайнем отчаянии я также написал сэру Хадсону Лоу, заверяя его, что мы не можем больше терпеть то лечение, которому сейчас подвергаемся. Я напомнил ему, что, несмотря на опасное состояние моего сына, прошло уже более семи дней с тех пор, как мы обращались к врачу; и что из-за нашего неудобного положения врачи, несмотря на их благие намерения, сочли невозможным навестить нас. Поэтому я настаивал на необходимости нашего немедленного отъезда из коттеджа и умолял, чтобы нас перевезли в город, даже в общую тюрьму, если он сочтет это необходимым. Это письмо произвело немедленный эффект. По возвращении денщика я получил записку от губернатора, в которой говорилось, что я должен быть в тот же день доставлен в его собственную резиденцию в городе. Вечером пришел офицер, чтобы проводить нас туда. С какой тревогой мы смотрели в сторону Лонгвуда в момент отъезда! Каковы были наши мысли и ощущения, когда мы ехали по дороге! Какая рана была нанесена моему сердцу, когда я в последний раз обернулся, чтобы посмотреть на Лонгвуд, и увидел, как он постепенно исчезает из виду!

НАША РЕЗИДЕНЦИЯ В ЗАМКЕ ГУБЕРНАТОРА.—ЛУЧШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ И Т.Д.

с 25 по 28 число.—Теперь мы оказались в резиденции губернатора, которая называется Замком. Это просторное здание с приятным расположением. Теперь наше состояние сильно изменилось к лучшему. Нас по-прежнему охраняли часовые, это правда; но все подчинялось моим приказам, и, казалось, прилагались усилия, чтобы снабдить нас всем в изобилии. “Не жалейте,” часто повторял мажордом, “Достопочтенная Ост-Индская компания платит за все”. Но эти запоздалые знаки внимания не производили на меня особого впечатления. У меня была только одна цель, а именно быстрое решение, которого я не мог добиться. Губернатор приходил ко мне каждый день, но только для того, чтобы произнести несколько комплиментарных фраз, и ни слова не говорил о моих делах. Однако теперь необходимо было перейти к делу. Бесконечные трудности, которые возникали, и мои попытки предотвратить их держали меня в постоянном возбуждении; и душевное смятение сочеталось с печалью сердца.

Я был абсолютно в критическом состоянии, когда прибыл в город. Губернатор был поражен моей крайней слабостью и переменой, произошедшей в моей внешности. Очевидно, с намерением подбодрить меня, сэр Хадсон Лоу упомянул, что император выразил очень большое желание увидеть меня перед моим отъездом. Услышав это, я был глубоко тронут. Мой сын впоследствии сообщил мне, что губернатор, казалось, был очень смущен тем состоянием, в которое, по его мнению, я был доведен. Однако, пытаясь собраться с силами, я еще раз попросил сэра Хадсона Лоу отдать распоряжения о моем переезде как можно скорее. В конце концов он решил, что мой отъезд должен состояться через два дня. Он сообщил мне, что раздобыл военный корабль, который больше подойдет для моей перевозки, и в то же время я буду пользоваться преимуществом наличия на борту медицинского работника.

ПОСЛАНИЕ ИМПЕРАТОРА КО МНЕ. — ПРОЩАНИЕ ВЕЛИКОГО МАРШАЛА.

29—го.- Сегодня рано утром пришел офицер и потребовал, чтобы мы собрали наши вещи для перевозки на борт корабля, поскольку было решено, что мы должны отплыть очень скоро. Мы рассматривали это как час нашего освобождения. Через несколько минут все, что у нас было, было упаковано, и мы были в полной готовности. Наконец желанный момент отъезда настал. Как меняются наши чувства в зависимости от обстоятельств, в которые мы попадаем. Но совсем недавно я счел бы величайшим несчастьем, которое могло бы постигнуть меня, быть разлученным с императором и удаленным с острова Святой Елены. Но мои недавние решения, явное желание сэра Хадсона Лоу, решительные слова императора: *“Я прошу вас, а в случае необходимости приказываю вам покинуть этот остров”*; вместе с другими важными замечаниями, которые он высказал в ходе предыдущего разговора, и на которые я не могу здесь намекнуть, хотя они совершенно чужды политике; и, наконец, химеры, которые создало мое собственное воображение, - все это теперь заставляло меня бояться мысли о более длительном задержании. Час отъезда был уже назначен; тем не менее я испытывал самое жестокое ожидание, которое губернатор, казалось, оправдывал тем, что отсутствовал почти весь день. Нетерпение и тревога бросили меня в жар, когда около шести часов вечера появился губернатор, которого я уже отчаялся увидеть. После небольшого вступления, в своей обычной манере, он сообщил мне, что привел великого маршала проститься со мной, и проводил меня в соседние покои, где я имел счастье обнять этого уважаемого товарища моего изгнания. Император поручил великому маршалу передать мне, что *“он должен видеть, как я с удовольствием дезертирую, и видеть, как я с удовольствием остаюсь”*. Это были его слова. Он добавил, что знает мое сердце и мои чувства и что он полностью мне доверяет. Что касается глав “Итальянской кампании”, которые я просил разрешения сохранить как дорогое воспоминание, он без колебаний предоставил их, равно как и все остальное, что могло оказаться в моем распоряжении; ибо ему было приятно сказать, что, пока они в моих руках, он должен считать их все еще находящимися в его собственных. Сэр Хадсон Лоу был с нами во время этой беседы, на которой его присутствие было необходимо. Великий маршал поручил мне сделать некоторые закупки книг и других вещей, необходимых или полезных императору, и он особенно просил меня прислать “Монитор”. Наконец, он попрощался со мной, многозначительно сказав, чтобы я поступал во всем так, как я лучше всего понимаю.

Как я и ожидал, дружба Великого маршала только усилила мое отчаяние. Он выразил сожаление по поводу моего отъезда и попытался объяснить причины, побудившие меня остаться. “О его отсутствии, ” сказал он в очень изящной манере, обращаясь к губернатору, “мы все будем сожалеть. Это будет потерей для императора и даже для вас, сэр Хадсон Лоу. Вы скоро в этом убедитесь. Губернатор ответил одобрительным поклоном, и оба попытались убедить меня изменить мое решение. Я мог легко догадаться о причинах этого поступка губернатора; но я не мог так хорошо разгадать причину просьб Великого маршала, особенно после послания, которое он только что передал мне от императора. Кроме того, он знал, что в дополнение к многочисленным веским мотивам, побудившим меня уехать, сэр Хадсон Лоу, как я, кажется, уже упоминал, не предложил ни малейшей уступки со своей стороны. Он настоял на сохранении моих документов и потребовал моего безоговорочного подчинения. Таким образом, я должен был, так сказать, узаконить все его меры. В соответствии с созданным таким образом прецедентом я должен был бы уполномочить его схватить и заключить в тюрьму любого из нас,

когда бы ему ни захотелось это сделать. Я не мог без прямого приказа императора смириться с подобными безобразиями; и поэтому я твердо сопротивлялся им.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ.—ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ МОИХ БУМАГ.—ОТЪЕЗД.

30—го.—Рано утром меня навестил адмирал Малкольм. Он пришел представить меня капитану. Райт, который должен был доставить меня на мыс, на борт брига "Гриффин". Адмирал рекомендовал меня капитану. Райта как своего друга и в очень приятной манере заверил меня, что у меня будут все основания быть довольным усилиями, которые будут предприняты для того, чтобы сделать ситуацию приятной для меня.

Я с обычным беспокойством ожидал решающего момента, ибо губернатор проявил такое горячее желание уговорить меня остаться, что я испугался, как бы он в конце концов не устроил каких-нибудь непредвиденных препятствий моему отъезду.

Около одиннадцати часов прибыл верховный маршал в сопровождении губернатора и нескольких офицеров. Он возобновил свои попытки убедить меня вернуться в Лонгвуд, но ни разу не выразил положительного желания императора. Зная мои чувства так хорошо, как он, он, должно быть, понимал, что одно мое слово решило бы все. Но этого слова он не произнес и даже избегал этого, когда я настаивал на нем, всегда ссылаясь на послание императора, которое он передал мне накануне. Таким образом, мне пришлось защищаться от него, от которого я хотел бы получить поддержку. Его выражения уважения усилили мое отчаяние, и я был сбит с толку желанием остаться и решимостью уехать. Если мое сердце диктовало мне один путь, мужество требовало другого; и я оставался непреклонным.

Я не должен забыть упомянуть, что великий маршал в ходе беседы сообщил мне, что император пожелал видеть меня перед моим отъездом. Губернатор, однако, потребовал, чтобы при нашей беседе присутствовал английский офицер; и император отказался от своего намерения, заметив, что я хорошо знаю, что он отказал бы себе в счастье видеть собственную жену и сына на таких условиях. Как меня обрадовали эти слова!..

Я вручил великому маршалу тринадцать переводных векселей на моего лондонского банкира на 4000 луидоров, которые я так часто предлагал императору и которые, как теперь сообщил мне Великий маршал, он согласился принять. Это было для меня настоящим утешением.

Когда это дело было улажено, генералу Гурго, сопровождавшему великого маршала, также было разрешено войти и проститься со мной. Этот новый знак внимания, присоединенный ко многим другим, которые генерал показал мне во время моего заключения, не произвел впечатления на мое сердце.

Верховный маршал и генерал оставались со мной довольно долго, и сэр Хадсон Лоу имел вежливость сказать, что они могут, если им угодно, остаться и позавтракать со мной. Он удалился, забрав с собой всех своих людей, за исключением дежурного офицера в Лонгвуде, который сопровождал джентльменов в замок. Этим офицером был капитан Попплтон, поведением которого мы всегда были вполне довольны. Во время нашего завтрака, за которым мы просидели очень долго, мы, конечно, могли бы, несмотря на присутствие капитана Попплтона, найти способ вступить в тайные сношения друг с другом; но у нас не было возможности вступить в них, и между нами не было сказано ни слова личного характера. Если бы я предвидел это неожиданное обстоятельство, я мог бы передать в руки моего сына всю мою

переписку с сэром Хадсоном Лоу, и таким образом она могла бы быть легко передана в Лонгвуд. Однако, поразмыслив, я поздравил себя с тем, что не предпринял никакой подобной попытки. Я по-прежнему не доверял сэру Хадсону Лоу, и, судя по его попыткам убедить меня остаться, он, несомненно, воспользовался бы этим открытием как предлогом для изменения всех достигнутых договоренностей и издания новых приказов.

Завтрак закончился, и я был первым, у кого хватило смелости встать и попрощаться. Я послал запрос, чтобы губернатор приехал и принял последние меры. Я обнял своих друзей, и они покинули меня. Генерал Гурго на прощание несколько раз с чувством упомянул о мелких неприятностях, которые время от времени возникали между нами. Я был счастлив выразить свою убежденность в том, что они были полностью вызваны теми болезненными обстоятельствами, в которые мы попали, и что наши сердца не имели к ним никакого отношения. Я с искренней благодарностью храню память о добром внимании, которое я получал от генерала Гурго в последний период моего пребывания на острове Святой Елены.^[28]

Сэр Хадсон Лоу, вернувшись, увидев, что великий маршал и генерал Гурго уходят, многозначительно сказал мне с видом смущения и досады: “Значит, вы не намерены возвращаться в Лонгвуд? Можно предположить, что у вас есть веские причины для отказа сделать это.” Моим единственным ответом был поклон; и я попросил губернатора немедленно запечатать бумаги - единственное, что теперь оставалось сделать. Несколькими днями ранее я потребовал, чтобы была составлена подлинная опись моих бумаг; это было сделано; и я получил ее копию, подписанную сэром Хадсоном Лоу. Все, что теперь оставалось сделать, - это скрепить печати. Губернатор откладывал эту формальность до последнего момента и завершил ее способом, совершенно характерным для его характера. Он сказал мне в очень справедливых словах, но с видимым стеснением, что из уважения к императору, а также из личного уважения ко мне, он охотно разрешил бы мне поставить свою печать на бумагах, при условии, что я соглашусь, чтобы он сломал ее во время моего отсутствия, если сочтет это необходимым. Я улыбнулся этому предложению и отклонил его; после чего он некоторое время ходил торопливыми шагами взад и вперед по комнате, а затем, словно придя к внезапному решению, воскликнул: “Я беру все на себя; я обойдусь без вашей печати”. Он позвал правительственного секретаря, и печати острова были прикреплены к бумагам в моем присутствии. Я попросил, чтобы он предоставил мне заявление о своем отказе разрешить нетоту скрепить их гербом или о том особом условии, которое он поставил мне для этого. Это был новый предмет колебаний; но в конце концов вопрос был решен, когда губернатор представил мне заявление в следующих выражениях:

ЗАЯВЛЕНИЕ СЭРА ХАДСОНА ЛОУ ГРАФУ ДЕ ЛАС КЕЙСУ.

“В связи с тем, что было указано в решении губернатора относительно дела графа де Лас Касес, большое количество бумаг графа в настоящее время, на момент его отъезда с острова, задержано.

“Губернатор, в чьи особые обязанности входит не допускать, чтобы какие бы то ни было документы, приходящие из Лонгвуда, покидали остров без предварительной проверки, однако по личным причинам до сих пор воздерживался от ознакомления со всеми документами, присланными графом Лас Кейсом. Губернатор постановил, что бумаги, принадлежащие графу, которые были задержаны (и о которых сэру Хадсону Лоу известно только общее содержание),

должны быть упакованы в два отдельных пакета и переданы в казначейство острова до получения соответствующих распоряжений от правительства.

Граф де Лас Касес может наложить свою печать на каждый из этих пакетов, при том понимании, что печать может быть сломана либо в случае, если потребуется доставить пакеты с острова в соответствии с распоряжениями правительства; либо в случае, если интересы службы потребуют вскрытия пакетов.

Таким образом, проставление этой печати является всего лишь моральной гарантией, которую Губернатор предлагает считать в большинстве случаев для собственного удовлетворения, чтобы гарантировать, что пакеты не будут вскрыты, за исключением одной из указанных выше неотложных причин.

Если при этих обстоятельствах граф Лас Кейсес откажется проставлять свои печати на пакеты или откажется согласиться с условием, на котором разрешается проставление его печати, губернатор, который не может допустить, чтобы какой-либо запечатанный пакет или какие-либо документы, поступающие из Лонгвуда, попадали из его рук без проверки, считает необходимыми все меры предосторожности, рассчитанные на то, чтобы убедить свое правительство в том, что он принял надлежащие меры для обеспечения сохранности задержанных бумаг, пока он не получит соответствующих распоряжений.

Поскольку граф Лас Кейсес отказался скрепить свою печать на вышеупомянутых условиях, бумаги, разделенные на два отдельных пакета, были помещены в две коробки, опечатанные печатями правительства и острова.

(Подпись) “Х. ЛОУ”.

“31 декабря 1816 года”. “31 декабря 1816 года”.

Теперь, когда все дела между нами были улажены, сэр Хадсон Лоу, руководствуясь характерной чертой поведения, которую он неоднократно проявлял с тех пор, как я был его пленником, либо из соображений вежливости, либо из расчета, немедленно написал за меня несколько рекомендательных писем своим личным друзьям на мысе, которые, как он заверил меня, окажутся для меня очень приятными. У меня не хватило смелости отказаться от этих писем, такова была искренность, с которой они, казалось, были предложены. Наконец наступил долгожданный момент отъезда. Губернатор проводил меня до ворот замка и приказал всем своим офицерам проводить меня до места посадки; это, по его словам, было сделано в знак уважения. Я нетерпеливо вскочил в лодку, которая была готова принять меня. Я пересек порт и прошел мимо судна, только что прибывшего с мыса, на борту которого, к моему удивлению, я заметил поляка и троих слуг, которых отослали от нас несколько месяцев назад и которые теперь направлялись в Европу. Они приветствовали меня жестами, когда я проходил мимо, и мне нет нужды говорить, как сильно я был удивлен, увидев их. Один из этих людей был предъявителем единственного документа, уцелевшего с острова, а именно письма по поводу комиссаров союзников. Я не сомневался, что открытие, сделанное в отношении моего слуги, даст губернатору повод для обыска этих людей, которые были далеки от того, чтобы

подозревать подобное. К счастью, однако, никаких поисков не проводилось, и верный Сантини имел честь первым донести до Европы достоверные сведения о Лонгвуде.

Наконец я благополучно поднялся на борт брига; он поднял якорь, и я подумал, что мои последние желания исполнены. Но этим тщетным иллюзиям было суждено быть жестоко разрушенными; и мой последний опыт общения с сердцами некоторых людей доказал, что все надежды, которые я питал, были всего лишь тщетными химерами.... Как я мог до такой степени обманывать себя, чтобы полагаться на чувствительность тех самых людей, которые вопреки всем законам вынесли приговор и приказали привести его в исполнение?— Почему я не остался управлять домашним хозяйством, а не мечтал оказывать удаленные услуги? Я мог бы продолжать свое ежедневное внимание еще некоторое время и получить какие-то дополнительные знаки внимания; и когда наступил роковой момент, я получил бы свою долю общего горя. Я мог бы внести свой вклад в смягчение страданий последних минут жизни Наполеона; и помог бы закрыть ему глаза !... Но нет!... Возможно, влияние климата, сказавшегося на моем слабом состоянии здоровья, вскоре унесло бы меня из этого мира. Я, вероятно, не дожил бы до того, чтобы стать свидетелем этого печального события.... Я должен был быть избавлен от горя, которое сейчас давит на мое сердце.... Мне не пришлось бы бороться с жестокими недугами, принесенными из моего места ссылки. Мой прах покоился бы там с миром; и, таким образом, окончание моей жизни могло бы рассматриваться как дополнительная милость моей счастливой звезды или последнее благословение Небес!

Возможно, таково должно быть заключение моего Дневника, поскольку сейчас я удален с острова Святой Елены и больше не могу записывать слова императора. Однако следующие страницы настолько тесно связаны с тем, что касается Наполеона, что я убежден, что мне не нужно извиняться за продолжение.

ПЕРЕХОД ОТ ОСТРОВА СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ ДО МЫСА В ТЕЧЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ДНЕЙ.—ПОДРОБНОСТИ И С.

Со вторника, 31 декабря 1816 г., по пятницу, 17 января 1817 г. - Когда появился дневной свет, остров Святой Елены больше не существовал для нас, кроме как в наших сердцах. Мы быстро уплывали прочь от этого милого и проклятого места посреди океана, на огромном расстоянии как от старого, так и от нового света. Офицеры и команда относились к нам с подчеркнутой добротой; их забота, их внимание, их почтение, сочувствие, которые они выражали, были таковы, что, если бы не язык, который я услышал, я мог бы представить себя на борту французского судна. Застенчивость и осмотрительность острова Святой Елены привели к полной свободе от ограничений. Тогда я узнал, сколь многим я обязан адмиралу Малькольму. Это он добился для меня расположения военного брига вместо жалкого транспорта, которым мне угрожали. Как только он был проинформирован о решимости сэра Хадсона Лоу, он поспешил предложить ему один из своих кораблей, заверив его, что может выделить один, чтобы избавить меня от неудобств и лишений, которым я в противном случае подвергся бы; и, подав сигнал, он приказал войти в гавань "Грифину", командиром которого был один из офицеров, которые ему больше всего нравились. Уже было замечено, что адмирал привел его с собой, чтобы повидаться со мной.

Мой сын посвятил часть нашего путешествия копированию некоторых бумаг, которые мы намеренно порвали и фрагменты которых мы распределили по разным местам среди нашего

багажа или при нас самих. Сэр Хадсон Лоу принял необходимые меры предосторожности, сообщив мне незадолго до этого, что ему следует еще раз просмотреть мои бумаги перед моим отъездом, чтобы посмотреть, что я мог написать во время моего пленения.

Самым важным из этих документов, которым я дорожил больше всего, было то, что я назвал изложением наших претензий в Лонгвуде.

Пока я был во власти сэра Хадсона Лоу, наши беседы привели меня, по его собственной просьбе, к поспешному заявлению с перечислением наших претензий. Плохое самочувствие моего сына и состояние моих глаз не позволили нам сделать точную копию этого заявления для себя. Я попросил губернатора позволить мне нанять кого-нибудь, кто переписал бы для меня, но он не выполнил эту просьбу, и я не считал деликатным настаивать, поскольку мне предстояло представить ему заявление, которое, должно быть, было ему очень неприятно. С другой стороны, поскольку я говорил без ведома моих товарищей и все же часто от их имени, для меня было очень важно, чтобы они были знакомы с тем, что я сказал, чтобы исправить меня, если я допустил какие-либо ошибки.

Перед отъездом я сказал сэру Хадсону Лоу, что завершил составление заявления, и показал ему запечатанный пакет, содержимое которого, по моим словам, я намеревался скопировать на Кейпе или даже на борту брига и выслать ему две копии, одну для него и одну для Лонгвуда. Сэр Хадсон, по-видимому, очень высоко оценил это предложение, но, предпочитая, однако, другую договоренность, было решено, что я немедленно передам свою рукопись в руки третьего лица, чтобы каждая сторона могла снять с нее копию, а оригинал впоследствии должен быть возвращен мне. Поэтому я искал человека, чей благородный нрав внушал мне доверие: генерал Бингхэм, заместитель командующего на Острове, был первым человеком, о котором я подумал. Поэтому я адресовал ему свою рукопись с согласия губернатора и при четком условии, что она должна быть одновременно показана сэру Хадсону Лоу и графу Бертрону, которые были осведомлены об этой договоренности.

Я больше не слышал об этом заявлении до шести лет спустя, да и то только благодаря работе доктора О'Мира. Джентльмены из свиты императора, вернувшись со острова Святой Елены, сообщили мне, что им об этом никогда не сообщали и что император был совершенно не осведомлен о его содержании. Похоже, что после моего отъезда сэр Хадсон Лоу, под влиянием своего авторитета и вопреки нашим четким условиям, завладел рукописью исключительно в свое личное владение и сделал ее предметом ложных толкований или злонамеренных измышлений.

Мистер О'Мира в своем отчете о событиях на острове Святой Елены отмечает, что сэр Х. Лоу, воспользовавшись информацией, полученной при чтении рукописи ("жалобы"), прибегнул к уловке, вполне достойной системы, которую он внедрил. Он поручил мистеру О'Мире сообщить Наполеону, что во время моего заключения я признался, что ограничения, наложенные на французов в Лонгвуде, были просто формальными; и что я, как и остальные французы, пытался отравить разум нашего Хозяина посредством клеветы и лжи; добавив, что этот факт неоспорим, поскольку он изложил его моей собственной рукой. Он даже притворился, что цитирует фразу из этой рукописи, которую он попросил мистера О'Мира повторить императору и которой он хотел создать впечатление, что я признался, что отношение французов к личности императора заставило его смотреть на все сквозь *окровавленную пелену*. Услышав это, император заметил: *Конечно, везде, где видишь палача, видишь кровь*. И он добавил, что убежден, что это выдумка

сэра Хадсона Лоу или искажение какого-то отрывка из моего заявления. По этому поводу мистер О'Мира описывает, что император сказал,сказал : “Лас Касс, безусловно, был сильно раздражен против него (сэра Х. Лоу) и внес существенный вклад в формирование сложившегося у меня впечатления, потому что Лас Касс - человек чувствующий и чрезвычайно чувствительный к жестокому обращению, практикуемому по отношению ко мне и к нему самому. Но у меня не было возможности прибегнуть к помощи Las Cases, чтобы высказать мне это мнение, поскольку лечения, которому я подвергся, было вполне достаточно само по себе, чтобы сформировать его ”.

Он заметил, что я постоянно говорил с ним об английской нации с энтузиазмом и восхищением; хотя я, конечно, откровенно и энергично выражался в отношении обращения, которому подверглись французы на острове Святой Елены, которое, по моему мнению, полностью противоречило великодушию и либеральным чувствам английского народа.

В работе мистера О'Мира, озаглавленной “Наполеон в изгнании”, я нахожу упоминание под датой 4 декабря 1816 года, что сэр Хадсон Лоу сказал,сказал: “Я сильно изменил свое мнение о нем с тех пор, как у нас было общение”; и он добавил, что французы, которые были с генералом Бонапартом, ”только”только хотели сделать из него орудие для собственного возвеличивания, не заботясь о том, какими средствами они этого добились”, и т.д. Сэр Х. Лоу пожелал, чтобы мистер О'Мира сообщил об этом императору.

Под датой 12 декабря описано, что сэр Хадсон Лоу сказал, что “граф Лас Касс последовал за генералом Бонапартом не из привязанности”; и что “генерал Бонапарт не знал, что написал Лас Касс, или выражения, которые он обронил”.

Снова, под датой 14 января 1817 года, мистер О'Мира говорит: “Его превосходительство начал нападать на графа Лас Касса, которого он обвинил в том, что он был причиной большого зла между ним и Бонапартом. Он сказал, что граф утверждал в своем Дневнике, что Бонапарт заявил, что ему отвратителен вид британской формы или британского офицера; что он считает и то, и другое отвратительным, и что мне лучше воспользоваться случаем, чтобы сказать ему об этом, и добавить, что я слышал, как он (губернатор) сказал, что он не верит, что когда-либо говорил это ”.

Наконец, в другой раз губернатор поручил мистеру О'Мире повторить в Лонгвуде, что он написал английским министрам обо мне такое письмо, которое навсегда предотвратило бы мое возвращение во Францию. Что он мог бы написать, одному Богу известно! Однако результат доказал, что либо на английских министров не оказали большого влияния его благожелательные намерения, либо что французские министры мало обращали внимания на сделанные им заявления. Впоследствии будет видно, что по возвращении в Европу, когда мне не разрешили жить в Англии и на мое усмотрение было предоставлено отправиться либо в Кале, либо в Остенде, я выбрал последнее место по причинам, совершенно не имеющим отношения к тревоге, которую, как утверждал сэр Хадсон Лоу, он вызвал. Но, по-видимому, он сам сомневался в действенности своего доноса, или же он прибегнул к двойным мерам предосторожности, поскольку применил все свое искусство и тактику, чтобы добиться моего содержания под стражей в качестве заключенного на мысе Доброй Надежды. Мне сообщили, что, разговаривая со своим специалистом по всем вопросам, касающимся меня, он сказал— “Что касается его, то он больше не будет нас беспокоить. Мы дали ему хорошие рекомендации в Кейптауне: там он *сгниет* в темнице”. Тот же самый человек с мягкой улыбкой и медоточивым

голосом, которые редко покидали его, пожелал, как заявляет мистер О'Мира, чтобы Наполеона заковали в кандалы, если он доставит неприятности; а в другом случае он, как утверждается, сказал, “Что союзники упустили из виду великую цель, не придушив молодого Наполеона!”

Но вернемся к моей прежней теме. Как я мог примирить вежливость губернатора, его заверения в доброте и благих намерениях, когда он был рядом со мной, с его ложными донесениями, вымышленным языком, который он приписывал мне, и злонамеренными намеками, которые он передавал Лонгвуду, когда меня там больше не было? Пусть это решают искренние сердца.

Мыс Доброй Надежды находится в пятистах лье от острова Святой Елены; но даже при самых благоприятных ветрах переход должен быть продлен по крайней мере до семисот миль кружным курсом, которого необходимо придерживаться из-за пассатов. Покидая остров Святой Елены, судно сначала сильно отклоняется на юго-запад, чтобы как можно быстрее выйти из зоны пассатов. Как только усиливается переменный ветер, судно берет курс на восток, но значительно отклоняется к югу, на несколько градусов широты ниже мыса, чтобы защититься от юго-восточных ветров, которые в это время года дуют с большой силой.

У нас было очень удачное плавание, и мы поплыли по ветру, как нам хотелось. Наше путешествие было коротким и приятным, хотя мы с сыном время от времени сильно страдали от морской болезни. 6-го или 7-го числа мы вышли из-под пассатов и поплыли под западным ветром, который доставил нас к месту назначения через девять или десять дней. Только когда мы приблизились к знаменитому мысу Бурь, мы столкнулись с сильным встречным ветром, дувшим с юго-востока, сопровождавшимся очень бурным морем. Но это обстоятельство было неблагоприятным только по отношению к инструкциям нашего Капитана; лично для меня это было чрезвычайно удачно. Сэр Хадсон Лоу приказал капитану высадить меня за мысом, в бухте Саймона, которая расположена за ним. Вероятно, он полагал, что, не войдя в город, я привлеку к себе меньше внимания и что несправедливость моего пленения будет менее вопиющей. Как бы то ни было, нам угрожал шторм, и капитан взял на себя ответственность отплыть в Кейптаун, который был ближе всего. Мы отчалили от берега в два часа ночи, точно в тот час, который предсказал капитан, без зондирования или каких-либо других предварительных мер. Капитан Райт - превосходный моряк; он обладает активностью, рвением, регулярностью и решительностью; и я не сомневаюсь, что однажды он достигнет высот. Я заметил, что эта навигационная точность сейчас почти повсеместна среди англичан. Я не знаю, что было сделано в нашем военно-морском флоте, который так долго славился научным превосходством; но я могу утверждать по опыту, что англичане достигли большого совершенства. Их расчеты настолько верны, а навигационные приборы настолько совершенны, что трудно представить, что наука способна к дальнейшему совершенствованию.

Мы бросили якорь в два часа пополудни 17-го числа, после восемнадцатидневного плавания. Капитан вежливо извинился за необходимость задержать меня на борту до тех пор, пока он не отправится за распоряжениями губернатора: таковы были его инструкции. Он вернулся, сообщив мне, что я не смогу приземлиться до 19-го числа, так как резиденция, которая предназначалась для меня, не могла быть подготовлена до этого времени. Это было для меня скорее разочарованием, потому что после морского путешествия человеку, естественно, не терпится ступить на сушу.

Таким образом, мне пришлось пробыть два дня в гавани мыса, которая необычайно красива. Погода была восхитительная; правда, было чересчур жарко, но воздух в то же время был чистым и освежающим.

В юности, когда я впервые поступил на военно-морской флот, я часто слышал, как офицеры, служившие в Индии, описывали все различные моменты, которые были в этот момент перед моими глазами. Я испытал удовольствие, оживив эти старые воспоминания, и люди на борту корабля немедленно указали мне на все упомянутые мной места.

Кейптаун - довольно обширное место, построенное в стиле красоты и регулярности. Он расположен на ровной местности, совсем немного над уровнем моря, и почти вплотную окружен огромными обрывистыми горами. Слева от меня была Гора Дьявола; передо мной возвышалась Столовая гора; а справа от меня были Сахарная голова и Львиный круп, названные так из-за их точного сходства с объектами, в честь которых они названы. Укрепления перед городом и по обе стороны от него, как мне показалось, были в очень плохом состоянии и особенно неудачно расположены, поскольку контролировались несколькими пунктами, и особенно Львиным Крупом, который сам по себе легкодоступен. Я несколько не был удивлен, что гарнизон уступал каждой атакесил, столь незначительно превосходящих его собственные. Наиболее эффективным планом до тех пор, пока этот недостаток не будет устранен, было бы высадиться на некотором расстоянии от гарнизона, к северу, на открытой части пляжа, совершенно беззащитной, а оттуда совершить марш и атаковать город по суше. Я вспомнил, что где-то слышал, что облака иногда внезапно закрывают Стол и Гору Дьявола, даже когда остальное небо кажется совершенно безмятежным. У меня самого была возможность наблюдать это любопытное явление за то короткое время, что я оставался в гавани. В таких случаях горы кажутся покрытыми снегом самой ослепительной белизны, и это вульгарно называется *расстиланием скатерти*, и это выражение, безусловно, передает очень точное представление о представшем зрелище. Зимой этот своеобразный вид облаков почти всегда является предвестником грозы. Гавань полностью открыта северо-западным ветрам, которые бывают частыми и сильными в непогоду. В этом случае судоходство подвергается большой опасности; единственное убежище находится под островом Роббин, на некотором расстоянии от входа в бухту.

Я рассказал находящимся на борту людям анекдот, который я часто слышал от наших морских офицеров. Сюффрен, вернувшись из индийской кампании во время мира, бросил якорь у мыса за несколько дней до появления английской эскадры, которая неотступно следовала за ним. Последнему, войдя в гавань, пришлось лавировать, чтобы встать на якорную стоянку. Заметив входящий в море один из кораблей, французский адмирал с первого взгляда предсказал, что он безошибочно погибнет, и немедленно приказал подать сигнал всем лодкам, принадлежащим его эскадре, быть в готовности оказать помощь. Через несколько мгновений английский корабль сел на мель; со всех сторон были отправлены шлюпки, но французам выпала слава прибыть первыми. Было описано, что это было необычное и трогательное зрелище - видеть, как две эскадрильи, которые еще недавно были так отчаянно настроены на взаимное уничтожение, теперь сражаются, сражаясь друг с другом в благородном деле оказания помощи терпящим бедствие. Молодые английские офицеры, которым я рассказал об этом обстоятельстве, сообщили мне, что они никогда раньше не слышали об этом; настолько верно, что факты, которые сильно привлекают внимание современников, теряются для следующего поколения, когда они не имеют характера, способного приобрести историческое значение.

МОЯ РЕЗИДЕНЦИЯ На МЫСЕ.

Интервал продолжительностью более семи месяцев.

МОЕ ЗАТОЧЕНИЕ В СТАРОМ ЗАМКЕ И Т. Д.

С 19 по 28 января. Когда капитан вернулся после визита к губернатору, лорду Чарльзу Сомерсету, выражение его лица достаточно ясно говорило мне, что он не может сообщить ничего приятного. Он уже не был прежним человеком; его поведение было холодными смущенным, и вскоре его сдержанности подражали все остальные люди на борту. Несколько морских офицеров, принадлежащих к разным кораблям, стоящим в гавани, пришли навестить своих друзей на борту "Грифона". Я легко мог заметить, что они испытывали определенную степень любопытства при виде меня, хотя и избегали, насколько это было возможно, вступать со мной в разговор. Они переговаривались друг с другом в сторонке и, судя по их виду, считали меня преступником. Из этих обстоятельств и некоторых выражений, оброненных окружающими меня людьми, я мог понять, что, несмотря на расстояние, безопасность великого пленника была здесь предметом такой же тревоги и недоверия, как и на острове Святой Елены; и у меня были все основания ожидать, что темная туча, окутавшая Лонгвуд, распространится и на меня на мысе. Соответственно, как только в полдень меня высадили на берег, меня встретил офицер, назначенный охранять меня. Капитан Райт, который доставил меня на берег в своей лодке, ради старого знакомства и, я надеюсь, также из искреннего сочувствия, отказался покинуть меня до тех пор, пока я не буду благополучно устроен в предназначенном для меня жилище. Поэтому мы вместе отправились к тому, что называется Старым замком или Фортом. Перейдя несколько разводных мостов и миновав множество часовых, мы оказались во внутреннем дворе, или парадном строю, и оттуда по различным лестницам и галереям направились в отведенное нам помещение. Двери были заперты. Пришлось искать ключи; а тем временем нас попросили подождать в комнате, которую занимали несколько офицеров гарнизона. Случайно вошел офицер штаба. Он, казалось, был очень удивлен, обнаружив, что мы таким образом остались в свободном общении с окружающими нас людьми; и, приняв вежливый вид, он проводил нас в свои апартаменты, чтобы немного подкрепиться. По прошествии нескольких часов к нам был прислан посыльный с сообщением, что наши апартаменты готовы. Они состояли из трех комнат, которые мы смогли обнаружить по мере того, как постепенно рассеивалось облако пыли, которым они были заполнены, ибо они только что были подметены. Первая комната была совершенно пуста; в средней стояли большой стол, кресло со сломанными ножками и еще четыре ветхих стула; в третьей стояли две кровати, две подушки, один матрас и три одеяла: вот и вся ценная мебель. Хорошо, что мы позаботились о том, чтобы привезти с острова Святой Елены наши кровати. Я был в недоумении, как на такие приготовления могло уйти два дня. Это обстоятельство не дало мне представления о регулярности, точности или оперативности новой власти, в подчинение которой я теперь попал.

Офицер, который присматривал за нами, устроился в первой комнате. Снаружи немедленно был выставлен часовой, и мне сообщили, что я не должен ни с кем общаться. Теперь я оказался буквально пленником. Я жаловался на коттедж Балькомба, но здесь мне было несравненно хуже. Вот, подумал я, первый результат добрых рекомендаций сэра Хадсона Лоу.

Подали ужин. Он был заказан нашим офицером и был обильным. Штабной офицер, который утром проявил предупредительную вежливость, проводив нас к себе на квартиру, полагая, что уже находится на дружеской ноге или, возможно, ему специально поручено присматривать за нами, фамильярно подошел, чтобы пригласить меня на обед. Он и его товарищ, казалось, прилагали все усилия, чтобы оказать честь за столом самым приятным образом. Они, казалось, стремились оказать мне всяческое внимание; но я чувствовал себя не в своей тарелке и, сославшись в качестве оправдания на усталость, с которой столкнулся за день, удалился, оставив их *глазу на глаз* за бутылкой; и они просидели до поздней ночи, согласно установившемуся обычаю.

На следующий день меня навестил один из капитанов нашей станции на острове Святой Елены. Зная о состоянии здоровья моего сына, он привел с собой джентльмена-медика. Это был знак внимания с его стороны, но представление вызвало на несколько мгновений любопытное недоразумение. Я принял друга капитана-врача за его сына или племянника. Серьезный врач, которого мне представили, был восемнадцатилетним юношей с фигурой, манерами и голосом женщины. Но мистер Барри (таково было его имя) был описан как абсолютный феномен. Мне сообщили, что он получил диплом в возрасте тринадцати лет после самых суровых экзаменов; что он совершил необычайные исцеления на Мысе Кейп и спас жизнь одной из дочерей губернатора после того, как она была оставлена, что сделало его своего рода любимцем в семье. Я воспользовался этим последним обстоятельством, чтобы получить некоторую информацию, которая могла бы послужить руководством для моего поведения по отношению к новому губернатору, которому я в тот день направил письмо с объяснением моего положения и официальной просьбой отправить меня в Англию и восстановить полную свободу. Мое письмо было следующего содержания:

“Милорд, находясь в течение нескольких дней в вашем подчинении, я беру на себя смелость обратиться к вашему превосходительству, чтобы выяснить, каковы ваши намерения относительно меня. В силу обстоятельств, носящих исключительно личный характер, я был уволен из Лонгвуда на острове Святой Елены 25 ноября прошлого года сэром Хадсоном Лоу, губернатором этого острова.

“Несколько дней спустя, в результате нескольких бесед с губернатором, хотя и без принятия им какого-либо решения по моему делу, я написал ему, чтобы сообщить, что с этого момента я должен отказаться от своего добровольного подчинения ему и полностью передать себя под юрисдикцию законов. Я потребовал, чтобы он обеспечил соблюдение законов в отношении меня, заметив, что, если я виновен, я должен предстать перед судом, а если невиновен, я должен быть возвращен на свободу. Я добавил, что критическое состояние здоровья моего сына, а также моего собственного, настоятельно требует применения всевозможных медицинских средств, и я умолял его отправить нас в Англию. Сэр Хадсон Лоу, казалось, заколебался. У меня есть основания полагать, что сначала у него была какая-то идея отправить меня в Европу. Но затем он решил задержать меня на острове Святой Елены, отдельно от Лонгвуда, до возвращения ответов из Англии. Затем он несколько раз предлагал мне вернуться

в Лонгвуд; и, наконец, он отправил меня на Мыс по приказу вашего превосходительства с целью, как мне представляется, буквального толкования его инструкций, положить конец своим затруднениям и, возможно, ожидать от другого таких же результатов в отношении меня; но при этом не рискуя какой-либо личной ответственностью. Таково, милорд, краткое изложение фактов, которые я считаю необходимым представить вам, чтобы вы могли составить правильное представление о моем реальном положении. Я надеюсь, что вы сочтете совершенно естественной, безобидной и закономерной просьбу, с которой я сейчас имею честь обратиться к вам, и которая заключается в том, чтобы меня как можно скорее отправили в Англию и вернули мне полную свободу, насколько мои естественные права могут сочетаться с вашими политическими обязанностями.

“Имею честь” и т. Д.

“P.S. — Я прошу ваше превосходительство сообразоваться сообщить мне, позволено ли мне написать его Королевскому Высочеству принцу-регенту и его министрам. Если это разрешение будет предоставлено, я окажу себе честь направить вашему превосходительству два письма с просьбой незамедлительно переслать их в Англию. Я также буду признателен, если вы дадите мне знать, когда появится возможность связаться со островом Святой Елены, поскольку мне нужно отправить кое-какие бумаги сэру Хадсону Лоу.

Через два дня я получил ответ губернатора. Он был очень краток. Не вдаваясь ни в какие подробности, он просто заявил, что считает меня заключенным *на основании доклада сэра Хадсона Лоу* и приговаривает меня оставаться на Мысе до получения инструкций из Англии. Я не мог оказать сопротивления; я был вынужден подчиниться. Об этом я сообщил лорду Чарльзу Сомерсету во втором письме, к которому приложил два других; первое было адресовано лорду Каслри, в котором его светлость просил передать второе принцу-регенту. Мое письмо лорду Чарльзу Сомерсету было следующего содержания:

“Милорд, я получил ответ, который ваше превосходительство адресовали мне, и из которого я узнаю, что я буду содержаться здесь в качестве пленника до тех пор, пока сэр Хадсон Лоу не получит ответы из Англии относительно меня. Несомненно, ваше превосходительство в своей мудрости точно взвесили силу причин, побудивших вас принять меру столь серьезного характера, как лишение меня свободы, без каких-либо предварительных судебных формальностей и даже без моего ознакомления причиной моего задержания. Все, что я могу сделать, это подчиниться властям и положиться на те законы, которые защитят меня, если я буду иметь право на защиту.

“Я не стану приводить никаких скрытых аргументов в свою защиту, будучи убежден, что вы, милорд, по справедливости вашего сердца, когда вы решили избрать столь деликатный курс, должны были внимательно рассмотреть все мое дело в целом. Однако, как я понял из вашего ответа, ваше решение основывается на обстоятельствах, изложенных в отношении меня сэром Хадсоном Лоу. Но были ли эти обстоятельства удовлетворительно доказаны в глазах вашего превосходительства? Слышали ли вы обе стороны вопроса; или вы считаете, что снимаете с себя всякую личную ответственность, действуя на основании инструкций сэра Хадсона Лоу и без какого-либо учета моих возражений? Как случилось, что сэр Хадсон Лоу не рискнул задержать меня на острове Святой Елены, в то время как он считает более легким и менее неудобным сделать это на мысе?

“Если ваше превосходительство пожелает ознакомиться с моим делом и удостовериться в моих чувствах, я готов представить вам для ознакомления всю мою переписку с губернатором острова Святой Елены и представить вам мои письма к его Королевскому Высочеству принцу-регенту и его министрам. Я делаю это предложение с желанием, чтобы оно было принято. Если добровольно подвергнуть себя по прибытии в Англию каким-либо мерам, какими бы произвольными они ни были, которые могут быть сочтены эквивалентными моему политическому карантину здесь, побудило бы вас изменить ваше решение, я готов охотно согласиться на это условие: таково мое горячее желание вернуться в Европу из-за состояния здоровья моего сына и моего собственного; а также из-за печального одиночества, в котором я нахожусь, разлученный со своей семьей, которая мне наиболее дорога, и с почитаемым объектом, ради которого я принес печальную жертву, покинув свою страну.

“Наконец, милорд, если у меня не останется шансов на освобождение, по крайней мере, позвольте моему сыну уехать. Пусть он не станет жертвой обстоятельств, которым его возраст должен сделать его совершенно незнакомом. Я охотно соглашаюсь видеть его разлученным со мной в надежде обеспечить ему более счастливую участь, чем та, которая, кажется, уготована мне. Я останусь здесь одна, чтобы бороться со своими немощами и печалью, с которыми я смирюсь с еще большим безразличием, когда подумаю о том, что мое дитя освобождено от приговора к медленной смерти, который исполняется в отношении меня, хотя я не была судима никаким трибуналом и не осуждена никаким судьей.

“Имею честь адресовать вашему превосходительству письмо лорду Каслри, прилагая письмо для его Королевского Высочества принца-регента. Эти письма были написаны до того, как я получил информацию, которую вы имели любезность сообщить мне по этому вопросу. Я не знаю, к кому из министров мне следовало обратиться, но я считаю ненужным писать письмо заново, поскольку состояние моих глаз делает написание письма очень болезненным занятием, и я нахожу, что соблюдал необходимые формы”.

ПИСЬМО ЛОРДУ КАСЛРИ, К КОТОРОМУ ПРИЛАГАЕТСЯ ПИСЬМО, АДРЕСОВАННОЕ ПРИНЦУ-РЕГЕНТУ.

“Милорд, поскольку я не знаю, к кому из ваших коллег мне следует обратиться, я обращаюсь к вам, как к человеку, о котором я приобрел наибольшие знания благодаря публичным мероприятиям. Если подробности, касающиеся острова Святой Елены, были сообщены вашей светлости, они, несомненно, должны были внушить вам большое предубеждение против меня; и все же, если бы они были должным образом разъяснены, мое поведение показалось бы вам достойным уважения и, возможно, даже возбудило бы ваш интерес.

“В Лонгвуде я считал, что нахожусь в пределах священной границы, защищать подступы к которой было моим долгом. Я бы охотно погиб при прорыве: *я сопротивлялся*. Но теперь, когда я нахожу себя удаленным от почитаемого круга и снова смешиваюсь с общей массой, я занимаю другую позицию: *я умоляю*.

Поэтому я прошу и умоляю, милорд, и я говорю в предположении, что обращаюсь к министру, которому должно быть адресовано это обращение, я умоляю вас разрешить мне отправиться в Англию, поскольку тревожное состояние здоровья моего сына и моего собственного требует квалифицированного и оперативного медицинского лечения.

“Какая может быть причина для отказа в моей просьбе? Это не может быть личная ненависть! Я слишком непонятлив, чтобы удостоиться такой чести. Это не может быть смутная неприязнь, возникающая из-за разницы во мнениях! Вы так привыкли к разногласиям такого рода в Англии, и к ним относятся с такой неприязнью, что было бы нелепо предполагать, что подобное обстоятельство может подействовать на меня во вред. Может быть, это страх, что я должен писать или говорить о событиях на острове Святой Елены? Но не разрешит ли ваш отказ удовлетворить мою просьбу, в какой-то мере, горечь, которую так легко будет выплеснуть в другом месте? Кроме того, если бы вашей целью было удержать меня от публикации, мое пребывание в Англии, несомненно, сделало бы эту цель более безопасной и легкой, поскольку там действуют не только общие, но и частные законы против подобных правонарушений. Когда этот человек находится рядом с вами, у вас есть, в качестве положительных гарантий, его благоразумие, его рассудительность и, прежде всего, его желание остаться в стране.

“Таким образом, милорд, я не вижу причин для отказа в моей просьбе; но я вижу много причин для ее удовлетворения. Таким образом, у вас была бы прекраснейшая возможность докопаться до истины, добыв противоречивые и противоположные утверждения. Выполняя благородные функции присяжного заседателя, можете ли вы удовлетворить свою совесть, рассматривая только одну сторону вопроса? Я могу показать вам другую; и я сделаю это без предубеждения или страсти. Вы увидите, что меня вдохновляют только чувства.

“Теперь я должен привлечь внимание вашей светлости к моим бумагам, которые задержаны на острове Святой Елены. Я несколько раз объяснял их природу; но я опишу их еще раз. Они представляют собой собрание рукописей в форме Дневника, в который в течение восемнадцати месяцев я записывал все, что узнал, увидел или услышал о нем, кто в моих глазах был и всегда будет оставаться величайшим из людей. Этот дневник, который был неполным, неправильным, неупорядоченным и по своей природе требовал постоянных исправлений, был секретом, который был раскрыт только благодаря обстоятельствам, имевшим место до моего отъезда с острова Святой Елены. О его существовании не знает никто, за исключением, возможно, августейшей особы, которая была его объектом; и даже он в данный момент не осведомлен о его содержании. Ей не суждено было быть опубликованной при моей жизни, и я получил удовольствие, попытавшись превратить ее в законченный и ценный исторический памятник. Милорд, я прошу вас распорядиться, чтобы все эти бумаги были пересланы вам. Вы можете сделать это без каких-либо неудобств. Я торжественно протестую против того, что в них не содержится ничего, что могло бы, прямо или косвенно, быть необходимым или полезным местным властям острова Святой Елены для достижения великой цели, которая доверена этим властям. Просмотр моих бумаг на острове Святой Елены не принесет никакой пользы; напротив, может вызвать серьезные неудобства, усугубив содержащимися в них личными намеками дурное настроение и раздражение, которые и без того преобладают в слишком большой степени.

“Если по прибытии в Англию ваша светлость, исходя из вашего политического положения, сочтет уместным распорядиться о проверке этих бумаг, которые носят столь священный и частный характер, я с радостью подчинюсь вашему решению, потому что проверка будет проходить под моим личным контролем, и я буду в безопасности от тех неприкосновенных и священных формуляров, которые, я уверен, ваша светлость проследит за соблюдением. Я надеюсь, вы не откажете мне в этой второй услуге, о которой я настоятельно прошу.

“Милорд, я имею честь препроводить вам письмо для принца-регента, которое прошу вас оказать мне любезность и передать Его Королевскому Высочеству. Только мое глубокое уважение к его августейшей особе не позволяет мне отправить его нераспечатанным; и я разрешаю вашей светлости вскрыть его, если обычай позволяет вам это сделать, — имею честь”и т.д.

ПИСЬМО ПРИНЦУ-РЕГЕНТУ АНГЛИИ.

“Королевское высочество, несчастный иностранец, охваченный политической бурей, скитающийся без дома, осмеливается уверенно взывать к вашему королевскому сердцу.

“Дважды в течение моей жизни я имел несчастье покидать свою страну; оба раза вопреки моим интересам и с намерением выполнить великиеи благородные обязанности. Во время моего первого изгнания мое пребывание в Англии утолило печали моей юности, и я верил, что Англия снова предоставит мне убежище, в котором я мог бы насладиться небольшим спокойствием в старости. Однако у меня есть основания опасаться, что меня оттуда выгонят. Почему ко мне должны относиться с такой суровостью? Может быть, это из-за места, откуда я приехал, из-за внимания, которое я с удовольствием оказывал там, и из-за нежных чувств, которые я когда-либо буду питать к человеку, с которым я сейчас разлучен? Но, принц, в Лонгвуде я практиковал великую и исключительную добродетель; я поддерживал вместе со своими достойными спутниками честь тех, кто окружает троны монархов. После приведенного нами примера отныне нельзя сказать, что любовь и верность никогда не проявляются к несчастным государям.

“Должно ли такое поведение привести к преследованию и изгнанию меня из убежища, которое я ищу? Несомненно, он, который всегда был велик, когда писал для меня на скале невзгод, эти слова, столь отрадные моему сердцу: *Возвращаетесь ли вы во Францию или уезжаете куда-либо еще, всегда хвалитесь преданностью, которую вы мне проявили:* — несомненно, он, говорю я, дал мне право на уважение королей. Принц! Я вверяю себя вашей королевской защите.

“Во время моего ежедневного общения и бесед с тем, кто когда-то правил миром и наполнял вселенную своим именем, я задумал и осуществил намерение ежедневно записывать все, что я видел о нем, и все, что я слышал от него.

“Этот дневник, который охватывает промежуток в восемнадцать месяцев и который уникален в своем роде, но пока еще неполон, неверен, не определен и неизвестен всем, даже августейшей особе, к которой он относится, — был изъят у меня и задержан на острове Святой Елены. Принц, я также передаю его под вашу королевскую защиту и осмеливаюсь умолять вас взять его под свое попечение во имя справедливости, правды и истории.

“Если ваше Королевское высочество по своей доброте соизволит оказать мне ваше августейшее покровительство, я поспешуискать в Англии убежища, где я смогу спокойно вспоминать и оплакивать случившееся.

“Я, с глубочайшим уважением,

“ПОСЧИТАЙ ВСЕ СЛУЧАИ”.

В ответ я получил от лорда Чарльза Сомерсета разрешение, которого я добивался для моего сына, отправиться в Европу при первой возможности. Я хотел, чтобы мой сын воспользовался

этим разрешением. Я убеждал и даже приказывал ему сделать это, но он решительно отказался. По этому поводу он написал губернатору письмо, которое так тронуло мои чувства и оказало столько чести его собственному сердцу, что я не могу удержаться от того, чтобы его не переписать. Это было следующее:—

“Милорд, мой отец только что сообщил мне о вашем разрешении вернуться в Европу. Он умолял и повелел мне принять это.

“Я не могу, милорд, воспользоваться вашим снисхождением и осмеливаюсь послушаться своего отца. Телесные страдания - это ничто; трудно переносить только страдания сердца. Меня лишили моей матери, и я каждую минуту сожалею о разлуке с ней; и все же я никогда не оставлю своего отца в чужой стране и в ситуации, столь отличной от всего того, к чему он привык. Мое здоровье не имеет для меня никакого значения. Я буду счастлив, если смогу хоть как-то утешить своего отца и облегчить, разделив с ним страдания, которые уже давно накапливаются на нем.

“Я предпочитаю умереть рядом с ним, чем жить на расстоянии от него. Я слишком горжусь его выдающимися добродетелями и слишком стремлюсь подражать его примеру, чтобы расстаться с ним хоть на мгновение. Я готов умереть здесь, поскольку так и должно быть: жертв будет две вместо одной.

“Я благодарю вас, милорд, от всего сердца за ваши добрые намерения относительно меня. Как бы я был благодарен, как бы я благословил вас, если бы вы передали их моему отцу!

“Имею честь быть” и т.д.

Это письмо, несомненно, было прочитано семьей лорда Чарльза Сомерсета и вызвало те благоприятные чувства, которые оно, естественно, должно было вызвать. На следующий день, когда молодой Врач зашел к нам на прием, я хотел отвести его в сторонку с целью попросить его оказать свое профессиональное влияние на моего сына, чтобы заставить его уйти. Но вместо того, чтобы выслушать меня, он поспешил в комнату Эммануила и, обняв его, выразил свое одобрение его поведению, заметив, что не стал бы уважать его, если бы тот поступил иначе. Проводив его к окну, он представил его двум дамам, которых оставил в их карете, и они обменялись взаимными приветствиями. Этими дамами были две дочери лорда Чарльза Сомерсета, которые сегодня утром сами доставили Доктора во двор перед нашей тюрьмой, вероятно, с целью удовлетворить интерес, вызванный письмом моего сына.

Наше положение оставалось самым плачевным. Мы были заключены в своего рода темницу: наши окна без занавесок выходили во двор, покрытый раскаленным песком. Хотя сейчас был январь, в этом полушарии стояла палящая летняя жара. Мы почти задыхались.

Мы по-прежнему подвергались тем же ограничениям и тем же досадам, и те же офицеры председательствовали за завтраком и ужином. Последнее обстоятельство особенно раздражало меня. Я решил избежать этого, и поэтому не ложился спать, а еду мне приносили туда: я был полон решимости не покидать свою комнату до тех пор, пока не освобожусь от мучений, которые меня окружали. Кроме того, мне было очень плохо из-за болей в желудке; иногда меня лихорадило, короче говоря, мое здоровье было совершенно подорвано. Дежурный офицер сообщил мне, это правда, что у него был приказ проводить меня в город и даже в

окрестности, когда бы я ни выразил желание на этот счет. Я поблагодарил его и, хотя сам не мог воспользоваться этим одолжением, принял его ради своего сына.

Тем временем ко мне никто не подходил. То ли офицер, зная, что я нездоров, думал, что оказывает мне услугу, то ли он действовал [vin](#) соответствии с приказом, я не знаю, но он отталкивал всех, кто пытался приблизиться ко мне. Это привело к любопытному обстоятельству. Дверь нашей комнаты вела в коридор, по которому нам разрешалось ходить: однажды, дойдя до конца, я обнаружил, вопреки обыкновению, приоткрытую маленькую дверцу, ведущую на крутую лестницу. Любопытство побудило меня подняться наверх, и я очутился на платформе форта, откуда открывался вид на Кейптаун и бескрайний океан. Пораженный красотой этого зрелища, я настолько погрузился в размышления, к которым оно привело, что прошло два часа, прежде чем я подумал о возвращении. Случайно я вышел, когда мой сын гулял с нашим офицером. Тем временем часового сменили, и когда я появился у двери, ведущей в наши апартаменты, солдат приставил к ней свой мушкет и грубо отказался впустить меня. Чем больше я настаивал на том, чтобы меня приняли, тем гневнее он выражал свою решимость исключить меня. Это показалось мне достаточно странным, но я подумал, что это еще более забавно, когда я обнаружил необходимость спуститься по лестнице, пройти через дворы к внешнему караульному помещению и силой проникнуть в мою тюрьму. Дежурный офицер, встревоженный при виде меня, в ярости подбежал к часовому, который был выставлен снаружи наших квартир, и между ними завязалась ожесточенная перепалка. Офицер сделал мужчине строгий выговор и пригрозил наказать его. Солдат, у которого глаза вылезли из орбит, заявил, что он выполнил свой долг; и я, остававшийся спокойным зрителем, не мог удержаться от улыбки при виде этого любопытного спора, причину которого никто, кроме меня, не мог объяснить. Однако вскоре был установлен мир за счет пленника. Меня снова поместили под стражу, и в форте был восстановлен порядок.

Единственным незнакомцем, которого я видел, был доктор Барри, который часто навещал меня. Я нашел его компанию очень приятной. Он постоянно рекомендовал мне следить за своим здоровьем. Он сказал, что может догадаться о причине моего расстройства, и выразил сожаление, что не в его власти прописать мне какое-либо средство. Я заверил его, что величайшей милостью, которую он мог бы мне оказать, было бы найти человека, который умел бы читать мне и писать под мою диктовку. Этого я тщетно добивался с момента своего приезда, ибо состояниемоих глаз исключало всякое занятие, и моему сыну было строго-настроено предписано воздерживаться от любой сидячей работы. Поэтому я пребывал в невыносимом подавленном настроении, полностью отдавшись своим меланхолическим мыслям.

Врач сообщил мне, что губернатор собирается уехать, чтобы совершить экскурсию по колонии, и что он будет отсутствовать около трех месяцев. Эта информация исключала надежду на какие-либо изменения в моем состоянии. Я решил предпринять последнюю попытку не потому, что рассчитывал на ее успех, а только потому, что не хотел оставить ничего неиспробованным; ибо ужасный и поистине невежливый способ, которым со мной обошлись, удивил меня меньше, чем это было рассчитано. Я был готов к этому. На острове Святой Елены нам неоднократно сообщали, что лорд Чарльз Сомерсет - наш личный враг, и по прибытии на Мыс, когда я навел справки о его характере и о том, какой прием меня, вероятно, ожидает, мне сказали, что ничто, кроме собаки или лошади, не может привлечь его внимания. Впоследствии, в одиночестве моей тюрьмы, я часто думал про себя, что, не будучи ни собакой, ни лошадью, я, возможно, отчаялся

бы получить какое-либо уведомление от губернатора. Вскоре я покажу, как мало лорд Чарльз Сомерсет заслуживал этих размышлений.

Воспользовавшись отрывком из его письма, в котором он выразил желание сделать мое пребывание на Мысе как можно более приятным, я воспользовался возможностью и в своем следующем письме откровенно поделился с ним своими мыслями относительно обращения, которому я подвергся. Мое письмо было следующего содержания:—

“Милорд, я узнал, что ваше превосходительство накануне отъезда из Кейптауна и что вы будете отсутствовать значительное время: это побуждает меня с крайним отвращением затронуть неприятную тему и привлечь внимание вашего Превосходительства к некоторым бытовым деталям. Я считаю своим долгом сделать это, поскольку в противном случае, если какое-либо публичное выражение недовольства в дальнейшем ускользнет от меня, я могу справедливо навлечь на себя упрек в том, что нес жалобой к вашему превосходительству.

Но прежде чем я перейду к теме, милорд, чтобы вы не сочли смешными факты, которые я собираюсь изложить, а также чтобы дать вам правильное представление об обстоятельствах, в которых я нахожусь, о которых, я думаю, весьма вероятно, что ваше превосходительство не осведомлены, позвольте мне заметить, со всем смущением человека, вынужденного представиться, что здесь нет человека, с которым я не могу и не должен естественно и безоговорочно ставить себя на один уровень *во всех отношениях*. Наконец, я не прошу и не испрашиваю никаких поблажек или одолжений в отношении моих личных желаний, желая в этом отношении полностью полагаться на свои собственные ресурсы.

“Поскольку эти два пункта установлены и детерминированы, я перехожу к тому отрывку в вашем письме, в котором вы любезно выражаете свое пожелание сделать мое пребывание здесь как можно более приятным. По этому поводу я должен сообщить вашему превосходительству, что я заключен в своего рода темницу, в которой мне будет гораздо дольше трудно поддерживать существование.

“Мы с сыном, которые оба нездоровы, в эту чрезвычайно жаркую погоду находимся в очень маленькой комнате, где мы дышим нездоровым воздухом, и нам почти некуда двигаться, потому что наши кровати почти заполняют ее. Палящие лучи солнца, падающие на окно без штор, вынуждают меня провести день в постели. Правда, есть еще одна смежная комната такого же типа; но это столовая, где два ваших офицера оказывают честь за столом. Если я время от времени захожу в эту комнату, я считаю каждое мгновение, проведенное в ней. Есть еще третья комната, которую занимает офицер, назначенный нашей охраной, и через которую я должен проходить, как бы неприятно мне это ни было, при каждом необходимом случае.

“Какими бы ни были трудности и невзгоды такой ситуации, я был моряком, я был солдатом, и более того, я мужчина, и я могу молча вынести это и даже больше. Я говорю здесь только в ответ на обязывающий абзац в вашем письме. В наших квартирах нет огня, так что, если нам понадобится теплая вода из-за здоровья моего сына или каких-либо временных потребностей, мы должны либо обойтись без нее, либо прибегнуть к милосердию наших соседей. Врач напрасно прописал использование ванны для моего сына; для этой цели невозможно достать воду. Если я испытываю желание приобрести какую-либо мелочь за свой счет, мне сообщают, что ваше превосходительство приказали обеспечить меня всем необходимым; и таким образом,

из соображений деликатности я подавляю свое желание и воздерживаюсь от его удовлетворения.

“Я избавляю ваше превосходительство от множества деталей, которые в равной степени недостойны вашего и моего внимания. Когда наступает время обеда, за столом председательствуют два офицера, которые, как я с удовольствием отмечаю, относятся ко мне с большой вежливостью и уважением. Но это странный факт, хотя и вполне определенный, что даже их внимание усугубляет мой дискомфорт, вынуждая меня стараться отвечать им соответствующим образом, хотя для меня было бы гораздо естественнее и желательнее позволить своим мыслям блуждать далеко от того места, в котором я сейчас нахожусь. Кроме того, у нас совершенно разные привычки и манеры. Я оказываюсь перед необходимостью сидеть по нескольку часов за столом, когда мне по собственному желанию не следовало бы сидеть и полчаса. Любой разговор, должно быть, неприятен мне, если только он не касается предмета, который сейчас всецело занимает мои мысли. У вашего превосходительства слишком много здравого смысла, чтобы не понимать, что ситуация, в которую я попал, является для меня абсолютным мучением. Моя меланхолия, несомненно, так же раздражает моих собеседников за столом, как их веселость раздражает меня. Совершенное одиночество само по себе приятно мне; и поэтому я полностью отошел от обеденного стола и принимаю пищу в постели.

“В чем необходимость в том, чтобы ко мне был прикреплен офицер? Я осмеливаюсь задать вашему превосходительству этот вопрос, в то же время с удовольствием повторяю, что не могу в достаточной мере выразить свое удовлетворение тем, кого вы назначили сопровождать меня. Это для того, чтобы наблюдать за мной? Наверняка часового, выставленного у моей двери, достаточно для этой цели. Может ли это быть задумано как знак уважения, ради передачи любого желания, которое я могу выразить? Но у меня нет желания. Может ли это заключаться в том, чтобы санкционировать властью любые визиты, которые я могу получить? Я не могу принимать никаких визитов, кроме тех, которые разрешены властью. Это для того, чтобы сопровождать меня на прогулках? Я никогда не соглашусь сделать ни шагу, если мне придется доставлять неприятности офицеру. Поэтому я не поеду за границу.

Поскольку, милорд, вы твердо решили, что я останусь вашей пленницей, какие у вас могут быть возражения против того, чтобы поместить меня в дом в городе и разрешить мне нанять за свой счет любого слугу, повара и т. Д., Которые меня устроят, с мерами предосторожности, которые вы сочтете уместными принять? Когда я буду предоставлен самому себе, ваше превосходительство сможет позаботиться о моей безопасности, как вам будет угодно. Вы больше не захотите обо мне слышать. Если бы у меня возникло желание прокатиться в экипаже или иным способом, я мог бы написать офицеру полиции.: Я знаю его услужливый нрав, и мое желание было бы исполнено. Я упомянул дом в городе, милорд, потому что состояние здоровья моего сына, требующее постоянного и часто внезапного посещения врача, делает проживание в деревне нежелательным.

“Таковы детали, на которые я считаю себя обязанным обратить внимание вашего превосходительства. Я надеюсь, что они будут менее неприятны и болезненны для вас, чем для меня.

“Имею честь быть” и т.д.

Это письмо по своей сути было рассчитано на то, чтобы привести к решающему результату. Я получил немедленный ответ. Генерал-адъютант пришел сообщить мне от имени губернатора — 1-й. Что он отдал приказ о том, чтобы моему сыну на следующий день была отведена отдельная палата;—2-й. Что офицеры больше не должны принимать пищу с нами;—3. Что для нас готовится более удобное жилище; и, наконец, что, если бы у меня было какое-либо другое пожелание, я бы приложил усилия, чтобы его удовлетворить.

Таково было действие моего письма. Успех книги превзошел все мои надежды, и я поздравил себя с тем, что написал ее, потому что она предоставила мне возможность обнаружить в характере лорда Чарльза Сомерсета черты, о которых я раньше и не подозревал. Но это было еще не все. Рано утром следующего дня первый адъютант губернатора написал мне, что у него есть сообщение для меня от его превосходительства, и он хотел, чтобы я назначил час, в который мне было бы удобно принять его. Получив мой ответ, он пришел и сообщил мне, что губернатор в то утро покинул город, чтобы совершить трехмесячную поездку. Его превосходительство выразил глубокое сожаление, узнав, что я был так exceedingly exceedingly нездоров, и попросил меня отдать ему должное и поверить, что он был совершенно не осведомлен об этом факте. Адъютанту было поручено передать мне, что лорд Чарльз Сомерсет не имел в виду ничего большего, чем сделать мое пребывание на Мысе настолько приятным, насколько это возможно; и он предложил мне пользоваться его загородной резиденцией, слугами и всем, что к ней относится. Он умолял меня завладеть им, повторяя, что, если у меня есть какое-либо другое желание, мне нужно только назвать его, и оно будет исполнено. Я без колебаний принял предложение сменить место жительства, и адъютант отправился отдавать необходимые распоряжения для нашего немедленного переезда.

Теперь я понял, насколько искаженно мне представляли личность губернатора. Я обнаружил, что лорд Чарльз Сомерсет обладал изяществом и обходительностью манер, необходимыми для его высокого ранга. Как сильно люди отличаются друг от друга! На острове Святой Елены такое письмо, какое я написал, вероятно, произвело бы эффект двойного заклепывания моих цепей; но здесь оно обеспечило мне предложение дворца. Этого факта самого по себе достаточно, чтобы охарактеризовать двух авторитетов, с которыми мне приходилось иметь дело. Лорд Чарльз Сомерсет действительно был далек от того, чтобы заслуживать тех отзывов о нем, которые я слышал. Почти у каждого человека есть свои недоброжелатели; и те, кто должен выполнять высокие функции, редко избегают языка клеветы. Лорд Чарльз, как я впоследствии имел возможность убедиться, - человек, отличающийся благородством и великодушием, моральными принципами, благочестием и совершенной доброжелательностью. Ни одна из неприятностей, которые меня так сильно беспокоили, исходила не от него, а от подчиненных агентов, которые выполняли приказы и влияли на решения. Ибо здешние власти, бывшие рабами вульгарных национальных предрассудков, ненавидели нас как французов и считали себя счастливыми, подвергая нас всем суровостям, которые были в их силах применить.

Если бы я воспользовался преимуществом личного общения с губернатором, в котором, у меня есть основания полагать, не было бы никаких трудностей, я не сомневаюсь, что, отстаивая свое дело перед лордом Чарльзом Сомерсетом, я получил бы все, что требовал, потому что мои требования были совершенно справедливы; но мое положение не позволяло мне обратиться к нему, и, по-видимому, те, кто его окружал, хотели помешать ему приблизиться ко мне. Он несколько раз объявлял о своем намерении увидеться со мной, это правда, но это намерение так и не было выполнено.

ПЕРЕЕЗД В НЬЮЛЕНДЗ, ЗАГОРОДНУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ ГУБЕРНАТОРА.— ПОДРОБНОСТИ.

С 29 января по 5 апреля.— Сегодня рано утром, точно в назначенный час, адъютант губернатора подъехал к дверям нашей тюрьмы в карете, запряженной четверкой лошадей. Мы отправились в путь и менее чем через три четверти часа добрались до Ньюлендса, загородного дома губернатора, который можно было бы счесть приятной резиденцией даже в Европе. Я легко мог заметить, что прошло несколько лет с тех пор, как это место впервые получило свое название, поскольку оно было окружено высокими деревьями и густыми рощами: многие фруктовые деревья были в полном расцвете.

Один из адъютантов губернатора ввел нас во владение со всей надлежащей формальностью и с самой изысканной вежливостью. Он провел меня по территории и указал мне на все, что заслуживало внимания, ни словом не упомянув о границах или ограничениях. Он воспользовался случаем и ловко намекнул мне, что солдаты, которых я видел расставленными вокруг, были всего лишь обычной охраной губернатора и не получали ничего, кроме своих обычных приказов. Он добавил, что я могу считать себя как дома, поскольку все будет делаться под моим собственным руководством. Затем он удалился.

Оказавшись наедине с самими собой в этом восхитительном месте, мы почувствовали, что внезапно перенеслись из тюрьмы в Рай. Элегантно обставленные апартаменты, голубятни в непосредственной близости от дома, птицы всехвидов, населявших территорию, многочисленные цветочные клумбы, рощи и восхитительные прогулки, а также царившие тишина и уединение - все производило своего рода магический эффект и напоминало нам о Земире и Азоре.

Мы пользовались всем домом, в котором вся мебель оставалась точно такой, какой ее оставила семья губернатора; ни одна вещь не была вывезена. Мой сын, открыв коробку с красками, нашел незаконченный рисунок одной из дочерей лорда Чарльза Сомерсета. Это был портрет почитаемого объекта, о судьбе которого мы сожалеем; ибо где же его изображения не найти? Рядом с рисунком лежала копия, с которой он был снят. Это был жалкий набросок, своего рода карикатурное изображение императора, сделанное на борту "Нортумберленда". Эта тварь, казалось, преследовала нас, куда бы мы ни пошли, и мы всегда уничтожали ее с пылким рвением миссионеров, разбивающих изображения ложных богов. Повинуясь минутному порыву, мой сын *дебютировал* поэзии, написав следующие строки под незаконченным рисунком мисс Сомерсет:---

Sous vos doigts élégants tout devrait s’embellir;

C’est aux belles surtout à peindre le courage:

Du héros des héros, du Mars de l’avenir,

Прокомментируйте, как вы изменили форму изображения?

Я поместил рядом с рисунком небольшую медаль, которая позволяла более точно изобразить Наполеона. Затем мы закрыли коробку, довольные нашим трюком и предвкушая удивление мисс Сомерсет, когда она однажды прочтет, как мы надеялись, без гнева, порицание, которое мы осмелились высказать ее рисунку.

Губернатор зашел так далеко, что прислал из города человека, исполнявшего обязанности управляющего в Ньюлендсе, для получения от меня ежедневных распоряжений о провизии; и мне дали понять, что меня могут в изобилии снабжать всем, что я пожелаю. Но я усвоил спартанские манеры и желал, чтобы меня снабжали только необходимым. Что касается управляющего, я сменил его занятие и сделал своим читателем; в этом качестве я нашел его самым ценным приобретением. Случайно этот человекоказался родственником единственного жителя острова Святой Елены, с которым я познакомился. Он был племянником достойного Амфитриона, нашего доброго хозяина из Бриарса, к которому я питаю искреннее уважение.

Адъютант регулярно навещал нас, получив специальные инструкции следить за тем, чтобы мы ни в чем не нуждались. Я попросил его передать мою благодарность лорду Чарльзу Сомерсету за то, как деликатно он пытался скрыть наше пленение. “Но все это было едино, - сообщил я ему, - поскольку, помимо нашей воли, мы должны сожалеть о нашем отсутствии на острове Святой Елены и в Европе”.

Наш выход из тюрьмы и переезд в Ньюлендс произвели настоящую революцию в нашем положении. Нас посещали многие люди, которые выражали желание увидеть нас. Генерал Холл, исполнявший обязанности заместителя губернатора во время его отсутствия, пришел в сопровождении своей жены, дамы с очень приятным лицом и манерами, которая, кроме того, чрезвычайно хорошо говорила по-французски. Ее муж одиннадцать лет провел в плену во Франции. Миссис Холл отправилась туда, чтобы присоединиться к нему, несмотря на строгие ограничения, существовавшие тогда между двумя странами; и, если я правильно помню, она рискнула пересечь Ла-Манш в открытой лодке. И генерал, и миссис Холл были близки со многими моими друзьями в Париже. Генерал Холл, человек откровенный и благородный, заметил, что он был бы счастлив отплатить мне, невзирая на разницу во мнениях, за все то доброе обращение, которому он великодушно подвергся во Франции; и он сдержал свое слово.

Меня также посетил полковник Уэр, у жены которого есть сестра, вышедшая замуж за одного из сотрудников нынешнего английского министерства. Полковник Уэр проживал недалеко от Ньюлендса и приехал, по его словам, предложить мне свои услуги в качестве доброго соседа; и действительно, я нашел его чрезвычайно приятным благодаря его доброте и неустанному вниманию ко мне. Наконец, одна знатная во всех отношениях дама, которая в то время случайно оказалась в колонии, несколько раз имела милость навестить пленницу. Это было неожиданное счастье; ибо проявление доброты, оказанное мне таким образом, было усилено очарованием приятной беседы в сочетании с изящными манерами и самой подкупающей скромностью. Она была прекрасным европейским цветком среди вересковых пустошей Кейпа.

Нас также посетили в нашем уединении [byby](#) многочисленные офицеры всех рангов, которые выразили искреннее сочувствие и интерес к нашим несчастьям. Если бы об их доброте в то время стало известно английскому министерству, это могло бы подействовать им во вред. Даже сейчас, хотя и принося в жертву свои чувства, я должен воздержаться от упоминания их имен. Но они могут быть уверены, что ни одно из их действий или слов не осталось незамеченным для меня, ибо благодарность - это чувство, присущее моему сердцу.

Любопытство также сыграло свою роль в привлечении ко мне посетителей. Каждый незнакомец, прибывший в колонию, и в особенности многочисленные пассажиры, направлявшиеся в Индию, не смогли не посетить Ньюлендз. Я был лучом, брошенным из

Лонгвуда, и всем не терпелось увидеть того, кто недавно был рядом с Наполеоном, который, как я обнаружил, повсюду вызывал всеобщий интерес и был постоянной темой разговоров.

Теперь у меня была возможность ответить на многие вопросы, которые были адресованы мне относительно императора, темы, над которой я всегда размышлял с наибольшей нежностью. Сколько предрассудков я не разрушил! Сколько удивления я только не вызывал! Сейчас было бы трудно представить, сколько ужасных и абсурдных слухов об императоре получили признание из-за длительного перерыва в сношениях между двумя нациями и их взаимного чувства раздражения. Поверят ли, что военный офицер высокого ранга, человек недюжинного ума, умолял меня откровенно сказать ему, действительно ли Наполеон умел писать? Он считал само собой разумеющимся, что он простой солдат, и никто другой. Казалось, он действительно почти сомневался, умеет ли читать. Я рассмеялся и спросил, видел ли он когда-нибудь свои военные прокламации? Он ответил, что видел, но предположил, что это было сделано для него. Этот офицер был очень удивлен и признал, что ему больше нечего сказать по этому вопросу, когда я сообщил ему, что в возрасте двадцати семи лет Наполеон был членом Французского института, несомненно, первого образованного учреждения в Европе.

Как только мы устроили нашу резиденцию в Ньюлендсе, моей первой заботой было отправить в Лонгвуд несколько предметов, в которых нуждался император. Я знал по опыту, сколько лишений ему пришлось вынести в этой обители нищеты, где невозможно было раздобыть многое из того, что долгая привычка сделала необходимым или приятным. Переполненный этими воспоминаниями, я решил передать ему все, что смогу раздобыть, хотя прекрасно понимал, что император придает мало значения предметам роскоши любого рода. Однако я заказал одни из лучших вин Констанции и Бордо, кофе, ликеры, масло, одеколон и тому подобное. Я упомянул, что, если бы они были не самого лучшего качества, я бы отказался от их покупки. Мыс еще плохо обеспечен предметами роскоши Европы. За исключением вина Constantia, которое производится в этом заведении, удалось закупить лишь небольшое количество заказанных мной продуктов. Я принял меры предосторожности и спросил генерала Холла, будет ли мне разрешено отправить эти вещи, и он очень вежливо ответил утвердительно. Чтобы облегчить получение этой небольшой посылки на острове Святой Елены, я решил, что ее не будут доставлять мне на мыс. Я попросил сотрудников администрации губернатора сообразоваться совершить покупки за меня и оставил за собой только ответственность за их оплату. Я упомянул об этих мерах предосторожности в письме сэру Хадсону Лоу, которому я адресовал все целиком. Мистер О'Мира утверждает, что по прибытии этих вещей на остров Святой Елены сэр Хадсон Лоу выразил сильное возмущение тем, что я сделал, что, по его словам, было оскорблением английского правительства; и, отвечая мне, он впоследствии заявил, что, хотя я действовал с большой деликатностью, все же не в его власти было разрешить передачу этих вещей в Лонгвуд, поскольку ему было поручено от имени английского правительства предоставить все, чего не хватало в этом учреждении.—Он забыл, что часто уверял нас, что выделенная ему сумма недостаточна для этой цели; и что мы, со своей стороны, часто жаловались ему на нехватку предметов первой необходимости. Однако впоследствии я понял, что товары были отправлены в Лонгвуд, и я испытал невыразимое удовлетворение, узнав, что вино "Констанция", в частности, понравилось императору. Он был зарезервирован для его собственного использования, и он назвал его моим именем. В свои последние минуты, отвергая все, что ему предлагали, и не зная, к чему прибегнуть, он сказал— “Дай мне бокал вина Лас Касес”. Как я был рад услышать об этом!

В то же время я отправил обратно сэру Хадсону Лоу записку, которая в печальный момент моего отъезда была выдана мне на четыре тысячи луидоров, оставленных мною в пользование императору. В нем говорилось, что сумма должна быть выплачена мне при получении. Когда я заколебался принимать ее, губернатор, сэр Хадсон Лоу, иронически сказал— “Берите, берите. Вы отправитесь туда, где у генерала есть средства, и это позволит вам получить оплату”. Впоследствии, когда я вспомнил об этом обстоятельстве, не сомневаясь в том, что сэр Хадсон Лоу сообщит об этом своим министрам, я счел правильным отослать ноту обратно с просьбой передать английскому правительству исправление *ошибочных комментариев*, которыми, я был убежден, он не преминул сопроводить свой отчет об этом обстоятельстве. “Я оставляю за собой,” сказал я в своем письме к нему, “только подпись, которая для меня ценнее, чем сама сумма. Записка бесполезна, добавил я. Родственники императора, я уверен, оспорили бы честь вернуть мне эту сумму; или, в случае крайней необходимости, первый француз, с которым я случайно встречаюсь, будет готов отдать мне ее в долг”.

К тому времени мы провели в Ньюлендсе уже два месяца, и, исходя из того, что я уже сказал, многие могут поверить, что мы были совершенно счастливы. Но может ли быть счастье в плену, вдали от родной страны? Мы просто коротали время так приятно, как только могли. Мы регламентировали наше время и распределяли наши занятия. Мой сын продолжил учебу. Пианино мисс Сомерсет было одним из его любимых развлечений. Я много читал, потому что у меня были книги под рукой, а мои друзья регулярно снабжали меня журналами и новыми публикациями. По вечерам мой сын гулял со мной в красивых рощах, окружающих дом; или, поскольку он купил лошадь, он иногда совершал прогулку по окрестностям, а затем возвращался, чтобы прокатиться взад-вперед по красивым аллеям Ньюлендса, где я садилась и с удовольствием наблюдала за ним. Мне казалось, я ощущаю, как восстанавливается его здоровье и набирается сил.

Я должен признаться, что в эти восхитительные летние вечера чистое небо, свежий воздух и красота всего окружающего иногда доставляли мне несколько часов удовольствия: это было мое прощание с жизнью. Напряженность чувств, вызванная обращением, которое мы испытали на острове Святой Елены, ослабла среди очарования и совершенного спокойствия этого восхитительного места, и я не раз испытывал искушение сказать: “Почему здесь нет остальных членов моей семьи?” Увы! если бы император был так же удачно расположен!... Но эти моменты забвения были краткими и случались редко, ибо, повторяю, не может быть полного счастья вдали от своей страны и предметов, которые мы любим. Какими бы чарами нас ни окружали, мы всегда находимся посреди пустыни. Это состояние чувств и мое нетерпение поскорее покончить с моим горем незаметно повлияли на мое здоровье. Мои постоянные бессонные ночи не давали передышки моим страданиям. Напрасно я посвящал себя занятиям и физическим упражнениям в течение дня и до позднего вечера оттягивал момент ухода на покой. Как только я лег, мои мысли невольно обратились к прошедшему промежутку времени. Я считал, что в моем изгнании стало на один день меньше, и снова и снова подсчитывал время, которое еще должно пройти, прежде чем из Лондона придет приказ о нашем освобождении, случайности, которые могли бы задержать его, и так далее. Эти мысли однажды овладев моим умом, я обнаружил, что совершенно не могу сомкнуть глаз; и таким образом я каждую ночь терпел самые жестокие мучения, которые только можно себе представить.

Между тем приближался срок возвращения губернатора, и меня начала смущать мысль о том, что я таким образом окажусь в одном доме с ним; я предположил, что ни одной из сторон не

будет очень приятно совмещать под одной крышей гостеприимство и уединение. Но моему смущению вскоре пришел конец. Было ли это фактом или притворством, я не знаю; но министр по делам колоний пришел сообщить мне, что в связи с ожидаемым прибытием лорда Амхерста, который возвращался в Европу из своего посольства в Китае, губернатор счел необходимым предоставить мне другое место жительства.

Этот министр колонии, о котором я еще не упоминал, хотя он и был вторым гражданским должностным лицом в колонии, был человеком совершенно эксцентричным, как по личности, так и по характеру. Он несколько раз был членом парламента. Он все знал, все обсуждал и обычно путал все, во что вмешивался: говорили, что он похож на энциклопедию, листы которой перевязаны не в тех местах. Сначала ему пришло в голову обустроить наше жилище в резиденции, которую он сам построил и которую убедил правительство нанять. К счастью, он отказался от этого проекта, поскольку различные трудности препятствовали его осуществлению. Я полагаю, нам пришлось бы отправиться туда морем; и даже если бы мы благополучно обосновались в этом месте, оставалась бы некоторая неопределенность относительно возможности сообщения с нами в случае необходимости. В конце концов было решено, что нас поселит достойная семья, жившая примерно в восьми или десяти лигах от мыса, в местечке под названием Тигерберг (Тигровая гора), которое оно получило от голландцев из-за множества тигров, населявших это место в то время, когда оно было впервые заселено.

Это занятие относится к не очень отдаленным временам, поскольку эти земли не были исключительно во владении цивилизованных жителей до самого недавнего времени. Несколько человек сообщили мне, что они сами видели тигров в прекрасных окрестностях Ньюлендса. Похоже, что голландцы, ограничиваясь морскими делами, уделяли мало или, по крайней мере, с опозданием, внимания прогрессу колонизации. Однако теперь трудолюбие и активность англичан придают делам иной оборот. Все части Кейптауна, и Кейптаун в частности, который моряки называют *домом на полпути* между двумя мирами, безошибочно приобретут высочайшее значение. Почва здесь богатая, а климат восхитительный. Растения умеренного пояса и тропиков можно выращивать практически во всех частях света и одновременно. Английские поселенцы в большом количестве эмигрируют на Кейп; и население быстро увеличивается. Европа вторглась в Африку с юга, и европейская раса со временем распространится по всему континенту, как сейчас она распространилась по Америке. От Ботани-Бей европейцы со временем доберутся до Новой Голландии, а оттуда покорят Китай. Европейская раса будет править земным шаром; счастлива ли она будет искупить благословениями цивилизации преступления завоевания или нечистоту своего происхождения!

РЕЗИДЕНЦИЯ В ТАЙГЕРБЕРГЕ. —ИМЯ НАПОЛЕОНА, ЗНАКОМОЕ В ПУСТЫНЕ.— РУКОПИСЬ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ И Др.

С 6 апреля по 19 августа.—Мы покинули Ньюлендз примерно в середине дня и ночью добрались до Тайгерберга. Нашим новым хозяином был мистер Бейкер, уроженец Кобленца или его окрестностей, и мы смотрели на него как на своего соотечественника из-за его происхождения, взглядов исимпатии, которую он нам выказывал. Семья в целом представляла собой самое приятное общество, какое только можно вообразить. Для нас было бы невозможно, чтобы к нам относились с большим уважением и вниманием. Все наши пожелания были предвидены и удовлетворены. Теперь мы приступили к третьему периоду нашего пленения на Мысе. Первым

было наше невыносимое заточение в Замке, которое, к счастью, длилось всего десять дней; вторым было наше пребывание в очаровательном уединении Ньюлендса; третьим было наше пребывание в пустыне Тайгерберг, которое должно было продолжаться в течение четырех месяцев; и даже это могло быть не окончанием нашего заточения!

В Тайгерберге мы оказались на границе кочевавших орд. Местность то тут, то там представляла собой отдельные жилища, расположенные на значительном расстоянии друг от друга. Они были заняты земледельцами разных наций, которые расчищали новые земли, чтобы использовать их с прибылью; и при упорстве, регулярности и небольшом капитале их усилия, без сомнения, увенчаются успехом. Хотя сейчас мы оказались на самой окраине цивилизованного мира, к нам относились даже больше, чем по-доброму. Мы заметили, что здешние люди не были ни невежественными, ни безразличными по отношению к событиям в Европе, которые, напротив, вызвали необычный интерес. Большинство населения составляли голландцы и, следовательно, были связаны с нашей национальной системой. Таким образом, к моему удивлению, я обнаружил, что имя Наполеона знакомо в этой пустыне. Самого победоносного охотничьего петуха в округе звали Наполеон! Самой быстрой скаковой лошадью был Наполеон! Самым непобедимым быком в стране был Наполеон! Я не мог удержаться от смеха над этим. Но у каждого свой способ оказывать честь и уважение; и Наполеон был самым благородным из всех имен в глазах жителей Тайгерберга.

Несмотря на наш переезд из города, нас все еще продолжали часто навещать, и нам было очень приятно оценить степень интереса, который испытывали к нам, по степени сдержанности и смущения, которые мы вызывали.

Интерес, который мы вызвали, проявили не только французы. Ко мне пришел американский капитан и предложил выволить меня из плена. Он сообщил мне, что принял все меры предосторожности и сделал все необходимые приготовления; и заметил, что все зависит от моей собственной воли, поскольку мистер Бейкер был не моим тюремщиком, а всего лишь хозяином. И все же, какой был бы смысл принимать это предложение? У меня был только один пункт, одна цель, и она заключалась в том, чтобы отправиться в Лондон и обратиться к английским министрам.

Мы пытались развлечь себя нашими обычными занятиями. Я нанял человека, который читал мне вслух, и обеспечил ему хорошую работу. Несмотря на расстояние, наши друзья по-прежнему продолжали снабжать нас журналами и новыми публикациями. В это время я читал Письма, написанные во время последнего правления императора мистером Хобхаусом, который, я полагаю, был первым, кто осмелился благосклонно отзываться о Наполеоне. Я также раздобыл работу Уордена, которая, хотя и содержала много ошибок, была, я уверен, написана с самыми лучшими намерениями; и, наконец, я получил представление о знаменитой рукописи острова Святой Елены, которая вызвала такой большой интерес во всей Европе. Мнения по поводу этой публикации сильно разделились; высказывались тысячи предположений относительно ее подлинности и реального происхождения. Мне, конечно, было бы трудно описать то изумление и сомнение, которые это вызвало в моем уме. Каковы были мои чувства и мысли, когда я обнаружил страницы правды, которые, казалось, ускользнули из моей собственной тайной коллекции, смешанные с целыми страницами ошибок и легкомыслия! Я несколько раз останавливался, сомневаясь, не сплю ли я. Я распознал не только суть некоторых отрывков, но даже фразы и выражения в той буквальной форме, в какой я сам переписал их из

уст рассказчика. Они содержались в тех самых бумагах, которые сэр Хадсон Лоу задержал на острове Святой Елены. Я мог бы с уверенностью утверждать, что все великие идеи и благородные концепции, сформированные Наполеоном, — все политические спекуляции — и, короче говоря, все самое привлекательное и интересное содержание знаменитой Рукописи было в моем Дневнике собрано из бесед Наполеона. Если бы мне прочитали только эту часть публикации, я бы ни на минуту не усомнился в том, что работа была получена непосредственно от Лонгвуда. Даже даты подтверждали бы этот вывод, ибо с момента моего изгнания с острова Святой Елены прошло уже шесть или семь месяцев. Но откуда был добыт сплав, с которым была смешана большая часть работы? Это была загадка, которую я не мог попытаться разгадать. "Может ли быть, - подумал я, - что факты, содержащиеся в этой публикации, были тайно почерпнуты из моих бумаг, некоторые части которых, возможно, были отобраны и собраны воедино чужими руками?" Но, кроме того, я не мог заставить себя лелеять такое неприятное подозрение без более веских доказательств. Какова была вероятность того, что враждебная власть острова Святой Елены одобрит публикацию статьи, которая в целом благоприятствовала прославленной жертве остракизма королей?

Каким на самом деле было чувство, продиктовавшее рукопись острова Святой Елены? Во многих случаях это весьма двусмысленно. Какими руками она была создана? Этот вопрос порождает множество противоречивых предположений. Наконец, можно спросить, какова была реальная цель публикации? В ней представлены различные стили, различные настроения и содержатся свидетельства различной степени информативности. Эта публикация, должно быть, была лоскутным изделием разных рук; ибо как мог человек, который, по-видимому, был так хорошо знаком с тайными замыслами предполагаемого автора и его кабинета, оставаться в неведении относительно его мнения о различных общественных актах, когда это мнение было доступно каждому? как, например, по поводу первого брака Наполеона; положения французов в Египте; судебного процесса над герцогом Энгиенским и т.д.

Возможно ли, чтобы человек, который мог бы собственными средствами раздобыть факты столь конфиденциального характера, был доведен до необходимости смешивать их с вульгарными ошибками? И, даже предположив, что у кого-то хватило проницательности угадать эти великие истины, разве его суждение не подсказало бы ему уместность быть правым по отношению ко всему остальному? Я ничего не буду говорить о надуманной и странной фразеологии, которая уродует произведение и которую можно рассматривать только как доказательство дурного вкуса и неудачную попытку подражания. Я также не буду комментировать многочисленные и необычные анахронизмы, содержащиеся в этой рукописи. Эти и другие обстоятельства делают публикацию совершенно необъяснимой.

Между тем время шло, а я не видел вероятного окончания своего изгнания. Интервал, необходимый для получения ответного сообщения из Англии, к этому времени истек, а я по-прежнему ничего не слышал о своем переезде. Меня охватила глубокая меланхолия, и я был почти доведен до отчаяния. Я серьезно страдал от постоянных и сильных болей в животе. Мое беспокойство по ночам все еще продолжалось, мое здоровье с каждым днем ухудшалось, и болезнь быстро сказывалась на моей конституции. В это время на меня напали головные боли, которые с тех пор меня никогда не покидали.

Я напрасно обращался к преподавателям. Ни одно лекарство не приносило мне немедленного облегчения, и до сих пор я обнаружил, что самый эффективный метод - это полное воздержание от лекарств.

После моего возвращения во Францию мое здоровье значительно улучшилось. Благодаря отдыху и уединению я обнаружил, что с каждым днем набираюсь сил. Но все же, всякий раз, когда я пытался вести беседу в течение какого-либо длительного времени или направить свои мысли на какую-либо конкретную тему, я немедленно испытывал рецидив своего расстройства.

Во время усиливающегося недомогания, с которым я работал в Тайгерберге, я написал письмо с просьбой, чтобы губернатор разрешил мне вернуться в город для получения медицинской помощи. Но эта просьба оказалась напрасной: лорд Чарльз Сомерсет остался глух к моим заявлениям.

В нетерпении и раздражении, вызванных продлением моего заключения, я несколько раз, во время моего пребывания в Тигерберге, возобновлял, и, возможно, в энергичных выражениях, свои обращения к губернатору с просьбой разрешить мне вернуться в Европу. У меня есть основания полагать, что мне удалось его тронуть. То ли из чувства справедливости с его стороны, то ли по какой другой причине, я не знаю, но я уверен, что он не без колебаний и беспокойства относился ко мне. Вероятно, он спрашивал себя, правильно ли с его стороны было стать тюремщиком на манер сэра Хадсона Лоу? И имел ли он право, в конце концов, лишать меня свободы? Но всякий раз, когда он колебался, его недоброжелательные советники оказывались рядом, чтобы утвердить его в решении задержать меня. “Разве он плохо устроен и его хорошо кормят?” - сказали они. “На что же тогда ему жаловаться? и как он признал хорошее обращение, которому подвергся? Ограничивая себя и отказываясь выезжать за границу, чтобы придать большую правдоподобность тому, что ему угодно называть своим тираническим заключением.— Какие выражения были в его письмах, всегда таких неуместных и жестоких?” Все было обращено в мою пользу, и одно обстоятельство, в частности, было использовано для этой цели. По прибытии лорда Амхерста и адмирала Плампина лорд Чарльз Сомерсет, вероятно, с намерением предоставить незнакомцам возможность увидеть меня и расспросить, прислал мне посреди моей пустыни в Тайгерберге официальное приглашение на бал, который, насколько я помню, был дан в честь дня рождения принца-регента. Посыльному было приказано дождаться моего ответа. Я написал его на пригласительной карточке, причем в очень решительных выражениях. Я была раздосадована тем, что лорд Чарльз Сомерсет, казалось, так мало представлял себе печальное положение, в котором я оказалась, что вообразил, будто я способна пойти на бал. Люди, окружавшие губернатора, вероятно, намекали, что, если его превосходительство допустил ошибку, задержав меня, теперь уже слишком поздно исправлять ее; что дело сделано, и его светлость будет нести за это ответственность; что изменить свое решение означало бы признать, что он не знал, как действовать; осудил бы себя и т.д. Поэтому я предполагаю, что было решено пойти на риск и довести дело до конца любым возможным способом.^[29]

Все эти неблагоприятные обстоятельства в совокупности полностью отдалили от меня лорда Чарльза Сомерсета и настолько оскорбили его, что, несмотря на свой природный характер, он обошелся со мной бесчеловечно. Я направил ему письмо, в котором описывал состояние своего здоровья и настаивал на непреложной необходимости моего переезда в город. Но на это он хладнокровно ответил в записке, присланной его адъютантом, что, хотя он и не может изменить

своих распоряжений, он отдал приказ о моем медицинском обслуживании. Но я находился на расстоянии восьми или десяти лиг от Кейптауна; врач мог навещать меня только раз в неделю; и поскольку он прописывал лекарства, которые можно было достать только в городе, их применение было практически невыполнимым. Я потерял всякое терпение, прочитав этот ответ, который казался скорее проявлением жестокой иронии, чем мерой облегчения; и я с негодованием направил письмо непосредственно министру по делам колоний. Я заявил, что, “поскольку именно по его указанию меня перевели к мистеру Бейкеру, я взял на себя смелость сообщить ему, что, поскольку было абсолютно необходимо, чтобы я находился рядом со своим лечащим врачом, я полагаю, у него не будет возражений против моего переезда в город, в дом доктора Лейшинга, тестя мистера Бейкера”. Он ответил, что проконсультировался с губернатором и что его превосходительство заявил, что его инструкции не допускают моего возвращения в Кейптаун.

Но я решил не удовлетворяться этим и снова написал министру по делам колоний. Я сообщил ему, что, “несмотря на его письмо, ничто, кроме абсолютной силы, не должно помешать мне покинуть Тайгерберг. Я был полон решимости вернуться в город, и что губернатор мог бы, если ему будет угодно, заключить меня там и даже держать в более тесном заключении, чем я был в Тигерберге, поскольку, по крайней мере, я пользовался бы преимуществом быть в пределах досягаемости медицинского совета и средств правовой защиты; что, хотя, возможно, у меня не было причин придавать большое значение существованию, все же я считал своего рода долгом защищать свою жизнь”. К счастью, разрешение на мой отъезд наконец пришло из Англии как раз в тот момент, когда я собирался привести в исполнение свое решение; в противном случае я не знаю, чем бы закончилось дело. Губернатор сообщил мне эту приятную новость, сопроводив ее предложением приготовить для меня жилье в городе. Но я отказался принять его и отправился, как и намеревался изначально, в дом доктора Лейшинга, где я ощутил на себе все внимание и гостеприимство Тайгерберга, в поистине патриархальную семью, общество которой оказало благотворное влияние на мое здоровье и настроение.

Теперь началась новая череда неприятностей. Я был обречен осушить чашу разочарования до дна. Губернатор, когда он сообщил мне о моем освобождении, упомянул, что для моего отъезда представились две возможности, и он пожелал, чтобы я выбрал одну. Я немедленно ответил, что наиболее желательной была бы самая быстрая. Теперь я с уверенностью ожидал получения своих паспортов и последних распоряжений губернатора. Я был прикован к постели. Прошло два дня; тем временем один из кораблей отплыл. Каково же было мое раздражение и разочарование, особенно когда впоследствии мне сообщили, что губернатору больше нечего сообщить мне; и что я волен делать все, что мне заблагорассудится, относительно моего отъезда. Я яростно жаловался, что следовало бы воспользоваться первой возможностью для побега; но для этого не было никакого средства. В гавани стоял большой транспорт, который должен был доставить артиллерийский полк в Англию. Я умолял губернатора разрешить мне проехать на этом судне, поскольку на борту были медицинские работники. Он ответил, что для меня нет жилья. Напрасно я уверял, что, будь на борту еще два артиллерийских офицера, их бы, конечно, не оставили; что, если бы на борт были посажены еще два матроса, для них наверняка нашлось бы место; а лучшего жилья нам и не требовалось. Все эти доводы были бесполезны. Мне сообщили, что корабль должен был совершить посадку на острове Святой Елены и что это обстоятельство само по себе исключало бы возможность моего проезда на нем. Я был вынужден уступить и ограничиться выбором, который так великодушно оставил мне губернатор, а именно отправиться в Европу на единственном корабле, который в то время находился в

гавани. Это был чрезвычайно маленький бриг, настоящая шлюпка, предназначенная для плавания в три тысячи лье. Однако я не испытывал никаких колебаний. Я бы скорее прыгнул в море, чем медлил еще хоть мгновение. Сделка вскоре была заключена, и теперь я с нетерпением ждал момента отъезда.

Капитан брига сообщил мне, что он получил приказ губернатора запретить мне какие-либо сношения на берегу, и если ему придется причалить к какому-либо месту в ходе плавания и по прибытии в Англию, он не должен допускать меня на сушу, пока не получит предварительного приказа от правительства. Таким образом, я был совершенно абсолютно пленником в руках этого человека, хотя и был обязан заплатить ему сумму, которую он изволил потребовать за мой проезд. Это обстоятельство показалось мне настолько экстраординарным, что я пожелал получить его подтверждение, чтобы оно не стало предметом сомнений, когда мне придется о нем рассказывать. Поэтому, когда я в последний раз обратился к губернатору за своими паспортами, я обратил его внимание на этот экстраординарный факт. Я умолял его подтвердить в своем ответе, что я сам согласился оплатить свой проезд на борту брига, который по его указаниям теперь был превращен в мою тюрьму. Но, как можно предположить, я получил свои паспорта и ничего больше.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕВРОПУ.

Промежуток времени около Ста дней.

Со среды, 20 августа, по пятницу, 15 ноября.

МЫ ОТПЛЫВАЕМ ОТ МЫСА.—НАШ ПЕРЕХОД.—МЫ БРОСАЕМ ЯКОРЬ В ДАУНСЕ.

Ближе к вечеру мы отправились на пляж в сопровождении двух наших превосходных хозяев из Тайгерберга и Кейпа, чьи гостеприимные заботы, чрезвычайное внимание и все доказательства истинной привязанности, которые они нам оказывали, внушили нам глубокое чувство благодарности. Погода стояла тихая, но когда мы сели в лодку, как по волшебству поднялся попутный ветерок. Мы все воскликнули, что это было благоприятное предзнаменование; но это было далеко не так, ибо, как мы увидим, наш переход оказался одним из самых долгих, а ближе к концу - самым страшным. Мы поднялись на борт, подняли якорь и наконец отплыли в ту Европу, о которой так долго мечтали.

С того момента, как мы начали взвешиваться, я и мой сын были навсегда разлучены с Кейптауном и побережьем Африки. Не потому, что они скрылись из виду даже на следующий день, а потому, что мы оба оставались взаперти внизу, ужасно страдая от морской болезни, последствия которой продолжались значительное время и от которой мы думали, что умрем. Наш причал был маленьким, грязным и неудобным; наш бриг был около двухсот тонн в

большинство; а экипаж состоял из двенадцати руки, двое из которых были мальчиками; и действительно, за исключением капитана и помощник, единственный, кто может считаться в состоянии море-мужчин, и готовить, как дряхлый старик, а все остальные были просто молодцы. Эта нехватка рабочих рук была для меня тем более поразительной, что еще больше усилила мою естественную склонность к морской болезни, поскольку, за исключением "Гриффина", я никогда не бывал ни на одном корабле, кроме семидесятичетырехпущечных, с экипажем в семьсот или восемьсот человек.

После тринадцатидневного плавания мы достигли тропика Козерога и попали под пассаты. В следующее воскресенье, 7 сентября, мы прошли в виду острова Святой Елены, но на расстоянии более пятнадцати лье; его едва ли можно было разглядеть. Было бы необходимо оказаться на этом Острове, расположенным так же, как я, ведомым туда подобными мотивами, и испытывать те же привязанности и все другие чувства, которые внушило мне мое пребывание там, чтобы понять все ощущения, которые я испытал, оказавшись вблизи этого места, — все мысли, которые пришли мне в голову, — чувство сожаления, которое охватило меня. В моей власти было остаться там, и я сознательно предпочел изгнать себя оттуда!... Действительно, опыт, полученный мной на Мысе, начал внушать мне опасения, что я основывал свою решимость на химерах.

Теперь мы плавно плыли к экватору по тропическому морю, по которому нам предстояло пройти более трех тысяч лье. Наше маленькое суденышко составляло нашу вселенную. Какое обширное поле для медитации! очутиться в одиночестве, примерно на сто дней, в безбрежном океане, без какого-либо другого убежища, кроме необъятных просторов небес, на плавучем атоме, отделенном только хрупкой дощечкой от прожорливых морских чудовищ и непостижимой бездны!

По истечении месяца, 20 сентября, мы наконец снова попали в наше северное полушарие, пересекая Линию почти одновременно с солнцем, которое клонилось к югу, по нашему левому галсу. Нам очень повезло в нашем плавании в непосредственной близости к северу от экватора, где неизменно случаются штили или штормы. В этих регионах чрезмерная жара экватора и жара, производимая песками Африки, в совокупности причиняют страдания природе, которая выражает свою усталость продолжительным затишьем или приходит в себя от проливных дождей и ужасных гроз.

Двадцать пять дней спустя мы миновали второй тропик и достигли границ действия переменных ветров в наших краях.

Мы покинули Мыс зимой и, пересекши зону зноя, снова застали зиму у ворот Европы: таким образом, бури были на двух концах нашего плавания. К счастью, мы избежали бурь при отъезде; но нам все еще предстояло ожидать бурь при прибытии: их мы нашли на их посту, и они оказались в ярости.

Примерно через двадцать дней слабого и переменного ветра мы прибыли к Азорским островам. Наше путешествие и без того было чрезвычайно долгим. Были случаи, когда переход от Кейптауна до Англии совершался за тридцать дней; в среднем, возможно, это составляет пятьдесят дней. К тому времени мы провели в море восемьдесят дней, и наши неприятности только начинались. Когда показались Азорские острова, началась наша скорбь и то, что мы называли *Страстной неделей*.

1 ноября мы испытали наш первый шторм; правда, вначале он был, так сказать, умеренным и заставил нас вздрогнуть.

2 ноября у нас было затишье, от которого у нас перехватило дыхание. 3-го числа налетел второй шторм, все еще терпимый; но в течение ночи, которая была одной из самых темных, какие только можно себе представить, поднялся третий шторм, и на этот раз он перерос в настоящий ураган. Ветер внезапно налетел со страшным шумом с кормы на нос; яростно дую, он унес в сторону те немногие паруса, которые мы поставили, и в одно мгновение, с быстротой мысли, один борт корабля оказался в воде, и море достигло почти подножия мачт. Большое количество бочек, принадлежавших к грузу, было опрокинуто, и их вес увеличил крен корабля, и без того столь опасный. К счастью, ветер унес паруса, которые были ему брошены, иначе мы бы перевернулись. Мы все думали, что заблудились, и, должно быть, утонули бы, если бы судьба не распорядилась иначе.

Такое положение вещей продолжалось всю пятницу, 7-го. Страдая от морской болезни, я долгое время не вылезал из гамака; но около четырех часов я воспользовался более спокойным моментом, чтобы подползти к выходу из нашей жалкой каюты и осмотреть положение. Зрелище было поистине грандиозным, возвышенным, ужасным, ужасающей силы. Безбрежный океан, увенчанный красным от ярости небом, покрытый бесчисленными ревушими горами, изрытый глубокими долинами и бездонными пропастями, представлял собой зрелище, наполнившее меня ужасным чувством ужаса. Наша маленькая лодка скользила с восхитительной быстротой между двумя движущимися горами, оконечности которых часто соприкасались на нашей палубе, ежеминутно угрожая соединиться там для нашей окончательной гибели, в то время как позади нас огромные перекатывающиеся валы, подобные фантастическим чудовищам из сказочной истории, преследовали нас с неослабевающим пылом, поднимая свои отвратительные головы над нашей кормой, как бы для того, чтобы созерцать свою добычу и бросаться на нее, которая постоянно ускользала от них, не забывая, однако, уносить то тут, то там несколько кусков дерева с наших верхних построек. Эта ситуация была очень опасной: мы обменялись несколькими словами; мы молча смотрели друг на друга и позволяли событиям идти своим чередом. Несомненно, что ложного движения у руля или малейшего акта невнимательности или пренебрежения было бы достаточно, чтобы нас мгновенно поглотили. Если бы одна из этих ужасных волн подхватила нас за кормой, ее вес придавил бы все, что находилось перед ней, и это действительно было нашей величайшей опасностью. Нам не раз грозило, что нашу каюту затопит; волны обрушивались на наши головы с шумом, похожим на пушечный залп. Мы с ужасом наблюдали, как они приближаются к нам; и большую часть последовавшей за этим ужасной ночи мы провели, защищаясь и укрепляясь против них.

Мой сын, который не мог ни лечь в постель, ни заснуть, часто выходил на палубу посмотреть, как идут дела, а потом возвращался ко мне, когда я лежал в своем гамаке. Не зная, чем заняться в эту долгую и жестокую ночь, чтобы отвлечь наши умы от размышлений о нашем положении и, по возможности, скоротать время, я попытался на мгновение продиктовать что-нибудь моему сыну; это был отрывок из древней истории. Но вскоре волна, затронувшая какую-то часть вышеперечисленных работ, набежала и затопила мой гамак и бумагу, на которой писал мой сын. Мы думали, что это был наш последний момент.

Однако всему, что было прочитано, не суждено было составить представление о нашей опасности или о масштабах наших страхов. Буря все продолжалась и, казалось, даже

усиливалась; наконец, в субботу, 8-го, ближе к утру человек, стоявший у руля, как самый ловкий и бесстрашный из команды, заявил, что больше не будет управлять кораблем; по его словам, у него закружилась голова, и он опасался, как бы какая-нибудь ошибка с его стороны не оказалась роковой для всех. Тогда мы были вынуждены прибегнуть к нашему последнему средству, *капскому методу*, то есть позволить кораблю двигаться против ветра; самый щекотливый маневр в том отчаянном положении, в котором мы оказались, потому что мы рисковали пойти ко дну, пытаясь его осуществить. Но Провидение все еще было к нам благосклонно; благодаря величайшей из возможных удач, нам это удалось, и крики радости и благодарности от всей команды наверху донесли до нас внизу долгожданную новость. Мы считали себя наиболее удачливыми, хотя разница между двумя ситуациями заключалась главным образом в том, что если раньше мы рисковали затонуть, будучи схваченными морем за кормой, то теперь у нас был шанс затонуть, поскольку море несло нас на траверзе.

Этот жестокий шторм продолжался уже три дня, и наша неделя подходила к своему завершению. Я очень надеялся на воскресенье, которое вот-вот должно было начаться, не только из-за луны, но и потому, что воскресенье было отмечено чем-то особенно благоприятным для нас с момента нашего отъезда. И наши надежды не были обмануты, ибо в течение ночи с субботы на воскресенье погода стала относительно умеренной, и, когда рассвело, мы снова смогли продолжить наш путь. Несомненно, что по странному стечению обстоятельств воскресенья с момента нашего отплытия с Кейпа всегда были отмечены какими-нибудь счастливыми событиями. В воскресенье мы миновали южный тропик и попали под пассаты; в воскресенье мы увидели остров Святой Елены; в воскресенье мы миновали остров Вознесения; в воскресенье мы пересекли Черту; в воскресенье мы миновали второй тропик; в воскресенье мы достигли широты Гибралтара, первой точки Европы; наконец, в воскресенье мы достигли широты Байонны и Бордо, начала нашей дорогой Франции; и снова в воскресенье мы заканчивали ту ужасную неделю, недалеко от Бреста. Мы сказали, что отныне мы можем вполне рассчитывать на хорошую погоду; мы думали, что достаточно заплатили свою дань; мы надеялись, что истожили ярость ветра; свинец принес европейскую глину; и мы думали только о приятном завершении нашего путешествия. Но напрасные расчеты! наше счастливое воскресенье закончилось, и нам пришлось столкнуться с пятым штормом.

Теперь мы начинали входить в Ла-Манш, однако еще не видели суши, а значит, наше истинное местоположение было нам неизвестно. Благоразумие требовало, чтобы мы вышли в открытое море, но, к счастью, это было ненадолго; и, продолжив наш курс, мы, наконец, оказались в пределах видимости Лизард-Пойнт; но мы, казалось, были обречены не иметь двадцати четырех часов комфорта. Почти сразу же поднялся густой туман, и при самых неблагоприятных обстоятельствах разразился шестой шторм. Он дул с юга и, следовательно, угрожал выбросить нас на берег; теперь мы были в проливе и без укрытия: с одной стороны у нас был Лизард, а с другой - острова Силли, которые чрезвычайно опасны; море было очень бурным; мы не знали точно, где находимся; приближалась ночь, и ночь длилась четырнадцать часов! Сколько причин для беспокойства! Какое состояние растерянности как для ума, так и для подсчета шансов! Мы все были совершенно подавлены и обескуражены, когда проливной дождь, сопровождавшийся раскатами грома, хотя тогда была середина ноября и погода была очень холодной, разрушил чары. Ветер внезапно переменялся на нужную сторону, и на этот раз он положил конец всем нашим трудностям, доставив нас в Даунс, где мы бросили якорь. Счастлив, и десять раз счастлив, что избежал таких грозных и многочисленных опасностей!

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТЕМЗЕ ВО ФРАНКФУРТ.

Интервал в двадцать дней.

С 16 ноября по 11 декабря.

**Мне НЕ РАЗРЕШЕНО ОСТАВАТЬСЯ В АНГЛИИ.—ВЫСЫЛКА В ОСТЕНДЕ.—
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В БЕЛЬГИИ, ПРУССИИ И других СТРАНАХ.—ПРИЕМЛЕМАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ.—ПРИБЫТИЕ ВО ФРАНКФУРТ.**

Накануне вечером мы бросили якорь в Даунсе только на эту ночь; на следующее утро, на рассвете, мы отплыли по Темзе, поскольку местом нашего назначения был Лондон. Теперь казалось, что никакие происшествия не смогут отныне удержать меня от посещения этого города, и я уже высчитывал час прибытия. Все мои надежды могли наконец осуществиться; ко мне возвращалась уверенность в себе; но как сильно я ошибался!

Прибыв в Грейвсенд, где находится судно для специальной цели наблюдения за иностранцами, я не успел назвать свое имя, как представитель правительства сообщил мне, что я не могу двигаться дальше и что я должен немедленно следовать за ним со своим багажом на борт *Инопланетного корабля*. Напрасно я протестовал и доказывал ему, что с моим паспортом я действовал в строгом соответствии с правилами: именно этот документ обрекал меня на смерть. С тех пор мне сообщили, что эта мера была предписана в отношении меня во всех портах Англии задолго до моего прибытия.

Не успел я подняться на борт *Инопланетного корабля*, как на моих бумагах были наложены печати, и мне сообщили, что я должен ждать окончательных распоряжений правительства. Я написал лорду Батерсту в тот самый момент, когда мы бросили якорь в Даунсе; теперь я написал ему снова. Я не знал о его намерениях по отношению ко мне; но мне казалось невозможным, чтобы он не вызвал меня к себе с нетерпением; и, прежде всего, мне и в голову не могло прийти, что он пренебрежет столь благоприятной возможностью услышать опровержение всего, что произошло на острове Святой Елены. Однако будет видно, что я ошибся в своих предположениях.

За исключением содержания в заключении, на борту *Инопланетного корабля* мне были оказаны все знаки внимания. Капитан, у которого с момента заключения мира было очень мало дел и который появлялся только днем, предоставил мне свою кровать для сна.

Измученный этими новыми неприятностями, страдая от своих обычных жалоб и устав от своей новой тюрьмы, я лег спать рано, когда внезапно в ночной тишине меня разбудил пронзительный голос. “Граф, граф, - кричал кто-то, кто искал меня на каждом углу и в спешке даже не

потрудился прикурить. -*Принцу-регенту угодно*, чтобы вы немедленно покинули Великобританию”. В смятении моего прерванного сна я случайно ответил: “Конечно, это очень прискорбное и глупое удовольствие для его Королевского высочества; но вы, сэр, кто вы?” Затем он сказал мне, что он правительственный посланник. Я попросил его подождать, пока я не буду готов, и тщетно пытался завершить свой ночной отдых. На рассвете нам с сыном было предложено сесть в лодку, нас тайно высадили, усадили в почтовую карету и провели кратчайшей дорогой в Дувр, где мой проводник сообщил мне, что у него есть приказ проводить меня на борт почтового парохода, следующего в Кале или Остенде, в зависимости от того, что я предпочитаю, поскольку мне не разрешается останавливать свой выбор ни на каком другом порту.

По той или иной причине случилось так, что мы не смогли немедленно отплыть из Дувра, и мне сказали, что может быть задержка на два или три дня. Нас заперли на постоялом дворе, где мой хозяин, под благовидным предлогом того, что хотел посоветоваться с моими удобствами, применил ко мне самое подлое из всех ухищрений. Если на Континенте поступают жалобы на позорное разбирательство со стороны агентов полиции, следует признать, что человек, с которым мы сейчас имели дело, вполне мог бы соперничать с жителями любой другой страны.

Случайно сказав, что жаль, что мои бумаги были запечатаны, так как в противном случае я мог бы воспользоваться своим пребыванием, чтобы написать несколько писем, он немедленно запротестовал против трудностей, связанных с тем, что я лишен того, что он назвал самым невинным и естественным удовлетворением; и сразу же пошел сам, чтобы сломать печати, и отдал мне все мои бумаги, порекомендовав мне сделать все, что в моих силах, чтобы облегчить неприятное мое нынешнее положение, невольным орудием которого он был. Поверят ли, что это было не более чем ловушкой, расставленной для меня, чтобы он мог впоследствии иметь удовольствие завладеть всем, что я мог написать, находясь в заблуждении от чувства доверия, которое он таким образом возбудил! За то время, что мы были вместе, этот человек был примечателен своей официозностью по отношению к нам, сопряженной, правда, с тысячью дерзких выражений, которые в достаточной степени свидетельствовали о всей его низости. Он сказал мне, например, что он и его коллеги считали своим долгом не знать никакого другого закона, кроме *соизволения* принца: он говорил о *своем хозяине*, лорде Сидмуте, министре внутренних дел; о *своем хозяине*, который был предшественником лорда Сидмута, и так далее; и когда я заметил в шутку, что думал, что он принадлежит Администрации, а не министру, он ответил с предельной откровенностью, что я ошибался; что он принадлежал министру, поскольку это был министр внутренних дел. который платил ему жалованье и который мог забрать его по своему усмотрению. Он добавил много другой чепухи того же рода, которая больше походила на негритянского раба Ямайки, чем на белого европейца и гражданина Великобритании; это, однако, было бы для меня совершенно безразлично, если бы его базовые принципы не были применены на практике на мне, как покажет дальнейшее.

В самый момент нашего отъезда, когда я уже собирался отправиться в путь, этот человек, до тех пор такой покладистый и назойливый, сказал мне в довольно наглой манере, что ему нужно выполнить по отношению ко мне пустяковую формальность; и, схватив весь мой багаж, он самым тщательным образом обыскал мое белье и одежду, без малейших церемоний завладел всеми моими бумагами и даже отказался предоставить мне какую-либо их опись. Я громко жаловался; я взывал к защите магистратов; я требовал, чтобы мой протест, по крайней мере, был принят; мне ответили, что в том положении, в котором я оказался, и будучи иностранцем,

действие законов, на которые я ссылался, не могло быть распространено на меня; и таким образом я был вынужден покинуть Англию, оставив, однако, следующее письмо для лорда Сидмута:

“Милорд, с чувством глубочайшего сожаления я оказываю себе честь обращаться к вашей светлости, сознавая, что ваш ответ, который, возможно, удовлетворил бы объект моих желаний, дойдет до меня слишком поздно.

“Последние четыре дня я находился во власти вашего посланника, который по прибытии снял печати, стоявшие на моих бумагах, сказав, что он снова предоставляет их в мое распоряжение. С тех пор он видел, как я пишу, даже поощрял меня к этому, и дождался момента моего отъезда, чтобы завладеть от вашего имени всеми моими бумагами. Это ловушка, мой господин, которую мое сердце запрещает мне приписывать более высокой стороне, чем человек, применивший ее. Этот посыльный не понимал никакого языка, кроме английского; он призвал к себе на помощь другого человека, который притворился, что немного понимает по-французски, и который счел нужным просмотреть мои бумаги одну за другой и даже задержать их все. Этого хватило бы на целую неделю чтения, и я не представлял себе, что какое-то частное лицо может иметь такое право на меня.

“У меня забрали все: письма, заметки, упражнения моего сына, документы о праве собственности, семейные тайны, официальные документы сэра Хадсона Лоу и лорда Чарльза Сомерсета, мои ежедневные заметки, даже письмо министру полиции Франции и еще одно моей жене, которые я подготовил в свободные минуты здесь, чтобы переслать их по прибытии в Остенде. Они были изъяты без составления описи или реестра. Таков, по их словам, был приказ вашей светлости. В первом порыве негодования я протестовал против этого насилия и потребовал, чтобы магистрат рассмотрел мою жалобу. Я не буду приводить здесь ответ, который был мне дан. Оправившись от первого момента удивления и ничего так не боясь, как увидеть мое имя упомянутым в публичных обсуждениях; учитывая также, насколько невозможно было, чтобы ваша светлость распорядились о столь значительном отклонении от правил каждой признанной системы юриспруденции, согласно которым правительства в случаях, подобных настоящему, обязаны принимать такие меры, которые позволяют им защититься от возможности быть обвиненным в изъятии или дополнении какого-либо документа; я удовлетворился тем, что настоятельно попросил посланника, в руках которого была моя судьба, позволить отсрочить мой отъезд до тех пор, пока я не смогу написать вашей светлости до тех пор, пока он сам не получит подтверждения своих строгих приказов. Но этот человек, который уже вызвал трехдневную задержку под незначительными предложениями, оказался совершенно непреклонным в данном важном случае. Тщетно я уверял его, что не возражаю показать все свои бумаги доверенным лицам, которых ваша светлость, возможно, назначили для ознакомления с ними; что даже в интересах вашей светлости было соблюдать по отношению ко мне определенные формальности; что при рассмотрении моих бумаг мое присутствие было бы полезным, если не абсолютно необходимым, для того, чтобы объяснить многие вещи, которые без меня было бы невозможно понять; в то время как он отправлял меня на Континент и пересылал мои бумаги в Лондон; что, без сомнения, произошла какая-то ошибка, которую устранят через двадцать четыре часа. В ответ мне хладнокровно сказали, что мне не нужно беспокоиться о возвращении с Континента, если это будет сочтено необходимым, поскольку ваша светлость оплатит все расходы по путешествию. Мой господин, в какие руки ты отдал меня? В другой раз, когда этот человек, несомненно, не мог бы посоветоваться с вашими пожеланиями, я был вынужден

замолчать из-за грубых и оскорбительных выражений, которые он употребил в адрес выдающейся личности, которую я уважаю больше всех на свете.

“Короче говоря, милорд, с тех пор, как я достиг ваших берегов, со мной обращались как со злоумышленником; и все же, в чем мое преступление? Возможно, разница в политических взглядах и добровольное заключение в Лонгвуде! Но разве последний поступок не является одним из самых благородных и великодушных; поступком настолько благородным, что не существует человека, который в глубине своего сердца не гордился бы тем, что подал такой пример? Милорд, мягкость характера и любовь к справедливости, которые, как говорят, отличают вашу светлость, не могут, я уверен в этом, санкционировать все, что было сделано со мной. Получив разрешение скрепить своей печатью бумаги, которые были изъяты у меня, я поспешил сделать это не в качестве меры предосторожности против вашей светлости, а, напротив, чтобы исправить в ваших интересах несоблюдение формальностей, в котором могли быть виноваты ваши агенты.

“Я умоляю вашу светлость пересмотреть мое дело и не составлять мнение о моих бумагах, не получив сначала от меня объяснений, которые вам могут потребоваться; и которые я всегда буду наиболее готов предоставить. Заранее заявляю, что, какие бы различия во мнениях и чувствах ни наблюдались между ними, нет ни одного, которое не выдержало бы испытания судебным расследованием или дружеской дискуссией. В них нет ничего, представляющего хоть какой-то интерес к государственным делам, и никаких политических секретов. У меня никогда не было никаких документов такого рода, а если бы и были, я бы не упустил возможности убрать их с дороги задолго до этого.

“Возможно, настало время поговорить также с вашей светлостью о бумагах, которые были изъяты у меня на острове Святой Елены, а также о многих других предметах, о которых мне придется поговорить либо с вашей светлостью, либо с лордом Батерстом; но короткий промежуток времени, который мне отпущен, и путаница в мыслях, вызванная столь внезапными и непредвиденными обстоятельствами, вынуждают меня отложить это на некоторое время.

“Я буду с нетерпением ждать ответа, который, возможно, вашей светлости будет угодно дать мне; но где, я не знаю; скорее всего, в Брюсселе, если мне будет позволено там остаться.

“Имею честь” и т. Д.

Меня посадили на борт пакетбота, и мы отплыли в Остенде; и, поскольку я время от времени позволяю себе говорить о физических страданиях, я буду прощен, если, чтобы составить более правильное представление о том, что я, должно быть, перенес во время моего долгого путешествия, замечу здесь, что, несмотря на сто дней, которые я только что провел в море, мне все же случилось снова заболеть на борту этого пакетбота, хотя погода была не совсем плохой. Это, несомненно, было очень нелепо, но от этого не менее верно.

На следующий день я добрался до Остенде и приземлился без каких-либо замечаний со стороны кого-либо. Я снова подумал, что на этот раз моим несчастьям пришел конец и что я снова обрел свободу; но я снова ошибся; напротив, должны были начаться преследования другого рода; однако у меня были все основания быть довольным первыми минутами моего пребывания здесь.

Я пробыл в гостинице недолго, прежде чем пришел представитель местных властей и сказал мне, причем я не мог догадаться, как меня уже вычислили, что он получил приказ следить за мной и что он немедленно пришел спросить меня, каким образом я хочу, чтобы он выполнил свои инструкции.

Я давно не привык к такой вежливости и высказал ему это замечание; добавив, что предпринятого им шага было вполне достаточно, чтобы побудить меня с полной уверенностью подчиниться тому, что он мог пожелать со мной сделать; и поскольку его вежливость привела к продолжению разговора между нами, который, казалось, сильно возбудил его любопытство, он вскоре сказал мне, что собирается задать мне вопрос, который, без сомнения, был нескромным и, возможно, неприличным; но что он не мог устоять перед желанием узнать, правда ли, что он сказал мне. Я покинул Наполеона, потому что он был настолько подавлен несчастьем, что жить с ним было невозможно; английские министерские газеты распространили тысячи сообщений обо мне, одно нелепее другого. Я ответил ему с улыбкой: “Сэр, если бы мне было что сказать против Наполеона, если бы у меня был хоть малейший повод для жалобы на него, будьте уверены, что вам не пришлось бы охранять меня в этот момент и что я был бы далек от того, чтобы подвергаться дурному обращению где бы то ни было”. На что он в свою очередь воскликнул, ударив себя по лбу, что именно такой ответ должен был прийти ему в голову. Его внимание ко мне после этого объяснения стало еще более пристальным; и, узнав от меня, что я намеревался отправиться в Брюссель, он не поставил никакого другого условия в отношении предоставленной мне бесконтрольной свободы, кроме как не предпринимать моего отъезда, не уведомив его об этом, заверив меня в то же время, что решение относительно меня не может быть отложено более чем на двадцать четыре часа, поскольку к губернатору провинции был отправлен курьер, возвращение которого, по всей вероятности, сделает меня полностью свободным.

Я воспользовался задержкой, на которую, таким образом, был вынужден согласиться, чтобы написать министрам полиции Франции и Нидерландов, соответственно, относительно ситуации, в которой я отныне оказался.

Французскому министру я написал следующее.

“Сэр, я считаю правильным по прибытии на Континент проинформировать ваше превосходительство об обстоятельствах, в которых я оказался; и я надеюсь, что вы одобрите мотивы, побудившие меня сделать это.

“Год назад меня внезапно увезли из Лонгвуда, и с тех пор меня перевозят с берега на берег, как пленника. Войдя в Темзу, я получил приказ немедленно отбыть на Континент, поскольку у меня не было другого выбора, кроме как следовать либо в Кале, либо в Остенде.

“Чувство деликатности и благоразумия побудило меня предпочесть Остенде.

“Франция - это та страна, где за моим появлением, скорее всего, будут следить, и я хотел избавить департамент, которым вы руководите, и себя от неудобств, связанных с таким мероприятием. Это двойное соображение побудило меня принять жестокое решение о самоизгнании. Мной также двигал другой мотив, а именно. надежда на обладание в этой стране большими возможностями (отбросив все политические взгляды, руководствуясь только частными чувствами привязанности) для получения по законным каналам, разрешенным английскими правилами, и даже под прикрытием британских министров, некоторого

облегчения и невинного утешения для мучеников в Лонгвуде. Во Франции эта благочестивая и священная забота могла быть неправильно истолкована и, следовательно, могла привести к возникновению препятствий.

“Я надеюсь, что столь открытое и откровенное заявление устранил все неблагоприятные впечатления, которые могли возникнуть у вас в связи с обстоятельствами моего дела; и, преследуя эту цель, я сейчас беру на себя смелость тайно приложить к вам незапечатанное письмо для моей жены, в пользу которой я прошу вашего доброго вмешательства во все, что касается ваших обязанностей, что может облегчить ее приезд, чтобы разделить мое добровольное изгнание. Получать” и т.д.

Министру Нидерландов я написал, что обычно стараюсь избежать подчинения надзору; но что я, напротив, пришел просить о том, чтобы меня перевели в его подчинение. Я повторилему, как и в предыдущем письме, что случилось со мной в Темзе, и что меня выбросило на Континент без указания какого-либо мотива или какой-либо причины для этой меры.

Я сообщил ему, что только что написал министру полиции Франции, чтобы изложить ему мотивы, побудившие меня подвергнуть себя добровольному изгнанию. Я объяснил ему, что я очень болен и что состояние здоровья моего сына вызывает крайнюю тревогу; что я только что совершил стодневное путешествие на очень маленьком судне; что я совершенно не знаю, живы ли еще моя жена и семья; что я нахожусь в полном неведении относительно состояния моих домашних забот; и, принимая во внимание все эти обстоятельства, я умолял его позволить мне пожить несколько дней в Брюсселе, подышать воздухом и осмотреться, послать за моей женой и воспользоваться услугами врача; добавив, что Возможно, тем временем британские министры, чье суровое и опрометчивое поведение по отношению ко мне неизбежно должно было быть основано на какой—нибудь ошибке, согласятся разрешить мне присутствовать, согласно моей просьбе, при ознакомлении с документами, которые они у меня изъяли.

В заключение я заверил его, что у меня нет никаких политических взглядов или чувств, что мои чувства были исключительно чувствами личной привязанности; что такие чувства естественны и благородны, и что мое открытое признание в них должно обеспечивать полную уверенность в том, что они не были рассчитаны на то, чтобы вызвать какое-либо беспокойство.

Из чувства справедливости и благодарности я должен заявить, что мое письмо министру полиции Франции, по крайней мере, позволило получить от него, когда представился случай, все, чего можно ожидать от джентльмена.

В отношении министра Нидерландов такого не было; единственным ответом, который я получил от него, было прибытие охраны для охраны моей персоны. Во все стороны были разосланы приказы найти меня снова, так как они думали, что я заблудился. Как мне сказал человек, которому было поручено надзирать за мной, вскоре поступило разрешение губернатора на продолжение моего путешествия, и я немедленно воспользовался им, выбрав, из-за слабого состояния моего здоровья, простое, но малоизвестное и медленное передвижение на баржах и по каналам. Об этом никто не подумал, и они искали меня на большом расстоянии от Остенде, в то время как я был еще почти у его ворот. Моя доверчивость и защищенность сбили с толку все их расчеты; они еще не получили точного описания моей персоны и, следовательно, были очень смущены, узнав меня; однако вскоре я сам положил конец их недоумению, бросившись, как говорится, в пасть волку.

Моим первым шагом после прибытия в Брюссель, куда я прибыл поздно вечером после трехдневного путешествия, было сообщить в полицию о моем нахождении в этом городе и спросить, каково было решение министра относительно моего дела в связи с письмом, которое я направил ему из Остенде. Великодушным ответом на мою невинную доверчивость было немедленное распоряжение окружить гостиницу, где я находился, и они с нетерпением ждали первого рассвета, чтобы дать мне понять, что я должен покинуть королевство Нидерландов без малейшего промедления. Я был очень нездоров, и у меня была некоторая степень лихорадки; тем не менее, я тщетно взывал к их состраданию и просил позволить мне остаться еще на один день.

Несомненно, существовали очень серьезные препятствия к тому, чтобы мне разрешили остаться в Брюсселе, или предрасположенность к жестокому обращению со мной, поскольку мне не разрешили даже одного часа. Они посадили меня в карету между полицейским и жандармом и развернули на большой дороге. Эти люди, видевшие мое состояние, сжалились надо мной и после нескольких часов пути согласились остановиться, чтобы я мог немного отдохнуть и получить необходимую медицинскую помощь; но при четком условии, что я продолжу свое путешествие рано утром следующего дня под присмотром назначенной им охраны; система, которая строго соблюдалась и повторялась в каждом городе, несмотря на неоднократные наблюдения и показания всех врачей. Это жестокое обращение вынудило меня пожаловаться французскому послу при нидерландском дворе, который, как я думал, будет горячо сопротивляться такому разбирательству, поскольку обращение таким образом без каких-либо справедливых мотивов и в прямое нарушение законов с французом, находящимся под его защитой, было оскорблением его общественного положения. Поэтому я сообщил ему о возмутительном и бесчеловечном поведении, которое тогда было проявлено по отношению ко мне.

Я сказал ему: “что, после посадки в Остенде я написал французский министр полиции, высказать ему мои мотивы, оставшиеся из Франции; что я также написал в то же время министр полиции Нидерландов, с просьбой, он позволит мне пожить некоторое время в Брюсселе, и что, достигнув этого города в поздний час, не охраняется или помещены под надзор, я поспешил сообщить, что Его Превосходительство моего приезда; но что я внезапно проснулся, прежде чем дневной свет на следующее утро, и в окружении четырех полицейских и жандармов, которые показали мне, что я должен немедленно уехать, несмотря на очень шатком состоянии моего здоровья, которые я тщетно требовал врача, чтобы убедиться в моем случае; что мне было сказано, что я могу получить один для проформы, но что я должен уйти, что бы его мнение; что, в самом деле, Я был снят в Лувене, как злоумышленник, и на последнем этапе болезни, под конвоем жандарма и полицейского; что, прибыв в этот город ночью, страдает от повышенной заболеваемости, покрывается волдырями, и в состоянии лихорадки, я попросил разрешения, чтобы остановить следующий день; что бургомистр был бесчеловечным достаточно, чтобы отказать в моей просьбе, несмотря на две или три очень сильных медицинских справок; что, имея потребовали, чтобы врач, по крайней мере, могла бы составить мне компанию в вагоне, а не жандарм, которые могли следовать на лошадях, это одолжение было отказано мне; что все, что может быть разрешено, по их словам, заключалась в том, что врач должен сопровождать меня в другой вагон. Это, без сомнения, была ирония судьбы”.

Я добавил, что я был совершенно уверен, что такое обращение не могло исходить от него, который один, однако, в данном случае имел бы право оказывать какое-либо влияние на мою

судьбу; что я был слишком хорошо знаком с чувствами нации, к которой мы принадлежали, чтобы предположить на мгновение, что его инструкции могли предписать запрещение лица, по отношению к которому не было и не могло быть никакого закона или мотива для такого разбирательства; что дурное обращение, которому я подвергся, могло, следовательно, исходить только от властей этой страны, где, однако, по общему правилу, я не должен рассматриваться ни в каком другом качестве. налегке, чем как путешественник; что как таковой я потребовал бы от них, в чем было мое преступление и каковы были их права на мою личность“. И в заключение я вверил свои интересы его попечению, поскольку его положение делало его их естественным защитником; и, чтобы привлечь его особое внимание ко мне, я сообщил ему новости о мадам Бертран, сестре его жены, которые я получил как раз перед отъездом из Дувра, и я предложил себе, на случай, если мадам де Латур Дюпен пожелает сообщить что-либо своей сестре, которой это доставит величайшее удовольствие, позаботиться об этом, поскольку я предложил писать мадам Бертран регулярно раз в месяц, по каналу, который разрешен английскими правилами, а именно: ., под самым прикрытием министров.

Его превосходительство не ответил на это письмо; его усилия, без сомнения, оказались тщетными; импульс, сами приказы, возможно, исходили в это время с другого берега.

Я продолжал в том же духе, без перерыва, переходя из города в город, от одного полицейского к другому, от жандарма к жандарму по всему королевству Нидерландов; и когда я время от времени спрашивал, в разгар своих страданий, что могло послужить мотивом для такого жестокого обращения, мне просто говорили в ответ, что таковы были отданные приказы; и, фактически, это было все, что, по-видимому, было известно по этому вопросу. Прибыв в Экс-ла-Шапель, на прусскую территорию, агенты Нидерландов обменяли меня там на расписку, как это могло бы быть сделано с тюком товаров; а пруссаки, в свою очередь, с такой же быстротой перевозили меня с места на место, от офицера к офицеру и от одного жандарма к другому; и когда я спросил их также о мотивах всего этого, они откровенно ответили, что не знают; но что я был заброшен в их страну и что они собираются вышвырнуть меня из своей страны. это. Если я просил остановиться, они вежливо отвечали, что не будут держать меня на своей территории; и некоторые друзья, ибо впоследствии будет видно, что я находил друзей повсюду, шептали мне на ухо, что я должен благодарить Бога за это и, прежде всего, немедленно воспользоваться этой удачей, поскольку несколько изгнанных французов недавно были изгнаны на берега Балтики и заперты в крепостях. Затем я заявил, что желаю отправиться во Франкфурт, и это выражение, по-видимому, доставило удовольствие моим хозяевам, пруссакам, поскольку они сказали, что это их больше не будет касаться. После того, что я только что узнал, я был в равной степени рад этому и сам.

После того, как я описал, но очень слабо, всю дикую жестокость, которая только что была применена ко мне, все досады и страдания, которые я перенес, было бы несправедливо и неблагодарно с моей стороны, и я лишил бы себя самого приятного ощущения, если бы я не упомянул о том виде компенсации, который я находил на каждом шагу моего путешествия.

Моя история наделала много шума; она распространилась во всех направлениях; она опередила меня; ею воспользовались государственные газеты. Было известно, кому я служил, кому хотел посвятить свою заботу, за кого страдал; и все старались выразить свое отношение к моему поведению. Все классы стремились проявить по отношению ко мне все знаки внимания и симпатии; и повсюду меня ждали открытые демонстрации или тайные предложения. Именно

тогда мне пришли на ум слова Наполеона, которые, кстати, впоследствии у меня было много поводов вспомнить: “Мои дорогие друзья, когда вы вернетесь в Европу, вы обнаружите, что с этого места я по-прежнему раздаю короны”. И может ли быть что-то более благородное, более драгоценное, чем уважение, привязанность, сочувствие даже тех, кто вас не знает и никогда не видел! Какая рука, какой бы могущественной она ни была, может даровать что-либо равноценное! Эти чувства проявлялись в гостиницах, на больших дорогах, повсюду. Почтальоны, жандармы, все, с кем я встречался в своем путешествии, обращались ко мне с какой-то гордостью и ликованием. Один сказал: “Я служил в Императорской гвардии”; другой: “Я был французским жандармом”; третий: “Я был солдатом при Наполеоне”. Эти воспоминания и чувства доброй воли, которые они порождали, проявлялись во всех классах и условиях. Дважды в Бельгии делались предложения спасти меня, причем, как мне сообщили, все было тщательно подготовлено заранее; такое же предложение уже было сделано мне на Кейптауне американским капитаном; и аналогичное предложение было сделано мне позже со стороны нескольких англичан, которым я был совершенно неизвестен и которые решили приехать из Лондона, чтобы увезти меня из Франкфурта, где, по их мнению, я находился в гораздо худшем положении, чем было на самом деле. Но я неизменно отвечал — “К какой цели это приведет? Почему я должен вредить столь благородному делу?”

Сами представители власти испытывали беспокойство за мою судьбу и своего рода интерес ко мне. Один из них, хотя и был назначен присматривать за мной, предложил взять на себя ведение любой газеты, которую я рискну доверить его заботам; я воспользовался его предложением, поскольку не видел в этом никаких неудобств, даже если у него были какие-то дурные намерения, которые он, возможно, имел, и я направил высокопоставленному лицу в Англии письмо в полдюжины строк, с теплотой описывая дурное обращение, которому британские министры заставляли меня страдать в течение последних двенадцати месяцев, и прося его опубликовать мое заявление, если он не видит против этого возражений. С той же целью я приложил ту часть письма императора, которую мне было разрешено скопировать, добавив, что я продолжал бы хранить его при себе, если бы смехотворные и оскорбительные сообщения, которые были помещены в газетах, не заставили меня обнародовать его. Я, однако, оставил на его усмотрение решать, что следует сделать.

Каково же было мое удивление, когда два дня спустя все это было опубликовано в бельгийских газетах! Я был крайне огорчен этим; это совсем не соответствовало моему характеру - желать производить так много шума. Прежде всего, меня особенно задело то, что человек в Англии, которому я адресовал свое письмо и которому я был неизвестен, получил его только через публичную прессу: такой способ поведения также полностью противоречил моим манерам. Я был в недоумении, не понимая, как это могло произойти. Впоследствии я узнал, что мой доверенный в пылу своего рвения проконсультировался с двумя или тремя людьми, придерживающимися того же образа мыслей, и что, прочитав статьи на своем маленьком совете, они решили, что вместо того, чтобы терять время на отправку их в Англию, где, возможно, от них не будет никакой пользы, было бы лучше немедленно опубликовать их на месте, где они действительно произвели очень живую сенсацию. Несмотря на неприятности, которые я тогда испытал от них, в конечном итоге они оказались для меня самым заметным преимуществом.

Короче говоря, этому не было бы конца, если бы я упомянул о трогательных знаках внимания, которые мне оказывали; о всевозможных предложениях деньгами, одеждой и т. Д.; Даже люди

самого низкого сословия стремились внести свою лепту. Один из них, ворвавшись в мою квартиру, из которой его вытащили жандармы, крикнул мне, что у него всего два пальто; что он увидел по моему размеру, что второе мне не подойдет; что поэтому он собирается продать его и выбросит мне сумму в окно. Какие страдания, какие мучения не были бы изглажены ощущениями, которые должны вызывать такие действия!

Однако по прибытии в Кельн я был настолько болен, что было сочтено необходимым *necessary* разрешить мне остановиться в этом городе на сутки. Это усиление страданий обернулось для меня счастливым обстоятельством. Я крепко спал, когда внезапно *камердинер* площади ворвался в мою комнату, демонстрируя ту радость, которую, несомненно, испытывает человек, приносящий хорошие новости, и объявил мне, что мадам де Лас Кейсес. Я еще не мог убедиться, жива ли она, и поэтому подумал, что неправильно понял этого человека или это был сон; но мгновение спустя дверь распахнулась — это была она собственной персоной!

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ГЕРМАНИИ.

С МОМЕНТА МОЕГО ПРИБЫТИЯ Во ФРАНКФУРТ до ПЕРИОДА МОЕГО ПРОЖИВАНИЯ В ОФФЕНБАХЕ.

Промежуток в пятнадцать месяцев.

Резиденция во Франкфурте.—Мои попытки облегчить положение жителей Лонгвуда.—Письма Марии Луизе и союзным государям.—Мое письмо лорду Батерсту.—Петиция в британский парламент.—Сделки с несколькими членами императорской семьи.—Меры по удовлетворению потребностей Лонгвуда; Подробности и т.д.—Поездка в Баден.—Резиденция в Мангейме; Мотивы этого выбора.—Конгресс в Экс-ла-Шапель; мои усилия; Подробности.—Письмо от мадам Мер и т.д.—Записка государям.—Новые официальные документы, полученные из Лонгвуда и адресованные Государям; новые усилия; и т.д.—Состояние общественного мнения.—Прибытие брига "Мускито".—Новая неприятность; баденский министр приказывает мне покинуть Мангейм.—Я удаляюсь в Оффенбах.

Группа пленников прибыла, наконец, во Франкфурт после того, как в течение пятнадцати дней подвергалась преследованиям, почти невиданным в цивилизованных странах, и в состоянии спокойствия. Прусский офицер, в чьи обязанности, как он вежливо сказал, входило не столько охранять меня, сколько следить за тем, чтобы со мной хорошо обращались, проводил меня туда. Он не позволял мне свободно общаться ни с кем и не должен был покидать меня до тех пор, пока в отношении меня не будет принято какое-то подлинное и окончательное решение.

По прибытии во Франкфурт я немедленно отправил нашему послу, как я это сделал в Нидерландах, следующее письмо:

Сэр, по прибытии в этот город я имею честь просить вашей общественной защиты от строгих мер, которые применялись в течение некоторого времени в отношении меня.

Я был арестован, и меня возят из города в город под конвоем, против моей воли, как пленника. Те, кто поступает таким образом, откровенно признаются, что они подталкивают меня к этому только потому, что меня так подвели к ним; и у них нет никакого особого мотива или позитивного приказа по этому вопросу. Проезжая через Нидерланды, я направил представление по этому вопросу нашему послу при Гаагском дворе; но меня так торопили, что я не смог получить никакого ответа. Я беру на себя смелость послать вам копию письма, которое я адресовал ему, чтобы ознакомить ваше превосходительство с первыми подробностями моего приключения.

Сейчас, сэр, сто тридцатый день моего путешествия; я измучен, устал, болен и немощен; яростные волны швыряют меня, и я, наконец, погибну, если не смогу найти порт. Во имя человечности и справедливости, я умоляю позволить мне перевести дух на мгновение. Я обнаружил ошибочное впечатление, существующее повсюду на моем пути; и все те, кто таким образом распорядился моей персоной, выразили величайшее удивление, когда обсуждение этого вопроса доказало, что во Франции не существовало никакого закона или акта, публичного или частного, направленного против меня; и что никогда не происходило ничего, что могло бы послужить поводом для такого разбирательства. Я прошу, сэр, чтобы вы были достаточно любезны, чтобы своими показаниями предотвратить возможность ошибки, которая могла повлиять на решение, которое будет принято в отношении меня; и чтобы вы предоставили мне ту защиту, которую я, естественно, вправе ожидать от вас в силу вашего общественного положения.

Имею честь и т.д.

P.S. Считаю правильным уведомить ваше превосходительство, что в связи со сложностью моего положения я несколько дней назад написал Его Величеству императору Австрии с просьбой предоставить убежище в его владениях, если моя свобода будет каким-либо образом ограничена. Но далекая страна, язык и нравы которой для меня совершенно новы, не может подойти мне, за исключением случая необходимости. Я хотел бы быть как можно ближе к Франции, чтобы иметь возможность видаться со своей семьей и заниматься домашними делами, которыми пренебрегал последние три года; и Брюссель, который, в дополнение к этим преимуществам, владеет языком, который позволил бы мне руководить образованием моих детей, является местом, в котором я был бы счастлив поселиться. Я попросил мсье Латура Дюпена в Гааге получить необходимое разрешение, позволяющее мне сделать это, и я искренне умоляю вас помочь ему, насколько это в ваших силах.

То же самое, что произошло в Нидерландах, произошло и во Франкфурте; я не получил ответа на свое письмо. Но его Превосходительство не бездействовал по отношению ко мне, и меня заверили, что он немедленно потребовал от сената этого свободного и суверенного города моего отстранения в течение двадцати четырех часов. К счастью, прусский офицер, который был вынужден следовать за мной и которому не понравилось такое продолжение нашего путешествия, убедил министра своего двора вмешаться, чтобы мне разрешили остаться во Франкфурте.

С этого момента все успокоилось, и волна британских преследований, которая, накатываясь издалека, так долго изводила мое существование, наконец прекратилась. Сенат разрешил мне

проживать во Франкфурте, и прусский офицер уехал. Вежливость сменилась грубостью: принц Харденберг, которому я написал, чтобы пожаловаться на свой арест в рейнских провинциях, ответил, что он сам был очень зол из-за этого. Из Вены пришел ответ, в котором мне любезно предоставлялось убежище, о котором я просил. Теперь я был свободен, и у меня появилась также надежда на то, что моя свобода будет соблюдаться в будущем, поскольку герцог де Ришелье, министр иностранных дел, к которому наш посол во Франкфурте обратился с просьбой относительно меня, ответил, как мне сказали, “что меня не тронут”.

Герцог де Ришелье, чувствуя свою независимость, без сомнения, последовал только импульсу своего природного великодушия, тогда как следует предположить, что эти чувства сдерживались в груди нашего посла во Франкфурте необходимостью давать клятвы в верности, поскольку он ранее был министром Наполеона при дворе короля Жерома. Такая линия поведения, без сомнения, была очень правильной с его стороны; но я имел право считать прискорбным, что в данном случае она была реализована за мой счет.

Моя первая забота, как только я получил свободу распоряжаться своими поступками, была всецело направлена на великую причину, которая вызвала мой отъезд с острова Святой Елены и привела меня обратно в Европу. Хотя я и был изгнан из Лондона, на котором возлагал свои самые большие надежды, я, тем не менее, с жаром воспользовался средствами, которые мне еще оставались.

Сначала я написал Марии Луизе, как это было связано моим долгом, и адресовал свое письмо ей, незапечатанное и в переплете князю Меттерниху, главному министру Австрии. Впоследствии я написал трем союзным государям. Я привожу здесь эти письма:

ПИСЬМО МАРИИ ЛУИЗЕ, НАПИСАННОЕ На МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ И ОТПРАВЛЕННОЕ В ЕВРОПУ.

Мадам, едва я покинул остров Святой Елены, как считаю своим долгом поспешить и положить к ногам вашего Величества кое-какие сведения от вашей августейшей супруги. Я был внезапно оторван от его присутствия, без какого-либо предварительного уведомления, и как бы поражен внезапной смертью рядом с ним, без возможности того, что он предвидел такое событие. Следовательно, мне не посчастливилось передать вашему Величеству какое-либо специальное послание; и именно из его повседневных привычек и разговоров я должен собрать сведения, которые осмелюсь передать вашему Величеству.

Равнодушный к общественным событиям, император Наполеон чаще всего предавался размышлениям о своих семейных воспоминаниях и привязанностях. Он был опечален тем, что так и не получил, хотя официально требовал этого от тех, кто его охраняет, никаких вестей от тех, кто ему больше всего дорог. Ваше величество найдет живое выражение этого сожаления, начертанного рукой вашего прославленного супруга, в письме, которое он оказал мне честь написать после того, как я была разлучена с ним, копию которого я возьму на себя смелость представить вашему Величеству.^[30]

Здоровье императора после моего отъезда сильно пошатнулось, и его положение было самым тягостным во всех отношениях, поскольку он был подвержен многочисленным нуждам и лишен всяческих удовольствий. К счастью, его разум восторжествовал над всем и оставался спокойным и безмятежным.

Я видел, как он был вынужден каждый месяц продавать часть своей посуды, чтобы удовлетворить свои ежедневные потребности, и был доведен до необходимости принимать небольшую сумму, которую верный слуга имел счастье иметь в своем распоряжении в Англии, когда уходил от него.

Мадам, руководствуясь чувствами, которые наполняют мое сердце, я беру на себя смелость, как преданный слуга, возложить к ногам вашего Величества, в надежде быть приятным вам, дорогую мне жертву, а именно несколько волос вашей августейшей супруги, которые долгое время находились в моем распоряжении. Я осмеливаюсь также одновременно послать вашему величеству план Лонгвуда, нарисованный моим сыном для своей матери. Вашему величеству, без сомнения, будет интересно изучить эту отдаленную пустыню во всех подробностях.

По прибытии в Европу моим первым шагом было бы броситься к ногам вашего Величества, если бы священный долг не обязывал меня остаться в Англии, чтобы посвятить каждое мгновение своей жизни попыткам доставить средствами, разрешенными британскими правилами, некоторое утешение обитателям этой ужасной скалы, которая навсегда остается предметом моих самых нежных забот. Британские министры не откажут мне в разрешении заняться этим благочестивым занятием. Я буду горячо просить об этом и выполнять его с преданностью. Я и т.д.

ПОДСЧИТАЙТЕ ВСЕ СЛУЧАИ.

P. S. По прибытии в Европу, мадам, я был изгнан Англией, арестован на Континенте, задержан по болезни во Франкфурте и только что получил убежище во владениях вашего августейшего отца. Я пользуюсь первой минутой моей свободы, чтобы адресовать вашему Величеству вышеупомянутое письмо, которое было написано для вас на оконечности Африки, на расстоянии трех тысяч лье. Я умоляю ваше Величество соизволить благосклонно принять это, и это послужит некоторым утешением в моих страданиях.

ПИСЬМО КНЯЗЮ МЕТТЕРНИХУ, СОДЕРЖАЩЕЕ ПРЕДЫДУЩЕЕ.

Принц, спешу выразить вашему Высочеству мою искреннюю благодарность за предоставленное убежище во владениях его Величества Императора.

В то же время я беру на себя смелость препроводить вам письмо для ее Величества Марии Луизы. И здесь, принц, я умоляю вас позволить мне отложить в сторону публичный статус, которым наделено ваше высочество, и обратиться к вам только в вашем личном качестве. Я хочу попросить совета, а не совершить действие. Так долго отсутствовавший в Европе, я мог неосознанно и невольно нарушить правила целесообразности. Я отдаюсь излиянию своего сердца.

Принц, результатом этих различных чувств стало то, что я решил доверить письмо, которое я прилагаю здесь в незапечатанном виде, вашему усмотрению и личному суждению. Опять же, результат тех же самых чувств побуждает меня представить вам императора Наполеона, загнанного на свою скалу преследованиями личных врагов и покинутого всем остальным миром. Отныне я буду жить только надеждой предоставить ему какие-то источники утешения. Из ежедневного общения в течение восемнадцати месяцев и, могу сказать, из некоторых моментов безоговорочного доверия я знаю тех, кто был бы ему наиболее дорог. А кто может знать Наполеона лучше, чем я? Он уже чувствует и рассуждает на темы прошлых событий своей

собственной истории, как будто они произошли триста лет назад. Он остается неизменным только в том, что касается семейных чувств. Какие бы политические события ни происходили, у него нет никаких сомнений на счет внутренних настроений. Как, по каким каналам, какими средствами я мог бы, не нарушая правил целесообразности или каких-либо предписаний и намерений, получить непосредственную информацию о его жене и сыне? Принц, я снова повторяю, что это общение от мужчины к мужчине: это одно сердце вопрошает другое.

Во время моего пребывания на острове Святой Елены у нас не было и не могло быть никаких контактов с комиссаром из Австрии. Ваше Высочество, должно быть, прочитали в публичном документе,^[31] написано в ответе губернатору, что, *если австрийский и российский комиссары были отправлены проследить, чтобы с Наполеоном обращались надлежащим образом и с должным к нему уважением, эта мера соответствовала характеру их Суверенов; но что губернатор, заявив, что они не имели права или полномочий вмешиваться. по данному вопросу, этим заявлением они были признаны неприемлемыми.* В то же время Наполеон публично заявил, что охотно принял бы их как частных лиц, однако мы их не видели; будь то то, что таков был смысл их инструкций, или, как у меня есть больше оснований предполагать, что губернатор хотел подвергнуть их, как частных лиц, ограничениям, которые ухудшили бы их репутацию.

Ваше высочество увидит по копии письма, переписанного для ее Величества Марии Луизы, с какой строгостью относились к австрийскому ботанику и насколько сильно это обстоятельство задело императора Наполеона. Я снова повторяю вашему Высочеству выражение характера моих чувств и заверение в высоком уважении, с которым я отношусь, и т.д.

ПОДСЧИТАЙТЕ ВСЕ СЛУЧАИ.

P. S. В случае, если мое письмо для ее Величества Марии Луизы не будет доставлено ей, я прошу ваше Высочество оказать мне особую милость и вернуть мне вложенный в него волос.

ПИСЬМО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ИМПЕРАТОРУ РОССИЙСКОМУ.

Сир, чувство, священный долг приводят меня к ногам вашего Величества.

Ревностный и верный слуга королевской особы, пострадавшей в несчастье, осмеливается возвысить свой голос до вашего трона, окруженного всеми благами, какие только может даровать судьба; неужели вы откажетесь услышать его?

Неожиданно оторванный от Наполеона и, так сказать, пораженный внезапной смертью рядом с ним, я с тех пор блуждаю, как в другой вселенной, повсюду преследуемый воспоминаниями о страданиях, свидетелем которых я был и которые больше не могу разделить.

Именно у ваших ног, сир, мое сердце побуждает меня искать облегчения моего горя, поддержки моей надежде.

Ваш договор от 2 августа 1815 года с вашими прославленными союзниками предусматривает, что Наполеон является вашим пленником, и передает Англии владение его личностью, а также заботу и необходимые меры по его задержанию.

Я ничего не скажу против этого договора, сир; я даже не буду жаловаться на то, как британские министры выполняют ту часть договора, которую вы доверили их заботам.

Высокие интересы политики, великие обиды, как бы они ни давили на мое сердце, в этот момент далеки от моих мыслей; одни домашние заботы занимают мою грудь.

Поэтому я умоляю ваше Величество, как я умолял ваших высоких Союзников,^[32] соблаговолить удовлетворить просьбу, с которой я обращаюсь к английскому правительству, позволить мне посвятить себя в Лондоне заботе о том, чтобы обеспечить прославленному пленнику, с помощью средств, разрешенных законами и правилами, некоторые моральные удовольствия и некоторые физические удобства, которые не будут обременительными. к любому телу.

Моя просьба, сир, - это невинная услуга, естественная и простая, против которой не может быть выдвинуто никаких разумных возражений; более того, я не лишен серьезных претензий на внимание вашего величества. Вы далеко не чужой для них человек.

Предоставляя другим опеку над пленником, ваше Величество, безусловно, не отказывались от своего права распоряжаться знаками внимания и уважения, подобающими его священной особе. Отказываясь от всякого политического вмешательства, ваше Величество не намеревались препятствовать себе вносить свой вклад в утешение, одобренное вашими личными чувствами, и в те послабления, которые не мешают достижению поставленной главной цели.

Каждый день, сир, на остров Святой Елены налагаются цепи, и их тяжесть усугубляется вашим именем. Неужели вы, сир, позволили своему имени попасть в это место только для того, чтобы санкционировать одиозные и невыносимые жестокие действия?

Тот, над кем совершаются эти действия, сир, тот самый, кому вы долгое время давали имя *брата*. Ваше королевское сердце не может забыть этого, оно не может остаться бесчувственным. Поэтому я взываю, чтобы добиться небольшой услуги, к вашему сочувствию, к вашим воспоминаниям и даже к вашему достоинству. Ваш великодушный ум, сир, показал себя слишком большим другом общественной морали, он проявил слишком много личной деликатности и великодушия в различных своих проявлениях, чтобы позволить мне хоть на мгновение усомниться в успехе.

И что же, сир, еще раз повторяю, является целью, для которой я нуждаюсь в вашей защите? Просто иметь возможность находиться рядом с местом связи и транспортировки, то есть в наиболее благоприятном месте и в наиболее подходящей ситуации, иметь возможность, в соответствии с предписанными формами и правилами, продолжать издали те домашние заботы, которые мне больше не разрешается выполнять в самой тюрьме : вот и все.

Тем не менее, сир, я умоляю и ожидаю этой милости от вашего величества. И как бы я был счастлив, если бы ваше Величество соизволили дополнить это тем, что доверили бы моей заботе ту часть личных и моральных интересов, от которых ваши великие дела не могли заставить вас отказаться. И кто лучше меня, сир, мог бы выполнить этот долг? Кто мог бы посвятить себя ему с большим рвением? Я изгнал себя из своей родной страны, чтобы иметь возможность посвятить этой цели всю оставшуюся жизнь без помех и ограничений. Соблаговолите, сир, выслушать меня и исполнить мою просьбу, умоляю вас. И на кого же возложить эти заботы? В чью пользу я прошу разрешения пожертвовать собой? Сир, это в пользу человека, которого вы когда-то называли своим другом.

Правление вашего Величества достаточно отмечено чудесами и памятниками славы; ими история уже обеспечена; пусть она также зафиксирует деяния более возвышенных добродетелей; сделайте что—нибудь для дружбы! — Пусть история скажет о вас: в разгар самого ожесточенного политического противостояния, которое когда-либо существовало, он подал пример чего-то еще более великого, чем победа - он помнил, он уважал чувства древней дружбы!

Сколько раз на нашей скале я слышал, как император Наполеон рассуждал о прошлых событиях своей жизни, как будто они произошли несколько столетий назад, и, уже говоря языком истории, говорил: *У меня никогда не было никакой войны с императором Александром, кроме политической; эта война не имела ничего общего с нашими личными чувствами: я не могу предположить, чтобы он испытывал ко мне какую-либо личную неприязнь.* Обстоятельство, которое было бы достойно вас, сир, укрепило его в этом мнении. С нашей скалы до нас дошло сообщение, что уполномоченный вашего Величества на острове Святой Елены в конце своих инструкций получил рекомендацию, написанную собственноручно вашим Величеством, настоятельно предписывающую ему оказывать императору Наполеону такие же знаки уважения, какие оказываете вам. Мы с удовольствием повторили ему этот отчет; мы знали, что он был доволен им. Такой порядок действий соответствовал характеру вашего Величества, и мы верили в него, не имея, однако, возможности убедить самих себя в его истинности; ибо (по крайней мере, во время моего пребывания) мы никогда не могли поддерживать никаких контактов с Уполномоченным вашего Величества. Вы, несомненно, слышали, что губернатор острова Святой Елены потребовал от Наполеона принять уполномоченного вашего Величества и вашего прославленного союзника, императора Австрии, и приказал дать следующий ответ: *Что если эти Уполномоченные получили от своих Хозяев приказ позаботиться о том, чтобы на острове посреди океана, удаленном от остального мира, к нему относились с подобающим ему уважением, то он в этой мере признает характер этих двух принцев; что губернатор заявил, что они не имели права вмешиваться ни в что, происходящее на этой скале, и они из в тот момент в его глазах не было официального характера.* Он, однако, добавил, что был бы счастлив видеть их как частных лиц; но это сообщение осталось безрезультатным либо из-за того, что они никогда не были проинформированы об этом, либо из-за их инструкций, не позволяющих им воспользоваться этим преимуществом; или, наконец, возможно (и я вовсе не считаю это невероятным), потому что английский губернатор хотел в таком случае поставить их в определенные условия, несовместимые с их характером.

Если я таким образом осмелился, сир, вознести свой смиренный голос к вашему величеству, то моя смелость была вдохновлена полной, горячей и неизменной преданностью, которую я питаю к тому, кто когда-то правил мной, кто был моим повелителем ... и это чувство будет в мою пользу в глазах вашего Величества.

Я есмь ит.Д.

ПОДСЧИТАЙТЕ ВСЕ СЛУЧАИ.

С сердцем, все еще угнетенным всем дурным обращением, которому я подвергся со стороны британского правительства, я счел своим долгом пожаловаться лорду Батерсту в следующем письме, которое, кстати, хранилось в секрете более десяти месяцев и могло бы оставаться таковым вечно, если бы мистер Гоулберн, заместитель государственного секретаря,

некоторыми неуместными и некорректными утверждениями, которые он сделал в Палате общин в отношении меня, как будет показано ниже, не вынудил меня в некоторой степени опубликовать его. Это обстоятельство, однако, является дополнительным залогом для читателя подлинности и правильности всех изложенных мною фактов.

ПИСЬМО ГРАФА ДЕ ЛАС КЕЙССА ЛОРДУ БАТЕРСТУ.

Милорд, если бы я молча сносил произвольные и тиранические действия, нарушение законов, презрение ко всем формам, нарушение принципов, жертвой которых я был более года, пока находился в руках ваших агентов, мое молчание могло бы быть истолковано как молчаливое согласие, которое сделало бы меня виновным перед самим собой, перед вами и перед обществом в целом. По отношению к себе, потому что у меня есть достаточно оснований требовать возмещения ущерба; по отношению к вам, которые не осведомлены о причинах моей жалобы и, возможно, поспешили бы предоставить мне это возмещение; и по отношению к обществу, от имени которого каждый честный человек должен сурово противостоять посягательствам власти, ради чести законов и защиты тех, кто придет после него.

Мой господин, если я так долго откладывал изложение вам своих жалоб, вина лежит на вас самих, на преследовании, которое обрушилось на меня у ваших берегов, и на том, чему вы дали толчок в соседних странах. На самом деле могло бы показаться, что для меня была изобретена своего рода пытка - депортация по большим дорогам. Меня перевозили из города вгород, как преступника, хотя я был при смерти, без каких-либо мотивов для такого поведения и без возможности отдохнуть. Как же тогда я смог написать вам?

Если я сейчас обращаюсь к вашей светлости лично по поводу того, что меня касается, то это потому, что все действия, на которые я должен жаловаться, возникли и продолжались в вашем ведомстве и от вашего имени; и если с тех пор другие руки притесняли меня, я в долгу перед вашей светлостью за то, что они оказались в пределах их досягаемости, и перед вашими предложениями относительно обращения, которому они меня подвергли.

Милорд, я один из четырех, до которых вашими приказами в Плимуте было сокращено число тех, кто страстно искал счастья и славы последовать за прославленной жертвой *ужасного гостеприимства "Беллерофонта"*; я изо всех сил следовал своему священному занятию в Лонгвуде; все силы моего сердца и души были заняты тем, чтобы смягчить самое жестокое заточение, когда-либо известное, когда губернатор Святой Елены внезапно увез меня с этого острова. Возможно, он был прав: я нарушил его правила. Но, в конце концов, я не был виновен ни в каком другом преступлении, кроме как в том, что воспользовался правом, которым обладает каждый заключенный, пытаюсь без всяких угрызений совести обмануть бдительность своего тюремщика; ибо между нами не осталось ничего, кроме деликатности, доверия или чести. Я не жаловался на судебное разбирательство, примененное против меня. Я был только огорчен неуместным оскорблением, нанесенным тому, с кем я был разлучен. Я был арестован почти рядом с ним, почти у него на глазах; по этому поводу он написал то, что вы, без сомнения, читали, что, увидев меня из своего окна спешащим по равнине, среди развевающихся плюмажей и гарцующих вокруг меня лошадей, ему показалось, что он видит дикарей Южного моря, которые в своей свирепой радости танцуют вокруг жертвы, которую они собираются сожрать.

Милорд, для меня было естественно полагать, что причина того, что со мной произошло, - передача секретных документов моему слуге по его собственной просьбе - была всего лишь результатом расставленной мне ловушки. Сам губернатор согласился со мной, что внешний вид может оправдать мои подозрения; но он дал мне честное слово, что не имеет никакого отношения к этому делу, и я ему поверил. Однако первоначально предполагалось, что эти секретные документы пройдут через руки губернатора; они были бы адресованы ему, если бы он незадолго до этого не сообщил мне, что, если я продолжу писать в том же стиле, он разлучит меня с тем, кому я посвятил свое существование. Это утверждение настолько верно, и сами по себе документы были настолько неважны, что с тех пор о них никогда не упоминали; они оставались совершенно никак не связанными с событием, к которому привели.^[33]

Милорд, мое пленение на острове Святой Елены было исключительно добровольным. Согласно вашим собственным правилам, оно должно было прекратиться по моему желанию. Поэтому, как только я оказался разлучен с Лонгвудом, я дал понять сэру Хадсону Лоу, что с этого момента я выхожу из-под его личного контроля и снова перехожу под защиту гражданского и общего законодательства; что, если я совершил какой-либо проступок, я требую, чтобы меня отправили в присутствие моих судей; что, если он сочтет необходимым представить на рассмотрение министров мои бумаги, которые я дал ему достаточно времени изучить и понять, я хотел бы, чтобы они были отправлены вам, милорд, и чтобы меня отправили с ними. И для того, чтобы у него было меньше трудностей с принятием этого решения, я описал ему ужасное состояние моего здоровья и неминуемую опасность для моего сына, которая требовала отправки нас туда, где мы могли бы получить первую медицинскую консультацию; и я далее добавил, что я добровольно и безоговорочно подчинился всем ограничениям, какими бы незаконными они ни были, которые ваша светлость могли бы счесть необходимыми наложить на меня, когда я прибуду в Англию. Сэр Хадсон Лоу не считал себя вправе пойти на этот шаг; и после того, как он долго колебался и продержал меня взаперти на острове в течение пяти или шести недель, он, наконец, отправил меня на мыс Доброй Надежды в соответствии с буквой своих инструкций; мера, которую он мог и, несомненно, должен был принять в течение нескольких дней после моего ареста. Этот Губернатор, в то же время, хранил те мои бумаги, которые считал необходимыми, не разрешая мне ставить на них свою печать, или он разрешал мне делать это только при насмешливом условии моего явного согласия на то, чтобы он сломал печать в мое отсутствие, если сочтет нужным, что было равносильно запрету запечатывать их вообще.

С помощью подобных уловок сэр Хадсон Лоу мог бы точно так же утверждать, что в моих силах было вернуться в Лонгвуд; правда, побуждаемый моими доводами и деликатностью своего положения по отношению ко мне, он предложил мне вернуться туда, потому что это избавило бы его от затруднительного положения. Но в то же самое время, когда он сделал это предложение, он сделал невозможным для меня принять его: 'Вы опозорили меня,' сказал я ему, - арестовав в присутствии Наполеона; я больше не мог быть для него объектом утешения, а скорее таким, которое вызвало бы у него болезненные и оскорбительные воспоминания. Я не мог снова появиться в Лонгвуде, кроме как по его прямому желанию. Я попросил разрешения написать; я даже написал, чтобы узнать, существует ли такое желание; но сэр Хадсон Лоу настаивал на том, чтобы продиктовать или проконтролировать выражения моего письма, и я был вынужден отказаться. Его преимущества были уже слишком велики, поскольку он находился среди близких заключенных, действиями которых он отдельно руководил по своей воле. Кроме того, если я даже вернусь, он не согласится вернуть мне мои документы. Уже на следующий день он мог повторить на мне или на моих несчастных товарищах пример таких

унизительных действий властей; я испытывал горе оттого, что открыл дверь такому злоупотреблению властью, и мое возвращение дало бы этому прецедент на будущее: следовательно, у меня не оставалось иного выхода, кроме как покинуть Остров с болью в сердце.

Я думаю, милорд, что изложил вам все, что касается моих дел на острове Святой Елены; этот отчет подтверждается и развивается в моей переписке с сэром Хадсоном Лоу, все документы которой, тщательно составленные и упорядоченные мной самим, были изъяты в Темзе по вашему указанию и в настоящее время находятся в вашем распоряжении.

Милорд, когда я прибыл на мыс Доброй Надежды, я подумал, что у меня больше возможностей пользоваться защитой ваших законов. Вдали от рокового острова, где некоторые нарушения, возможно, могли бы придать оттенок важности мотиву, послужившему их причиной, я очутился на расстоянии пятисот лье от него, в тихой колонии, управляемой бесконтрольным действием ваших превосходных законов, столь заслуженно превозносимых. Каково же было мое изумление! Лорд Чарльз Сомерсет без труда сделал на Мысе то, на что сэр Хадсон Лоу не осмелился на острове Святой Елены, — взял меня в плен. Напрасно я обращался с теми же мольбами и приводил те же доводы; напрасно я предлагал те же уступки, что и сэру Хадсону Лоу, чтобы меня отправили к вашей светлости в Европу; все было бесполезно: он задержал меня. И это был акт его собственной воли и каприза, поскольку сэр Хадсон Лоу не был его начальником и поэтому не мог отдавать ему никаких приказов. Лорд Чарльз Сомерсет правил бесконтрольно; он обладал дискреционной властью; он мог и должен был быть судьей общей юрисдикции в моем деле, но он постоянно отказывался слушать меня, отвергал все объяснения и, несмотря на мои горячие и настойчивые заявления, довольствовался тем, что хладнокровно расспрашивал моих естественных судей, находящихся на расстоянии трех тысяч лиг, правильно ли он поступил, отправив меня к ним; таким образом, с этого момента мне был вынесен самый ужасный приговор, который когда-либо мог вынести какой-либо трибунал: изгнание и тюремное заключение сроком на семь или восемь месяцев, а также лишение свободы на семь или восемь месяцев. отделенный тремя тысячами лье от моей семьи, моих личных дел, моей страны, моих связей и всех моих привязанностей.

Милорд, согласно святости ваших законов и принципам, которые были переданы вам вашими предками, лорд Чарльз Сомерсет стал виновным по отношению ко мне в величайшем из преступлений; преступлении, которое в глазах многих людей приравнивается к убийству, и которое, судя по мукам, которые мне пришлось вынести, превосходит его в моих глазах. Я осуждаю это перед вами и требую правосудия в ваших руках. Нет ни одного англичанина, дорожающего своими благородными привилегиями, чей голос не совпадал бы с моим и кто не составил бы себе правильного представления о муках, которые я перенес. Напрасно будут утверждать, что Капская провинция - всего лишь колония, управляемая военной державой и все еще, в определенной степени, подчиняющаяся голландским законам. Милорд, справедливость и защита британских законов должны царить везде, где распространяется британское имя. То, что считалось бы преступлением на берегах Темзы, не может быть безразлично в той части Африки, над которой развевается британский штандарт.

Я не был военнопленным; я мог быть только заключенным, подлежащим трибуналу. Продержать меня восемь месяцев отдельно от моих судей - это отказ в правосудии, который заставил бы содрогнуться англичанина; наказать меня без суда и следствия - это акт тирании, который

противоречит вашему законодательству. О чем я просила лорда Чарльза Сомерсета? Требовала ли я своей свободы? Нет; я только попросила, чтобы меня отправили к вам в качестве пленницы и подвергли суду, если для этого будут основания. Но в данном случае он щеголял тем, что разум считает самым священным, что наиболее приятно сердцу и дороже всего человеку. Каковы могли быть его мотивы? Какие оправдания он мог привести? Он постоянно и упрямо отказывался что-либо давать. И здесь, милорд, я желаю, чтобы было понятно, что негодование и горе не заходят так далеко, чтобы не отличать в лорде Чарльзе Сомерсете личное внимание, с которым он пытался смягчить мое заточение, от позора публичного акта, которым он обрек меня на это; хотя это правда, что к концу моего пребывания теплота моих выражений и, без сомнения, настойчивость моих просьб вывели его из себя настолько, что побудили оставить меня взаперти в деревне, несмотря на мои мольбы и плачевное состояние. о моем здоровье, вне ежедневной досягаемости врачей и лекарств.

Наконец, милорд, после семимесячного плена мне дали понять, без сомнения, в соответствии с приказами, полученными от вашей светлости, что мне осталось только нанять судно, которое доставит меня в Англию. Напрасно я просил выбрать какую-нибудь возможность, которая обеспечила бы некоторые из тех удобств, которых требовало тяжелое состояние моего здоровья и здоровья моего сына; мне под тем или иным предлогом отказывали во всех подходящих кораблях; и выбор, который мне оставили, свелся к единственному судну накануне отплытия; и даже на это указал мне сам губернатор. Я был вынужден отправиться на нем в качестве *заключенного*, и все же *за свой счет*; (это, кстати, кажется несколько противоречивым;) и на этом бриге, водоизмещением в двести тридцать тонн и экипажем в двенадцать человек, нам пришлось выдержать почти стодневное плавание без врача и подвергнуться всем неудобствам, всем лишениям, всем бедам, сопутствующим столь маленькому судну.

Это, милорд, все, что касается моего дела на мысе Доброй Надежды, доказательства и подробности которого можно найти в моей переписке с лордом Чарльзом Сомерсетом, которая была изъята в Темзе по вашему приказу и в настоящее время находится в вашем распоряжении.

Достигнув ваших берегов, милорд, я думал, что мои неприятности подошли к концу. По прибытии на Мыс Кейп я имел честь направить письмо принцу-регенту, умоляя его о королевской защите; я также написал письмо вашей светлости потому же вопросу, и я не сомневался, что приказ о моем возвращении был дан благодаря этим письмам. Я уже чувствовал, что мои страдания облегчаются приятной перспективой повидаться с некоторыми друзьями, которые у меня есть в Лондоне, и возобновить ведение моих личных дел, которые были либо запущены, либо полностью разрушены за время отсутствия более чем на три года; но каково же было мое удивление! По прибытии на Темзу меня немедленно поместили в одиночную камеру и наложили печати на мои документы. Несколько часов спустя один из ваших посланцев явился, чтобы схватить меня посреди ночи, передал мне приказ о моей отправке на Континент и отвез меня в Дувр с целью отправки туда. Произошла задержка на три дня, и его рвение побудило его на этот раз отчитаться: он вернул мне мои бумаги; предоставил мне все возможности для письма; сделал все, что мог, чтобы побудить меня писать, и дождался самого последнего момента перед моим отъездом, чтобы самым тщательным образом просмотреть мои бумаги и унести их с собой, все до последней написанной строчки. Это, милорд, своего рода ловушка, которую я далек от того, чтобы приписывать какой-либо другой причине, кроме низости человека, который ее расставил.

Аналогичное обстоятельство имело место на острове Святой Елены. Сэр Хадсон Лоу, продержав меня взаперти пять недель, в течение которых он предоставлял мне все возможности писать, пожелал, когда я уезжал, снова порыться в моих бумагах; но мне было достаточно заметить ему, насколько странным показалось бы, что он позволил мне доверить бумаге идеи, которые в противном случае я бы хранил в своей груди. Сэр Хадсон Лоу немедленно отказался от этой мысли; это признание, которое, отдавая должное губернатору, я обязан сделать.

Что кажется наиболее странным, милорд, и чему вряд ли поверят, так это то, что ваш посыльный упаковал все мои бумаги, несмотря на мои протесты, и забрал их у меня, не составив их описи и не выполнив ни одной из формальностей, требуемых всеми общепринятыми понятиями юриспруденции во всем мире. Убежденный, что это отступление от основных принципов проистекало из невежества младшего офицера, а не из приказов министра, я стремился в ваших собственных интересах, милорд, исправить зло, получив бумаги и поспешив скрепить их своей печатью, чтобы вы могли вовремя исправить ошибки ваших агентов. Я очень хочу, чтобы ваша светлость оценили мотивы этого разбирательства; оно было предпринято исключительно с целью, как вам станет ясно из характера моих бумаг, дать вам представление о моем характере и доказать мою умеренность. Я имел честь написать лорду Сидмауту по этому поводу под влиянием момента и в то же время указать ему, насколько необходимым было бы мое присутствие при рассмотрении моих бумаг, которые очень легко понять по самому незначительному объяснению от меня, но которые могут остаться совершенно непонятными в мое отсутствие. Лорд Сидмут не удостоил меня ответом.

Однако ваш агент, милорд, переступив границы порядочности и великодушия, которые особенно характеризуют представителей вашей нации, ухитрился придать своей миссии больше горечи, чем можно было себе представить. После того, как он однажды обидел меня, грубо оскорбив человека, которого я почитаю превыше всех остальных в этом мире, он осыпал меня всеми оскорблениями, какие только допускает язык, только по той причине, что я не хотел вступать с ним в разговор. Он получил ваш приказ охранять меня; но мог ли он предположить, что вы хотите распространить свою власть так далеко, чтобы заставить меня общаться с ним? У этого человека был помощник, на которого у меня нет причин жаловаться, хотя он и принимал участие в том обращении, которому я подвергся; однако я мог время от времени замечать в нем некоторую сдержанность по отношению ко мне; и, кроме того, другой человек подстегивал и возбуждал его.

Ваш посланник, милорд, передав мне посреди ночи приказ о моем перемещении, не оставил мне другого выбора, кроме Кале или Остенде. Едва я оправился от своего удивления, как мне пришлось немедленно принимать решение. Несколько часов спустя, поразмыслив, я спросил, нельзя ли мне уехать в Америку или в какую-нибудь другую часть Континента. Посланник ответил отрицательно и сказал, что он уже написал правительству, чтобы сообщить о сделанном мною выборе; я снова настаивал на этом, но он заверил меня, что убежден, что все мои усилия будут напрасны. Могло ли его утверждение быть правдой, милорд? Мне трудно в это поверить; тем не менее оно определило мою судьбу.

Я видел, но мне не разрешили держать в руках приказ Его Королевского Высочества принца-регента, который предписывает мне немедленно покинуть Англию. Был ли этот отказ простой формальностью? Была ли это принятая мера предосторожности? Повлек ли за собой этот королевский поступок какую-либо ответственность, или опасались, что я могу гордиться этим?

И, в самом деле, могло ли быть иначе, когда, не вменяя мне в вину никакого преступления, это, казалось, было всего лишь наказанием за акт редчайшей преданности, за поступок слуги, жертвующего собой ради своего хозяина, когда фортуна покинула его.

Милорд, когда ваша светлость ограничились мой выбор, я предпочел Остенде Кале из чистых побуждений деликатности, подсказанных мне нежной любовью к моей стране; мне было бы слишком больно, если бы моих соотечественников когда-либо обвинили в преследовании меня за добродетельный поступок. Такое поведение с их стороны, возможно, было бы, по крайней мере, простительным; что касается вас, милорд, то мое удаление из Англии было вызвано простым капризом, суровостью, которую ничто не может смягчить.

Однако сейчас я нахожусь на Континенте, куда вы забросили меня против моей воли. Позвольте мне, милорд, остановиться здесь на мгновение. Я знаю все обстоятельства своей жизни; и, к счастью, в Европе нет ни одного уголка, куда я не мог бы ступить с легким сердцем, открытым лицом и твердой поступью. Но вы, милорд, у которого нет ни досуга, ни желания, ни средств расследовать мою темную карьеру, если бы случайно я оказался в опасности из-за политических разногласий, во время существования которых все действия, которые запрещены, следовательно, не являются преступлениями, если бы я пал жертвой, меня назвали бы жертвой; но вы, милорд, кто выдал бы меня, какое имя не было бы дано вам? Разве вы не подставили себя под удар, когда о вас сказали: "В то время как английское законодательное собрание гордится тем, что отменило торговлю черными рабами на островах Америки, британские министры торгуют белым мясом на европейском континенте!"

Милорд, вследствие импульса, который ваша светлость придали моей судьбе, я был схвачен и препровожден через королевство Нидерландов как преступник; и, хотя я был при смерти, со мной обращались без пощады. Я громко жаловался на такое поведение. По этому поводу, милорд, осмелюсь ли я повторить вам некоторые неприятные истины, которые были мне сказаны? Но почему бы и нет? Все ваши соотечественники имеют право бесстрашно говорить правду британскому министру, и это в гораздо большей степени относится к иностранцу, у которого есть такие справедливые мотивы для жалоб и скорби. Итак, милорд, когда я пожаловался на столь возмутительное злоупотребление властью по отношению ко мне, меня спросили, из какой части света я прибыл и откуда взялось мое удивление? Некоторые люди говорили мне: 'У нас хороший король; не придирайтесь к нему; он всего лишь инструмент, который наносит вам удары; рука тирана, которая им управляет, находится дальше'. Другие добавляли: 'Английская нация уже давно имела поселения в Индии в интересах своей торговли, и английские министры сейчас основывают некоторые на Континенте, чтобы способствовать своему деспотизму. Когда их власть ускользает от Англии, они распространяют ее на Континент. Они разместили среди нас свои орудия пыток и своих палачей, и вам не скрыться ни от их инквизиции, ни от наказаний, к которым она приводит.' Затем последовал шквал оскорблений и проклятий в адрес Англии и англичан. Нет сомнения, милорд, что люди мудрые, хорошо информированные и свободные от страстей, не заблуждаются на этот счет и знают, на ком одном лежит вина. Они могут очень хорошо отличить превосходство законов от их нарушения и от злоупотребления властью; они знают, что истинные англичане питают отвращение ко всем видам тирании, будь то дома или за границей; что на своем острове они являются самыми пылкими защитниками, самыми ревностными хранителями великих и благородных истин, которые на нашем Континенте являются объектами наших надежд и наших желаний. Но

большинство людей не рассматривают этот вопрос так пристально; они считают, что это кратчайший способ напасть на целую нацию и привлечь ее к единому общему осуждению.

Но, милорд, в чем, в конце концов, мое преступление? Я спрашиваю, что может быть мотивом столь жестокого преследования? и страны, в которых это преследование продолжилось благодаря импульсу, который вы дали, объединяются со мной в требовании этого. Повсюду власти, которые осуществляли свою юрисдикцию в отношении моей личности, тщательно избегали встречи со мной. Права, которыми я обладал, поставили бы их в неловкое положение, и они не смогли бы найти никакого мотива для своих действий. Они не знают о происхождении и причине их возникновения. От мыса Доброй Надежды до того места, где я сейчас нахожусь, всякий раз, когда я спрашивал, какой приговор был вынесен, какое обвинение было выдвинуто против меня, мне отвечали предъявлением судебного приказа; а когда я требовал указать мотив преступления, я вообще не получал ответа.

Милорд, я имел честь обратиться к вам с Мыса со следующими замечаниями, которые я сейчас повторяю: — Какие разумные возражения могут быть выдвинуты против выраженного мною желания поселиться в вашей стране и среди вас? Опасались ли, что я буду беседовать и писать на политические темы? Но если бы я это сделал, какие неудобства это могло причинить Англии? Опасались ли, что я опубликую нежелательные жалобы на вашу администрацию? Но есть ли на Континенте место, где мне запрещено высказывать эти жалобы и где я не нашел бы всех желающих выслушать их? Находясь на вашей собственной территории и в пределах вашей досягаемости, разве это не была ситуация, в которой вы имели бы самую надежную власть надо мной и самую большую власть надо мной? Если бы я стал виновным, разве у вас не было бы ваших общих законов? Если бы я стал несносным, разве у вас не было бы ваших частных законов; и, более того, *вашего закона об иностранцах*? Наконец, и это превыше всего, у вас было, как залог моей сдержанности и умеренности, мое желание оставаться рядом с вами. Это желание было велико, милорд, и я скажу вам почему. Мое пребывание в Англии позволило бы мне осуществить надежды и предназначение моей жизни, навсегда посвятив себя обеспечению (в соответствии с вашими правилами и через разрешенный вами законный канал) некоторых утешений для того, о ком я скорблю. Я полагаю, милорд, что вы и ваши коллеги обладаете достаточной степенью возвышенности ума, чтобы выполнить в данном случае политический долг и в то же время оставаться чуждыми любых мотивов личной вражды. Обеспечив надежную охрану пленника, вы не можете отказываться от каких-либо поблажек, которые не являются для вас бременем; напротив, вы облегчите ему способы их получения. Поэтому я умоляю позволить мне взять на себя священный долг по их дарованию; мое сердце чувствует необходимость выполнить его: я сделаю это добросовестно. Я бы убедил вас, милорд, если бы мог видеть вас, и я еще не отчаиваюсь; я все еще снова прошу ...

Я также предполагал, милорд, должен признаться, что еще один шанс моего поступления существовал в желании, которое ваша светлость, должно быть, испытывали, воспользоваться столь благоприятной возможностью узнать правду. Я думал, что и ваше положение, и ваш характер подтолкнул вас к этому. И каких только противоречивых доказательств вы бы таким образом не получили, которые помогли бы вам выполнять ваши благородные функции присяжных! Я бы ответил на все ваши вопросы откровенно и бесстрастно; я бы спокойно убедил вас, если бы вы этого пожелали, во всех заблуждениях, в которых многочисленность и важность ваших дел вынуждают вас оставаться по отношению к нам. Я прочитал в трех разных газетах, "Таймс", "Нью Таймс" и "Лондон Кроникл", ваш ответ лорду Холланду на его ходатайство

относительно острова Святой Елены; и я могу заверить вас, что почти каждая его строка основана на ошибке.

Боже упаси, милорд, чтобы я заподозрил, что вы сами не верите в то, что заявляете! Но ваша информация была ошибочной. Ваша светлость, например, подтвердили, что ни один из родственников императора Наполеона не писал ему; тогда как я сам передал ему три или четыре письма, отправленных вами через сэра Хадсона Лоу, от мадам Мер, от принцессы Боргезе и от его брата Люсьена. Факт сам по себе, милорд, неважен; но недостаток точности в этом пункте должен возбудить ваши сомнения у других и подтвердить, в некоторой степени, мои утверждения относительно остального. Повторяю, та часть вашей речи, касающаяся меня, настолько искажена, что, несмотря на неблагоприятное предубеждение, которое я имею право питать к сэру Хадсону Лоу, я убежден, что он сам возразит против некорректности этого заявления. Как бы то ни было, милорд, в пылу противостояния и конфликтующих сторон из одного и того же факта неизменно делаются *дваистинных вывода*, и мой вывод никак не может быть точно таким же, как ваш. Общественность осведомлена об этом и поэтому пожелала бы подтвердить это на основании официальных документов. Но вы сочли уместным отказаться предъявить эти документы; разве вы не закрепите тем самым общественное мнение?

Милорд, пришло время подвести итоги после столь долгого выступления.

1. Я требую справедливости и возмещения ущерба за злоупотребление властью, произвольный и тиранический акт, посредством которого лорд Чарльз Сомерсет лишал меня свободы на столь длительный период и в прямое нарушение законов своей страны.

2. Я требую справедливости и возмещения ущерба за неправильные формы, с помощью которых были изъяты все мои бумаги в Темзе, без составления их описи, несмотря на все мои протесты.

3. Я требую справедливости и возмещения ущерба за то, что был отправлен на Континент в качестве пленника в открытое нарушение всех принципов и, вследствие данного импульса или переданных инструкций, вынужден проехать через Нидерланды и прилегающие страны в качестве злоумышленника.

4. Я требую проверки и скорейшего возвращения моих документов, изъятых в Темзе. Большинство из них были уважаемы сэром Хадсоном Лоу, а другие абсолютно необходимы мне в повседневной жизни, связанной с моими домашними делами; в них содержатся все мои права на собственность и состояние; без них я лишен всего.

5. Я требую возвращения моих документов острова Святой Елены, опись которых, должным образом заверенная и подписанная сэром Хадсоном Лоу, находится среди бумаг, изъятых в Темзе. Мои документы о Святой Елене состоят почти исключительно из рукописи, в которой день за днем в течение восемнадцати месяцев записываются, но пока еще сбивчиво и не устоявшиеся разговоры, слова и, возможно, даже жесты того, кто так долго управлял судьбами Европы.

Эта рукопись, священная по своей природе и своему предмету, была неизвестна и должна была оставаться неизвестной для всех. Я позволил сэру Хадсону Лоу ознакомиться с ним в достаточной степени, чтобы убедиться в его безобидном характере в политических вопросах. По прибытии на Мыс Кейп я имел честь написать принцу-регенту через министров, а также

самим министрам с просьбой передать эти драгоценные материалы под их особую защиту; я обратился к ним во имя справедливости и истории. Согласно всем законам, они являются моей священной собственностью, собственностью моих детей и потомства.

6. Наконец, и это превыше всего, я требую восстановления письма, которое император Наполеон оказал мне честь адресовать в моей тюрьме на острове Святой Елены. Письмо, совершенно чуждое политике, зачитанное губернатором острова Святой Елены, зачитанное самими министрами, если они сочли это уместным, не может, в соответствии с каким-либо сводом законов, быть изъято у лица, чьей собственностью оно является, каким бы сильным оно ни было по смыслу своих конфиденциальных выражений. Этот священный и драгоценный предмет - награда всей моей жизни, титул для моих детей, памятник для моей семьи.

Мой господин, поскольку я по натуре и размышлениям сторонник приличий и умеренности, именно к вам я в первую очередь обращаюсь с перечислением своих жалоб. Только у вас я спокойно прошу их о возмещении ущерба.^[34] Но если ваша светлость не сочтет нужным ответить, именно тогда я буду вынужден обратиться к вашему трибуналу; после этого к трибуналу общественного мнения; и, наконец, и это превыше всего, к тому ужасному трибуналу, который, уравнивая тиранов и жертв, обеспечивает в вечности непогрешимый триумф всех прав и окончательное наказание преступников. сплошная несправедливость.

“Имею честь быть” и т.д.

Примерно в это же время появилась и моя петиция в британский парламент. Я переслал его из Тайгербергских пустынь в Лондон, но то ли оно не дошло по адресу, то ли возникли препятствия для его распространения, но о нем не было сказано ни слова. Мое возвращение прояснило это обстоятельство. Член Палаты общин, пораженный сенсацией, которую только что вызвала его публикация, вызвался представить его сам; с этой целью мне из Англии был прислан документ, под которым я поставил свою подпись. Но этой формальности было недостаточно; и это обстоятельство, добавленное, возможно, к другим соображениям, помешало представить его на рассмотрение Палаты представителей. Я привожу его здесь. Это настолько близко к моей теме, что я надеюсь, что буду прощен за такой поступок. Кроме того, этот документ и другие, найденные в этом томе, были изуродованы и повторно переведены на французский язык с иностранного текста: поэтому я заинтересован в том, чтобы они были восстановлены во всей их целостности. Кроме того, если бы они не были найдены здесь, их могли бы счесть апокрифическими, а этого я хочу избежать.

ПЕТИЦИЯ В ПАРЛАМЕНТ АНГЛИИ.

Простой человек, беспомощный незнакомец осмеливается возвысить свой голос среди вас, представителей народа Англии; но он взывает к вам во имя человечности, справедливости - во имя вашей славы. Может ли он говорить напрасно? неужели его нельзя услышать? Изгнанный со острова Святой Елены, изгнанный из величайшего памятника превратностям человеческой жизни, который когда-либо существовал, я обращаюсь к вам, чтобы описать вам его положение, его страдания. Вырванные внезапно из его присутствия, лишённые всякого общения, мои слова, мои идеи будут полностью моими собственными: у них не будет другого

источника, кроме моего сердца. Возможно, возвышенный дух того, кто является их объектом, будет раздражен шагом, который я предпринимаю в этот момент; я думаю, что здесь, внизу, он не должен, он не может взывать к своим страданиям, *но только к Богу*. Возможно, он потребует от меня того, кто доверил мне заботы и интересы своей жизни? Это не имеет значения: моя любовь к нему станет причиной моей слабости. Я чувствую, что уже слишком далек от его героического влияния; мое сердце больше не может вместить те беды, свидетелем которых оно было. Они открывают для себя проход; они заставляют меня кричать.

Вы изгнали в океанские пустыни того, чье великодушное доверие привело его, *свободно и по собственному выбору*, жить среди вас, под защитой ваших законов, которые он считал всемогущими. Несомненно, вы стремились в своем решении только к тому, что считали полезным; вы не претендовали на справедливость; иначе этого могли бы потребовать от вас, кто отдал его в вашу власть? кто дал вам право судить его? на каком основании вы осудили его? кого вы слышали в его защиту?... Но вы создали закон.... Он существует; я уважаю его. Я не вправе обсуждать этот принцип. Я воздержусь от всякого ропота; мой протест не вырвется из моего сердца. Сейчас вы услышите только досаду, с которой были встречены ваши решения, и, без сомнения, противоречащие вашим намерениям. Представители Великобритании, вы сказали, что хотели только обеспечить безопасность личности императора Наполеона и обеспечить его задержание.—Достигнув этой цели, вы предложили щедро одарить его всем, что могло бы смягчить и смягчить то, что вы считали работой, обязанностью политика: —таковы были дух, буква ваших законов, выражение ваших дебатов, пожелания вашей нации, чувства ее чести. Что ж, тогда! только суровая часть твоих намерений достигла прославленного пленника на его ужасной скале. Счастливы, однако, до сих пор, если бы они никогда не были нарушены преступлены. Но тучи, нависшие над его островом, менее плотны, менее темны, чем моральная и физическая боль, обрушившаяся на его голову.

Под тщетным предлогом чисто воображаемых опасений каждый день вводятся новые ограничения. Его гордый дух каждый день вызывал новые приступы ярости; все физические упражнения стали для него невозможны; все визиты, все разговоры были почти запрещены. Таким образом, лишения всякого рода, досады любой природы объединяются против него с крайней вредностью климата, одновременно влажного и жгучего, с унылым однообразием неба без красок и времен года. Они каждое мгновение ужасающим образом сжимают круг его жизни! Он вынужден оставаться в своей комнате. Они обрекают его на смерть!

Намеревались ли вы тогда все это совершить? Нет, несомненно; и какие мотивы могли бы их оправдать? Страх побега? Тогда пусть они соберут военных и флотских людей, компетентных судей, чтобы они могли посоветоваться с их опытом, чтобы они могли узнать их мнение, и пусть они перестанут отдавать такую цель на усмотрение одного человека, который, руководствуясь своими страхами, будет каждый день тратить свое время на борьбу с призраками, которые может создать его собственное испуганное воображение, не задумываясь о том, что он не может уничтожить все шансы или достичь их всех, кроме как причиняя смерть. В Лонгвуде любой побег считается невозможным; никто там об этом не думает. Конечно, каждый желал бы завершить предприятие ценой своей жизни: смерть показалась бы сладкой из-за такого великолепного результата. Но как ускользнуть от офицеров, которые постоянно начеку? спастись от солдат, выстроившихся вдоль берега? спуститься по отвесным скалам? броситься, так сказать, в безбрежный океан? очистить первую линию лодок? вторую линию боевых кораблей? когда за тобой наблюдают со всех высот, где тебя могут окружить, преследовать

сигналами каждое мгновение и во всех направлениях? И какой способ посадки может быть рискованным? Поблизости от берега нет ни одного. На каком судне можно искать убежища? Нет ни одного дальнего или близкого; все иностранные корабли, даже те, что принадлежат к вашей собственной нации, становятся добычей ваших крейсеров, если они приближаются без срочных причин к проклятому острову!

Разве при таких мерах предосторожности и при таких обстоятельствах весь остров не является достаточно безопасной тюрьмой? Может быть, необходимо постоянно заполнять его тюрьмами внутри тюрем? И если бы можно было преодолеть так много трудностей, что невозможно, необъятность морей и почти каждая суша по-прежнему оставались бы новой тюрьмой?

Кто же мог заставить людей в здравом уме мечтать о таких нелепых попытках? Кто в Лонгвуде мог лелеять столь безумно отчаянные мысли? Кроме того, император Наполеон придерживается все тех же взглядов, тех же желаний, о которых он заявил, когда с уверенностью, *свободно и добросовестно* прибыл к вам: 'Уединиться и отдохнуть под защитой ваших позитивных законов или законов Америки'. Это то, чего он хотел, это то, чего он желает до сих пор, чего он всегда требует.

Таким образом, если остров Святой Елены по своей природе еще не является достаточной тюрьмой - если у него нет преимущества сочетания безопасности со снисходительностью, — вы были обмануты в своем выборе и своих намерениях. С какой целью отправляете нас мучительно умирать в чужом климате? С какой целью все ваши дополнительные расходы? С какой целью ваш многочисленный гарнизон и его многочисленный штат? С какой целью ваше военно-морское учреждение? С какой целью были введены ограничения на торговлю с этим несчастным островом? В ваших европейских владениях было много мест, где вы могли бы содержать нас без каких-либо затрат и где мы могли бы считать себя менее несчастными! Если бы этот остров, напротив, по своей природе и с помощью вышеуказанных мер предосторожности представлял в себе все, что человеческая мудрость и благоразумие могут считать необходимым, то разве всеотягающие условия не были бы таким количеством бесполезных неприятностей, тиранических и варварских действий, совершаемых вопреки вашему намерению? Ибо в ваши намерения не входило мучить Наполеона — заставлять его умирать потихоньку; и все же слишком верно, что он погибает от непрекращающихся ран, наносимых каждым днем, каждым часом, каждой минутой.

Если вы решили узреть в нем простой заключенный, а не объектом остракизма королей, Король сам—если у вас есть разработанный, чтобы дать ему только общие заключения, а ~~невыбрать~~[выберете](#) для него место, где неровности изгнания не может быть уменьшен, если это было предназначено для фиксации его на тюремщик, а не офицером высокого ранга, которые, по его повадкам бизнеса и мира будет знать, как объединить то, что он задолжал безопасность пленным с уважением и вниманием которой он командует, если он был предназначен, чтобы преследовать ненавистью и жадной мести, и все узкие и вульгарных страстей—если бы он предназначался только в порядке, на вверять климата смерти прославленного врага, чтобы зарядить природы деяние, которое никто не смел казнить себя—если все это было задумано, я останавливаюсь; я оставляю больше нечего сказать; я уже сказал слишком много.

Но если, в духе самого вашего Законопроекта, вы намеревались сопроводить свой политический акт, как вы фактически и сделали, всеми намерениями великой, благородной и благородной нации, я могу продолжить: ибо вы, должно быть, имели в виду все хорошее, что

могут позволить обстоятельства; пресекали все зло, которого не требовала необходимость. Вы никогда не имели в виду, что заключенный должен быть лишен всех физических упражнений путем ненужного навязывания условий или форм, которые превратили бы этот отдых в пытку.

Вы не хотели, чтобы ему предписывали характер его слов, длину его предложений, вы не хотели, чтобы его первоначальный круг общения был сокращен под предлогом того, что он не пользовался его протяженностью ежедневно; вы не хотели, чтобы он был вынужден запирается в своей комнате, чтобы он не оказался посреди укреплений и частокола, которыми нелепо окружен его сад.

Теперь все эти вещи существуют; они обновляются каждый день, хотя считаются бесполезными, и хотя очень многие из ваших соотечественников осуждают и оплакивают их. — Вы не хотели, чтобы, к большому ущербу для его здоровья и удобств, он был обречен на жалкое, маленькое, неудобное жилище, в то время как у правительства были большие и прекрасные дома как в городе, так и в сельской местности, которые были бы гораздо более удобными и более подходящими и избавили бы от отправки знаменитого дворца или, говоря гораздо более правильно, от огромного количества грубых досок, которые сейчас гниют неиспользованными на берегу, потому что было обнаружено, что для завершения задуманного здания потребовалось бы от семи до восьми лет. Вы не могли иметь в виду, что, несмотря на суммы, которые вы им выделили, предметы первой необходимости, все средства существования, ежедневно доставляемые в Лонгвуд, должны быть худшего качества, в то время как у других могут быть средства наилучшего качества; вы не имели в виду, что Наполеон должен быть настолько возмущен, чтобы пытаться заставить его обсуждать мелкие детали его собственных расходов, что от него потребуют излишков, когда у него их не будет; что в противном случае ему будут угрожать невыносимыми сокращениями; что он должен быть вынужден желать в своем сердце возмущение: "Дать ему успокоиться; что он ничего не просит; что, когда он проголодается, он пойдет и сядет среди тех храбрых парней, чьи палатки он видел издалека, которые не дадут отпора старейшему солдату Европы". — Вы же не хотели, чтобы Наполеон оказался из-за этого вынужденным продавать свою тарелку сдельной еды, чтобы восполнить нехватку на каждый месяц, и чтобы он был доведен донеобходимости принимать то, что некоторые верные слуги были счастливы положить к его ногам.

О англичане! Неужели они могут так обращаться с вами от вашего имени, с тем, кто правил Европой, распоряжался столькими тронами, создал стольких королей! Разве вы не боитесь громких жалоб истории? Предположим, что впоследствии она скажет: 'Они обманули его, чтобы завладеть его личностью, а потом пожалели ему средств к существованию'. Потерпите ли вы, чтобы ваши чувства, ваш характер, ваша честь были таким образом скомпрометированы? [Скомпрометированы?](#) Значит, это ваш законопроект, ваши намерения? И какое отношение имеют такие неподобающие меры к безопасности? Вы никогда не предполагали, что власти предпримут ребяческую и варварскую попытку непрестанно напоминать словами, правилами и действиями о том, о чем было бы деликатно никогда не упоминать; повторяя нам каждый день, что мы странно обманываемся в отношении нашего положения; жестко пресекая любое необычное уважение; даже наказывая, как нам сказали, тех, чьи привычки непреднамеренно привели их к проявлению такого уважения; ограничивая предоставляемые нам журналы теми, которые могут быть наиболее неприятными; добровольно снабжая нас клеветой; и удаляя или [утаивая удержание](#), напротив, благотворно действует; в конце концов, навязывая нам буквальную форму декларации, с помощью которой мы должны

были купить рабство и счастье посещать почитаемый объект; заставляя нас признавать в нем вероисповедания, противоречащие нашим привычкам и нашим законам, используя таким образом наши собственные преимущества, чтобы унижить августейшую цель, которую мы окружали; и все же мы были вынуждены это сделать, потому что после нашего единодушного отказа нам пригрозили, что всех нас оторвут от нашего приятного занятия, немедленно бросят на борт корабля и доставят на мыс Доброй Надежды.— Как эти жестокие и тиранические меры могут способствовать обеспечению безопасности?

Вряд ли кто-нибудь поверит, что Наполеон, спросив, может ли ему быть разрешено написать принцу-регенту, получил авторитетный ответ, что его письмо не будет передано, если оно не будет открыто; или что его вскроют для выяснения его содержания: процедура, которую разум отвергает как одинаково оскорбительную для двух августейших особ.

Нам сказали, что остров Святой Елены был выбран для нас для того, чтобы мы могли пользоваться там определенной степенью свободы и некоторым снисхождением.— Но мы не можем ни с кем разговаривать; нам запрещено писать кому бы то ни было; мы ограничены в наших самых мелких домашних делах. Рвы и укрепления окружают наши жилища; нами управляет бесконтрольная власть. И остров Святой Елены был выбран для того, чтобы позволить нам немного поблажек! Но какая тюрьма в Англии могла быть для нас хуже? Конечно, в наши дни там нет ни одной, которая не казалась бы нам благословением. Мы должны очутиться на христианской земле, мы должны дышать европейским воздухом. Контроль вышестоящего авторитета защитил бы нас от личных обид, от сиюминутного раздражения или даже от ошибки в суждениях.

Офицерам вашей страны было намекнуто, что они не должны представлять перед тем, кого они охраняют; или им было запрещено это делать. Самим англичанам, каким бы рангом и доверием они ни пользовались, было запрещено приближаться к нам и вступать с нами в разговор без соблюдения формальностей, которые эквивалентны запрету, чтобы мы не рассказали им о дурном обращении с нами — предосторожность, бесполезная с точки зрения безопасности, но доказывающая ревностную осторожность, с которой нам препятствуют сообщать правду. Наши усилия по этому вопросу были превращены в преступление; как будто сообщение вам правды, особенно там, где это касается вашей чести, вашего характера, не оказало вам никакой услуги.

Вы, конечно, никогда не собирались допускать такой тирании над нашими мыслями и чувствами, чтобы намекать нам или информировать нас, что, если мы продолжим свободно выражаться в наших письмах нашим родственникам, нашим друзьям, мы будем оторваны от присутствия Наполеона и изгнаны с острова. И все же именно это обстоятельство привело к моей депортации, вынудив меня тайно пересылать те самые письма, которые у меня были в первую очередь, предназначенные для губернатора, и которые я отправил бы ему, если бы не его досадный намек — намек необоснованно тиранический, — поскольку эти письма были отправлены министрам открытыми, сопровождаемые, при необходимости, пометками местных властей, что они могут быть задержаны министрами, если они были неподобающими; или даже переданы законам, если они были преступными; и поскольку эти письма были отправлены министрам открытыми, если они были неподобающими; или даже переданы законам, если они были преступными. во всяком случае, они должны иметь в их глазах то достоинство, что являются еще одним средством достижения истины.

Конечно, вы никогда не предполагали, что те, кто удостоился милости остаться с Наполеоном, окажутся под действием законов, но будут лишены своих льгот. Это, однако, то, что было позитивно обозначено для нас. Вы не хотели, чтобы мои самые секретные и священные бумаги были изъяты; и, хотя я позволил бегло прочесть их, чтобы показать их природу, вы не хотели, чтобы они были изъяты у меня и чтобы мне не разрешили поставить на них мою печать. Вы никогда не предполагали, что в моем случае будет совершено варварское надругательство над тем, что является самым святым и неприкосновенным среди вас; что, презирая мои постоянные требования быть восстановленным на свободе или предстать перед судом; что, несмотря на мои неоднократные предложения добровольно, заранее подвергнуться всем лишениям, даже произвольным, которые могут быть наложены на меня в Англии, я буду содержаться в плену на острове Святой Елены; что меня отправят с этого острова на мыс Доброй Надежды, чтобы со временем вернуть обратно, с мыса Святой Елены; что меня повезут на веревке. пленник на огромном морском просторе, на утлом суденышке, из—за большого ущерба здоровью моего сына, жизнь которого была в опасности, из-за опасности моей собственной жизни, которая была поражена недугами, которые должны сопровождать меня до могилы, - если, конечно, они не ввергнут меня в нее раньше моего времени.

В ваши намерения не входило, чтобы по моем прибытии на Мыс губернатор произвольно задержал меня там, без допроса, без дознания, без дознания, и заставил меня чахнуть там в муках горя, промедления и отчаяния под смехотворным предлогом отправки за две тысячи лиг, чтобы узнать у моих естественных судей, министров, которых я так горячо просил выдать, будет ли правильным отправить меня к ним; и предварительно вынудив меня одним этим действием вынести приговор, в тысячу раз более ужасный, чем мог бы я ожидать. так было с моими судьями, а именно. лишив меня на несколько месяцев свободы, продержав все это время пленником на краю земли, оторванным от моей семьи, от моих друзей, от моих интересов, мучительно проводящим в пустыне те несколько дней, которые мне остались. Конечно, в империи позитивных законов никто не мог бы так тиранически играть со свободой, жизнью, счастьем отдельных людей.

О англичане! если бы подобные деяния оставались безнаказанными, ваши превосходные законы были бы не более чем пустым звуком. Вы бы несли ужас на край света, и среди вас больше не было бы ни свободы, ни справедливости.

Таковы жалобы, о которых я должен был сообщить вам и которые развиваются вместе с другими в письме, прилагаемом к настоящему письму,^[35] которое, покидая остров Святой Елены, я отправил губернатору в надежде, что это может привести к исправлению положения.

Многие из этих жалоб, возможно, заслуживали бы того, чтобы пройти мимо нас незамеченными; тем не менее, я совершил над собой насилие, изложив их вам. Среди них нет ни одного настолько тривиального, чтобы не заинтересовать вашу честь. И каковы могли быть причины таких мер? Откуда могут исходить эти постепенные атаки, эти продолжающиеся обострения. Чем они могли быть оправданы? Мы не знаем.

Однако это не значит, что правящая власть острова Святой Елены отрицает опасность для здоровья пленника, неминуемую опасность для его жизни, вероятный и скорый исход такого положения вещей. 'Это было его собственное желание', - довольствуются они холодным замечанием. 'Это будет его собственная вина'. Но действуют ли они в этом осмотрительно? Признаваться в том, что Наполеон ищет смерти, не значит ли это признаваться в том, что они

сделали его жизнь невыносимой? 'Более того,' продолжают они, 'зачем отказываться от необходимых упражнений, если его должен сопровождать офицер? Что в этой формальности такого ненавистного, такого болезненного? Почему он настаивает на придании этому вопросу такой огромной важности?' Но кто может присвоить себе право судить о чувствах прославленной illustrious жертвы? Наполеон стесняется себя и молчит; чего бы им еще хотелось? Кроме того, как сообщалось тысячу раз, отвращение вызывает не цвет пальто и не национальная принадлежность, а природа самой вещи и ее неизбежные последствия. Если бы при таком упражнении польза для тела была значительно ниже страданий ума, было бы это упражнение преимуществом?

Но далее делается намек на это (ибо не существует единой шкалы для всех умов и всех чувств) 'К чему такое особое отношение, к чему такие экстраординарные заботы и внимание? В конце концов, он пленник, возможно, знатный, но что он собой представляет больше? каковы его претензии?'

Кто он такой и каковы его претензии, я продолжу излагать.

Судьба Наполеона была первой, самой удивительной в истории. Он человек известный, одаренный; герой веков. Его имя у всех на устах; его поступки будоражат воображение каждого; его карьера не имеет аналогов. Когда Цезарь замыслил захват верховной власти в своей стране, Цезарь уже был первым человеком в ней по своему происхождению и богатству; когда Александр предпринял покорение Азии, Александр был царем и сыном царя, который проложил путь к своим успехам; но Наполеон, вырвавшийся из толпы, чтобы править миром, представляет себя одиноким, без каких-либо других помощников, кроме своего гения. Его первые шаги в карьере - это так много чудес; он сразу же покрывает себя бессмертными лаврами и с этого момента властвует над всеми: кумир своих солдат, славу которых он вознес до небес, надежда своей страны, которая в своих муках уже чувствует, что он будет ее освободителем; и это ожидание не обманывается. Услышав ее замирающий голос, Наполеон, прерывая свои таинственные размышления, спешит покинуть берега Нила; пересекает моря, рискуя своей свободой и репутацией, и высаживается в одиночестве на французском берегу. Каждое сердце трепещет при виде его снова. Приветствия, ликование публики и триумф сопровождают его при въезде в столицу. При виде него различные фракции распадаются, партии сливаются в одну; он правит, и революция закована в цепи.

Простой вес мнения, влияние одного-единственного человека повлияли на все. У него не было повода сражаться; не было пролито ни капли крови. И это был не единственный раз, когда такое вундеркинд проявил себя в его жизни.

При звуке его голоса принципы дезорганизации исчезают; раны закрываются; пятна стираются. Кажется, что Творение снова возникает из хаоса.

Все революционные безумства исчезают; остаются только великие истины. Наполеон не знает партий; к его администрации не присущи никакие предрассудки. Все мнения, все секты, все таланты объединяются вокруг него; начинается новый порядок вещей.

Нация переводит дух и благословляет его; народы других государств восхищаются им; короли уважают его; все счастливы — каждый чувствует себя вновь удостоенным чести быть французом.

Вскоре его возводят на трон; он становится императором. Все знают остальное. Все знают, с каким блеском, с какой властью он удостоил своей короны. Суверен по выбору народа, освященный главой религии, санкционированный рукой победы, какой глава династии когда-либо объединял титулы столь могущественные, столь благородные, столь чистые? Пусть их изучат.

Все монархи были связаны с ним узами крови или договорами. Все народы признали его. Англичане, если вы один являетесь исключением, то это исключение относится только к вашей политике; это был всего лишь вопрос формы. Более того, вы как раз те, кто увидел в Наполеоне самые священные, самые неоспоримые титулы. Другие державы, возможно, уступили бы необходимости. Вы, вы ничего не сделали, кроме как подчинились принципам, своему убеждению, истине; ибо таковы ваши доктрины, что Наполеон, четырежды избранный великой нацией, неизбежно, несмотря на ваши публичные опровержения, в глубине ваших сердец считал себя сувереном. Загляните в свою совесть!... Итак, Наполеон не потерял ничего, кроме своего трона; отступник отнял его у него; успех закрепил бы его за ним навсегда. Он видел, как одиннадцать сотен тысяч человек выступили против него. Их генералы, их монархи повсюду заявляли, что его личность была их единственной целью. Что за судьба! Он пал, но потерял только власть: все его величественные качества сохранились и вызывают уважение человечества.

Тысячи воспоминаний о славе все еще венчают его; несчастье делает его священным, и при таком положении вещей человек по-настоящему чувствующий без колебаний считает его более почитаемым на своей скале, чем во главе шестисот тысяч человек, устанавливающих законы.

Таковы его претензии.

Напрасно ограниченные умы или вероломные сердца пытались бы обвинить его, как это принято, в том, что он является оскорбительной причиной всего зла, всех бед, свидетелями или жертвами которых мы были. Время клеветы прошло, должна наступить очередь правды. Тучи уже рассеиваются перед солнцем будущего. Придет время, когда мир воздаст ему полную справедливость, ибо страсти умирают вместе с современниками, но поступки живут в потомстве, которому нет границ. Тогда скажут, что великие деяния, великие блага исходили от него; что зло было порождено временем и судьбой.

Кто теперь не начинает понимать, что, несмотря на его огромную власть, у него никогда не было выбора своей судьбы или своих средств? что, постоянно вооруженный для защиты, он замедлил свое разрушение только постоянной чередой новых чудес; что в этом ужасном конфликте он был поставлен перед необходимостью подчинять себе все, чтобы выжить и спасти великое национальное дело? Кто из вас, англичан, мечтает прежде всего отрицать эту последнюю истину? Разве война не на жизнь часто не объявлялась среди вас; и разве ваши тайные союзники в глубине своих сердец не чувствовали того, о чем ваше положение позволяло вам заявлять вслух? Разве вы до сих пор не хвастаетесь, что продолжали бы войну до тех пор, пока он держался? Таким образом, каждый раз, когда он предлагал вам мир, были ли его предложения искренними или нет, для вас это не имело большого значения: ваше решение было твердо. Какой же путь тогда оставался ему, и какой упрек можно было бы высказать ему, которого вы сами еще не заслужили? И кто в наши дни еще стал бы делать вид, что выдвигает вульгарный упрек в его честности? Что же тогда в нем было такого нового, такого экстраординарного и, прежде всего, такого исключительного в его личности?

Подавило ли это в нем чувство, когда он сказал прославленному Фоксу, что в будущем Европа будет настолько объединена законами, нравами и кровью, что в ней не может быть никакой войны, кроме гражданской?

Было ли это непреодолимо, когда, описывая нам все свои бесполезные усилия предотвратить разрыв Амьенского мирного договора, он заключал, что Англия, несмотря на все преимущества сегодняшнего дня, выиграла бы, однако, больше, присоединившись к нему; что от этого выиграла бы вся Европа; что, возможно, он один потерял бы из-за этого свое имя и славу?

Было ли это чрезмерной жадностью и обычным честолюбием, когда в Шатийоне он предпочел возможность потерять трон уверенности в том, что овладеет им ценой славы и независимости нации?

Неужели это нельзя было изменить, когда слышали, как он говорил: 'Я вернулся с острова Эльба совсем другим человеком. Они не думали, что это возможно, и ошибались. Я не из тех, кто делает что-то впосилы. Я бы сразу стал монархом конституции и мира?'

Был ли он ненасытен, когда после победы, в которой он считал себя уверенным при Ватерлоо, его первым словом к побежденным должно было стать предложение Парижского мирного договора и искреннего и прочного союза, который, сочетая интересы двух наций, обеспечил бы переход морской империи к Англии и заставил континент успокоиться?

Был ли он слеп и немотивирован, когда после своей катастрофы, размышляя о политических последствиях, которые он так часто предвидел, и трепеща перед вероятностями будущего, воскликнул: "Нет нации, даже англичан, которой, возможно, однажды не придется оплакивать свою победу при Ватерлоо?"

И кто теперь может подумать о том, чтобы вернуться к этому обвинению в честолюбии? Это будет не народ, как бы он ни был изумлен поведением тех, кто его сверг. Будут ли это Монархи? Они не говорили ни о чем, кроме справедливости, перед битвой, но какую пользу они извлекли из победы? Тогда пусть они перестанут повторять эти гнусные обвинения. Они могли бы стать превосходным предлогом; они были бы жалкими оправданиями. Пусть они довольствуются тем, что победили!...

Но мне становится теплее. Куда несут меня сила истины, теплота чувств, порыв сердца? Я возвращаюсь к своей теме.

Представители Великобритании, примите во внимание это положение вещей. Справедливость, человечность, ваша честь, ваша слава требуют этого от вас. Остров Святой Елены невыносим; пребывание Наполеона там равносильно верной и преднамеренной смерти; вы не могли бы желать брать на себя ответственность за это в глазах будущего. Наполеон в течение двадцати лет был вашим страшным врагом; он будет напоминать вам о *Ганнибале* и о *позоре Рима*.... Вы бы не запятнали таким пятном благородные страницы вашей нынешней истории. Избавьте свою администрацию от одиозного, ужасного осуждения за торговлю кровью заключенного. История дает несколько примеров этого. Все они вызывают у нас ужас; и какое повышение достоинства было бы зарезервировано для характера Наполеона! Ибо легко предсказать, что когда Наполеона больше не будет, когда преступление будет совершено, он станет человеком из народа; тогда он будет только жертвой, мучеником королей. Такова воля неизбежного хода вещей и человеческих чувств. Спасите наши современные летописи от подобного скандала и

его опасных последствий. Спасите королевскую власть от ее собственной слепоты. Спасите самые священные интересы великих монархов, от имени которых казнится жертва. Сохраняйте королевское Величие в первом из его атрибутов, в самом святом из его символов, в его *неприкосновенности*. Если сами короли возлагают руки на представителей Бога на земле, какую сдержанность, какое уважение они могут противопоставить попыткам людей? Здесь, внизу, нет процветания, защищенного от времени или удачи. Круг превратностей охватывает все троны. Эта причина - причина всех королей, нынешних и грядущих. Помазанник Господень, униженный, замученный, принесенный в жертву, не может, не должен быть иным, чем объектом негодования, ужаса для истории, ужаса для королей!

Вспомните Наполеона среди вас; пусть он придет, чтобы обрести покой под защитой ваших законов; чтобы они могли пользоваться его выдающимся почтением. Не лишайте их благороднейшего триумфа. А кто вам мешает?

Это будет ваше первое решение? Но, вспоминая об этом, вы бы показали всем, что тогда вами руководила только сила обстоятельств, закон необходимости.

Будет ли это вашим домашним отдыхом? Но мысль об этом была бы глупой; сомнение нанесло бы ущерб вашим институтам, вашим манерам, всему вашему населению.

Будет ли это безопасностью Европы? Но истины обстоятельств имеют свое время, и только вульгарным принадлежит увековечивать их, выдвигать на первый план еще долго после того, как они перестанут существовать. Наполеон, в своем всемогуществе, мог бы быть ужасом Европы; сведенный к одной-единственной личности, он больше не может быть ничем, кроме объекта изумления и размышлений. И, по правде говоря, что он мог сделать в наши дни, даже обладая властью, против безопасности России, Австрии, Пруссии или вашей собственной?

Наконец, можно ли опасаться его тайных намерений? Но у Наполеона сейчас нет иного желания, кроме покоя. В его собственных глазах, в его собственных устах его чудесная карьера уже растянулась на века. Он больше не считает себя от мира сего; его судьбы свершились. Душа такой возвышенной силы не представляет никакой ценности, кроме как вести к известности, к славе. И какой смертный накопил их больше? Не кажется ли мера выше человеческого воображения? Разве даже его неудачи не были для него обильным источником славы? Существует ли что-нибудь, что можно сравнить с возвращением с острова Эльба? И, совсем недавно, какой это апофеоз: сожаления великой нации. Многие из вас пересекли наши провинции, проникли к нашим очагам; вы знаете наши секреты, наши чувства. Если страна была ему менее дорога, чем слава, чего ему желать после того, что он оставил позади? Его преклонный возраст, его утраченное здоровье, его отвращение к превратностям судьбы, возможно, то, что он испытывает к людям, пресыщение, прежде всего, великими целями, преследуемыми здесь, внизу, не оставляют ему ничего нового или желанного, кроме спокойного убежища, счастливого и сладостного покоя. Он требует этого от вас, англичане, и вы обязаны этим героическому великодушию, с которым он отдал вам предпочтение перед всеми другими своими врагами. Учитесь, дерзайте, стремитесь быть справедливыми. Вспомните его, и вы обретете единственную славу, которой, кажется, не хватает в вашем нынешнем состоянии. Почитатели, настоящие друзья ваших свобод и ваших законов ожидают этого от вас; они требуют этого. Вы сбили с толку тех, кто с удовольствием хвастается всеми благами, проистекающими из вашего благородного телосложения.

‘Где же тогда, ’ говорят их противники с торжествующей иронией, ‘ то великодушные, та возвышенность чувств, та принципиальная непреклонность, та общественная мораль, та сила мнения, которые, как вы сказали нам, отличали этот свободный народ и в каком-то смысле превосходили саму верховную власть?’ Где же столь хваленые плоды этой классической основы либеральных институтов? Все эти помпезные строительные леса, эти воображаемые картины исчезли перед опасностями, которые создал один-единственный человек, или, скорее, перед ненавистью и местью, которые он внушил. И что еще могла бы сделать та абсолютная власть, которую мы защищаем и которую вы так сильно порицаете? Возможно, она сделала бы меньше, но, несомненно, она не смогла бы сделать большего. Она, без сомнения, почувствовала бы благородную и великодушную уверенность своего врага или, если бы она так решила, исходя из соображений полезности, она, по крайней мере, проявила бы больше энергии, откровенности и возвышенности в своей несправедливости. Она не снизошла бы до того, чтобы смягчить свою несправедливость в глазах народа, безвозмездно вовлекая в нее своих соседей. Прежде всего, это позволило бы избежать запутывания самого себя в этой мучительной дилемме: либо, когда вы заключали свой незаконный договор об остракизме, жертва была не в вашей власти, и у вас хватило трусости протянуть ему руку, чтобы схватить его; либо он уже был в вашей власти, и вы пожертвовали своей славой, честью вашей страны, святостью, величием ваших законов иностранным домогательствам". домогательства.

Англичане, ваши друзья обязаны обратиться к вам за ответом. Они ждут его.

Что касается меня, то, несмотря на роковой опыт двух лет, я по-прежнему так уверен в ваших принципах, что по-прежнему рассчитываю на вашу справедливость; и я осмелился выступить перед вами, советуясь только со своим сердцем, убежденный, что именно среди вас я увижу, как проявятся защита и таланты, достойные этого великого и благородного дела. Как бы вы ни решили в других отношениях, моя собственная судьба предрешена. Где бы ни жил пострадавший, я хочу пойти, чтобы посвятить у его ног те несколько дней, которые мне еще остались;^[36] и в этом проявлении чувств я буду думать, что ничего не сделал, кроме как для себя. Когда я сначала следовал за ним, я скорее повиновался чести, я следовал славе, но теперь вдали от него я оплакиваю все сердечные качества, которые привязывают человека к человеку. Сколько ваших соотечественников обращались к нему! все они сказали бы вам то же самое. Позвольте с ними посоветоваться. Англичане! это что,

итак, человек, которого вам изобразили? Вы высказались о его судьбе, полностью владея делом?

ПОДСЧИТАЙТЕ ВСЕ СЛУЧАИ.

Мои просьбы не ограничивались письмами, которые я адресовал союзным государям; мои усилия были горячо направлены на каждый пункт и каждую цель, о которых я мог подумать. Как только я был возвращен на свободу, я оказался в окружении французских изгнанников во Франкфурте, которые разделяли мои чувства и проявляли ко мне самое нежное сочувствие. Все, даже не исключая тех, кому нечего было жалеть, кроме вдовьей лепты, предлагали мне все, что у них было, не только для удовлетворения личных потребностей, с которыми, по их мнению, я должен был бороться, но и для продвижения священного предмета, который всецело занимал мои мысли. Во Франкфурте я также имел счастье познакомиться с графиней де Сюрвилле, чья чрезвычайная щедрость - лишь одна из многих добродетелей, украшающих ее. Наконец, некоторые видные франкфуртские купцы, просто услышав о моих приключениях и из

побуждений чистого сочувствия, сделали мне самые щедрые предложения; и даже дипломатические лица, которых в то время в городе было много, косвенно передали мне доказательства своего внимания. Эти обстоятельства позволили мне узнать, где находятся различные члены императорской семьи, и немедленно вступить с ними в сношения, чтобы принять самые быстрые меры к улучшению положения того, ради кого я решил приложить все усилия и даже пожертвовать своей жизнью.

С другой стороны, я установил правило регулярно, в определенный день каждого месяца, писать великому маршалу, чтобы получить такую информацию, которая позволила бы мне быть максимально полезным; и я отправил открытое письмо заместителю государственного секретаря по делам колоний, с которым я, таким образом, завязал переписку, которая, по моему мнению, наилучшим образом соответствовала поставленной мной цели. Я попросил, чтобы он регулярно присылал в Лонгвуд газеты, брошюры, новые публикации и различные предметы повседневного обихода, которые я укажу или которые, как я умолял его, выберет сам, за мою плату по его заказу; он пообещал это сделать.

Мать императора, братья, сестры и все его родственники, хотя я не был особенно знаком ни с кем из них, за исключением принца Люсьена, немедленно ответили мне в самой теплой и трогательной манере. Мои слова были почти первыми достоверными известиями, которые они получили от прославленной жертвы; и они считали себя счастливыми, найдя канал, с помощью которого они могли передавать ему свидетельства своего уважения, преданности и привязанности. Они хотели только знать, что им предстоит делать. Немедленно был определен ежегодный взнос в размере ста пятидесяти тысяч франков: эта сумма, по моему мнению, была совершенно необходима для создания заведения в Лонгвуде. Сумма была разделена поровну между всеми, и у меня уже были на руках подписки нескольких сторон, когда я с удовлетворением получил возможность вернуть их с просьбой сохранить их до будущего времени, поскольку непредвиденные обстоятельства сделали бы ненужным использование денег в течение двух или трех лет. Причина заключалась в том, что был найден депозит в несколько сотен тысяч франков, принадлежавший императору, и я считал себя счастливым, получив таким образом раннюю возможность представить членам его семьи доказательство регулярности и сдержанности, с которыми я действовал. Но, к несчастью, я поступил слишком опрометчиво, ибо деньги, которые были обещаны и должны были быть предоставлены мной, были выплачены либо по ошибке, либо из-за замешательства банкира, либо из-за халатности агентов более чем за год. Я был очень раздосадован и разочарован этим обстоятельством, поскольку тринадцать счетов, которые я оставил у Великого маршала при отъезде со острова Святой Елены, были быстро оплачены, и были сделаны новые счета на моего банкира или на других лиц в Лондоне, которые позволили опротестовать счета, поскольку у них не было средств, принадлежащих мне, или они не получали их ни от какого другого лица. Это привело к огромным расходам, скомпрометировало Лонгвуда и стало предметом насмешек в английских министерских журналах.

Как только я был ознакомлен с этим прискорбным обстоятельством, я написал в Лондон, чтобы предложить свое личное обеспечение за любые векселя, которые могут прийти из Лонгвуда, указав, что они должны быть оплачены по заказу во Франкфурте. Для этой цели я самым выгодным образом присвоил сумму, полученную от мадам Мер и единственную, которая не была возвращена, вместе с деньгами, которые несколько друзей передали мне на руки, когда мои собственные иссякли; ибо мои четыре тысячи луидоров были возвращены мне таким

странным образом, что я не могу удержаться от упоминания о них. Человек, находившийся в очень щекотливом положении и имевший при себе деньги, принадлежащие императору, подозревая, хотя он ничего не знал обо мне, что я могу оказаться в некотором затруднительном положении, передал мне сто тысяч франков. Я никак не мог претендовать на эту сумму, но этот человек, о котором идет речь, несомненно, считал это своим самым благоразумным поступком, учитывая особенность его положения. Таким образом, я обнаружил, что расплатился, не предъявив никаких требований и не дав никакой расписки, и я не знаю, существовали ли какие-либо следы долга, причитающегося императору, на каком бы то ни было счете.

Прошло уже шесть месяцев; установилась прекрасная погода, и мое здоровье, так сильно подорванное разочарованиями и досадами, требовало, чтобы я попробовал воды Бадена. Но был ли я волен уйти? Времена были такие необычные, и такое полное пренебрежение, казалось, повсюду проявлялось к привилегиям и судьбе француза, что многие люди вокруг меня очень сомневались, останусь ли я на свободе; и я сам был не без опасений, настолько привык я видеть, как всякая справедливость попирается в моем лице. Как бы то ни было, мне так хотелось действовать совершенно открыто и выразить свою благодарность за доброту барона Вессемберга, что я решил сообщить ему о своем намерении уехать и спросить, считает ли он, что я под его наблюдением. Однако барон мгновенно развеял все мои сомнения и страхи, ответив со свойственными ему откровенностью и вежливостью, что, оказывая многостепенность, у него и в мыслях не было брать меня в плен.

Соответственно, я отправился в Баден, где имел честь быть принятым великими герцогом и герцогиней, правда, почти тайно, но с теми доказательствами интереса и внимания, которых я мог ожидать от приемных детей Наполеона.

Прощаясь с достойным великим герцогом, я попросил его разрешить мне остаться в его Владениях и решил поселиться в Мангейме. Я выбрал это место, потому что, как и Франкфурт, оно предоставляло все желаемые преимущества для продолжения моей переписки, в то же время не представляя ни одного из неудобств последнего города, которого в силу обстоятельств очень деликатного характера я стремился избегать.

Я редко выходил из дому и злоупотреблял своей свободой не больше, чем во времена прусского комиссара; но я считал своим долгом принимать каждого, кто приходил ко мне. Я прекрасно понимал, что, скорее всего, столкнусь с врагами под видом друзей; но я также знал, что было много людей всех классов, которые часто приезжали издалека, чтобы повидаться со мной, и которыми руководили искренние чувства. Но мог ли я, ради того, чтобы избежать встречи с одним предателем, рисковать ранить множество честных сердец, которые, несмотря на свою печаль и раскаяние, надеялись получить от меня несколько слов удовлетворения и утешения? Во время моего пребывания в Мангейме было бы трудно представить себе те странные вопросы, которые мне задавали, и всевозможные намеки, которые мне бросали. Один предложил выполнить мои самые секретные, опасные и отдаленные поручения; другой предложил стать моим посредником с выдающимися и враждебно настроенными лицами; а третий заверил меня, что переодетый отправится в Парму и лично доставит все мои посылки императрице Марии Луизе. Короче говоря, я не знаю, какие планы мне предлагались. Я несколько раз получал от уроженцев разных стран предложения осуществить побег Наполеона. Одни были возбуждены энтузиазмом, другие - спекуляциями, а третьи, без сомнения, замыслили ловушки; ибо к преступлению подстрекательства теперь смело и повсеместно прибегают. К счастью, я

гарантировал, что мне нечего скрывать. У меня не было секрета, поэтому я мог только выражать надежды и пожелания в ответ на все, что слышал; и, конечно, в той общеизвестной ситуации, в которой я находился, отчеты, которые могли быть сделаны из моего разговора, не могли передать никакой новой информации. Соответственно, ничего неприятного не произошло. Выбрав Мангейм, уединенное место, где я жил настолько уединенно, насколько это было возможно, я устранил большинство неудобств, с которыми я столкнулся во Франкфурте, который был прибежищем интриганов всех мастей. Я также доказал тем, кому было интересно наблюдать за мной, что я незнаком со всеми тайными замыслами.

Приближался срок, назначенный для заседания Конгресса в Экс-ла-Шапель, и я возлагал самые большие надежды на это августейшее собрание. Эти надежды разделяли все великодушные сердца, ибо кто бы мог подумать, что государи Европы окажутся равнодушными к страданиям Наполеона, к которому каждый в отдельности так долго относился как к другу, брату или сыну, особенно когда они получают точный отчет о положении, в котором он оказался? Я сделал все необходимые приготовления, будучи полон решимости осыпать их мольбами и окружить информацией. Я написал Марии Луизе; и мне было поручено вручить государям письмо от мадам Мер; все остальные родственники императора обязались действовать самостоятельно. Я тщательно собрал для каждого из Государей все существующие подлинные документы и составил записку по этому вопросу, вложенную в письмо, адресованное *им самим*. Я не пренебрег даже лордом Каслри, которому счел необходимым сообщить об этом в качестве представителя короля Англии. Я вставлю эти документы, надеясь, что читатель простит мне многочисленные повторы, которые в них встречаются. Все они относятся к одному и тому же предмету; этот предмет сведен к своему простейшему выражению; круг ограничен; и возвращение к одной и той же теме неизбежно.

ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ЛУИЗЕ.

Мадам, по возвращении оттуда, где погибает ваш муж, какую только историю страданий я не смог бы рассказать вам! Но вы его жена, мать его сына; что же тогда я могу сказать такого, что подействует на вас сильнее, чем чувства, которые естественным образом должны возникнуть в вашем сердце!

Я считаю своим долгом уведомить ваше Величество, что я намерен при приближении собрания союзных государей сложить к их ногам свои смиренные мольбы об облегчении страданий, которые причиняются от их имени и которые могут быть адекватно восприняты только таким преданным слугой, как я, или таким близким родственником, как вы.

Но, мадам, что могут значить мои притязания по сравнению со священными и всемогущими правами вашего Величества, которые почитаются во всем мире!

Соблаговолите же, мадам, воспользоваться этими правами, и потомство, история, освящающая короны, возложат на ваше чело диадему, столь же нетленную, как возвышенность вашего характера, которая покоряет, и ваши благородные добродетели, которые радуют сердца.^[37]

Я есмь и т.д.,

ПОСЧИТАЙ ЛАС СЛУЧАЕВ.

МАДАМ МЕР К СОЮЗНЫМ ГОСУДАРЯМ В ЭКС-ЛА-ШАПЕЛЬ.

Родители, Мать, испытывающая невыразимое горе, долгое время лелеяла надежду, что встреча ваших Императорских и Королевских Величеств позволит несколько облегчить ее страдания.

Продолжительный плен императора Наполеона дает повод обратиться к вам. Невозможно, чтобы ваше великодушие, ваша власть и воспоминание о прошлых событиях не побудили ваши Императорские и Королевские Величества проявить заинтересованность в освобождении принца, который так много значил для вас и даже для вашей дружбы.

Неужели вы позволили бы погибнуть в жалком изгнании Государю, который, полагаясь на великодушие своего врага, отдался бы в его власть? Мой сын мог бы попросить убежища у императора, своего тестя; он мог бы положиться на великодушие императора Александра, другом которого он когда-то был; он мог бы найти убежище у его прусского величества, который в этом случае, без сомнения, вспомнил бы о своем старом союзе. Должна ли Англия наказывать его за доверие, которое он ей оказал?

Императора Наполеона больше не следует бояться. Он немощен. И даже если бы он был полностью здоров и располагал средствами, которые Провидение однажды вложило в его руки, он ненавидит гражданскую войну.

Братья, я мать, и жизнь моего сына мне дороже, чем моя собственная. Простите мою скорбь, которая побуждает меня взять на себя смелость адресовать это письмо вашим Императорским и Королевским Величествам.

Не оставляйте без внимания мольбы матери, которая таким образом апеллирует к длинной череде жестокостей, примененных по отношению к ее сыну.

Во имя Того, кто по сути своей является добродетелью и чьим образом являются ваши Императорские и Королевские Величества, я умоляю вас проявить заинтересованность в том, чтобы положить конец страданиям моего сына и вернуть ему свободу. За это я умоляю Бога и вас, его Помощников на земле.

Государственные соображения имеют свои пределы, и потомство, дающее бессмертие, превыше всего ценит великодушие победителей.

Я есмь ит.Д.

МАДАМ МЕР.

Это письмо осталось без ответа. Другие шаги были предприняты в пользу Наполеона разными членами его семьи; но они не были доведены до сведения достаточно достоверным образом, чтобы я мог упомянуть их здесь.

ЗАПИСКА, АДРЕСОВАННАЯ СОЮЗНЫМ ГОСУДАРЯМ НА КОНГРЕССЕ В ЭКС-ЛА-ШАПЕЛЬ В октябре 1818 г.

Родоначальники, у Королевского величества нет судей на земле. Но поскольку сами монархи, лишив его самого священного атрибута, подверг его своему трибуналу, я с почтительной уверенностью обращаюсь к ним с призывом в пользу монарха, которого они давно признавали, но который теперь свергнут ими, является пленником от их имени и являет миру самую грандиозную и ужасную превратность судьбы, которую когда-либо видели. Кто будет считать себя в безопасности, если будет нарушена даже неприкосновенность?

Верный своему достоинству, превосходящий несчастья, он ожидает смерти как единственного прекращения своих страданий. Но я, неожиданно оторванный от роковой скалы, где я оказывал ему все возможное внимание, хочу теперь посвятить ему остаток своей немощной жизни и попытаться облегчить страдания, которые мне больше не позволено разделять.

Я взял на себя священную миссию, в которой я сейчас участвую. Меня побудила к этому моя нежная преданность личности Императора, моя личная привязанность к тому, кто был моим Сувереном.

Я здесь незнакомец со всеми политическими вопросами. У меня нет другого побуждения, нет другого руководства, кроме той священной морали, которую одинаково уважают короли и подданные. В этом моя сила, мое право и мое оправдание.

Наполеон на своей скале становится жертвой мучений и досад всякого рода; он жертва жестокого обращения людей и вредного климата. Эти факты теперь общеизвестны для всех и в достаточной степени подтверждаются подлинными документами, переданными из самого места, некоторые из которых я сейчас осмеливаюсь представить на суд ваших Величеств.

Если закон войны, если закон наций был нарушен ради мира во всем мире, как говорится, закон человечности, по крайней мере, не может быть отменен.

За последние три года война повсюду сменилась миром; страсти утихли; нации и отдельные люди примирились; враждебность правительств и партий разоружена; общее право наций возобновило свое господство; только один человек лишен этих благ. Он один все еще находится вне рамок человеческого закона. Он сослан на бесплодную скалу, подвержен воздействию нездорового климата, обречен на мучительную смерть и ежедневно становится жертвой ненависти и оскорблений. Когда же прекратится это экстраординарное преследование? Если он обречен жить, то такое экстраординарное обращение слишком жестоко! И, конечно, еще более варварским будет, если он будет обречен на смерть! В чем его преступление? Кем он был судим? Каким судом? Кто его судьи? Где их право выносить ему приговор? Скажут ли, что единственной гарантией, единственной защитой от него являются тюремное заключение, цепи и смерть? Скажут ли, что его действиям, его обещаниям и клятвам нельзя доверять? Будет ли его возвращение с острова Эльба упомянуто как пример его недобросовестности? Но на Эльбе он был Сувереном: с ним были заключены обязательства, которые не были выполнены! Теперь, покинув континент, он отказался от всего суверенитета и объявил о завершении своей политической карьеры. Ситуация полностью изменилась. Если пожертвование своей жизнью само по себе может унять ненависть и положить конец тревоге, *почему бы не убивать открыто?* (это его собственные слова;) *быстрая смерть, хотя и не*

более справедливая, была бы более гуманной и менее отвратительной; это было бы одолжением. Это то, что он сам неоднократно говорил и писал. Кто может отрицать справедливость этого замечания?

Какие достаточные мотивы все еще можно привести в оправдание такого невыносимого обращения?

Это желание наказать его за прошлые вторжения? Но захваченные страны забыли о своем негодовании в торжестве победы, и теперь они молчат. Желают ли они репрессий? Но Наполеон был завоевателем, и действовал ли он таким образом? Как он вел себя при Аустерлице, на бивуаке в Моравии, в Вене, в Тильзите, на конференциях в Дрездене? Пусть его рассматривают даже при таких обстоятельствах, при которых истории будет труднее всего защитить его. Карл IV. когда он был пленником в руках Наполеона, у него был выбор: жить либо в Компьене, Марселе, либо в Риме, всегда сохраняя достоинство короля. Фердинанд в Валенсии был окружен всем вниманием и уважением, которых только мог пожелать. Принц, оспаривавший трон у императора, попал в его руки. Какую пользу извлек Наполеон из своей победы? Немедленное освобождение узника свидетельствовало о его великодушии, и история сравнит этот поступок с теми унижениями, которые были нанесены императору.

Намеревается ли это возобновить для Наполеона остракизм древних? Но древние, если они изгоняли из своей среды таланты, которых у них были основания опасаться, не приносили жертву в жертву. Они не перевозили ее в другое полушарие, к пустынным скалам и суровому климату. Они, по крайней мере, не сделали Природу виновной в преступлении, которое в данном случае, казалось бы, человеческие руки совершить не посмеют.

Наконец, есть ли опасения, что даже имя императора будет иметь слишком сильное влияние в Европе? Не могут ли его враги достичь своих собственных целей? Преследования всегда возбуждают интерес, всегда движут огромной массой людей, которые неизменно великодушны. Если хотят создать партизан, достаточно создать мучеников! В чем же тогда необходимость в этих чрезвычайных и единичных мерах? Зачем таким образом нарушать одновременно кодекс наций, кодекс суверенов и кодекс частных лиц?

У цивилизованных народов ярость обезоруживается перед поверженным врагом, которого уважают даже дикари, особенно когда он верит в добрые намерения.

Зачем же тогда упорствовать в противодействии требованиям человечности, справедливости, религии, морали, политики и всем законам цивилизации? Почему бы скорее не уступить велению великодушия, славы и истинного интереса? Примеры королей, обреченных на нищету и смерть, всегда осуждались историей: подданные вспоминают о них с ужасом, а государи - со страхом.

С момента моего отъезда со острова Святой Елены я лично не знаю, какие изменения могли произойти в обращении с императором Наполеоном; но до моего отъезда это было невыносимо как с точки зрения его личного достоинства, так и с точки зрения его морального и физического существования. Были ли, наконец, внесены те изменения, которых так долго и тщетно добивались его слуги? Но губительное влияние климата и все ужасы места ссылки изменить невозможно. Этих обстоятельств самих по себе достаточно, чтобы отравить все источники жизни. В Европе нет подземелья, которое не было бы предпочтительнее Лонгвуда, и нет ни

одного человека, каким бы крепким ни было его тело и сила духа, который мог бы при таких обстоятельствах долго сопротивляться воздействию столь ужасной тюрьмы.

Жертва уже поражена болезнью, которая безошибочно, за очень короткое время, сведет ее в могилу. Профессорско-преподавательский состав искренне высказал это мнение, и с болью в сердце я осмеливаюсь сообщить о нем вашим Величествам, надеясь, что ваша человечность и высокая мудрость подскажут средство правовой защиты.

Конечно, меня нельзя обвинить в недостатке уважения и преданности суверенитету. Свидетельства, которые дает моя жизнь, являются моей гарантией того, что я осмелюсь обратиться к вашим Величествам; поскольку сознание ваших интересов, достоинства и славы является гарантией моих надежд и желаний.

ПОСЧИТАЙ ЛАС СЛУЧАЕВ.

ПИСЬМО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ИМПЕРАТОРУ АВСТРИИ, К КОТОРОМУ ПРИЛАГАЕТСЯ ВЫШЕУКАЗАННАЯ ЗАПИСКА. (АДРЕСОВАНО САМОМУ ИМПЕРАТОРУ.)

Сир, 10 февраля прошлого года я осмелился возложить к ногам вашего величества пожелания и мольбы верного слуги в пользу своего господина.

Я надеюсь, ваше величество простит мою настойчивость, которая, возможно, может показаться назойливой. Теперь я осмеливаюсь предложить вам другую записку в пользу того, кто был вашим братом и кого вы сделали своим сыном. Я беру на себя смелость сопроводить эту записку некоторыми подлинными документами.

Сир, моя надежда и мои извинения основаны на многих выдающихся добродетелях, которыми отличается ваше величество. Европа признает и провозглашает вас самым искренним, высокоморальным, гуманным и религиозным из людей; и все же именно от вашего имени мучают мучительной смертью того, кому вы отдали руку вашей любимой дочери; кого ваш собственный выбор и религия сделали вашим сыном.

Ах, сир! трепещите, как бы вам не преподнесли его окровавленный плащ!... И когда настанет день вечного суда, когда Верховный Судья людей и вещей, произнося свои ужасные постановления, спросит: “Что ты сделала со своим сыном? Почему ты разлучила мужа с женой? Как ты посмел разлучить тех, кто был соединен и благословлен моим именем? Я мог бы присудить победу кому угодно, но никто не мог воспользоваться этой победой, чтобы надругаться над моими святыми законами, не навлекая на себя моего гнева...” гнева...

Но, сир, я больше ничего не скажу: возможно, я уже зашел слишком далеко. Я прошу прощения у вашего величества. Таковы чувства, которые меня сильно возбуждают; таковы жалобы, которые вызваны у меня убийством моего хозяина, совершившимся на моих глазах. Сир, на коленях я умоляю вас вмешаться и предотвратить убийство. Не будьте глухи к моим мольбам!

Я есмь &c. ^[38]

ПОСЧИТАЙ ЛАС СЛУЧАЕВ.

ПИСЬМО ЛОРДУ КАСЛРИ С КОПИЕЙ НОТЫ, АДРЕСОВАННОЙ СОЮЗНЫМ СУВЕРЕНАМ.

Милорд, имею честь представить вашей светлости копию ноты, которую я взял на себя смелость адресовать Союзным суверенам.

Я вынужден препроводить вам эту записку, милорд, ввиду моего глубокого уважения к августейшей особе, которую вы представляете, и уважения, которое я питаю к личным талантам вашей светлости.

Каковы бы ни были ваши мнения, милорд, относительно этой записки, возможно, даже ваши возражения против нее, я убежден, что ваша светлость слишком великодушны, чтобы полностью и безоговорочно осуждать слугу, который полон решимости до последнего момента своей жизни прилагать все усилия для облегчения и утешения своего Государя.

Мой лорд, как велико было ваше влияние на судьбу этого Монарха! Насколько оно еще может быть велико! Почему мой голос не достигает ушей вашей светлости? В муках моего утомительного одиночества я часто пытался разгадать великие мотивы, которые могли бы продиктовать вашу суровую решимость. Мои мысли сосредоточены только на интересах вашей страны, строгом законе необходимости, убежденности в характере и склонностях того, против кого вы нацеливаете удар; и, наконец, на славе и ответственности вашего министерского положения. Удалось ли вашей светлости свести воедино все противоречивые обстоятельства? Исчерпали ли вы все источники информации? Как я сожалею, что ухудшенное состояние моего здоровья и способностей не позволяет мне адекватно выражать свои чувства и мысли! Возможно, они произвели бы на вас впечатление, милорд: возможно, многие факты, которые я мог бы рассказать, вызвали бы ваше удивление и серьезное размышление.

Имею честь быть и т.д.

ПОСЧИТАЙ ЛАС СЛУЧАЕВ.

Когда наступил срок заседания Конгресса, я отправился во Франкфурт и случайно оказался там в тот самый день, когда император Александр совершил свой въезд. Вне всякого сомнения, это очень благоприятная возможность запросить услугу представления, что Государь; и его хорошо известная приветливость, легкость, с которой он дает поступления в его присутствии, а также, возможно, свойственны своеобразные обстоятельства, связанные со мной, были так много поощрений в надежде легко получить аудиенции, и я, следовательно, настоятельно рекомендую каждый организм на него покушение. По их словам, это был самый надежный способ достичь цели, которую я имел в виду, и меня очень упрекали в том, что я отказался участвовать в испытании. Но я зрело взвесил в своей душе преимущества и недостатки такого шага и был далек от того, чтобы разделять общее мнение относительно вероятности его результата. К чему, сказал я себе, может привести меня такая высокая милость? Мог ли я рассчитывать тронуть сердце этого Монарха своим красноречием? И если мои слова произвели на него какое-то впечатление как на мужчину, разве окончательное решение не было принято с согласия многих других? И был ли я уверен, что в интервью, длившемся так недолго и вызвавшем столько смущения, смогу говорить так методично и точно, как только смогу написать? Правильно ли было с моей стороны вручать ему до наступления надлежащего времени подлинные документы, которые я предназначал только для собравшихся монархов, как

если бы это было обычное прошение? И если бы императору Александру случилось высказаться в моем присутствии об императоре Наполеоне в выражениях, которым я не мог не возразить, поскольку было слишком вероятно, что он выразился бы так, не могло ли оказаться, что я разозлил и расстроил его, вместо того чтобы примирить? Это последнее соображение в основном привело к моей решимости не добиваться аудиенции, которая представляла столько возражений и давала лишь одно преимущество, и то лично для меня, а именно знаковую милость увидеть первого из монархов и побеседовать с тем, о ком Наполеон сказал на своей скале: “Если я умру здесь, он будет моим наследником в Европе”.

Кроме того, император Александр знал, что я нахожусь во Франкфурте. Мне сказали, что он упоминал об этом в одном из своих кругов, и я был почти уверен, что с ним говорили обо мне. Обстоятельства, при которых я получил эту информацию, достаточно необычны, чтобы упомянуть их здесь. Мой номер в отеле, где я остановился, случайно оказался рядом с номером одного из его генералов, который пользовался его личным доверием и которого постоянно допускали к нему. На второй или третий вечер после моего приезда хозяин отеля зашел в мой номер, чтобы сообщить мне, что генерал готов принять меня и что он с большим удовольствием даст мне интервью, о котором я просил. В первый момент удивления моим немедленным ответом было приказать ему пойти и сказать, что это ошибка; но, внезапно сообразив, что это, возможно, счастливое обстоятельство, вызванное вмешательством Провидения, я побежал за человеком, который уже доставлял свое послание, и объяснился с порогквартиры, что, вероятно, произошла какая-то ошибка, поскольку я не имел чести просить о такой услуге; на что генерал подбежал ко мне, как бы для того, чтобы задержать меня, и, отпустив своего адъютанта, сказал мне с видом приветливым и вежливым. вежливость, что, было ли это по ошибке или нет, он должен быть счастлив воспользоваться этой возможностью познакомиться и немного побеседовать со мной. Затем у нас состоялся очень долгий разговор, и, как легко поверить, он полностью касался острова Святой Елены.

Я прибыл во Франкфурт только для того, чтобы передать по надлежащей форме все мои документы в соответствующие дипломатические представительства, и, сделав это, я немедленно вернулся в Мангейм, чтобы скрыться от суеты и интриг Франкфурта. Несколько человек пришли туда и предложили служить мне на Конгрессе, заверив меня, что их услуги могут иметь очень большое значение, и предложив стать очень ревностными агентами в моем деле. За эту помощь мне, конечно, пришлось бы заплатить очень дорого, и было видно, что у меня едва хватало средств, чтобы удовлетворить первые потребности того, в неопределенных интересах кого с меня требовали большие суммы. Во время заседания Конгресса, пока я ждал благоприятного решения от Монархов, мне было суждено получить, даже находясь в моем уединении в Манхейме, свежие доказательства порочности сэра Хадсона Лоу и жестокого обращения, которому он продолжал подвергать свои жертвы. Неудачливый артиллерист ост-индского корабля нашел меня в Манхейме, и примерно в то же время я получил большой пакет от генерала Бертрана. История артиллериста и всех неприятностей, которым он подвергся со стороны губернатора и его приближенных за то, что нес бюст молодого Наполеона, из которого он надеялся извлечь некоторую выгоду, установив его в Лонгвуде, довольно подробно описаны в работе мистера О'Мира. Этот бюст, который губернатор сначала намеревался выбросить в море и существование которого он впоследствии попытался скрыть, завладев им под предлогом того, что подарит его самому Наполеону, был, однако, в конце концов отправлен в Лонгвуд вследствие выражения общественного негодования; и граф Бертран послал артиллеристу, а также в счет стоимости бюста, чтобы возместить ему все неприятности и убытки, которые это

ему причинило, один из счетов, которые я оставил ему при моем отъезде, на сумму 300 л. Граф Бертран, отправляя счет артиллеристу, попросил его подтвердить его получение; но бедняга, не имея возможности подтвердить получение счета, даже не слышал о письме графа Бертрана и был вынужден продолжить свое путешествие в Индию после доставки бюста со следующей устной информацией, переданной ему сэром Хадсоном Лоу: “Что жители Лонгвуда назначили ему некоторую награду и что он узнает об этом со временем”. По возвращении из Индии несчастному артиллеристу не разрешалось сходить на берег в течение всего времени стоянки корабля на острове Святой Елены, и ему просто еще раз сказали, что все, что касалось его интересов, находится в Адмиралтействе в Лондоне. Когда он добрался до Англии, то, наконец, после расспросов, получил счет; и это был первый раз, когда он услышал о нем; но прошло более восемнадцати месяцев; у лиц, на которых он был выписан, больше не было необходимых средств, и он был вынужден покинуть Лондон в печальном убеждении, что потерял и свой бюст, и свои деньги. Этот артиллерист был жителем Далмации и, возвращаясь домой через Триест, проезжал через Германию, когда по величайшей в мире случайности услышал во Франкфурте, что он найдет во Франкфурте векселедателя, который у него был; поэтому он пришел ко мне, и его радость была столь же живой, сколь обильны были его проклятия в адрес сэра Хадсона Лоу, когда он получил эту сумму, которая, по его словам, была для него небольшим состоянием и делала его счастливым до конца его жизни.

Большой пакет, который я получил от великого маршала, состоял из его длинного письма, написанного по приказу императора, и различных подлинных документов, которые прибыли обычным путем. Но, к моему великому удивлению, в тот самый день, когда я получил это письмо, я прочитал его содержание в нидерландских газетах, извлеченное и повторно переведенное из английских газет. Догадываясь, каковы были намерения в Лонгвуде, я, тем не менее, отправил официальную копию этого письма лорду Ливерпулю, как мы сейчас увидим. Я привожу сюда все эти документы, потому что письмо графа Бертрана, содержащее довольно подробный отчет о жестоком обращении, которому подвергся император с того момента, как я покинул его, представляет читателю дальнейший восемнадцатимесячный период истории Лонгвуда. Кроме того, некоторые из этих документов снабжены приписками, сделанными рукой самого Наполеона, и слишком примечательны, чтобы их можно было оставить незамеченными.

ПИСЬМО ГРАФА ЛАС КЕЙСА ЛОРДУ ЛИВЕРПУЛЮ.

Милорд, сию минуту я получил длинное письмо от графа Бертрана; и в тот же момент, к моему великому удивлению, увидел это письмо, напечатанное в брюссельской газете "Врай либерал" в переводе лондонской "Морнинг Кроникл".

Сообщить вашей светлости, как это произошло, выше моих сил; но я могу заверить вас со всей правдивостью, что это произошло без моего участия и что я искренне сожалею об этом обстоятельстве. Я могу объяснить это только предположением, что один из ваших соотечественников согласился принять пакет из Лонгвуда только при условии получения его вскрытым и уверенности в том, что он касается чести его страны; и что по прибытии в Лондон он сообщил его содержание общественности и одновременно переслал его мне. Все было бы не так, милорд, если бы в ответ на мои постоянные просьбы я получил разрешение проживать в Англии. Как бы я ни был убежден, и как, по-видимому, подозревает граф Бертран, что ужасные неприятности и унижения, ежедневно причиняемые Лонгвуду, могут быть неизвестны Администрации, именно к вам, милорд, стоящему во главе этой Администрации, и только к вам,

я немедленно обратился бы с просьбой сообщить вам о таких неслыханных обидах; таким образом, предоставив вам средства и оставив за вами заслугу их устранения.

Я умоляю вашу светлость поверить, что только после того, как я тщетно исчерпал все меры, требуемые приличиями, после того, как я тщетно обращался, в порядке их ранжирования, к различным властям, я решился бы на крайнюю меру обращения, наконец, к общественному мнению, к которому можно будет апеллировать и которое будет объявлено произнесено только в последней инстанции. Я доказал это, милорд, когда, после восьми месяцев абсолютного молчания со стороны лорда Батерста, в ответ на заявление, которое я направил его светлости о различных жалобах, о которых я имел честь просить у него возмещения и которое я, по крайней мере, имел бы право опубликовать, я, однако, не делал этого, пока некоторые несвоевременные замечания одного из ваших членов Палаты общин не сделали это делом насущной необходимости. Я доказал это, милорд, во время искренних просьб, которые мое сердце побудило меня обратиться к вам в Экс-ла-Шапель, когда я бережно передал лично лорду Каслри копию прошений и жалоб, которые я почтительно положил к ногам союзных государей. Наконец, милорд, чтобы предоставить, насколько это в моих силах, дополнительное доказательство такого расположения, я спешно приказываю сделать копию письма графа Бертрана, чтобы ваша светлость могли непосредственно и достоверно ознакомиться с этим документом и представить его его Королевскому Высочеству принцу-регенту.

Я страдаю от физических страданий, вызванных нездоровым климатом острова Святой Елены, а также от моральных страданий, которыми усугубилась моя разлука; плачевное состояние моего здоровья таково, что любой вид применения запрещен мне преподавательским составом. Поэтому я не могу ничего добавить к письму, копию которого имею честь направить вам. Кроме того, какой комментарий может сравниться с простым изложением фактов, которые в нем содержатся?

Имею честь быть, с глубочайшим уважением, милорд, и т.д.

P.S.— После того, как я обратился к вашей светлости по поводу интересов столь высокой и священной важности, могу ли я воспользоваться естественно предоставленной возможностью перейти к рассмотрению предметов, которые являются сугубо личными для меня?

Не должен ли я ожидать какого-либо возмещения или получить какой-либо ответ относительно многочисленных жалоб, на которые я жаловался? Неужели я, прежде всего, по-прежнему буду лишен бумаг, которые уже два года хранятся на острове Святой Елены, несмотря на многочисленные протесты, которые я делал самому сэру Хадсону Лоу; несмотря на письмо, которое я имел честь адресовать по этому поводу его Королевскому Высочеству принцу-регенту с мыса Доброй Надежды; письмо, которое я написал одному из ваших коллег из того же места и по тому же вопросу; и, наконец, несмотря на письмо, которое я адресовал лорду Батерсту из Франкфурта? Может ли это упорное и абсолютное молчание в ответ на столь справедливые и так часто повторяемые требования рассматриваться как формальный отказ в правосудии? Я не могу в это поверить, милорд. Я знаю силу и превосходство ваших законов и уважение, которое обязан проявлять к ним каждый англичанин, независимо от его ранга или положения в жизни; и поэтому я должен предположить, что вина лежит на мне, который, не зная, как действовать, нарушает, по всей вероятности, установленные правила и формальности. Но в таком случае, милорд, разве не было бы уместно, справедливо и тактично проинформировать меня об этих правилах или даже обойтись без них? — Милорд, я требую этой милости от вашего

великодушия. Эти бумаги, с которыми я разрешил сэру Хадсону Лоу ознакомиться в то время, по своей природе совершенно не имеют отношения к цели содержания вашего заключенного; они не могут иметь для вас никакого значения с этой точки зрения; а для меня они безмерно дороги и бесценны.

ПИСЬМО ГРАФА БЕРТРАНА ГРАФУ ДЕ ЛАС КАСЕС.

Мои дорогие Лас Кейсы, я получил 7 июня письмо, которое вы оказали мне честь написать 15 января прошлого года; и с тех пор я получил 13 числа этого месяца ваши письма от 15 февраля, 15 марта и 15 апреля;^[39] содержание которых я сообщил императору и которые заставили его принять решение. пожелаю, чтобы я написал тебе. Четыре месяца назад я получил коробку с книгами и брошюрами, адресованную мне мистером Гоулберном; и с тех пор я получил очень любезное предложение прислать картину, которая находилась в моей спальне в Сен-Клу и изображала крещение маленького Наполеона. Мистер Генри Гоулберн был настолько любезен, что договорился с владельцем картины о ее покупке и добился снижения цены до половины первоначального спроса. На это предложение не было получено никакого ответа, потому что оно, казалось, составляло настолько странный контраст с тем, что происходит здесь, что его рассматривали как меру, связанную с парламентскими дискуссиями, что-то вроде тех, что касаются деревянного дома. Я был очень поражен вежливым поведением по отношению к вам и всем, что вы рассказали мне в своем последнем письме.^[40]... Может ли быть так, что ужасные лишения, которые нам приходится испытывать, не санкционированы английским правительством, и что Император умирает здесь жертвой личной ненависти губернатора? Правительства и принцев так легко ввести в заблуждение, что я пишу это письмо, испытывая сильные сомнения по этому поводу.

Со времени вашего отъезда в 1817 году все сильно изменилось. И в этом, 1818 году, неприятности, которым подвергся император, таковы, что их следует рассматривать как покушение на его жизнь. Вы будете судить по деталям. Вы, должно быть, читали в мартовских газетах кое-какие замечания по поводу речи лорда Батерста. Но с тех пор ситуация значительно ухудшилась, и ненависть губернатора этого острова не знала границ.

Когда вы покинули нас, император отказался от верховой езды, чтобы избежать расставленных ловушек и оскорблений, нанесенных ему часовыми. С тех пор он был вынужден отказаться от ходьбы, чтобы избежать тех же неудобств. В марте и апреле император иногда выходил навестить мою жену, а иногда он садился на известную вам скамейку, которая находилась примерно в пятидесяти шагах от дома и где он оставался полчаса или час. Но были найдены средства помешать ему сделать это и заставить его строго придерживаться дома. Они знали, что это не очень трудно. Солдат 66-го полка был назначен садовником, а в моем доме был размещен сержант. И то, и другое было очень полезно либо при выкорчевывании сорняков, которые могли отравить воздух, поскольку ни один сад не может существовать в такой ситуации, либо при ремонте дома, который находится в аварийном состоянии и пропускает воду всякий раз, когда идет дождь. Такой порядок действий кажется очень рациональным; но губернатор наделил этих двух солдат правом останавливать любого, кого они сочтут нужным, даже у дверей и под самыми окнами императора. С того момента он не выходил из дома, и вот уже прошло сто дней с тех пор, как он хотя бы высовывал голову из окна.

Этот климат, это абсолютное отсутствие физических упражнений в сочетании с плохими условиями проживания повлияли на его здоровье до такой степени, что вы бы его не узнали. С

конца сентября 1817 года у него появились первые симптомы хронического гепатита, который, как вы знаете, смертелен в этой стране. Он должен был сопровождать достойного О'Мира, которому, как вы знаете, он доверяет; но в апреле месяце, в тот момент, когда он больше всего нуждался в его внимании, сэр Хадсон Лоу вынудил его подать прошение об отставке, желая заставить императора пригласить Бакстера, которого вы также знаете. Император отказался обращаться к какому-либо врачу; с 10 апреля по 10 мая у него не было ни одного врача. Наконец, русский и австрийский комиссары, возмущенные таким обращением, сообщили губернатору, что, если император умрет при таких обстоятельствах, они сами не будут знать, что сказать, если в Европе возобладает мнение, что он был убит. Это, по-видимому, побудило губернатора восстановить Доктора в должности; но он подверг его всем видам жестокого обращения. Он попытался добиться, чтобы его исключили из столовой 66-го полка; и, поскольку эти храбрые офицеры отказались участвовать в столь произвольном действии, он сам отдал доктору через полковника приказ прекратить обедать с офицерами 66-го полка. Он написал в Лондон, и вполне вероятно, что О'Мира будет отослан. Император, однако, не примет никакого другого Врача; и если принц-регент или лорд Ливерпуль не примут во внимание этот факт, он умрет здесь от своей болезни, лишенный даже помощи своего врача. Однако последние два месяца император был очень болен. Он встает в одиннадцать часов утра и снова ложится в два часа пополудни. Несколько дней назад он пережил очень сильный кризис, вызванный ртутью, которую доктор О'Мира ввел ему при заболевании печени. Доктор О'Мира, встревоженный своей ответственностью, предложил мне послать за мистером Бакстером и хирургом "Завоевателя"; они два первых врача здесь. Вы знаете неприязнь, которую император питал к мистеру Бакстеру, основанную на том, что он раньше был штабным хирургом итальянской дивизии, которой командовал сэр Хадсон Лоу. Эта неприязнь значительно усилилась с тех пор, как он одолжил себя

с октября 1817 года по март 1818 года выпускались бюллетени, наполненные ложью, которые ввели в заблуждение его правительство и всю Европу. Но император не увидел никаких неудобств в визите О'Мира к мистеру Стоку, хотя ему это и не очень понравилось; и, следовательно, этот джентльмен приехал в Лонгвуд в три часа пополудни того же дня, но не захотел входить в апартаменты императора, опасаясь, что он поступит своими обязанностями и потеряет положение, полученное после сорока лет службы. Это показалось мне настолько необычным, что я бы не поверил. Поэтому я поговорил с ним, и он выразил свое сожаление по поводу того, что не может выполнить наши пожелания, поскольку он очень уважаемый человек. Его отказ, однако, легко объясним; он проистекал из намека, который был дан ему таким же образом, как и Коулу, банкиру, которого вы знаете. Мне нужно было уладить с ним кое-какие денежные вопросы, и я послал за ним; но, придя ко мне домой, он заявил, что может говорить со мной только в присутствии дежурного офицера, потому что в противном случае он разорится. Конечно, я отказался. То же самое произошло несколько дней назад с мистером Фаулером, прибывшим из Англии, с которым у меня был счет на несколько сотен фунтов для оплаты одежды, заказанной в Лондоне. Это правда, что вы не знакомы с ситуацией, в которой мы сейчас находимся и которая не может сравниться с тем, что было в ваше время. Даже тогда это было достаточно неприятно; и, зная императора так, как вы, вы должны были решительно воспротивиться тому, чтобы кто-либо из членов его семьи появился здесь. Зрелище унижений, досады и ненависти, которым он подвергается, было бы для него совершенно невыносимым, если бы его мать или кто-либо из его братьев разделили это зрелище. Даже графу Монтолону и мне, которых сейчас с ним только двое, он часто говорил, что хотел бы, чтобы мы покинули

остров Святой Елены, освободились от такого обращения и оставили его в покое; и что его агония была бы менее горькой, если бы он не видел, как мы разделяем ее. Вы знаете, что офицеры уже давно перестали бывать в моем доме; но, когда мы встречали их на дороге, они очень вежливо останавливались и разговаривали с моей женой; теперь им это было запрещено, правда, не письменно, а намеками; так что часто случалось, что, завидев нас на расстоянии, они сходили с дороги.

Дело дошло до того, что наше грязное белье остается на несколько дней для осмотра дежурным капитаном, а иногда и Персоналом; в высшей степени неприличное и бесчестное для них действие, цель которого - унижить и оскорбить нас.

В июне 1816 года судно-склад доставило мраморный бюст молодого Наполеона: сэр Хадсон Лоу приказал выбросить бюст в море. С тех пор он это отрицал; но у нас есть подтвержденный судом факт, поскольку этот поступок вызвал отвращение у леди Малькольм, которая все еще находилась на острове Святой Елены, а также у всех капитанов торговых судов, находившихся на острове.

С тех пор, в феврале прошлого года, кембриджский склад доставил две гравюры с изображением молодого Наполеона, которые были куплены в Лондоне: сэр Хадсон Лоу приобрел их под предлогом подарка Отцу, и когда месяц спустя офицеры услышали, что, напротив, их скрывали от него, они не могли сдержать своего возмущения тем, что англичанин был виновен в таком поведении.

Британское правительство не может не знать обо всех этих процедурах. Если то, что император сказал здесь лорду Амхерсту, было повторено в Лондоне, если капитан Попплтон, которого вы знаете и который был дежурным офицером в течение двух лет, был допрошен, если были допрошены полковник Николс из 66-го полка и полковник Ферзен из 53-го полка, а также многие другие, то должно быть известно, какому недостойному обращению мы здесь подвергаемся.

Если в Европе есть враги императора, которые одобрили бы поведение британского правительства, если бы оно открыто и прилюдно лишило жизни Наполеона на борту "Беллерофонта", то нет ни одного, кто однажды не осыплет проклятиями и поношением и не отречется от тех, кто прибегает к таким трусливым средствам для достижения этой цели.

Как нам согласовать все это с тем, что вы мне пишете? возможно, исходя из предположения о переписке, наполненной ложью и искусно организованной. Однако мы, со своей стороны, в течение последних двух лет открыто и громко жаловались; и о преступном поведении, совершенном здесь, должно быть известно в Лондоне,

Вы будете удивлены, услышав, как я говорю о французских, австрийских и российских комиссарах, которые находятся здесь. Мы никогда не видели их за то время, что вы были с нами, и по сей день они еще не видели Императора и не обращались к нам. Но мы часто встречали их на дорогах в наших пределах, и это достаточно нелепый способ видеть друг друга. Хотя император не признает их Уполномоченными, он никогда не отказывался принимать их как чужаков.

Что касается губернатора, то император не видел его с апреля 1816 года: вам известны причины, побудившие его не принимать его после оскорблений, нанесенных ему губернатором.

В таком случае, если сэр Хадсон Лоу стремится отомстить, такой поступок, хотя и несовместимый с великодушием, может быть легко объяснен. Но как могло правительство продолжать в течение двух лет доверять человеку, который так странно злоупотребил им?

Поэтому я убедительно прошу вас, от имени императора, проинформировать его семью и родственников о ситуации, в которой он находится, и категорически потребовать, чтобы никто из них не усугублял его страданий, разделяя их.

Вы говорите нам, что английское правительство подписалось за нас на "Морнинг кроникл"; но с этой газетой происходит то же самое, что и с "Таймс"; ее присылают нам после того, как те номера, которые сочли нужным скрыть от нас, были ранее изъяты. Таким образом, у нас было несколько номеров за февраль и несколько за март, но все те, которые они с удовольствием отозвали, так и не были отправлены нам. Не иметь регулярной серии газеты хуже, чем ее вообще не иметь.

Как можно было бы прислать нам какую-либо книгу, если бы губернатор немедленно закупал все привезенные книги, особенно французские, чтобы помешать нам их покупать?

Что касается брошюр, которые, как вы заявляете, были отправлены нам, мы получили только одну коробку из них 12 марта, из чего мы заключаем, что, вероятно, остальные сохранились.

Я прочитал это письмо императору, который одобрил его содержание, но подумал, что я очень слабо выразил низость наблюдаемого по отношению к нему поведения. Он просит меня прислать вам две записки, написанные им самим, в которых будет изложено все его мнение относительно офицера, которому было доверено управление этой страной. Каломель, которую принимал император, до сих пор не оказывала никакого благотворного воздействия на печень и вызывала другие недуги.

Примите, мои дорогие Лас Кейсы, заверения в нежных чувствах, которые я питаю к вам.

ГРАФ БЕРТРАН.

P. S. За несколько дней, прошедших с момента написания этого письма, произошло много событий, которые докажут вам, что наше положение отнюдь не улучшается, как вы, по видимому, предполагаете, а с каждым днем становится все хуже.

Вы знаете, что капитана Макки из 53-го полка сменил в Лонгвуде на посту дежурного капитан Попплтон из того же полка, и что Попплтону после его ухода сменил капитан Блэкени из 66-го, который, как и его предшественники, пользовался в своем полку самой превосходной репутацией. Этот последний офицер уже в первые дни после своего прибытия думал, что губернатор требует от него каких-то действий, недостойных человека чести; но так как число этих предосудительных действий с тех пор значительно возросло, он, наконец, страстно желал истечения года своей службы на этом унижительном посту, чтобы больше не иметь с этим дела. Известно, что он конфиденциально заявил своим друзьям в полку, что для человека чести невозможно оставаться на этом посту, не потеряв собственного уважения. Возможно также, что сэр Хадсон Лоу не был удовлетворен признанными чувствами капитана Блэкени; как бы то ни было, 20 числа этого месяца офицер, который был отправлен принять командование ополчением и чья прежняя связь с сэром Хадсоном Лоу вам известна, единственный из всего губернаторского штаба, которого император отказался видеть, пришел, чтобы назначить себя

дежурным офицером, а с ним, под разными предлогами, еще одного офицера, так что у нас было двое вместо одного. Похоже, что некоторые комнаты и предметы, принадлежащие правительству, которые были предоставлены совместно дежурному офицеру и доктору О'Мире, вызвали между ними ожесточенные споры.

22-го я отправил протест с пометкой^[41] губернатору, который прислал мне вызов от упомянутого офицера. Провоцировать сэра Хадсона Лоу было ниже моего характера и моего положения, но в данном случае я счел уместным адресовать ему письмо с пометкой В.^[41]

24-го числа он отослал доктора О'Мира из Лонгвуда на основании, по его словам, приказа лорда Батерста, как вы увидите из письма губернатора графу Монтолону, помеченного С.^[41] на которое граф Монтолон ответил письмом с пометкой D.^[41]

Доктор О'Мира, как вам известно, был прикреплен к императору вместо своего личного врача по решению Совета и вследствие специального требования на этот счет, адресованного мной адмиралу Кейту; следовательно, он не мог быть отозван у императора, но по приказу Совета. Если такой порядок существует, то почему мы не ознакомлены с ним? Конечно, ни Совет, ни лорд Батерст не отстранили бы от императора врача по его собственному выбору, предварительно не заменив его другим, которому император доверял; они бы почувствовали ответственность, связанную с таким шагом.

Но если бы даже в Совете был отдан приказ, это не оправдало бы губернатора; ибо этот приказ, отданный при обычных обстоятельствах, не мог быть приведен в исполнение в тот момент, когда император был серьезно нездоров. Никогда не могло быть намерения, чтобы у него забрали врача во время его лечения в случае болезни столь серьезного характера, которая угрожает его существованию; особенно потому, что с апреля месяца было выдвинуто требование, чтобы, если предполагалось забрать у него доктора О'Мира, вместо него из Европы был прислан другой врач, которому император доверяет. Ответ на это требование должен поступить до истечения трех месяцев.

Я заключаю, мои дорогие Лас Кейсы: мое сердце разбито.

БЕРТРАН.

ПЕРВАЯ ЗАПИСКА, НАПИСАННАЯ ИМПЕРАТОРОМ НА ОБОРОТЕ ПИСЬМА СЭРА ХАДСОНА ЛОУ, ДАТИРОВАННОГО 18 ноября 1817 ГОДА.

Это письмо, а также письма, датированные 24 июля и 26 октября прошлого года, наполнены ложью. Я заперся в своей квартире на восемнадцать месяцев, чтобы укрыться от оскорблений этого офицера. Мое здоровье сейчас подорвано и больше не позволит мне читать такие отвратительные документы; не присылайте мне их больше.

Независимо от того, считает ли этот офицер себя уполномоченным устными и секретными инструкциями своего министра, как он дал нам понять, или же он действует по собственной воле, что можно заключить из тщательности, с которой он маскируется, я не могу относиться к нему иначе, как к своему убийце.

Если бы они послали в эту страну человека чести, не только я испытал бы меньше неприятностей, но и они избавили бы себя от многих упреков со стороны Европы и истории, которых не обманет ни одно сочинение об этом хитром человеке.

НАПОЛЕОН.

Лонгвуд, 23 ноября 1817 года.

ВТОРОЕ ПРИМЕЧАНИЕ, ВСТАВЛЕННОЕ НА ПОЛЯХ ПИСЬМА СЭРА ТОМАСА РИДА ГРАФУ БЕРТРАНУ От 25 апреля 1818 ГОДА.

1.—Я сказал вам вчера, когда вы вручили мне это письмо, что я не буду знать его содержания и что вы не должны переводить его мне, поскольку оно не соответствует формам, принятым за последние три года.

2. Это новое оскорбление только позорит этого хлыща. Только король Англии может обращаться со мной на равных.

3. Однако эта хитроумная линия поведения преследует цель: помешать вам раскрыть *преступный заговор, направленный против моей жизни, который осуществлялся в течение последних двух лет.*

4.—Таким образом, хотя кажется, что они открывают канал для жалоб, на самом деле они закрывают все пути.

5.—Таким образом, с появлением желания предоставить мне дом и после объявления о строительстве в течение последних трех лет, я, однако, все еще нахожусь в этом нездоровом сарае, и строительство не начато.

6. Таким образом, хотя кажется, что я могу свободно ездить верхом, прибегают к косвенным средствам, чтобы помешать мне делать это и заниматься физическими упражнениями; отсутствие которых является основной причиной моей жалобы.

7.—К тем же средствам прибегают, чтобы помешать мне принять какие-либо визиты. Им необходимо укрыться во тьме.

8. Таким образом, после нападения на моего врача, после того, как я вынудил его подать заявление об отставке, не желая быть пассивным орудием и лишенный всякой моральной независимости, он, тем не менее, содержится под арестом в Лонгвуде, чтобы можно было поверить, что я пользуюсь его присутствием, когда хорошо известно, что я его не увижу, что я не видел его последние две недели, что я никогда его не увижу до тех пор, пока он не выйдет на свободу и не освободится от гнета, под которым он находится, и до тех пор, пока он не восстановит свою моральную независимость в Лонгвуде. что касается исполнения им своих функций.

9. Таким образом, создается ложное представление путем публикации бюллетеней врачом, который никогда меня не видел и не знает ни состояния, в котором я нахожусь, ни болезни, которой я поражен; но это очень хорошо помогает ввести в заблуждение принца и народ Англии и Европы.

10. Свирепая радость проявляется при обострении страданий, которые это лишение медицинской помощи добавляет к моей затянувшейся агонии.

11. Потребуйте, чтобы эта записка была отправлена лорду Ливерпулю, а также ваше вчерашнее письмо, а также от 13 и 14 апреля, чтобы принц—регент узнал моего убийцу и мог привлечь его к публичному наказанию.

12. —Если он этого не сделает, я завещаю позор моей смерти правящему дому Англии.

НАПОЛЕОН.

Лонгвуд, 27 апреля 1818 года.

Документ А. ПРОТЕСТ, АДРЕСОВАННЫЙ ГУБЕРНАТОРУ ПО

22 ИЮЛЯ 1818 ГОДА.

Именем императора Наполеона я вынужден заявить протест,

1.—Против любого нарушения нашей границы слугами, рабочими или другими лицами, которых вы тайно наделили бы государственной властью.

2. Против оскорблений, нанесенных доктору О'Мире с целью заставить его покинуть это место, и против препятствий, публичных или тайных, которым вы противодействовали или можете противодействовать оказанию помощи Наполеону во время его болезни по совету какого—либо медицинского работника, которому он может доверять, который может быть аккредитован на службе его Британского Величества или известен тем, что публично практикует на острове.

3. Вопреки всем свидетельствам, отчетам и писаниям офицера милиции Истера, который помещен в Лонгвуд только для того, чтобы быть орудием ненависти и мести.

ГРАФ БЕРТРАН.

Документ В. ГУБЕРНАТОРУ СЭРУ ХАДСОНУ ЛОУ.

Лонгвуд, 23 июля 1818 года.

Сэр, имею честь препроводить вам письмо, которое я только что получил. Старик, как мне кажется, не в своем уме. Он может знать о моей официальной переписке только по вашему приказу. Я не ответил ему и не собираюсь этого делать. Он всего лишь подчиненный агент, и если его руководитель, генерал-майор, желает потребовать от меня удовлетворения, я готов его предоставить.

Я имею честь быть,

ГРАФ БЕРТРАН.

Документ С. ГУБЕРНАТОР ГРАФУ МОНТОЛОНУ.

Плантаторский дом, 25 июля 1818 года.

Сэр, я имею честь сообщить вам, к сведению Наполеона Бонапарта, что в соответствии с инструкциями, которые я получил от лорда Батерста от 16 мая 1818 года, мне поручено отстранить мистера О'Мира от его должности при особе Наполеона Бонапарта, и что я соответственно отдал приказ ему немедленно покинуть Лонгвуд. В то же время контр-адмирал Плампин получил инструкции от лордов Адмиралтейства удалить его с этого острова. Инструкции лорда Батерста далее гласят, что после отъезда мистера О'Мира я должен приказать доктору Бакстеру посещать Наполеона Бонапарта в качестве врача всякий раз, когда его об этом попросят; и что я должен сообщить ему, что он должен рассматривать здоровье Наполеона Бонапарта как главный объект своего внимания. Сообщая об этом соглашении, мне строго предписано в то же время заявить, что, если у Наполеона Бонапарта есть какие-либо причины не быть удовлетворенным медицинским обслуживанием доктора Бакстера, или если он предпочитает любого другого врача этого Острова, я вполне готов согласиться с его пожеланиями в этом отношении и разрешить любому другому практикующему врачу, которого он может выбрать, ухаживать за ним, при условии, что он строго соблюдает установленные и действующие в настоящее время правила.

Отдав доктору О'Мире распоряжения относительно его отъезда, я снабдил мистера Бакстера необходимыми инструкциями, и он будет готов отправиться в Лонгвуд по первому зову. Тем временем, пока я не буду проинформирован о пожеланиях Наполеона Бонапарта по этому поводу, я прикажу разместить в Лонгвуде офицера медицинской службы, чтобы он был готов на случай чрезвычайной ситуации.

Имею честь быть и т.д.

ХАДСОН ЛОУ, генерал-лейтенант.

Документ D. ГРАФУ МОНТОЛОНУ ГУБЕРНАТОРУ.

Сэр, доктор О'Мира вчера покинул Лонгвуд, будучи вынужден оставить своего пациента в разгар курса лечения, который он ему прописывал; этот курс закончился сегодня утром. С сегодняшнего утра совершается великое преступление!!! К письмам графа Бертрана от 13, 24, 26 и 27 апреля прошлого года добавить нечего. Император никогда не примет никакого другого врача, кроме мистера О'Мира, потому что он является прикрепленным к нему врачом или тем, кого могут прислать к нему из Европы, в соответствии с письмом от 13 августа, о котором уже упоминалось.

Я передал письмо, которое вы мне вчера адресовали. То, что я сейчас имею честь написать вам, является содержанием ответа, который меня просили передать.

У меня есть и т.д.

ГРАФ МОНТОЛОН.

ПИСЬМО ГРАФА БЕРТРАНА ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ КАРДИНАЛУ ФЕШУ.^[42]

Милорд, сьер Сиприани, управляющий императора, скончался в Лонгвуде 27 февраля прошлого года, в четыре часа пополудни. Он был похоронен на протестантском кладбище этого острова, и служители их церкви совершили по этому случаю те же обряды, которые они

совершили бы по собственному убеждению. Были приняты меры к тому, чтобы в выписке из реестра умерших, которую я вам отправлю, хотя этот абзац моего письма мог бы соответствовать цели, было указано, что он умер в лоне Римско-католической церкви. Служитель церкви этой страны охотно посетил бы покойного на смертном одре, но последнему нужен был католический священник, а поскольку у нас его нет, он, по-видимому, не желал видеть священнослужителя какой-либо другой религии. Я был бы рад, если бы вы сообщили нам, каковы законы католической церкви по этому вопросу и может ли католик на смертном одре находиться под присмотром служителя англиканской церкви. Однако мы не можем в достаточной мере похвалить надлежащее чувство и рвение, проявленные по этому поводу духовенством острова. Сиприани умер от воспаления кишечника. Он скончался в пятницу и приступил к своим обязанностям в предыдущее воскресенье, не имея никакого предчувствия о своем приближающемся конце. За несколько дней до этого в Лонгвуде умер ребенок одного из слуг графа Монтолона. Несколько дней назад от того же недуга умерла служанка. Такого влияние этого нездорового климата, в котором мало кто доживает до старости. Болезни печени, дизентерия и воспаления в кишечнике уносят многих туземцев, но еще большее число европейцев. В этот раз, как и каждый день, мы почувствовали нехватку служителя нашего собственного убеждения. Поскольку вы наш епископ, мы хотели бы, чтобы вы прислали нам кого-нибудь, будь то француз или итальянец. В таком случае вам следует выбрать образованного мужчину моложе сорока лет, особенно мягкого нрава, не проникнутого антигалликанскими принципами.

Обязанности управляющего перешли к мистеру Пьеррону, хозяину дома, но он был очень болен и, хотя выздоравливает, все еще находится в плохом состоянии здоровья. Повар находится в таком же состоянии. Следовательно, было бы необходимо, чтобы либо вы, либо принц Евгений, либо императрица прислали дворецкого и повара-француза или итальянца, отобранных из числа тех, кто был на службе у императора или, возможно, все еще находится на службе у его семьи.

Ваше Высокопреосвященство найдет в приложении: 1. Бумаги, найденные в портфеле месье Сиприани; 2. Брошь, которую он имел привычку носить и которую я счел нужным отослать домой для его жены; 3. Отчет обо всем, что ему причитается, на сумму 8287 франков, или 3455 фунтов 10д. стерлингов; 4. Переводной вексель в пользу его наследников для погашения этого счета. Император, зная, что его сын находится под вашей опекой, а его дочь - с мадам, откладывает выплату ренты обоим своим детям только до тех пор, пока ему не сообщат о состоянии, оставленном Сиприани, у которого, по-видимому, есть довольно значительные средства в Генуе.

Я не буду огорчать вас, подробно останавливаясь на состоянии здоровья императора, которое неудовлетворительно. Однако оно не ухудшилось после жаркой погоды. Я надеюсь, вы сохраните эти подробности в тайне от мадам. Не верьте ложным сообщениям, которые могут быть распространены в Европе. Считайте единственным фактом, на который можно положиться, что за последние двадцать два месяца император лишь изредка, хотя и очень редко, покидал свои апартаменты, чтобы нанести визит моей жене. Он почти никого не видел, если не считать двух или трех французов, которые находятся здесь, и английского посла в Китае.

Я прошу ваше Высокопреосвященство засвидетельствовать мое почтение мадам и членам ее семьи и принять преклонение перед чувствами, с которыми я имею честь быть, и т.д.

ГРАФ БЕРТРАН.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ГРАФА ДЕ ЛАС КЕЙСА ГЕНЕРАЛУ ГРАФУ БЕРТРАНУ.^[43]

Я собираюсь посвятить тебе первое мгновение, которое только смогу себе позволить. Прошло уже больше года с тех пор, как я покинул Лонгвуд; и за это время с какими неприятностями, какими заботами, с какими несчастьями всякого рода мне только не приходилось сталкиваться!!! Я предоставляю газетам сообщить вам о моих невзгодах. Я буду избегать в своих письмах любых выражений, любой темы, которые могли бы послужить предлогом для того, чтобы скрыть их от вас. Я буду способствовать всеми средствами, которые в моих силах, достижению единственной цели, которую я имею в виду, а именно тому, чтобы вы получили от меня доказательства преданности, которые будут занимать каждое мгновение оставшейся части моей жизни. Я слишком хорошо представляю себе утешение и счастье, которые я черпал, находясь в вашем обществе, из европейских воспоминаний, чтобы не уделить все свое внимание цели доставить вам такого рода утешение: О, мои дорогие товарищи! кто отныне будет занимать мои мысли каждый день и каждое мгновение! Поэтому я пишу вам в первый момент свободы, которой я наслаждаюсь от личных ограничений; и регулярно, каждый месяц, в один и тот же день, я буду, по крайней мере, дарить вам этот знак моего непрестанного беспокойства за вас. Препятствия, возможно, над которыми я не властен, могут помешать вам получать мои письма; но, что касается меня, только смерть может заставить меня нарушить мое обещание; и здесь я взываю к чувствам тех, кому доверена цензура моих писем, и они могут вообразить, что нашли в их выражениях какие-то мотивы для их перехвата. Я умоляю их сообщать мне о любых непреднамеренных отклонениях с моей стороны, которые могут показаться им предосудительными, чтобы я мог избегать их в будущем. Необходимость и утешение семейных чувств не могут быть запрещены общественной моралью, и это единственные чувства, которые я постараюсь удовлетворить в письме к вам.

Я только что получил в Австрии убежище, о котором я просил, как только обнаружил, что моя свобода в опасности. Я отправлюсь в Линц, как только плачевное состояние моего здоровья позволит мне предпринять это путешествие. Головные боли, которые впервые напали на меня на Мысе Кейп, с каждым днем становятся все более сильными и доставляют мне много беспокойства. Я воспользуюсь свободой общения, которая отныне мне разрешена, чтобы получить некоторую точную информацию обо всех тех, кто может быть вам дорог. Сегодня я могу предоставить вам только ту информацию, которую мне удалось собрать косвенно.

Моя жена, которой, по величайшему счастью, было отказано в разрешении отправиться на остров Святой Елены в тот самый момент, когда я покидал его, и которая вышла встретить меня на дороге, где меня несли, как тюк с товаром, сейчас возвращается в Париж, откуда она привезет остальных моих детей. Она позволит мне сообщить вам в моем следующем письме некоторые подробности о вашей семье, а также о семьях Монтолона и Гурго.

Мне удалось установить, что ее Превосходительство Мария Луиза наслаждалась прекрасным здоровьем в Парме и что ничто не может сравниться со здоровьем и красотой ее сына, который находится в Шенбрунне. Графиня де Сюрвилье задержана здесь из-за очень слабого состояния своего здоровья; время от времени она получает известия от своего мужа, который вполне здоров и находится в Америке. Обе ее дочери также чувствуют себя хорошо. Старшая имеет поразительное сходство с августейшим главой семейства. Принцесса Боргезе, мадам, мать императора, принц Канино, кардинал Феш и принц Луи находятся в Риме и находятся в

прекрасном здравии; остальные члены семьи, принцесса Элиза, граф де Монфор и принцесса Мюрат, проживают в различных частях Австрии. Я надеюсь, что со временем я смогу прислать вам более прямые и позитивные подробности. Я испытываю самое горькое сожаление о том, что я не смог приземлиться и обустроить свое жилище в Англии. Я лишен средств немедленно раздобыть и отправить все, что, по моему мнению, могло бы позволить вам хоть немного отвлечься на вашей ужасной скале. Это возложенный на меня религиозный долг, который я просил и буду продолжать каждый день просить британских министров разрешить мне выполнить. Мои постоянные попытки убедить их в этом не позволяют мне отчаиваться в успехе. Тем не менее, как бы далеко я ни был от места, я не премину достигнуть столь священной цели с помощью какого-нибудь посредника; только вы получите результаты моих забот и моих усилий менее полным образом и в более поздний период.

Берегите все вы свое здоровье; живите ради утешения, привязанности, счастья и исполнения желаний тех, кто восхищается вами и любит вас.

По прибытии в Дувр я получил письмо от вас, датированное 22 июля, и одно от 29 июля от сэра Хадсона Лоу. Они сообщили мне то, чего я до тех пор не знал, а именно, что вы получили несколько предметов, которые я отправил в Лонгвуд с Мыса; что вы получили документ, который был вручен мне вами и который я вернул, относительно денег, которые при отъезде я осмелился положить к ногам императора и которые я был так счастлив получить. Сэр Хадсон Лоу сообщает мне, что все счета, касающиеся этого дела, которые я оставил в ваших руках, были согласованы. Я надеюсь, что они были должным образом учтены. Я сам еще не знаю, в каком состоянии мои дела. В моей власти пока не было написать ни строчки моему агенту в Лондоне или получить от него какие-либо известия.

Я очень сожалею, что в моей власти и в моем распоряжении нет повествования об итальянских кампаниях. Эта далекая эпоха, уже удаленная от политики сегодняшнего дня, отныне обладает всеми историческими достоинствами. Этому страстно желают. Наука и современники того периода утверждают это. Я счел бы себя счастливым, если бы этот труд был доверен моим заботам; и в случае, если вы окажете мне такую услугу, я немедленно воспользуюсь им без промедления, немедленно запросив в Лондоне, какие предварительные формальности потребуются как в Англии, так и на острове Святой Елены, чтобы я мог получить эту рукопись. Я попрошу, чтобы ответ мне был также передан сэру Х. Лоу, чтобы вы могли судить, не будет ли с вашей стороны возражений сделать то, что от вас может потребоваться.

Пишите мне, дорогой генерал, в свою очередь, при любой возможности; давайте мне все поручения, которые могут прийти вам в голову, серьезные или пустяковые, легкие или трудные, это не имеет значения. Убедись и постоянно помни, что я живу только для тебя и через всех вас. Только мое тело покинуло твою опору.

ПОДСЧИТАЙТЕ ВСЕ СЛУЧАИ.

ВТОРОЕ ПИСЬМО ГРАФА ДЕ ЛАС КАСЕС ГЕНЕРАЛУ ГРАФУ БЕРТРАНУ.

Франкфурт, 26 января 1818 г.

Верный своему обещанию, я пишу вам по прошествии месяца и в тот же день, которым было датировано мое первое письмо. В глубине души я хочу записать идентичную дату, чтобы вы могли быть уверены, что она никогда не будет обойдена без моего обращения к вам. Однако

некоторые отрывки из моего письма, возможно, будут написаны позже его даты из-за молчания мадам де Лас Касес, писем которой я ежедневно ожидал из Парижа. Прошло уже около месяца с тех пор, как она покинула меня. Она предложила навестить всех ваших родственников, а также генералов Гурго и Монтолона. Она должна была прислать мне самые подробные сведения о них. К моему великому удивлению, я ничего о ней не слышал, и поскольку я не хочу больше откладывать письмо к вам, я вынужден отложить до следующего месяца все подробности, которые, я совершенно уверен, она соберет с таким рвением и тщательностью, с какими я мог бы это сделать сам.

Я с удовлетворением узнаю, что мое первое письмо переслано вам: я вложил его в одно из писем мистеру Гоулберну; его ответ только что пришел ко мне. Я с искренним удовольствием признаю, что оно наполнено выражениями доброго уважения и является во всех отношениях удовлетворительным; это заставляет меня надеяться, что то, что до сих пор имело место, проистекало из взаимного непонимания.

Он заверяет меня в готовности в любое время пересылать вам мои письма, при условии, что они будут того же характера, что и первое, и не вызовут каких-либо серьезных возражений. Он добавляет, что в соответствии с моей просьбой книги и брошюры, на которые я могу указать, будут вам высланы. Он предлагает приобрести их и сам следить за их регулярной передачей, заботясь о том, чтобы время от времени переводить мне квитанции об их стоимости, чтобы я мог рассчитаться с суммой. Он сообщает мне, что в случае, если император сочтет нужным доверить мне информацию *окампании в Италии*, сэр Хадсон Лоу немедленно получит инструкции передать ее в Англию, откуда она будет переправлена и доставлена мне желательным образом в Лонгвуд, после ознакомления с ней настолько, насколько это будет сочтено необходимым. Наконец, он уведомляет меня, что мои бумаги, которые были изъяты в Темзе, были немедленно отправлены мне обратно нераспечатанными; и что, если бы я еще не получил их, что имеет место до сих пор, причиной задержки могла быть только случайность.

Поэтому я надеюсь, что вы получите несколько публикаций вместе с этим письмом. К сожалению, я нахожусь на большом расстоянии и в неудобном положении для их выбора и приобретения, пока они новые; но я немедленно напишу в Лондон, чтобы исправить это неудобство. Я также надеюсь, что при той же возможности я смогу прислать вам много вещей, в которых вы нуждаетесь или которые могут оказаться приемлемыми для вас, и других, которые могут оказать существенную помощь здоровью императора.

Ее величество Мария Луиза чувствует себя вполне хорошо и по-прежнему проживает в Парме. Ее сын, судя по позднему рассказу человека, видевшего его на юношеском балу, удивительно красив и вызывает восхищение всей Вены. Таковы были использованные выражения. Он превосходно танцует и страстно любит это развлечение.

Все члены императорской семьи проявили ко мне самый добрый и нежный интерес. Они засыпали меня предложениями и добрыми пожеланиями. К счастью, в моих силах будет предоставлять вам регулярные отчеты о них каждый месяц.

Принц Джером заверил меня, что его предложения о службе не будут знать иных границ, *кроме невозможности*. Он предоставил приют рядом с собой достойному и добродетельному Планату, который после нашей разлуки на борту "*Беллерофонта*" "*Беллерофонта*", был выброшен штормами на берег и был на грани гибели. Принцесса Гортензия сообщает мне, что

она подверглась многочисленным преследованиям; но если причиненные ей муки были вызваны нежной и уважительной преданностью, которая наполняет ее сердце, они являются для нее источником гордости и счастья.

Всякий раз, когда мне позволяет мое здоровье, я отправляюсь засвидетельствовать свое почтение принцессе Жозефе, которая из-за плохого состояния здоровья прикована к абсолютному уединению и главным образом к постели. Мы говорим о острове Святой Елены. Наши мысли витают над морями; для нас это счастливые моменты. Ее дочери вполне здоровы; ее муж, судя по очень поздним сообщениям, тоже был здоров. Он взял под свою опеку двух слуг императора Наполеона, которых британское правительство сочло нужным отстранить от строительства Лонгвуда.

Принц Люсьен рассказывает мне обо всех членах семьи, собравшихся в Риме. Мадам, кардинал Феш, принцесса Боргезе и принц Луи пребывают в добром здравии и объединяются в пожеланиях и молитвах о здоровье и сохранности их августейшего родственника. Что касается принца Люсьена, он говорит, что счастлив в Риме; он только что обеспечил своих трех дочерей. И все же его мысли и сердце постоянно устремлены к острову Святой Елены. Он больше не может примириться с мыслью о том, что его брат будет томиться и умирать в изгнании. Он желает, чтобы я откровенно сказал ему, был бы император так же счастлив видеть его, как он сам был бы рад предстать перед ним; и в соответствии с его желанием я пишу британскому правительству с курьером, доставившим это письмо, с просьбой разрешить ему отправиться на остров Святой Елены и прожить там пару лет или пожизненно, если его брат не отправит его прочь, с женой и детьми или без них: его жена желает разделить с ним часть его изгнания; и далее, заявить, что он не будет предпринимать никаких действий по увеличению расходов ни для себя, ни для других. для своей свиты и что он подчинится тем же ограничениям, которые налагаются на его брата, и любым другим, которые может быть сочтено целесообразным наложить на него лично либо до его отъезда, либо после его возвращения.

Я не могу удержаться, мой дорогой генерал, от повторной просьбы выяснить, доверил ли бы император мне Кампании в Италии; затем вы могли бы, в свою очередь, переслать мне кампании в Египте. Они оба являются настоящими сокровищами для ученого мира и для истории, совершенно чуждыми политике наших дней и, следовательно, не подлежащими никаким возражениям. Я написал в Лондон, чтобы передать благодарность графини Бертран за дружеские воспоминания, которые были так любезно выражены по отношению к ней, и за дружеское внимание, которое было оказано ее детям. Если бы в моей власти было остаться в Англии, я бы постарался на месте найти какие-нибудь предметы, которые, по моему мнению, понравились бы дамам. На таком расстоянии я не могу требовать ничего, кроме моих добрых пожеланий; они очень искренни по отношению к ним и ко всем вам, мои дорогие товарищи. Роковой камень навсегда запечатлен в моем сердце.

Я все еще далек от выздоровления: мои головные боли с каждым днем усиливаются; врачи затрудняются высказать свое мнение по этому поводу. Пусть Богу будет угодно сохранить мое здоровье для служения и пользы тех, кто дороже всего моему сердцу. Я нежно обнимаю вас всех. Берегите себя, и пусть у вас будет крепкое здоровье; это будет моей наградой и наградой ваших друзей, которые любят вас так же, как и я.

ПОДСЧИТАЙТЕ ВСЕ СЛУЧАИ.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО ГРАФА ДЕ ЛАС КАСЕС ГЕНЕРАЛУ ГРАФУ БЕРТРАНУ.

Франкфурт, 15 марта 1818 года.

Я испытываю определенное удовольствие, мой дорогой генерал, когда пишу вам свое третье письмо, от мысли, что мое первое, должно быть, сейчас совсем рядом с вами. Я надеюсь, что мой второй уже напути на остров Святой Елены, хотя мне и не посчастливилось быть в этом уверенным. Одновременно должно было быть отправлено очень много публикаций, и я собираюсь переслать примечание о некоторых других, которые будут отправлены вместе с настоящим письмом.

Я только что получил известие от своей жены, которая собирается покинуть Париж, чтобы приехать с моими детьми и жить со мной. Она сообщает мне, что виделась с семьей генерала Гурго и передала им все подробности, которые она услышала от меня о нем и вашем заведении в Лонгвуде. Его мать и сестра чувствуют себя очень хорошо и шлют ему заверения в своей самой нежной любви и добрые пожелания. Ваша семья, великий маршал, находилась в одной из провинций, и в течение некоторого времени от них не поступало никаких известий. Что касается семьи графа Монтолона, мадам де Лас Касес не посчастливилось встретиться ни с кем из ее членов. Я надеюсь, что смогу в своем следующем письме рассказать о ваших друзьях, несмотря на то, что они находятся далеко от столицы.

Все члены императорской семьи чувствуют себя вполне хорошо. Я слышал о каждом из них с момента моего последнего визита и буду слышать каждый месяц, чтобы иметь возможность регулярно передавать вам информацию. Все они следуют за ним со своими добрыми пожеланиями и живут только для него. Большинство из них до сих пор были полностью лишены какой-либо информации о нем, и поэтому то небольшое, что я смог сообщить, оказалось для них наиболее ценным и дорогим. Чтобы удовлетворить их интерес и привязанность, которые оба естественны, я попрошу британское правительство, когда они получат новости со острова Святой Елены, позволить мне получить информацию о состоянии здоровья императора; это услуга, о которой я прошу от имени многочисленной семьи, и я надеюсь, что в ней не будет отказано из-за чувств, которые ее диктуют.

Принц Джером оказал мне честь сообщить, что условия, связанные с разрешением переписки с его августейшим братом, и его глубокое почитание того, кого он признает своим вторым отцом, единственно помешали ему иметь счастье написать ему и положить к его ногам свою жизнь. Если положение императора не улучшится в следующем году, он предлагает попросить разрешения британского правительства отправиться на остров Святой Елены со своей женой и сыном, предполагая, что такому путешествию не смогут воспрепятствовать никакие разумные возражения. Королева, его жена, которой не чуждо ничто благородное и возвышенное, проникнута теми же чувствами и выражает те же желания.

Кардинал Феш также пишет мне от имени мадам и от своего собственного, прося меня заметить, что, будучи единственными, чье внимание не разделено личными узами, проистекающими из уважения к семье и боязни подвергнуть ее неудобствам, я должен отдавать им предпочтение во всем, что может каким-либо образом облегчить ужасное положение императора.

Графиня Сюрвиле, которую я имею честь видеть очень часто и чьи желания постоянно обращены к острову Святой Елены, находится в очень плохом состоянии здоровья. Она очень

страдает и даже вызывает некоторое беспокойство. Принцессы, ее дочери, чувствуют себя вполне хорошо.

Я только что получил, наконец, свои бумаги, которые были изъяты в Темзе. Они дошли до меня после четырех месяцев бесполезных блужданий и ежедневных лишений. Причиной задержки мог быть только несчастный случай, поскольку они были возвращены мне нераспечатанными.

Я очень хочу получить от вас весточку и ваши комиссионные. К сожалению, расстояние так велико, а сообщения настолько нерегулярны, что мне придется писать еще некоторое время. Спрашивайте меня обо всем, что вам нужно; до тех пор я вынужден гадать. Скоро вы получите ту часть Moniteur, которой у вас нет. Сегодня я пишу на эту тему.

Я наконец-то получил письмо от своего агента в Лондоне. Он сообщает мне, что выполнил мои требования, и я рад это слышать. Но он также сообщает мне, что получил помимо вас еще два счета, от которых был вынужден отказаться из-за отсутствия у меня совета или полномочий. Я приношу свои извинения за это. С тех пор как я покинул вас, у меня не было возможности связаться с ним. Я немедленно ответил на его письмо, направив его исправить зло, насколько это в его силах. Однако он не сообщает мне никаких подробностей относительно этих законопроектов.

Мне мое здоровье по-прежнему равнодушным, как и всегда, если не сказать хуже. Я весьма обескуражен этим, тем более что сезон становится очень погожим, и это обстоятельство, однако, не производит для меня никаких благотворных изменений. Именно по этой причине я остаюсь во Франкфурте, поскольку нахожусь в центре множества минеральных источников, к которым врачи намерены меня направить.

Примите для себя, великий маршал, и для моих дорогих товарищей выражение моих пожеланий и всех моих чувств. Колония Лонгвуд занимает и заполняет каждое мгновение моего существования. Берегите себя. Таково пожелание тех, кто любит вас. Я ежедневно слышу, как оно высказывается в адрес всех вас. В этом месте или поблизости есть несколько изгнанников; некоторые были вашими близкими знакомыми. Они любят и почитают вас.

ПОДСЧИТАЙТЕ ВСЕ СЛУЧАИ.

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО ГРАФА ЛАС КАСЕСА ГЕНЕРАЛУ ГРАФУ БЕРТРАНУ.

Франкфурт, 15 апреля 1818 года.

Мадам Лас Касес продолжила свои расспросы относительно вашей семьи и семьи джентльменов. Я сам написал напрямую. Мои письма были возвращены мне *камердинером*. Я узнал, что с вашей семьей все было в порядке. Сестра генерала Гурго написала мне очень приятное письмо, полное нежности к своему брату. Что касается моей третьей попытки, хотя и повторенной, то она привела лишь к абсолютному молчанию, вы увидите, господин великий маршал, что мои подробности очень скудны. Это не моя вина: я пишу вам все, что могу. Вы поступите неправильно, если будете судить по моему недостатку материи обо всех моих заботах и непрестанных усилиях.

Я продолжаю получать новости обо всех членах семьи императора. Все они в добром здравии. Его сын продолжает оставаться прекрасным мальчиком. Императрица, пишут мне, очень худая. Недавно я видел человека из свиты принцессы Мюрат. Ему было специально поручено описать

мне ее нежную заботу о своем августейшем брате, ее преданность и пожелания. Я получил письмо от принцессы Элизы, полное тех же чувств. Все они живут только для того, чтобы думать о том, кто им так дорог, кто одарил их добротой и теперь поглощает все их чувства. Принцесса Элиза проживает в Триесте. Она сообщает мне, что пять раз писала на остров Святой Елены. Кардинал, со своей стороны, пишет мне, что они очень часто писали из Рима. Я получил ответ из Лондона на просьбу, с которой я обратился и о которой сообщил вам в моем последнем письме, о разрешении принцу Люсьену навестить своего августейшего брата. Ответ не показался мне достаточно ясным, чтобы я мог отправить его вам до того, как получу новое объяснение. Принц Джером, который говорил о том, чтобы предпринять подобную попытку в следующем году, не смог так долго откладывать шаг, успех которого порадовал бы его сердце. Он собирается обратиться к принцу-регенту за разрешением для себя, своей жены и сына немедленно отправиться в путешествие.

Кардинал дал мне очень полный отчет обо всех членах семьи, обосновавшихся в Риме. Принцесса Гортензия наслаждается спокойствием в Аугсбурге, где ее время от времени навещает ее брат. Она занята воспитанием своего второго сына. Старший из них прожил с ней несколько месяцев, и за время своего короткого визита он развил в себе все качества, которые делают честь, привязывают и вызывают интерес. Он вернулся в Рим к своему отцу, который обосновался в этом городе. Я надеюсь, что мое первое письмо дошло до вас раньше этого; и я считаю дни и часы, когда я получу ваш ответ, потому что тогда я буду более точно знать, что я могу сделать, чтобы быть приятным каждому из вас. Будьте уверены, что я и мои близкие живем только ради этого; и что сама смерть не смогла бы прервать ход моих усилий для достижения этой цели. Я обеспечу преемника. Тогда сообщите мне все ваши пожелания. Для моего рвения, для любви и преданности тех, кто помогает мне, не будет ничего невозможного.

Я получил очень вежливый ответ из Лондона относительно всех статей, которые я хотел отправить по вашему адресу. Меня заверили, что несколько брошюр, о которых я упоминал, вот-вот будут разосланы. Мне сказали, что для вас заказаны "Морнинг кроникл", "Коммерческий журнал" и "Париж", который, как говорят, лучший. Что касается остального, то по этому пункту, как и по любому другому, напишите мне свои пожелания. Расскажите мне все, что может доставить удовольствие заведению.

Что касается провизии, вина, кофе, масла и т. Д., О которых я упомянул в своем письме, мне ответили, что вам был отправлен значительный запас, причем наилучшего качества: список был выслан мне. Добавлено, что лорд Холланд прислал некоторое количество по просьбе принцессы Боргезе: счет на это также был выслан мне.

Мое здоровье, к сожалению, все еще очень плачевно: я не вижу никаких изменений. Врачи настаивают, чтобы я полностью воздержался от бизнеса.—Я собираюсь где-нибудь попить воды. Скорее всего, в следующем письме я сообщу вам о своем отъезде из Франкфурта. У меня была возможность увидеть здесь нескольких изгнанников, нашедших временное убежище в этом городе или его окрестностях. Они ежедневно тешат себя надеждой на скорое возвращение. Им говорят, что этого требует общественное мнение. Предполагается, что примерно к концу года все французы смогут свободно проживать во Франции. Однако я сам не был знаком с суровостью, проявленной по отношению к ним. Мадам Лас Касес по возвращении в Париж получила от старых друзей множество советов и предложений на мой счет. Они самым любезным образом предлагали свои услуги и свое влияние; но она постоянно отвечала, что на

самом деле я не нуждался ни в чьей помощи, и, более того, у меня не было намерения подвергать чью—либо доброту испытанию; что я добровольно отправил себя в изгнание ради святого и религиозного служения; и фактически у меня больше не будет страны, господин великий маршал, пока вы будете там, где вы есть, и останется единственный шанс, что мои усилия, моя преданность и мое рвение смогут дать вам какое-либо полезное или приятное утешение - до тех пор я буду жить в своей стране. будь странником в этом мире. Я повсюду, если потребуется, буду нести с собой атмосферу печали и рвения. Со своей стороны, храни обо мне память; дай мне утешение представить, что наши мысли пересекаются, а иногда и взаимозаменяемы. Терпение и мужество - добродетели героев. Кто лучше меня знает, что они принадлежат всем вам? Прощай, я обнимаю тебя.

ПОДСЧИТАЙТЕ ВСЕ СЛУЧАИ.

ПЯТОЕ ПИСЬМО ГРАФА ЛАС КЕЙСА ГЕНЕРАЛУ ГРАФУ БЕРТРАНУ.

Франкфурт-на-Майне, 15 мая 1818 года.

Я бы написал тебе сегодня, мой дорогой Бертран, просто для того, чтобы быть пунктуальным и придерживаться даты, которую я неизменно назначаю себе каждый месяц для сообщения новостей обо мне. Поскольку в моем положении не произошло никаких изменений, я мог только повторить, слово в слово, то, что содержалось в моем последнем письме. Я надеялся, что смогу отправить вам свое письмо из другого места; но сильная жалоба в моих глазах, которая усугубила другие мои огорчения, до сих пор не позволяла мне отправиться в теплые ванны на юге Германии, куда я, однако, отправлюсь через несколько дней.

Я с удовлетворением узнаю, что мои предыдущие письма регулярно отправлялись вам и что было разослано огромное количество брошюр. Я хотел бы, чтобы они позабавили вас. К сожалению, я немного обеспечиваю вас втемную; —местные обстоятельства послужат мне оправданием; я делаю все, что в моих силах; я нахожусь в неподходящей ситуации для этого. Такой случай, как мой, потребовал бы капитала.— Мне не разрешено проживать в Лондоне, а в Париже я не смог бы достичь своей цели. Такое же расстояние мешает мне думать о том, чтобы послать вам множество мелочей, которыми я мог бы заняться сам, если бы был на месте. Я думал о том, чтобыизготовить для вас небольшой химический аппарат, но отказался от него. Я понимаю, что для вас это было бы бесполезно.

Все родственники императора здоровы и с нетерпением ожидают регулярного поступления ваших писем, в чем они не сомневаются, поскольку вы получили мое первое письмо с моим неизменным решением посылать вам их каждый месяц точно в срок.— Моя жена вернется ко мне через несколько дней, надеюсь, мы больше не будем расставаться.

Прощай, прими мои пожелания.

ПОСЧИТАЙ ЛАС СЛУЧАЕВ.

ПИСЬМО ГРАФА ЛАС КЕЙССА МИСТЕРУ ГОУЛБЕРНУ, К КОТОРОМУ ПРИЛАГАЕТСЯ ПРЕДЫДУЩЕЕ.

Франкфурт-на-Майне, 19 мая 1818 года.

Имею честь поблагодарить вас за доброту, с которой вы были рады сообщить мне об отправке моих писем на остров Святой Елены, а также брошюр и журналов, которыми вы были рады сопроводить их.

Мне жаль, что вы сочли необходимым хранить молчание по некоторым пунктам моего последнего письма. Я по своему усмотрению разберусь, как истолковать это молчание. Благодаря вашей личной доброте, которую вы до сих пор проявляли ко мне, я обязан больше не возвращаться к этой теме. Я написал кардиналу Фешу, согласившись с отрывком из вашего письма, что он может отправить продолжение "Монитера", датированное 1808 годом, тем способом, который он сочтет наиболее подходящим, адресованное офису лорда Батерста в Лондоне; и что его светлость разрешает их передачу на остров Святой Елены.

Что касается отрывка из вашего письма, сэр, относительно просьбы, с которой я имел честь обратиться к вам, о регулярном выпуске сводок о здоровье Наполеона от имени и по поручению членов его семьи, могу ли я просить вас сообщить милорду Батерсту, что вся семья императора находится не в Риме; что у него есть одна сестра и ее семья во Франкфурте; брат и его семья в Австрии; две другие сестры и их семьи в окрестностях Вены и Триеста; не считая других, все они сочли бы это величайшим одолжением. , и сочли бы настоящим удовлетворением для своего сердца, если бы чувства, побудившие лорда Батерста регулярно посылать отчеты в Рим, побудили его снисходительно разрешить регулярно передавать их и им. Я не был в неведении о том удовольствии, которое до сих пор доставлялось принцессе Боргезе; но оно не распространялось из Рима на всех членов семьи в Германии, куда путь в то время был гораздо более извилистым, чем тот, о котором я имел честь просить. Какой бы титул и право моего сердца ни давали мне, возможно, добиваться для себя участия в этом бюллетене, я научусь полностью отказываться и полностью отойду в сторону; и не сомневаясь, что эта услуга будет более высоко оценена теми, для кого я ее прошу, если она будет исходить непосредственно от лорда Батерста, а не проходить через мои руки, я буду просить поэтому снова и от имени графини Сюрвиле (принцессы Жозеф Бонапарт), которая проживает в этом городе, чтобы он имел добро регулярно присылать ей те же отчеты. которое он имеет любезность адресовать принцессе Боргезе в Риме. Графиня Сюрвиле возьмет на себя обязательство довести их до сведения всей семьи в Германии.

Сэр, я узнал из открытых источников о неожиданном возвращении генерала Гурго. Это ошутимое сокращение семьи Наполеона, это новое лишение еще одного слуги проникает в мое сердце и побудило меня молиться, чтобы вы удовлетворили просьбу лорда Батерста разрешить мне вернуться на остров Святой Елены в сопровождении моей семьи. Это намерение и это желание никогда не покинут меня, в чем его светлость может убедиться, прочитав всю мою переписку с сэром Хадсоном Лоу с момента моего отъезда из колонии. Я не думаю, что было бы необходимо требовать предварительного согласия императора Наполеона на эту просьбу, поскольку смею льстить себя надеждой, что его ответ не вызвал бы сомнений. Однако, если лорд Батерст сочтет это необходимым, я умоляю его светлость подать заявление самому: он проследит, чтобы в моем письме в Лонгвуд я воздержался от упоминания этого обстоятельства. Соображения деликатности, которые его светлость сумеет оценить, удержали меня. Плачевное состояние моего здоровья не будет препятствием. Я честолюбиво стремлюсь найти могилу у ног того, кого я почитаю и чьим заботам мне будет приятно посвятить свой последний вздох.

Примите, сэр, выражения глубочайшего уважения и т.д.

ПОСЧИТАЙ ЛАС СЛУЧАЕВ.

Я, не теряя ни минуты, получил документы, присланные графом Бертраном, и отправил по копии каждому из монархов в Экс-ла-Шапель. Я воспользовался случаем, чтобы возобновить свои мольбы. Я умолял их оказать помощь прославленной жертве. “Еще несколько дней, “ сказал я, - и будет слишком поздно”. Врач, которого они у него отобрали (англичанин), публично заявил в Лондоне, что более длительное пребывание на этой нездоровой скале приведет к его смерти. Я осмелился заявить им, что их человечность, чувства их сердец, возможно, были бы остановлены формальными опровержениями, но разве их правосудие не прислушалось бы к другой стороне вопроса? Я потребовал, чтобы мне разрешили представить им это, я просил единственной милости быть выслушанным в защиту этого священного дела; “Соглашаясь, - сказал я, - если я не докажу истинность документов, положенных к их ногам, что мой позор и моя кровь искупят мое преступление за то, что я осмелился навязать им это”. — В то же время я не упустил ни одной возможности, ни одного мгновения, ни одной мысли, которые могли бы умножить шансы на любой успех. Я обращался ко всем, кто, как я узнал, имел какое-либо влияние на сердца монархов. В частности, я написал *месье де ла Арпу*, воспитателю императора Александра, столь хорошо известному, столь почитаемому, который, как мне сказали, находился в тот момент с ним в Экс-ла-Шапель.

Ни в этом случае, ни в каком-либо другом я никогда не получал ни малейшего ответа ни на одно из моих писем; и если мне иногда намекали на что-то косвенно и таинственно, я был вынужден подозревать, что это ловушка, расставленная против моей личности, что имело незначительное значение; или против моего дела, которое было для меня всем. Так закончился Конгресс, и с него не сорвалось ни слова в пользу Наполеона. Короче говоря, я стремился стимулировать даже иностранные таланты; и при том количестве голосов, которое тогда поднялось, брошюра некоего немецкого журналиста привлекла достаточное внимание, чтобы послужить предлогом для установления ограничений свободы прессы.

Однако все усилия, которые я прилагал, были напрасны, все мои надежды рухнули, все мои страдания пропали даром — они оставили его умирать! В самом деле, что могла бы сделать голая Правда для суверенов, без защиты какого-либо адреса или объединения каких-либо интересов, против инсинуаций нечестивых людей, которые наблюдали за происходящим со всем пылом политического фанатизма, личной обиды и будущих опасений! Они действовали настолько эффективно, что в королевском совете страх, без сомнения, возобладал над великодушием. Они продемонстрировали, насколько опасным всеобщий интерес делал жертву: и можно с полным основанием сказать, во славу благородных чувств, что общественное мнение повсюду высказывалось с большой теплотой; в Германии не меньше, чем в любой другой стране. И, возможно, в глазах высокопоставленных особ, которые были свидетелями этого, это благоприятное мнение причинило много вреда тому, кому оно намеревалось служить; как будто судьба Наполеона заключалась в том, чтобы интересы немцев стали для него такими же пагубными в трудные времена, насколько их враждебность была фатальной для него во времена его власти. — Среди усилий по сохранению отвратительного пленения Наполеона английским министрам фактически приписывали низкую интригу, недостойный обман. Поговаривали, что, чтобы поддержать колеблющихся монархов, они специально придумали мнимый план побега. Обвинение было основано на своевременности, великолепии и публичности, с которыми прибытие брига “Мускито” внезапно привело к распространению этой новости по всей Европе; обстоятельство, которое после того, как оно однажды произвело

желаемый эффект, уравновесивший благосклонность общественности, не оставляло места для дальнейших упоминаний, без каких-либо подробностей, без какого-либо подтверждения вообще; без сомнения, это воображаемая догадка, и в которой, вероятно, виновны английские министры, только в том, что они дали основание подозревать их в этом благодаря многочисленным предшествующим случаям, в которых они унизили себя, действуя против Наполеон.

К моему огорчению добавился страх увидеть возрождение старых преследований против меня в моем мирном уединении. Приближалась весна 1819 года. Превосходный великий герцог Баденский только что умер. Те, кому мы не нравились, стали сильнее благодаря этому событию, и мне было дано понять, возможно, без ведома нового монарха, что я должен покинуть Баденские земли. Приказ был отдан мне только устно, и мне даже сообщили, что я не должен получать его никаким другим способом. Было сказано, что мотивом моего переезда было желание жить в тесной дружбе с Францией и опасение, что мое пребывание будет ей неприятно; мотив, который должен вызвать жалостливую улыбку. Я постеснялся сказать, что французский министр считал нужным оставить меня в покое; нетерпимость к общественному мнению обнаружила еще один мотив, столь же нелепый. Лицо, которому был предъявлен ордер против меня, с готовностью предоставило мне несколько дней на подготовку, но я был почти как греческий философ, который все взвалил на себя лично; и я бы отправился в путь в тот самый момент, когдабыло получено само уведомление, если бы у мадам Лас Касес не было воспаления легких, которое подвергало ее большой опасности. Я заверил его, что дам себе время только для того, чтобы убедиться, что она вне опасности; и хотя мне был дан благонамеренный совет обратиться к правительству за разрешением остаться, я все же пренебрег им; и несколько дней спустя я отправился в Оффенбах, где мадам Лас Касес должна была присоединиться ко мне, когда будет в состоянии путешествовать.

Если я почувствовал себя настолько задетым этим неожиданным обращением, то это потому, что я уже забыл все досады, которыми меня осыпали английские власти, и в течение более чем года, в течение которого я жил на немецкой земле, я не подвергался подобным формам; напротив, я был избалован благосклонностью, интересом, уважением, объектом которых я повсюду видел себя, даже среди тех, кто придерживался противоположного мнения; и, кроме того, покинув Мангейм, я был далек от смущения из-за нового места жительства. Некоторые друзья в своих любезных предосторожностях связались с правительствами некоторых соседних стран; я был уверен в благоприятном приеме в нескольких из них. Один из принцев, к которому обратились по этому случаю, ответил с улыбкой: “Да, без сомнения; его следует хорошо принять и хорошо обращаться с ним. Принц, который понимает свои собственные интересы, не только не вызывает отвращения у человека с таким характером, но и должен сделать своим придворным прививку от него”.

Однако, так свободно распространяясь здесь о своих успехах, я не должен скрывать своего разочарования. Время от времени у меня бывали и небольшие огорчения. Не все было гладко: и, не считая, например, изгнания из Мангейма, о котором я говорил, они нашли большую ошибку в другом месте, при всем уважении, проявленном ко мне, поскольку я, по их словам, был одним из тех негодяев, которые арестовали короля Франции в Варенне; и которые совсем недавно поступили, возможно, еще хуже. В другом месте барон, устраивавший грандиозный званый вечер, сообщил своим гостям, что он наконец выяснил, кто был этот граф и советник Наполеона, чье прибытие наделало столько шума в городе. Он сообщил им, что он всего лишь

его повар со острова Святой Елены; и что, не имея средств выплатить ему жалованье при расставании, он в качестве компенсации произвел его в графы и государственные советники. Если барон верил в то, что говорил, он, несомненно, был хорошим покладистым человеком, и если его целью было только заставить своих гостей поверить в это, он, должно быть, принимал их за больших простаков. Остается приятная часть истории, потому что мы должны рассказать ее целиком; и она заключается в том, что на самом деле повар из Лонгвуда прошел через это несколькими днями ранее; и таким образом становится ясно, как рождаются и множатся анекдоты и биографии обитателей салуна; и сам дьявол не может впоследствии искоренить их. Я мог бы улыбнуться этому злу или глупости. Их поступки и их слова были всего лишь смешны и гротескны; но представилось обстоятельство важного характера, которое чрезвычайно огорчило бы меня, если бы я не знал, насколько масса ошибок, царящих вокруг монархов, может подорвать здравость их суждений.

Меня уверяли, что кто-то на конгрессе в Экс-ла-Шапель, обнаружив, что он склонен в присутствии императора Александра затронуть ужасное положение Наполеона, и сославшись на подлинные заявления, сделанные мной в его поддержку, этот принц ответил: “Мыне должны верить всему, что этот человек приехал сообщить нам в Европу; он интриган”. Как получается, что самые просвещенные правители обманываются, даже те, от кого нам следовало бы ожидать лучшего? Если только это не было здесь, как в случае с Наполеоном, который часто употреблял сварливые выражения, на свой манер, не подразумевая зла; и кроме того, по счастливой случайности, на моей стороне все еще время, это истинное испытание характеров. С тех пор прошли годы, и единодушное мнение, смею надеяться, всех тех, кто знал меня или следовал за мной, в достаточной степени сняло бы с меня подобное обвинение. “Интриган!” Я, кто разбил о камень всю суету этого мира! Я, кто в облаках Лонгвуда видел все вещи с такой огромной высоты, что они действительно остаются маленькими в моих глазах! Я, единственный из всех людей на земле, не умеющий ничего желать! В конце концов, я, который больше не считает себя принадлежащим к этому миру, не могу иметь и фактически не имею никаких других амбиций, никакого другого желания, кроме желания Диогена — “чтобы они не стояли между мной и солнцем”.

С МОМЕНТА МОЕГО ПРИБЫТИЯ В ОФФЕНБАХ И ДО МОЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ВО ФРАНЦИЮ.

Промежуток времени, длившийся более двух лет.

РЕЗИДЕНЦИЯ В ОФФЕНБАХЕ.—ПОДРОБНОСТИ.—ПРИБЫТИЕ МАДАМ МОНТОЛОН В ЕВРОПУ.—ПУТЕШЕСТВИЕ В БРЮССЕЛЬ.—РЕЗИДЕНЦИЯ В ЛЬЕЖЕ, В ШОД-ФОНТЕН, В СОХАНЕ, БЛИЗ СПА, В АНТВЕРПЕНЕ, В МАЛИНЕ.—СМЕРТЬ НАПОЛЕОНА.—ВОЗВРАЩЕНИЕ ВО ФРАНЦИЮ.—ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Оффенбах - красивый маленький городок в Великом герцогстве Дармштадт, расположенный на берегу Мэна, в двух лье от Франкфурта. Я поселился там, по своему обыкновению, в своего рода маленьком убежище. Оно находилось на берегу реки, в двух шагах от города.

Головные боли, проявлявшиеся по-разному, никогда не оставляли меня. В Мангейме я испытывал очень острые боли. Вскоре после моего приезда в Оффенбах моя болезнь внезапно приняла новый, невыносимый и тревожный характер. Именно тогда началось всеобщее недомогание, нарастающая слабость, которая, препятствуя использованию способностей, принесла с собой полное отвращение к жизни; тогда же началась та внезапная дрожь в моих членах и во всем моем теле: те внезапные приступы помутнения зрения, которые я мог бы назвать мерцанием существования. Как часто в таком состоянии, не обращая на это никакого внимания, я ложился спать с мыслью, я бы чуть не сказал с надеждой, что больше не проснусь. Госпожа Лас Касес в чрезмерном беспокойстве пожелала, чтобы я бросил все виды занятий, к которым, на самом деле, я был абсолютно неспособен; она закрыла мои письма и написала родственникам императора, чтобы проинформировать их о моем реальном положении и убедить их назначить мне преемника в тех заботах, которые я сам создал для себя. Долгое время назад, в качестве предосторожности, я сам умолял их соединить со мной человека, чье счастье это составляло бы и выбор которого был бы приятен императору.^[44] Тогда он был с одним из них; но по той или иной причине этого сделано не было, и необходимость вынудила меня прервать работу, не предусмотрев никаких мер для восполнения недостатка. Я тщетно прибегал к помощи медицины; и если бы домашние заботы, нежная заботливость, окружавшие меня со всех сторон, могли помочь, моя болезнь была бы только благословением от удовольствия видеть, как они изливаются на меня. Каждый любит размышлять о том, что было приятно, и я, конечно, не мог бы лучше описать огромный интерес, испытываемый ко мне, и природу вознаграждения, которое принесли мне проявленные чувства, приложенные усилия, чем когда я говорю, что мое маленькое убежище было удостоено присутствия трех королей, и, я думаю, в один и тот же день. Двое из них, правда, были свергнуты; но тем не менее в тот момент они повсюду пользовались всеобщим уважением, по крайней мере, в эпоху своего наивысшего расцвета, благодаря возвышенности своего ума, простоте своих манер, *эклетиčnosti* других своих качеств.

Именно в Оффенбахе маленькая колония, которую кардинал Феш отправил на остров Святой Елены, была адресована мне по пути туда. Она состояла из капеллана, хирурга, терапевта и камердинера; всех выбирал кардинал. По прибытии в Европу я написал ему, чтобы заверить, что императору было бы очень приятно прислать священника, способного также писать под диктовку и немного помогать в делах; и я воспользовался его посредничеством, чтобы заинтересовать с этой целью совесть Святого Отца, который, фактически, потребовал этого от английских министров, которые до сих пор выступали против этой меры или выдвигали к ней неприемлемые условия. Также из Оффенбаха я отправил в Лонгвуд два очаровательных портрета: один, молодого Наполеона, написанный с натуры в том же году и присланный королем Жеромом; другой, изображающий императрицу Жозефину, работы Сэна, подарок королевы

Гортензии. Он был помещен в великолепную хрустальную чайницу. Такой выбор хрусталя был деликатной предосторожностью королевы, которая также распорядилась, чтобы оправа была выполнена таким образом, чтобы невозможно было заподозрить какие-либо скрытые надписи. Первый из этих двух портретов достиг места назначения. Камердинер императора впоследствии рассказывал мне, что Наполеон, увидев его, жадно схватил и поцеловал. Я, знающий, насколько сдержанным был император, могу судить по этому обстоятельству обо всей степени его радости и удовлетворения. Что касается портрета императрицы Жозефины, то он так и не прибыл в Лонгвуд, хотя, по странному совпадению, в результате какого-то меморандума было установлено, что таможенная пошлина за его ввоз в Англию была уплачена.

Ближе к концу лета мадам Лас Кейсес по приказу врачей перевезла меня на воды Швальбаха, где я стал предметом жалости для всех. Я вернулся, не получив от них никакой пользы; но затем одно обстоятельство на мгновение вернуло мне силы и заставило покинуть Германию.

Внезапно я узнал из публичных газет о возвращении мадам Монтолон в Европу; она, как и я, была изгнана из Англии и высадилась в Остенде. Я не смог удержаться и отправился на поиски подлинных подробностей, которых я так долго был лишен. Я поспешил присоединиться к ней, чтобы узнать, разрешат ли ей остаться в деревне или заставят, по моему примеру, бегать взад и вперед по дорогам, потому что в этом случае я был бы ей полезен; у меня был опыт.

Путешествуя с тайной, поскольку я слишком хорошо помнил все жестокое обращение, которому я ранее подвергался в Нидерландах, я присоединился к графине Монтолон в Брюсселе. Она не только могла свободно там проживать, но и была принята с особым уважением; и местный журнал, объявивший, что она будет вынуждена продолжить свой маршрут, опубликовал полуофициальную статью, опровергавшую эту новость, особенно на том основании, что Нидерланды были *страной гостеприимства*. Большого я и не хотел; Бельгия казалась мне почти Францией; находясь среди бельгийцев, я чувствовал бы себя среди своих соотечественников. Поэтому я написал мадам Лас Касес, чтобы сообщить ей о нашей удаче и пожелать, чтобы она поскорее приехала и присоединилась ко мне. Избегая Брюсселя по тем же причинам, которые заставили меня покинуть Франкфурт, я выбрал Льеж, вспомнив добрый прием, оказанный мне там во время моего неудачного путешествия восемнадцать месяцев назад; и я поселился там, не без опасения какого-нибудь нового несчастья. Но я ошибался; ибо я должен с правдой и благодарностью сказать, что в течение почти двух с половиной лет, с тех пор как я объехал страну во всех направлениях, без каких-либо просьб, без каких-либо просьб, даже без предварительного объявления, эта страна, некогда столь пагубная для меня, с тех пор стала страной гостеприимства; никогда впоследствии у меня не было возможности ощутить какую-либо власть, кроме спокойствия, безмятежности, которыми я наслаждался в ее тени.

Влияние и иностранная злоба прекратились; именно в это время мой сын снова попросил разрешения вернуться в Лонгвуд за свой счет. У меня есть ответ лорда Батерста, который отказался от этого. Впоследствии принцесса Полина, которой удалось получить разрешение отправиться туда, написала мне, чтобы узнать, желает ли мой сын сопровождать ее, но тогда, увы! было уже слишком поздно.

Ни привязанность, ни забота моих друзей в Льеже, где я прожил всю зиму; ни сельская обстановка Шодфонтена, где я провел весну; ни щедрое гостеприимство достойного и превосходного владельца этого очаровательного местечка Жюста Ланвиля, который вынудил меня поселиться на лето в нескольких шагах от него в резиденции под названием Йохан, у ворот

Спа и Вербье; ни благосклонность всей его семьи, такой многочисленной, такой доброй, такой уважаемой в стране, не смогли улучшить мое положение или исправить его. мое пребывание. И все же мне было бы трудно описать, как они того заслуживают, чрезвычайную доброту, трогательный нрав, отзывчивый дух всего населения этих стран, такого процветающего, во времена императорского правления, и которое продолжает испытывать такую благодарность.

Свою вторую зиму я провел в Антверпене с несколькими искренними друзьями, которых я нежно люблю и которых приобрел благодаря моему приезду во Флашинг десять лет назад; а весной я прибыл в Малин без какой-либо особой цели, поскольку не мог долго оставаться на одном месте. Я нуждался в переменах. Я был пациентом, который ворочается в своей постели, тщетно ища сладости сна. Дважды за два года, проведенных в Бельгии, мадам Лас Касес хотела взять меня с собой на юг; и дважды в самый момент отъезда нас останавливали непреодолимые обстоятельства: разочарования, которые, однако, были для нас настоящими милостями судьбы. Если бы не первое из них, мы оказались бы на расстоянии дня пути от границы, в самый момент фатальной и кровопролитной катастрофы; и если бы не второе, мы прибыли бы в Ниццу как раз в момент конституционного взрыва в Пьемонте; и нет сомнения, что в обоих случаях, что вполне естественно, мы были бы подвергнуты по крайней мере временным неудобствам.

Тем временем состоялся Лайбахский конгресс, и я не мог удержаться от попыток новых ходатайств. Я направил новое письмо каждому из трех верховных государей. Ниже приводится послание императору Александру:

“Сир, представился новый и торжественный случай предпочесть вашему Величеству мои скромные и уважительные интонации. Я с жадностью хватаюсь за это заново.

“Я не боюсь показаться назойливым: мое оправдание и мое прощение - в великодушии вашей души.

“Сир, обратиться в этот момент к своим воспоминаниям и воспоминаниям ваших высоких Союзников, к августейшему пленнику, которого вы долгое время называли своим братом и другом; попытаться отвлечь ваши мысли и их мысли к той жертве, чьи жестокие страдания всегда присутствуют передо мной; я знаю, что это значит сделать так, чтобы похоронный звон был услышан среди радости пиршества. Но при этом, сир, я надеюсь, что даже в глазах вашего Величества я выполняю почетный и благочестивый долг, исполнение которого всегда должно оставаться для меня приятным, каким бы опасным оно ни было!

“Сир, доведенный до состояния немоги, из—за которого я едва могу связать воедино несколько идей, я следую инстинкту моего сердца, а не способностям моего разума, просто дословно повторяя вашему Величеству записку, которую я осмелился адресовать вам в Экс-ла-Шапель; поскольку обстоятельства остались прежними, и с тех пор в этом отношении не произошло никаких изменений, что я мог сделать лучше, чем представить вашему Величеству ту же картину, те же факты, те же рассуждения, те же истины.

“Только если, несмотря на то, что я тогда считал несомненным, прославленная жертва, вопреки моим ожиданиям и ожиданиям профессорско-преподавательского состава, все еще дышит; если он еще не пал, я осмелюсь заметить вашему Величеству, что это неожиданное продление его жизни, которая была для него лишь продолжением мучений, возможно, является для вашего Величества благословением небес, которое Провидение бережет для вашего сердца и вашей памяти.... Ах! Сир, значит, время еще есть!... Но драгоценная возможность

может каждое мгновение ускользать от *всей вашей власти!*... И каковы были бы тогда запоздалые, бессильные сожаления, которые не могли бы ни успокоить ваше сердце, ни восстановить в вашей памяти поступок великодушный, великодушно—величавую натуру, самую успокаивающую, самую нравственную, самую похвальную в глазах потомства, возможно, наиболее понятную, которой вы могли бы украсить свою славную жизнь? Я имею в виду забвение обид, пренебрежение местью, память о старой дружбе; в конечном счете, уважение, подобающее королевскому величеству — *кодному из помазанников Господних!!!*

“Сир, с момента моего возвращения в Европу, оторванный от общества людей, ставший жертвой безнадежных страданий, зародившихся на острове Святой Елены, относящихся к будущему и, несомненно, гораздо больше относящихся к другой жизни, чем к этой, я каждый день в моем уединении горячо возношу руки ко Всевышнему, молясь, чтобы он соизволил тронуть сердце вашего Величества и просветить его относительно столь важной части его интересов и его славы.

“Я есть” и т.Д.

“ПОДСЧЕТ СУДЕБНЫХ ДЕЛ”.^[45]

Какими пророческими были многие из этих строк! Увы, едва они предстали перед глазами монархов, как его не стало!—Он перестал жить, страдать!—Открыв Moniteur, я обнаружил там роковое сообщение. Хотя это не могло меня удивить, поскольку я долгое время был уверен в своем понимании, я был не менее поражен, ошеломлен, как неожиданным событием, которому никогда не суждено было произойти.

На следующий день я получил печальное письмо из Лондона с обстоятельными подробностями и предположениями, для которых эти подробности могли бы послужить поводом; и это письмо заканчивалось словами: “Пятого мая, в шесть часов вечера, в тот самый момент, когда на закате раздался пушечный выстрел, его великая душа покинула землю”.

Какие странные совпадения иногда случаются!—Когда я был знаком с личностью Наполеона и находился под его влиянием, у меня вошло в привычку вести дневник, и он часто выражал свое сожаление, что не сделал того же. “Строчка для памяти, ” сказал он, - всего два-три указательных слова”. С тех пор я продолжал эту практику; и, как легко себе представить, я поспешил вернуться к пятому мая, чтобы посмотреть, где я был, что я делал и что произошло со мной в тот роковой момент. И что я должен найти?—*Внезапная гроза; укрытие под навесом; ужасный раскат грома*. Во время прогулки верхом, ближе к вечеру, в местности за Малинсом, погода была восхитительная, внезапно налетела одна из тех летних гроз, такой силы, что я был вынужден искать укрытия верхом под навесом; и в это время раздался раскат грома, такой оглушительный, что мне показалось, что он раздался совсем рядом со мной. Увы! а что происходило в другом месте, на таком расстоянии, в тот же самый момент! Это обстоятельство, возможно, покажется более чем странным, но, без сомнения, в Малине или в его окрестностях есть натуралисты или метеорологи, которые ведут учет погоды: именно они должны подтвердить или опровергнуть мое заявление.



СМЕРТЬ НАПОЛЕОНА.

Лондон: Опубликовано для Генри Колберна, март 1836г.

Что касается сообщения о смерти Наполеона, то следует, однако, сказать, что на улицах, в магазинах, в общественных местах раздался только один крик, одно и то же чувство; даже салуны выказывали какое-то чувство: одни кабинеты казались бесчувственными, хуже, чем бесчувственными! Но, в конце концов, это было естественно, они вздохнули, наконец, непринужденно....

При его жизни, во времена его власти, на него нападали с памфлетами и пасквилями; после его смерти мы внезапно были завалены произведениями, восхваляющими его, — контраст, тем не

менее, дающий небольшое облегчение от такой низости человеческого сердца. Отовсюду, и отовсюду были собраны сочинения в прозе и стихах, картины, портреты, рисунки, литографии и тысячи более или менее остроумных мелочей, доказывающих искренность, масштабность и живость чувств, которые он оставил после себя, гораздо лучше, чем могла бы показать вся королевская пышность. Священник с берегов Рейна, место жительства которого пользовалось особой милостью императора, собрал своих прихожан и заставил их молиться за своего старого благодетеля. В большом городе Бельгии огромное количество граждан подписались на торжественную заупокойную службу, и если они воздержались от ее совершения, то это было скорее нарушением этикета, чем следствием какого-либо запрета. Тогда подтвердились эти слова Наполеона, которые я часто слышал от него: “Со временем ничто не будет считаться таким прекрасным и не привлечет такого внимания, как воздание мне по заслугам.... С каждым днем я буду завоевывать авторитет в умах людей. Мое имя станет звездой их правозащитных организаций; оно будет выражением их сожалений”. И все эти обстоятельства подтверждаются в каждой стране и везде. Не принимая во внимание вещи такого рода, о которых я, без сомнения, не знаю, пэр Великобритании вскоре после этого заявил в открытом парламенте: “Те самые люди, которые ненавидели этого великого человека, признали, что за десять веков на земле не появлялось более экстраординарной личности. Вся Европа, - добавил он, - носила траур по герою; и те, кто внес свой вклад в эту великую жертву, преданы проклятиям нынешнего поколения так же, как и потомков”.^[46]

Два немецких профессора, которые либо всегда знали его истинный характер, либо излечились от своих национальных предрассудков, воздвигли на своей территории памятник в его память с несколькими надписями, указывающими на то, что вместе с ним упала похоронная завеса над правами народа и восходящим импульсом цивилизации.

Наши писатели защищали его память, наши поэты прославляли ее, а наши ораторы в законодательном суде громко заявляли о привязанности, которую они испытывали к нему, или о том, что они польщены отличиями, которые они получили от него.

Теперь мне ничего не оставалось, как вернуться в свою страну. Пересекая границу в конце второй эмиграции, я не мог не думать об обстоятельствах моего возвращения после первой, и какая разница в чувствах отличала их! Тогда мне казалось, что я на каждом шагу продвигаюсь вперед среди враждебного населения; теперь я чувствовал себя так, словно вхожу в свою семью. Вскоре я снова увидел всех моих товарищей по Лонгвуду и, обнимая их, не мог отказать себе в одном печальном размышлении — мы все снова встретились; но тот, ради кого мы искали роковую скалу, один остался там! Я вспомнил, что он говорил нам, что так и будет, и многое другое помимо этого. От всех этих очевидцев я узнал подробности и обстоятельства жестокого обращения, которое с момента моего отъезда с каждым днем усиливалось; и я увидел, что времена, которые я знал, были даже не самыми несчастливыми моментами.



СТАТУЯ НАПОЛЕОНА
НА КОЛОННЕ ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ.

Лондон: Опубликовано для Генри Колберна, декабрь 1835 г.

Я прочел его последнюю волю; я обнаружил там свое имя, написанное три или четыре раза его собственной рукой!—Каковы были мои эмоции!—Конечно, я не нуждался в них ради награды. Долгое время я носил это в своей груди. Но воспоминания, тем не менее, были дороги и драгоценны — насколько ценнее миллионов! И все же он присоединил к ним крупные суммы от тех членов своей семьи, которые были наиболее тесно связаны с ним и были ему дороже всего. Если они когда-нибудь заплатят им, тем лучше; в дальнейшем это будет касаться их больше, чем

меня. Мне бы хотелось рассматривать себя только как своего рода депозитарий. Я даже хотел предвосхитить их, но счел необходимым остановиться: мои средства не позволяли мне добиться этих успехов. Я был бы счастлив, если бы обеспечил пенсию нескольким гражданским и военным ветеранам. Долгими вечерами нам следовало бы почаще говорить о его битвах или о его сердце.

Наконец я получил (благодаря ревностному вмешательству одной из самых выдающихся личностей английского пэра!) бумаги, которые были задержаны у меня на острове Святой Елены и на которые, несмотря на всю силу законов, я больше не рассчитывал. В той ситуации, в которой я оказался, с теми чувствами, которые это внушило мне, я чувствовал себя неперенным долгом помочь, поскольку у меня были для этого какие-то средства, лучше узнать того, кого так сильно искажали; и, несмотря на свою немощь, я взялся за эту работу. Небеса благословили мои усилия, позволив мне дойти до конца и завершить его, каким бы тяжелым оно ни было; я имею счастье сделать это в данный момент. Если мне удалось примирить сердца, если я разрушил предрассудки, победил предубеждения, я обрел свой самый дорогой, самый сладостный объект; моя миссия выполнена.

Пасси, 15 августа 1823 года.

ПОСТСКРИПТУМ.

Я должен упрекнуть себя в том, что не воспользовался возможностью рассказать о приключениях Сантини. В конце каждой драмы, какой бы ни была ее природа, хочется снова встретиться в *развязке* со всеми теми, кто фигурировал в начале ее. История Сантини включает в себя, кроме того, черты нравов, веяния времени, отсылку к общественным делам, которые побуждают меня исправить свое упущение, поскольку это в моей власти.

Мы уже давно считали Сантини потерянным, заключенным, мертвым, когда внезапно он снова появился среди нас вскоре после смерти Наполеона: и нижеследующий рассказ исходит из его собственных уст и почти его же словами.

После побега из Англии он пересек Бельгию и некоторые районы Германии с умом и ловкостью умного итальянца. Наконец, войдя в Мюнхен, он вообразил, что преодолел грандиозные препятствия и находится в безопасности в порту. Но именно в этом городе он был задержан, и, несмотря на все его обращения в различные инстанции и к нескольким послам с целью получения разрешения на беспрепятственный проезд, жандармы доставили его обратно в Виртемберг, который он пересек на свободе, но под явным *наблюдением*. По прибытии в Ломбардию, в Комо, он пошел заявить о себе полиции: они ожидали его там; он был арестован и препровожден в Милан, где ему сказали, что он не может оставаться в стране на полной свободе без серьезных неудобств; и что, следовательно, его следует препроводить в Мантую, где он будет находиться под меньшими ограничениями. Теперь меньшее ограничение свободы, которое ему было обещано, оказалось ничем не лучше и не хуже тюрьмы, где ему вообще не разрешалось общаться ни с кем. Его полному уединению придавалось такое значение, что, поскольку Мария Луиза проезжала через этот город и остановилась там на двадцать четыре или тридцать шесть часов, у бедного Сантини в комнате был необыкновенный компаньон -

полицейский, который ни на минуту не выпускал его из виду, даже во время еды или когда он спал; это свидетельствует о чрезвычайной осторожности, которая была предпринята для предотвращения любого общения между Наполеоном и Марией Луизой.

Наконец, из-за беспорядков и жалоб, которые он устроил в своей темнице, поступил приказ доставить его в Вену; но от капитана круга потребовали ехать с ним в одной карете и принудительно сопровождать его до нового места назначения.

Сантини, вопреки его ожиданиям, снова оказался в тюрьме и снова поднял большой шум, постоянно настаивая на том, чтобы его судили и либо расстреляли, как он сказал, если он этого заслуживал, либо выпустили на свободу, если он не сделал ничего плохого. Наконец ему сказали, что им нечего предъявить ему в вину, но что вся его свобода сопряжена с большими трудностями; что ему нельзя позволить посещать все страны, и поэтому у него должен быть выбор между Англией и Австрией. Сантини ответил, что никогда больше не ступит ногой на землю, которой управляют палачи его хозяина. Затем его перевезли в Брюнн, столицу Моравии, где он был вынужден принести клятву воздерживаться от поиска какой-либо иностранной корреспонденции. По прибытии туда он, правда, оказался под особым *наблюдением*; но там, по словам Сантини, закончились его преследования и неприятности; там началось лучшее состояние. По его словам, его пребывание в плену действительно стало благословением, и его сердце наполнилось благодарностью. Там он нашел себя объектом внимания и заинтересованности: все, от высших до низших, проявляли к нему величайшую доброту. Жители дважды видели Наполеона; это правда, как врага, и все же они испытывали к нему глубокое почтение. Таким образом Сантини провел, как он выразился, три счастливых года.

Вышестоящие инстанции рекомендовали установить строгий контроль, в частности, в Брюнне, чтобы Сантини не смог отправить какие-либо бумаги для императора Франциска. Когда этот монарх направлялся на конгресс в Троппау, он остановился в Брюнне, и Сантини сказал, что за два дня до этого из Вены прибыл офицер полиции, чтобы проследить, чтобы он не обратился с каким-либо вопросом к императору. Таким образом, сердце Франциска находилось под таким же неусыпным *наблюдением*, как и сердце Марии Луизы; эмоции обоих были подозрительными, и, конечно, их очень боялись. Все предосторожности, однако, оказались тщетными. Сантини заинтересовал высших особ, и петиция от него об обращении, которому он подвергся, попала в руки Государя. В нем он жаловался на свое материальное положение и на лишение свободы и сопровождал его свидетельствами, которые привез со острова Святой Елены, особенно приказом о назначении ему пенсии, который назначил ему Наполеон. Император Франциск, по-видимому, был очень поражен этим приказом, подписанным великим маршалом и озаглавленным *“По прямому приказу императора”*. В нем подразумевалось, что Сантини назначена пенсия в определенном размере и что она должна выплачиваться ему первыми родственниками или первыми друзьями императора, которым он должен ее вручить. “Разве это не ужасно?” - сказал император Франциск, глядя на это. “Он пленник на острове Святой Елены, и все же продолжает отдавать приказы, как будто ничего не произошло!” Однако его благотворительность взяла верх над удивлением, и, считал ли он себя родственником или просто последовал порыву своего доброго сердца, он распорядился перевести Сантини определенную сумму денег; и это странное обстоятельство, которое я не мог наблюдать без некоторого волнения, что первые две суммы, указанные в приказе о назначении пенсии Сантини, указаны точно против имен, не связанных с императором кровным родством, —

принцессы Стефании Баденской и императора Австрийского, одна - его приемной дочери, другая - его тестя.

ДОПОЛНЕНИЕ.

[Было сочтено желательным привести несколько выдержек из знаменитой работы доктора Антоммарчи, врача Наполеона, поскольку они подробно описывают последние моменты смерти и погребения павшего Правителя, что является естественным продолжением рассказа о том, что можно назвать его *предпоследними* днями, составленного верными Лас Кейсами.]

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАПОЛЕОНА.

В половине второго он послал за Виньяли. - Аббат, — сказал он, - ты знаешь, что такое *chambre ardente*^[47]? — “Да, сир”. — “Вы когда-нибудь совершали богослужение в одном из них?” — “Никогда, сир”. - “Что ж, вы совершите богослужение в моем”. — Затем он подробно остановился на этом предмете и довольно пространно дал священнику свои инструкции. Лицо его было оживленным и судорожным, и я с беспокойством следил за тем, как исказились его черты, когда он заметил на моем лице не знаю какое выражение, которое ему не понравилось. “Ты выше этих слабостей, - сказал он, - но что же делать? Я не философ и не врач. Я верю в Бога и исповедую религию моего отца. Не каждый человек *может* быть атеистом”. Затем снова поворачиваясь к священнику— “Я родился католиком и буду выполнять обязанности, предписанные католической религией, и получать помощь, которую она оказывает. Вы будете каждый день служить мессу в часовне и в течение сорока часов приобщаться к святому причастию. После моей смерти ты поставишь свой алтарь у моего изголовья в комнате, в которой я буду покоиться в торжественной обстановке; ты продолжишь служить мессу и совершать все обычные церемонии и не перестанешь делать это, пока я не окажусь под землей”.

Аббат удалился, и я остался наедине с Наполеоном, который осудил мое предполагаемое недоверие. “Как ты можешь заходить так далеко?” - сказал он. “Разве вы не можете поверить в Бога, о существовании которого свидетельствует все сущее и в которого верили величайшие умы?” “Но, сир, я никогда в этом не сомневался. Я следил за пульсациями лихорадки, и вашему величеству показалось, что вы заметили в моих чертах выражение, которого у них не было”. — “Вы” “Вы врач”, - ответил он, смеясь, а затем добавил вполголоса: “Эти люди имеют дело только с материей; они никогда ни во что не поверят”.

ЕГО ПОЖЕЛАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ.

У Наполеона не было рвоты, и он выпил много холодной воды. “Если бы судьба распорядилась, чтобы я выздоровел, я бы воздвиг памятник на том месте, где течет вода, и увенчал бы фонтан в

знак облегчения, которое он мне принес. Если я умру и моему телу, объявленному вне закона, как и моей личности, будет отказано в земле, я желаю, чтобы мои останки были захоронены в соборе Аяччо на Корсике; и если мне не будет позволено упокоиться там, где я родился, пусть я буду похоронен рядом с прозрачным потоком этой чистой воды". вода.

ЕГО СОВЕТ ОКРУЖАЮЩИМ.

Наполеон все еще сохранял присутствие духа и рекомендовал своим душеприказчикам, на случай если он его потеряет, не подпускать к нему других английских врачей, кроме доктора Арнотта. "Я скоро умру, - сказал он, - а вы вернетесь в Европу: я должен дать вам несколько советов относительно линии поведения, которой вы должны придерживаться. Ты поделил мое изгнание; ты будешь верен моей памяти и не сделаешь ничего, что может ей повредить. Я утвердил все принципы и внедрил их в свои законы и поступки; я не упустил ни одного из них. Однако, к сожалению, обстоятельства, в которые я попал, были тяжелыми, и я был вынужден действовать со всей строгостью и отложить осуществление своих планов. У нас все обернулось вспять: я не смог натянуть тетиву, и Франция была лишена либеральных институтов, которые я намеревался ей дать. Она судит обо мне снисходительно: она благодарна за мои намерения: она дорожит моим именем и моими победами. Подражайте ее примеру; будьте верны мнениям, которые мы отстаивали, и той славе, которую мыприобрели; любой другой путь может привести только к позору и замешательству".

ЕГО СМЕРТЬ.

Ледяной холод нижних конечностей, а вскоре и всего тела —неподвижный взгляд—сомкнутые и сжатые губы—сильное возбуждение ноздрей—наиболее полная адинамия^[48]—пульс чрезвычайно слабый и прерывистый, колеблющийся от ста двух до ста восьми, ста десяти и ста двенадцати пульсаций в минуту — дыхание медленное, прерывистое и прерывистое — спазматические сокращения эпигастральной области и желудка — глубокие вздохи—жалобные стоны—конвульсивные движения, которые заканчивались громким и жалобным криком. Я наложил волдырь на грудь и по одному на каждое бедро; приложил два больших синаписа к подошвам ног и разжигание на животе с помощью бутылки, наполненной горячей водой; я также пытался освежить губы императора, постоянно смачивая их смесью обычной воды, воды из цветов апельсина и сахара; но проход был спазматически закрыт; ничего не было проглочено; все было напрасно. Прерывистое дыхание и жалобный звук все еще продолжались, сопровождаясь сильным возбуждением мышц живота: веки оставались неподвижными, глаза двигались и снова опускались под верхние веки; пульс замедлялся и снова учащался.— Было без одиннадцати минут шесть — Наполеон был при последнем вздохе!—легкая пена покрыла его губы. — его больше не было!— Таков конец всякой человеческой славы!

МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ТРУПА И т.д.

Из-за отсутствия необходимых материалов не представлялось возможным забальзамировать тело, белизна которого была поистине необычайной. Его положили на одну из маленьких кроватей-палаток, украшенных белыми занавесками в качестве погребальных занавесок!!! Плащ из синего сукна, который Наполеон носил в битве при Маренго, служил емуприкрытием. Ноги и руки были выставлены на всеобщее обозрение; на правом боку у него висел меч, а на груди - распятие. На некотором расстоянии от тела стояла серебряная ваза, в которую я был

вынужден поместить его сердце и желудок. За его головой находился алтарь, у которого священник, облаченный в стихарь и накидку, читал молитвы. Все лица из его свиты, офицеры и слуги, одетые в траур, стояли слева от него. Доктор Арнотт присматривал за телом, которое было передано под его личную ответственность.

Дверь *ardentei* подход к ней вот уже несколько часов были запружены огромной толпой. Наконец дверь отворилась, и толпа вошла и смотрела на безжизненные останки без смятения, без шума и в благоговейном молчании. Порядок приема регулировался капитаном Крокотом, офицером-ординарцем Лонгвуда. Первыми были допущены офицеры и младшие офицеры 20-го и 66-го полков, а остальные - позже. Все испытывали то волнение, которое зрелище соединения мужества и несчастья никогда не перестает возбуждать в сердцах всех храбрецов.

Когда привезли гроб, в котором должен был находиться император, я был вынужден поместить в него сердце и желудок. Я льстил себя надеждой, что смогу переправить их в Европу; но все мои мольбы по этому поводу были бесплодны: я испытал горе и унижение от отказа. Я оставил упомянутый первый из этих двух органов в вазе, в которую он был сначала заключен, а второй поместил в другую вазу из того же металла цилиндрической формы, которая использовалась для хранения губки Наполеона. Я наполнил вазу с сердцем спиртом, герметично закрыл ее, запаял и поставил рядом с другой вазой по углам гроба, в который затем положили Наполеона. Сначала тело положили на что-то вроде матраса и подушки в жестяной коробке, обитой белым атласом. Шляпа императора, которая не могла оставаться у него на голове из-за нехватки места, была водружена ему на ноги; орлы, несколько кусочков всех монет с его изображением, его вилка и ложка, его нож, тарелка с его гербом и т. Д. Также были положены в эту коробку, которая была тщательно запаяна и помещена в другую из красного дерева. Третий, свинцовый, помещался в эти два ящика; и наконец все это было заключено в четвертый из красного дерева, который был закрыт и закреплен железными шурупами. Затем гроб накрыли плащом, который был на Наполеоне во время битвы при Маренго, и выставили на том же месте, где лежало тело. Арнотт продолжал наблюдать, а Вигнали - молиться; в то время как толпе, которая увеличивалась с каждым часом, было позволено кружить вокруг этих скорбных предметов.

ПОХОРОНЫ.

Вскоре в Лонгвуд прибыл сам губернатор, а вскоре за ним последовали адмирал и все гражданские и военные власти. Погода стояла прекрасная, дороги были запружены людьми, а холмы усеяны музыкантами: никогда еще на острове не было столь скорбного и торжественного зрелища. В половине первого гренадеры взяли гроб, который им не без труда удалось поднять, и после неоднократных и настойчивых усилий им удалось донести его до катафалка и водрузить на него катафалк, ожидавший на большой аллее в саду; затем он был накрыт бархатной тканью фиолетового цвета и плащом, который Наполеон носил при Маренго. Двор императора был в трауре; похоронная процессия была организована и проследовала в следующем порядке, который был установлен самим губернатором:

Аббат Виньяли, облаченный в используемые священнические украшения

для служения мессы с юным Генри

Бертран с серебряной вазой в руках

содержащий Святую воду и

the

Aspersorium.

Доктор Арнотт и я.

Лица, назначенные для ухода за катафалком, который был запряжен четверкой лошадей, ведомых конюхами, и в сопровождении двенадцати гренадеров на с каждой стороны, без рук.^[49]

Молодой Наполеон Бертран и Маршан, оба пешие по обе стороны от катафалка.

Графы Бертран и Монтолон немедленно садятся верхом позади катафалка.

Входит в свиту императора.

Графиня Бертран со своей дочерью Гортензией в коляска , запряженная двумя лошадьми , ведомыми слугами кто шел по обочине пропасть.

Конь императора, ведомый его *пикером* Аршамбо.

Офицеры морской пехоты пешком и на верхом.

Офицеры штаба верхом на лошадях.

Генерал Коффин и маркиз Моншеню верхом на лошади.

Адмирал и губернатор верхом на лошадях.

Жители острова.

Процессия покинула Лонгвуд в таком порядке, прошла перед караульным помещением и гарнизоном острова численностью около двух с половиной тысяч человек, который выстроился по всей левой стороне дороги до самых ворот Хижины. Музыкальные оркестры, расставленные через определенные промежутки времени, добавляли своими заунывными звуками торжественной печали церемонии. После того, как процессия прошла перед войсками, они последовали за ней и сопровождали ее к месту захоронения. Первыми маршировали драгуны, за ними следовал 20-й пехотный полк; затем шли морская пехота, 66-й полк, добровольцы острова Святой Елены; и, наконец, полк королевской артиллерии с пятнадцатью орудиями. Леди Лоу и ее дочь ждали на дороге у ворот Хижины в коляске, запряженной двумя лошадьми, а

затем последовали за процессией на некотором расстоянии в сопровождении нескольких слуг в трауре. Пятнадцать орудий были расставлены вдоль дороги, и люди стояли возле своих орудий, готовые открыть огонь.

Примерно в четверти мили от ворот Хижины катафалк остановился, войска остановились и выстроились в боевом порядке вдоль дороги. Затем гренадеры взвалили гроб на плечи и понесли его таким образом к могиле по новой дороге, проложенной для этой цели на склоне горы. Затем все спешили; дамы вышли из коляски, и процессия последовала за трупом, не соблюдая никакого порядка: графы Бертран и Монтолон, Маршан и молодой Наполеон Бертран, держась за четыре угла покрывала. Гроб поставили на край могилы, завешенный черным, а рядом с ним стояли механизмы и веревки, с помощью которых его предстояло опустить: все имело скорбный вид; все способствовало увеличению горя и скорби, наполнявших наши сердца. Наше волнение было велико, но глубоко, сосредоточенно и безмолвно. Когда гроб был открыт, аббат Виньяли прочитал обычные молитвы, и тело было предано могиле, повернутое ногами на восток. Затем артиллерия дала три последовательных залпа по пятнадцать орудий в каждом. Во время шествия похоронной процессии адмиральский корабль произвел двадцатипятиминутный залп. Огромный камень, который должен был быть использован при строительстве нового дома императора, теперь использовался для того, чтобы закрыть его могилу. По окончании религиозных церемоний этот камень был поднят с помощью закрепленного в нем кольца и опущен над телом, опираясь с обеих сторон на прочную каменную стену, чтобы не касаться гроба. Затем его закрепили; кольцо сняли, образовавшееся отверстие засыпали, а каменную кладку покрыли слоем цемента.



ГРОБНИЦА НАПОЛЕОНА.

Лондон: Опубликовано для Генри Колберна, февраль 1836г.

Могила императора находится примерно в лиге от Лонгвуда. Она четырехугольной формы, но шире вверху, чем внизу; ее глубина составляет около двенадцати футов. Гроб ставится на два прочных куска дерева и изолируется со всех сторон. Нам не разрешили установить над ним ни камень, ни скромную надпись: губернатор воспротивился этому благочестивому желанию; как будто надгробный камень или надпись могли рассказать миру больше, чем они уже знали!

ЗАВЕЩАНИЕ НАПОЛЕОНА.

Наполеон.

Это 15 апреля 1821 года в Лонгвуде, остров Святой Елены. Это мое Завещание, или акт моей последней воли.

1. Я умираю в Апостольской римской религии, в лоне которой я родился, более пятидесяти лет назад.
2. Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, которого я так сильно любил.
3. У меня всегда были причины быть довольным моей самой дорогой женой, Марией Луизой. Я сохраняю к ней до моего последнего мгновения самые нежные чувства — я умоляю ее присмотреть, чтобы уберечь моего сына от ловушек, которые все еще окружают его в младенчестве.
4. Я рекомендую моему сыну никогда не забывать, что он родился французским принцем, и никогда не позволять себе становиться орудием в руках триумвиров, угнетающих народы Европы: он никогда не должен воевать против Франции или каким-либо образом причинять ей вред; он должен перенять мой девиз: *“Все для французского народа”*.
5. Я умираю преждевременно, убитый английской олигархией и ее * * *. Английская нация не замедлит отомстить за меня.
6. Два печальных результата вторжений во Францию, когда у нее было еще так много ресурсов, следует отнести на счет измены Мармона, Ожеро, Талейрана и Лафайета.
Я прощаю их — Пусть потомки Франции простят их так же, как я!
7. Я благодарю мою добрую и превосходнейшую мать кардинал, моих братьев Жозефа, Люсьена, Жерома, Полину, Каролину, Жюли, Гортензию, Катарину, Эжена за интерес, который они продолжают испытывать ко мне. Я прощаю Луи за клевету, которую он опубликовал в 1820 году; она изобилует ложными утверждениями и фальсифицированными документами.
8. Я отрекаюсь от "Рукописи Святой Елены" и других работ под названием "Максимы, изречения и т.п.", которые люди с удовольствием публиковали в течение последних шести лет. Это нете

правила, которыми руководствовалась моя жизнь. Я добился ареста и суда над герцогом Энгиемским, потому что этот шаг был необходим для безопасности, интересов и чести французского народа, в то время как граф д'Артуа, по его собственному признанию, содержал в Париже шестьдесят наемных убийц. При подобных обстоятельствах я действовал бы точно так же.

II.

1. Я завещаю моему сыну шкатулки, ордена и другие предметы; такие как моя броня, походная кровать, седла, шпоры, церковная утварь, книги, постельное белье, которое я привык носить и использовать, согласно списку, прилагаемому (А). Я желаю, чтобы это небольшое завещание было дорого ему, как подарок от отца, о котором ему будет напоминать весь мир.
2. Я завещаю леди Холланд старинную камею, которую папа Пий VI подарил мне в Толентино.
3. Я завещаю графу Монтолону два миллиона франков в знак моего удовлетворения за сыновнее внимание, которое он оказывал мне в течение шести лет, и в качестве возмещения убытков, причиненных ему проживанием на острове Святой Елены.
4. Я завещаю графу Бертрону пятьсот тысяч франков.
5. Я завещаю Маршану, моему первому камердинеру, четыреста тысяч франков. Услуги, которые он мне оказал, - это услуги друга; я желаю, чтобы он женился на вдове, сестре или дочери офицера моей старой гвардии.
6. Пункт. Сен-Дени, сто тысяч франков.
7. Пункт. Новарру (Noverraz,) сто тысяч франков.
8. Пункт. Пьерону - сто тысяч франков.
9. Пункт. Аршамбо, пятьдесят тысяч франков.
10. Пункт. Курсо, двадцать пять тысяч франков.
11. Пункт. Шанделлье, двадцать пять тысяч франков.
12. Аббату Виньяли - сто тысяч франков. Я хочу, чтобы он построил свой дом недалеко от моста Ново-ди-Ростино.
13. Пункт. Если считать по нескольким делам, то сто тысяч франков.
14. Пункт. Графу Лавалетту - сто тысяч франков.
15. Пункт. Ларри, главному хирургу, сто тысяч франков.— Он самый добродетельный человек, которого я когда-либо знала.
16. Пункт. Генералу Брейеру - сто тысяч франков.
17. Пункт. Генералу Февру Деснуэту - сто тысяч франков.
18. Пункт. Генералу Друо - сто тысяч франков.
19. Пункт. Генералу Камброну - сто тысяч франков.

20. Пункт. Детям генерала Мутона Дюверне - сто тысяч франков.
21. Пункт. Детям отважного Лабедойера - сто тысяч франков.
22. Пункт. Детям генерала Жирара, убитого при Линьи, сто тысяч франков.
23. Пункт. Детям генерала Шартрана - сто тысяч франков.
24. Пункт. Детям добродетельного генерала Траво - сто тысяч франков.
25. Пункт. Генералу Лальману-старшему - сто тысяч франков.
26. Пункт. Графу Реалю - сто тысяч франков.
27. Пункт. В Коста-де-Бастелика, на Корсике, сто тысяч франков.
28. Пункт. Генералу Клозелю - сто тысяч франков.
29. Пункт. Барону де Менневаллю - сто тысяч франков.
30. Пункт. Арно, автору "Мариуса", сто тысяч франков.
31. Пункт. Полковнику Марбо - сто тысяч франков.—Я рекомендую ему продолжать писать в защиту славы французских армий и поносить их клеветников и отступников.
32. Пункт. Барону Биньону - сто тысяч франков.— Я рекомендую ему написать историю французской дипломатии с 1792 по 1815 год.
33. Пункт. Поджи ди Талаво, сто тысяч франков.
34. Пункт. Хирургу Эммери - сто тысяч франков.
35. Эти суммы будут получены из шести миллионов, которые я внес на счет, покидая Париж в 1815 году; и из процентов по ставке 5 процентов. с июля 1815 года. Расчет по этому счету будет произведен с банкиром графами Монтолоном, Бертраном и Маршаном.
36. Все, что может быть получено на этот депозит сверх суммы в пять миллионов шестьсот тысяч франков, которые были израсходованы выше, будет распределено в качестве вознаграждения среди раненых в битве при Ватерлоо, а также среди офицеров и солдат батальона на острове Эльба, согласно шкале, которая будет определена Монтолоном, Бертраном, Друо, Камброном и хирургом Ларреем.
37. Это наследство в случае смерти будет выплачено вдовам и детям, а при отсутствии такового вернется основная часть моего имущества.

III.

1. Поскольку мои частные владения являются моей собственностью, которой, насколько мне известно, меня не лишил какой-либо французский закон, от барона де ла Буйери, ее казначея, потребуются отчет о них: они должны составлять более двухсот миллионов франков; а именно: 1. Портфель, содержащий сбережения, которые я сделал за четырнадцать лет из моего гражданского списка, и эти сбережения составляли, если мне не изменяет память, более двенадцати миллионов в год. 2. Продукция этого портфолио. 3. Убранство моих дворцов, такое,

каким оно было в 1814 году, включая дворцы Рима, Флоренции и Турина. Вся эта мебель была приобретена на деньги, полученные по гражданскому списку. 4. Доходы от моих домов в королевстве Италия, такие как деньги, посуда, драгоценности, мебель, экипажи; отчеты о которых будут предоставлены принцем Евгением и управляющим делами короны Кампаньони.

Наполеон.

(Второй лист.)

2. Я завещаю свои частные владения, половину выжившим офицерам и солдатам французской армии, которые сражались с 1792 по 1815 год во славу и независимость нации; распределение будет произведено пропорционально их назначениям на действительной службе; и половину городам и округам Эльзаса, Лотарингии, Франш-Конте, Бургундии, острова Франция, Шампанского леса, Дофине, которые могли пострадать от любого из вторжений.

Предварительно отдельно от этой суммы будет выделен один миллион для города Бриенна и один миллион для города Мери. Я назначаю графов Монтолона, Бертрана и Маршана исполнителями моей воли.

Настоящее завещание, полностью составленное моей собственной рукой, подписано и скреплено моим собственным гербом.

Наполеон.

(Л. С.)

Список (А).

Прилагается к моему завещанию.

Лонгвуд, остров Святой Елены,

сего 15 апреля 1821 года.

Я.

1. Освященные сосуды, которые использовались в моей часовне в Лонгвуде.

2. Я приказываю аббату Виньяли сохранить их и передать моему сыну, когда ему исполнится шестнадцать лет.

II.

1. Мое оружие, то есть моя шпага, та, что была на мне при Аустерлице, сабля Собеского, мой кинжал, моя широкая шпага, моя вешалка, две пары моих версальских пистолетов.

2. Мой золотой несессер, которым я пользовался утром при Ульме и Аустерлице, в Йене, Эйлау, Фридланде, на острове Лобау, в Москве, в Монмирале. С этой точки зрения я желаю, чтобы она была драгоценна в глазах моего сына. (С 1814 года она хранится у графа Бертрана.)

3. Я поручаю графу Бертрану позаботиться о сохранении этих предметов и передать их моему сыну, когда ему исполнится шестнадцать лет.

III.

1. Три маленькие шкатулки красного дерева, содержащие, во-первых, тридцать три табакерки или конфитюрницы; во-вторых, двенадцать шкатулок с императорским гербом, два маленьких бинокля и четыре шкатулки, найденные на столе Людовика XVIII. в Тюильри, 20 марта 1815 г.; третья - три табакерки, украшенные серебряными медалями, которыми обычно пользовался император; и различные предметы для туалета, согласно спискам, пронумерованным I. II. III.

2. Мои полевые грядки, которыми я пользовался во всех своих кампаниях.

3. Мой полевой телескоп.

4. Мой несессер, по одному от каждой моей формы, дюжина рубашек и полный комплект каждого из моих платьев, и вообще все, что использовалось в моем туалете.

5. Мой умывальник.

6. Маленькие часы, которые стоят в моей спальне в Лонгвуде.

7. Двое моих часов и цепочка из волос императрицы.

8. Я поручаю заботу об этих предметах Маршану, моему главному камердинеру, и поручаю ему передать их моему сыну, когда ему исполнится шестнадцать лет.

IV.

1. Мой шкаф с медалями.

2. Моя тарелка и севрский фарфор, которые я использовала на острове Святой Елены. (Список В. и С.)

3. Я прошу графа Монтолона позаботиться об этих предметах и передать их моему сыну, когда ему исполнится шестнадцать лет.

V.

1. Мои три седла и уздечки, мои шпоры, которыми я пользовался на острове Святой Елены.

2. Мои охотничьи ружья в количестве пяти штук.

3. Я поручаю моему *егерю* Новерразу позаботиться об этих предметах и поручаю ему передать их моему сыну, когда ему исполнится шестнадцать лет.

VI.

1. Четыреста томов, отобранных из тех, что есть в моей библиотеке, которыми я привык пользоваться чаще всего.

2. Я поручаю Сен-Дени позаботиться о них и передать моему сыну, когда ему исполнится шестнадцать лет.

Наполеон.

Список (А).

1. Ни один из предметов, которыми я пользовался, не будет продан; остаток будет разделен между исполнителями моей воли и моими братьями.
 2. Маршан сохранит мои волосы и сделает из них браслеты с маленькой золотой застежкой, которые будут отправлены императрице Марии Луизе, моей матери и каждому из моих братьев, сестер, племянников, племянниц, кардиналу; и один большего размера для моего сына.
 3. Маршан пошлет одну пару моих золотых пряжек для обуви принцу Жозефу.
 4. Маленькие золотые пряжки на коленях принцу Люсьену.
 5. Золотая застежка-ошейник принцу Джерому.
-

Список (А).

Опись моих вещей, о которых позаботится Маршан и | или передаст моему сыну.

1. Мой серебряный туалетный столик, тот, что стоит у меня на столе, со всеми его принадлежностями, бритвами и прочим.
2. Мои будильник: это будильник Фредерика II. который я взял в Потсдаме (в коробке № III).
3. Мои часы с цепочкой из волос императрицы и цепочкой из моих собственных волос для других часов: Маршан изготовит их в Париже.
4. Две мои печати (одна - печать Франции, находится в коробке № III).
5. Маленькие золотые часы, которые сейчас стоят в моей спальне.
6. Мой рукомойник и кувшин для воды к нему.
7. Мои ночные столики, которыми я пользовалась во Франции, и мое биде с серебряной позолотой.
8. Мои две железные кровати, мои матрасы и мои покрывала, если их удастся сохранить.
9. Мои три серебряных графина, в которых была моя водка и которые мои егеря носили в поле.
10. Мой французский телескоп.
11. Мои шпоры, две пары.
12. Три шкатулки красного дерева, № I. II. III., в которых мои табакерки и другие принадлежности.
13. Серебряная с позолотой сковорода для ароматизации.

Ниже приведены списки нательного белья и одежды, слишком подробные, чтобы требовать размещения в этом месте.

Список (В).

Опись имущества, которое я оставил во владении господина графа де Тюренна.

Одна сабля Собеского.



(Она по ошибке включена в
Список (А.)
это сабля, которую император
носил при Абукире и которая
находится в
руках графа Бертрана.)

Один Большой воротник ордена Почетного легиона.

Один меч из серебра с позолотой.

Один консульский меч.

Один стальной меч.

Один бархатный пояс.

Один ошейник из Золотого руна.

Один маленький стальной туалетный столик.

Один серебряный ночник.

Одна рукоятка старинной сабли.

Одна шляпа *а-ля* Генрих IV. и ток.^[50] Кружево императора.

Один маленький шкафчик с медалями.

Два турецких ковра.

Две мантии из малинового бархата, расшитые, с жилетками и безрукавками.

Я дарю моему Сыну саблю Собеского.

Сделай. орден Почетного легиона.

Сделай. шпагу серебряную с позолотой.

Сделай. консульскую шпагу.

Сделай. стальной меч.

Сделай. орден Золотого руна.

Сделай. шляпу *а-ля* Генрих IV. и *toque*.

До. золотой футляр для зубов, который находится в руках дантиста.

Императрице Марии Луизе - мое кружево.

Мадам, серебряный ночник.

Кардиналу - маленький стальной туалетный столик.

Принцу Евгению - восковой подсвечник в позолоченном серебре.

Принцессе Полине, маленькому шкафу с медалями.

Неаполитанской королеве - маленький турецкий ковер.

Королеве Гортензии - маленький турецкий ковер.

Принцу Джерому, рукояти старинной сабли.

Принцу Джозефу - вышитую мантию, жилет и верхнюю одежду.

Принцу Люсьену - вышитую мантию, жилет и верхнюю одежду.

Наполеон.

Это 24 апреля 1821 года, Лонгвуд.

Это мое Дополнение или акт моей последней воли.

Из средств, переведенных золотом императрице Марии Луизе, моей очень дорогой и горячо любимой супруге, в Орлеане в 1814 году, она остается у меня в долгу на два миллиона, которыми я распоряжаюсь согласно настоящему Дополнению, с целью вознаграждения моих самых верных слуг, которых, более того, я рекомендую под защиту моей дорогой Марии Луизы.

1. Я рекомендую императрице вернуть графу Бертрону доход в тридцать тысяч франков, которым он владел в герцогстве Пармском и на горе Наполеон в Милане, а также причитающуюся задолженность.

2. Я даю ей ту же рекомендацию в отношении герцога Истрийского, дочери Дюрока, и других моих слуг, которые по-прежнему верны мне и которые никогда не переставали быть мне дорогими: она их знает.

3. Из вышеупомянутых двух миллионов я завещаю триста тысяч франков графу Бертрону, из которых сто тысяч он положит в сундук казначея, чтобы они были использованы в качестве добросовестного наследства, согласно моим распоряжениям.

4. Я завещаю двести тысяч франков графу Монтолону, из которых сто тысяч он положит в сундук казначея для той же цели, что и вышеупомянутая.

5. Пункт, двести тысяч франков для подсчета всех дел, из которых сто тысяч он положит в сундук казначея для той же цели, что и упомянутые выше.

6. Пункт: Маршану сто тысяч франков, из которых пятьдесят тысяч он положит в сундук казначея для тех же целей, что и упомянутые выше.

7. Жану Жерому Леви, мэру Аяччо в начале Революции, или его вдове, детям или внукам, сто тысяч франков.

8. Дочери Дюрока - сто тысяч франков.

9. Сыну Бессьера, герцога Истрийского, сто тысяч франков.

10. Генералу Друо - сто тысяч франков.

11. Графу Лавалетту - сто тысяч франков.

12. Предмет стоимостью сто тысяч франков, то есть:—

- Двадцать пять тысяч Пьерону, моему метрдотелю.
- Двадцать пять тысяч Новарре, мой егерь.
- Двадцать пять тысяч Сен-Дени, хранителю моих книг.
- Двадцать пять тысяч Сантини, моему бывшему привратнику.

13. Предмет стоимостью сто тысяч франков, то есть:—

- Сорок тысяч Планату, моему ординарцу.
- Двадцать тысяч Герберту, в последнее время эконому в Рамбуйе, который жил в моей комнате в Египте.
- Двадцать тысяч Лавинье, который в последнее время был смотрителем одной из моих конюшен и который был моим *фаворитом* в Египте.
- Двадцать тысяч Жанет Дервье, которая была смотрителем конюшен и служила мне в Египте.

14. Двести тысяч франков будут розданы в качестве милостыни жителям Бриенн-ле-Шато, которые пострадали больше всех.

15. Оставшиеся триста тысяч франков будут розданы офицерам и солдатам батальона моей охраны на острове Эльба, которые, возможно, сейчас живы, или их вдовам и детям, пропорционально их назначениям и согласно смете, которая будет установлена моими душеприказчиками: те, кто перенес ампутацию или был тяжело ранен, получают вдвое больше; смета будет установлена Ларреем и Эммери.

Это дополнение полностью написано моей рукой, подписано и скреплено моей печатью.

Наполеон.

24 апреля 1821 года, Лонгвуд.

Это мое Дополнение, или записка к моей последней воле.

Из моего гражданского имущества в Италии, такого как деньги, драгоценности, посуда, белье, экипажи, хранителем которых является вице-король и которые принадлежали мне, я распоряжаюсь двумя миллионами, которые завещаю моим самым верным слугам. Я надеюсь, что, не приводя никаких доводов против, мой сын Эжен Наполеон добросовестно заплатит им. Он не может забыть о сорока миллионах, которые я дал ему в Италии и при распределении наследства его матери.

1. Из этих двух миллионов я завещаю графу Бертрону триста тысяч франков, из которых сто тысяч он положит в сундук казначея, чтобы ими распорядились по моему усмотрению в порядке добросовестного наследования.

2. Графу Монтолону - двести тысяч франков, из которых сто тысяч он положит в сундук для тех же целей, что и упомянутые выше.

3. Пересчитать все дела, двести тысяч франков, из которых сто тысяч он положит в сундук, для той же цели, что и вышеупомянутые.

4. Маршану - сто тысяч франков, из которых пятьдесят тысяч он положит в сундук для тех же целей, о которых говорилось выше.

5. Графу Ла Валетту - сто тысяч франков.

6. Генералу Хогендорфу из Голландии, моему адъютанту, ушедшему в отставку и отправленному в Бразилию, сто тысяч франков.

7. Моему адъютанту Корбино - пятьдесят тысяч франков.

8. Моему адъютанту генералу Каффарелли - пятьдесят тысяч франков.

9. Моему адъютанту Дежану пятьдесят тысяч франков.

10. Перси, главному хирургу при Ватерлоо, пятьдесят тысяч франков.

11. Пятьдесят тысяч франков, то есть:—

- Десять тысяч Пьерону, моему метрдотелю.
- Десять тысяч Сен-Дени, моему главному егерю.
- Десять тысяч Новерразу.
- Десять тысяч Курсо, моему кухонному клерку.
- Десять тысяч Арчамбанду, моему обидчику.

12. Барону Де Менневаллю пятьдесят тысяч франков.

13. Герцогу д'Истрия, сыну Бессьера, пятьдесят тысяч франков.

14. Дочери Дюрока - пятьдесят тысяч франков.

15. Детям Лабедойера - пятьдесят тысяч франков.

16. Детям Мутона Дюверне - пятьдесят тысяч франков.

17. Детям храброго и добродетельного генерала Траво - пятьдесят тысяч франков.

18. Детям Шартрана - пятьдесят тысяч франков.

19. Генералу Камброну - пятьдесят тысяч франков.

20. Генералу Лефевру Деснуэту - пятьдесят тысяч франков.

21. Распределить среди тех запрещенных лиц, которые скитаются по чужим странам, будь то французы, итальянцы, бельгийцы, голландцы, испанцы или жители рейнских департаментов, по указанию моих душеприказчиков и по их приказу сто тысяч франков.

22. Будет распределено между теми, кто перенес ампутацию или был тяжело ранен при Лини или Ватерлоо, кто, возможно, еще жив, согласно спискам, составленным моими душеприказчиками, к которым будут добавлены Камброн, Ларри, Перси и Эммери. Стражникам

будет выплачено двойное жалование; стражникам острова Эльба - четырехкратное; двести тысяч франков.

Это дополнение полностью написано моей рукой, подписано и скреплено моей печатью.

Наполеон.

Это произошло 24 апреля 1821 года в Лонгвуде.

Это третье дополнение к моему Завещанию от 15 апреля.

1. Среди бриллиантов Короны, которые были переданы в 1814 году, было несколько стоимостью в пятьсот или шестьсот тысяч франков, не принадлежащих ей, но составлявших часть моей частной собственности; на них будет произведено изъятие, чтобы расплатиться моим наследством.

2. В руках банкира Торлонии в Риме у меня были переводные векселя на сумму двести или триста тысяч франков, составившие продукт моих доходов с острова Эльба с 1815 года. Сьер Де Лаперруз, хотя и не был больше моим казначеем и не пользовался никаким авторитетом, завладел этой суммой. Он будет вынужден вернуть ее.

3. Я завещаю герцогу Истрийскому триста тысяч франков, из которых только сто тысяч франков будут возвращены его вдове, если герцог умрет до выплаты наследства. Я желаю, если это не доставит никаких неудобств, чтобы герцог женился на дочери Дюрока.

4. Я завещаю герцогине Фриульской, дочери Дюрока, двести тысяч франков: если она умрет до выплаты этого наследства, ничего из этого не будет передано матери.

5. Я завещаю генералу Риго (тому, кто был объявлен вне закона) сто тысяч франков.

6. Я завещаю Буано, интендантскому комиссару, сто тысяч франков.

7. Я завещаю детям генерала Летора, убитого в кампании 1815 года, сто тысяч франков.

8. Эти восемьсот тысяч франков наследства считаются включенными в конец статьи тридцать шестой моего завещания, в соответствии с которой наследство, которым я распорядился по завещанию, составит сумму в шесть миллионов четыреста тысяч франков, без учета пожертвований, сделанных мной в моем втором дополнении.

Это написано моей собственной рукой, подписано и скреплено моей печатью.

(Л. С.)

Наполеон.

[Снаружи написано:]

Это мое третье дополнение к моему завещанию, полностью написанное моей рукой, подписанное и скрепленное моим гербом.

Будет вскрыто в тот же день и сразу после оглашения моего завещания.

Наполеон.

24 апреля 1821 года. Лонгвуд.

Это четвертое дополнение к моему Завещанию.

Согласно ранее принятым нами решениям, мы выполнили не все наши обязательства, что побудило нас сделать это четвертое дополнение.

1. Мы завещаем сыну или внуку барона Дютиэля, генерал-лейтенанта артиллерии и бывшего сеньора Сент-Андре, который до революции командовал Оксонской школой, сумму в сто тысяч франков в знак благодарности за заботу, которую этот храбрый генерал проявлял о нас, когда мы были лейтенантами и капитанами по его приказу.

2. Пункт. Сыну или внуку генерала Дюгомье, который командовал тулонскими войсками, сумму в сто тысяч франков. Мы, по его приказу, руководили той осадой и командовали артиллерией: это свидетельство памяти о знаках уважения, привязанности и дружбы, которые этот храбрый и бесстрашный генерал оказал нам.

3. Пункт. Мы завещаем сто тысяч франков сыну или внуку депутата Конвента Гаспарина, представителя народа при армии Тулона, за то, что он защитил и санкционировал своим авторитетом предложенный нами план, который обеспечивал взятие этого города и который противоречил плану, предложенному Комитетом общественной безопасности. Гаспарин своим покровительством защитил нас от преследований и невежества генералов, командовавших армией до прибытия моего друга Дюгомье.

4. Пункт. Мы завещаем сто тысяч франков вдове, сыну или внуку нашего адъютанта Мюирона, убитого бок о бок с нами в Арколе, прикрывающего нас своим телом.

5. Пункт. Десять тысяч франков младшему офицеру Кантильону, который предстал перед судом по обвинению в попытке покушения на жизнь лорда Веллингтона, в чем он был признан невиновным. Кантильон имел такое же право убить этого олигархиста, как тот имел такое же право отправить меня на смерть на скале Святой Елены. Веллингтон, предложивший это возмутительное действие, попытался оправдать его, сославшись на интересы Великобритании. Кантильон, если бы он действительно убил этого сеньора, привел бы такое же оправдание и был бы оправдан тем же мотивом — интересами Франции — избавиться от этого генерала, который, более того, нарушив капитуляцию Парижа, возложил на себя ответственность за кровь мучеников Нея, Лабедойера и др., а также за преступление, заключавшееся в разграблении музеев вопреки тексту международных договоров.

6. Эти четыреста тысяч франков будут добавлены к шести миллионам четырестам тысячам, которыми мы распорядились, и составят сумму нашего наследства в размере шести миллионов восьмисот десяти тысяч франков; эти четыреста десять тысяч следует рассматривать как составляющую часть нашего завещания, статья 36, и они должны быть во всех отношениях такими же, как и другие наследства.

7. Девять тысяч фунтов стерлингов, которые мы передали графу и графине Монтолон, должны быть, если они были выплачены, вычтены и отнесены на счет наследства, которое мы передали ему по нашему завещанию. Если они не были оплачены, наши расписки будут аннулированы.

8. В связи с наследством, переданным по нашему завещанию графу Монтолону, пенсия в размере двадцати тысяч франков, назначенная его жене, аннулируется. Выплатить ее ей поручено графу Монтолону.

9. Управление таким наследством до его окончательной ликвидации, требующее расходов на офисы, поездки, миссии, консультации и судебные процессы, мы ожидаем, что наши исполнители завещания сохранят 3 процента. на все наследство, а также на шесть миллионов восьмьсот тысяч франков, как и на суммы, указанные в приложениях, и на двести миллионов франков частного владения.

10. Сумма удержанных таким образом сумм будет передана на хранение казначею и выплачена векселями наших исполнителей завещания.

11. Если сумм, полученных в результате вышеупомянутых вычетов, окажется недостаточно для покрытия расходов, на этот счет должны быть приняты соответствующие меры за счет трех исполнителей завещания и казначея, каждого пропорционально наследству, которое мы им завещали в нашем завещании и дополнениях.

12. Если суммы, возникающие в результате вышеупомянутых вычетов, будут больше, чем необходимо, излишек будет разделен между нашими тремя исполнителями завещания и казначеем пропорционально их соответствующему наследству.

13. Мы назначаем графа Лас Касеса, а за неимением его сына и за неимением последнего генерала Друо казначеем.

Настоящее дополнение полностью написано нашей рукой, подписано и скреплено нашими гербами.

Наполеон.

КОНЕЦ.

Сноски

1. Эти замечания Наполеона подтверждаются следующим:—

Письмо г-на де Коленкура редактору "Конституции".

(Вставлено в этот дневник [21 января 1820 г.](#)).

“Сударь, работа М. Коха, озаглавленная “Кампания 1814 года”, содержит несколько фрагментов писем, написанных мной императору и принцу Невшательскому во время заседания Конгресса в Шатийоне.

“Я считаю своим долгом заявить, что эта переписка была получена и опубликована без моего ведома. Высокие источники, из которых, по утверждению автора, он черпал свои материалы, придают его работе определенную историческую важность; и поэтому, что касается меня, я не могу позволить себе своим молчанием санкционировать содержащиеся в ней ошибки. Большинство деталей, касающихся переговоров, которые состоялись впоследствии 31 марта, неверны.

“Что касается Шатийонского конгресса, то, если события оправдали мое желание установить мир, было бы неправильно утаивать от Франции и истории мотивы национальных интересов и чести, которые помешали императору согласиться с условиями, которые иностранцы хотели навязать нам.

“Поэтому я выполняю первую из обязанностей - действовать справедливо и откровенно, развивая эти мотивы, следующим отрывком из приказа императора в мой адрес.

“Париж, 19 января 1814 года.

“... Пункт, на котором император настаивает наиболее настойчиво, - это необходимость сохранения Францией своих естественных границ: это мое *непременное условие*. Все державы Европы, даже Англия, признали эти ограничения во Франкфурте. Франция, если бы ее ограничили до прежних пределов, не обладала бы сейчас и двумя третями того относительного могущества, которым она обладала двадцать лет назад. Территория, которую она приобрела в направлении Рейна, не уравнивает того, что Россия, Пруссия и Австрия приобрели просто в результате расчленения Польши; все эти государства увеличились в размерах. Восстановить Францию в ее прежних границах означало бы унижить ее. Франция без Рейнских департаментов, без Бельгии, Остенде и Антверпена была бы ничем. План ограничения Франции ее старыми границами неотделим от реставрации Бурбонов, ибо только они могут дать гарантию сохранения такой системы. Англия знает это; при любом другом правительстве мир на такой основе был бы невозможен и не мог бы продолжаться. Ни император, ни Республика (если революция снова восстановит ее) никогда не согласились бы на такое условие. Что касается его величества, то его решимость непоколебима: он не покинет Францию раньше, чем найдет ее. Если союзники пожелают изменить основы, которые были предложены и приняты, а именно, чтобы Франция сохранила свои естественные границы, императору открыты только три пути: сражаться и победить; сражаться и погибнуть со славой; или, наконец, если нация его не поддержит, отречься от престола. Император придает мало значения суверенитету; он никогда не купит его деградацией”.

“Я надеюсь. Сэр, ваша беспристрастность побудит вас предоставить этому письму место в вашем журнале, и я пользуюсь этой возможностью, чтобы заверить Вас в моем уважении”, и с.

“КОЛЕНКУР,

Герцог Виченцкий.

2. На острове Святой Елены у меня был только один экземпляр, и он постоянно находился в его спальне. Если мне случалось принести его для справки или внести исправления, его почти сразу же просили прислать снова. В момент моего отъезда граф Бертран умолял меня оставить его ему для обучения его детей. С тех пор он сказал мне, что никогда не сможет им воспользоваться. Император полностью завладел им, и когда в свои последние минуты он

указал на книги, которые должны были быть отобраны из его личной библиотеки для его Сына, среди них был Атлас. Если я не смог удержаться от упоминания такого знакового знака одобрения, я надеюсь, что буду прощен.

3. После моего возвращения в Европу было опубликовано несколько писем со острова Святой Елены, в которых вышеприведенные анекдоты пересказаны почти слово в слово. Это и другие обстоятельства побудили меня навести некоторые справки относительно публикации; и я могу подтвердить, что, хотя она и анонимна, ее содержание почерпнуто из самых достоверных источников и заслуживает полного доверия.

4. Это было написано в 1816 году, до того, как в Индии произошли события, в результате которых, по-видимому, было завершено подчинение всего полуострова.

5.

... venient annis

Sæcula seris, quibus Oceanus

Vincula rerum laxet, et ingens

Pateat tellus, Tiphysque novos

Detegat orbis, nec sit terris ultima Thule.

Конец припева 2 -го акта

"Медея" Сенеки.

6. По этому поводу Наполеон так выразился: “Присутствие генерала необходимо; он - глава, он - вся армия. Не римская армия покорила Галлию, а Цезарь; не карфагенская армия заставила Республику трепетать у ворот Рима, а Ганнибал; не македонская армия была на берегах Инда, а Александр; не французская армия довела войну до Везера и Инн, а Тюренн; не прусская армия семь лет защищала Пруссию от величайших держав Европы, а Фридрих Великий. ”Великий”. (Мемуары Наполеона, том. 2. с. 90.)

7. Столь важное решение, как решение о будущем оставлении Италии, высказанное таким образом впервые и в столь безразличной манере, без разработки какой-либо цели или подкрепления какими-либо доказательствами, я признаю, не заслуживало бы большего внимания, чем утверждения, которые так часто принимаются на веру и оправдываются в пылкой беседе. Но время и близость научили меня тому, что каждое заявление, сделанное Наполеоном при таких обстоятельствах, несло в себе свой полный и буквальный смысл. Я всегда обнаруживал, что это имеет место всякий раз, когда у меня были средства проверки. Я делаю это замечание, чтобы читатель также не усомнился слишком поспешно, не получив или, по крайней мере, не стремясь к доказательствам.

Я нахожу, например, в первом томе Мемуаров Наполеона, продиктованных графу Монтолону, столь полное и удовлетворительное подтверждение замечания, которое я почерпнул из беседы императора на острове Святой Елены, что не могу удержаться от его расшифровки.

Отрывок выглядит следующим образом:—

“Желанием Наполеона было заново создать итальянскую нацию и вновь объединить венецианцев, миланцев, пьемонтцев, генуэзцев, тосканцев, пармезанцев, моденцев, римлян, неаполитанцев, сицилийцев и сардинцев в одну независимую нацию, ограниченную Альпами и Адриатическим, Ионическим и Средиземным морями: таков был бессмертный трофей, который он воздвиг во славу себе! Это великое и могущественное королевство было бы на суше сдерживающим фактором для Австрийского дома; в то время как на море его флоты, соединенные с флотами Тулона, господствовали бы в Средиземном море и защищали старый торговый путь в Индию через Красное море и Суэцкий канал. Рим, столица этого государства, был вечным городом; он был окружен тремя барьерами - Альпами, По и Апеннинскими; он был ближе, чем кто-либо другой, к трем большим островам. Но Наполеону предстояло преодолеть множество препятствий. На консульстве в Лионе он сказал, что *мне потребуется двадцать лет, чтобы восстановить Итальянскую нацию.*

“На пути к этому великому замыслу было три препятствия: во-первых, владения иностранных держав в Италии; во-вторых, влияние местности; и, в-третьих, резиденция пап в Риме.

“Едва ли прошло десять лет со дня проведения *Лионского консульства*, как первое препятствие было полностью устранено. Иностранные державы больше не владели какой-либо частью Италии, которая находилась полностью под непосредственным влиянием императора. Уничтожение Венецианской республики, низложение короля Сардинии и великого герцога Тосканы, присоединение к империи владений Святого Петра устранили второе препятствие. Как основатели, которым приходится переделывать несколько пушек малого калибра в одну сорока восьми фунтовую, сначала бросают их все в печь, чтобы довести до состояния плавления, так и малые государства были объединены с Австрией и Францией, чтобы их можно было свести к элементарному состоянию, освободить от их старых воспоминаний и претензий и, таким образом, подготовить к повторному литью. Венецианцы, будучи присоединены к Австрийской монархии, в течение нескольких лет испытывали горечь подчинения немцам. Когда бы эти люди были возвращены итальянскому правительству, их бы мало заботило, станет ли их город столицей Италии или их правительство будет более или менее аристократическим. Аналогичные изменения произошли бы в Пьемонте, Генуе и Риме, которые были дезорганизованы сменой Французской империи.

“Теперь не было ни венецианцев, ни пьемонтцев, ни тосканцев: жителями всего полуострова были только итальянцы. Все было подготовлено для формирования великой итальянской нации. Великое герцогство Берг было вакантно для династии, которая в то время занимала неаполитанский трон. Император с нетерпением ожидал рождения второго сына, чтобы короновать его королем Италии и провозгласить независимость прекрасного полуострова под регентством принца Евгения”.

8. Среди прочих, барон Стассар, в чьей хорошо известной верности Наполеон питал такое доверие, что послал его на Венский конгресс для переговоров о поддержании Парижского мира. Но барону, к несчастью, помешали продвинуться дальше Линца; самый яростный и закоренелый из союзных кабинетов министров принял меры предосторожности, добившись абсолютного запрета на всякие сношения с Наполеоном. Однако барону Стассару косвенно намекнули, что, если до начала военных действий император решит отречься от престола в пользу своего сына, Австрия согласится с этим условием при условии, что Наполеон сдастся в

руки своего тестя, который снова гарантирует ему суверенитет над островом Эльба или любой аналогичный суверенитет.

9. Барон Фейн, первый секретарь кабинета Наполеона, опубликовал книгу под названием "Рукопись 1814 года". В этой работе представлены живые и интересные подробности важных, но малоизвестных событий того периода, и в частности короткой, но бессмертной кампании 1814 года. Это эпизод из серии чудес, в котором Наполеон повсюду предстает сверхъестественным благодаря своим гениальным способностям, энергии ума, скорости движений, твердости взглядов и возвышенности мужества, которые он там проявил. Ничто не может сравниться с чудесами, которые он совершал, за исключением неутомимого рвения горстки храбрецов, которые, словно чуждые нуждам природы, лишённые пищи и отдыха, казалось, множились перед вражескими легионами, были непрестанно сражены и всегда побеждали.

Барон Файн подарил нам свидетельство национальной славы, и он по праву имеет право на благодарность своих соотечественников. В его картине войны, неразберихи и неприятностей характерные черты ума и сердца Наполеона часто проявляются с блеском. Мне, уделившему особое внимание этим последним объектам, особенно приятно, хотя в то же время всем читателям, должно быть, любопытно проследить соответствие между деталями, записанными двумя людьми, совершенно незнакомыми друг другу, и относящимися к совершенно разным периодам и обстоятельствам.

10. Император отбыл из Фонтенбло 20 апреля 1814 года в сопровождении отряда конных гренадер. Граф Бертран был с ним в карете.

Вечером 20-го числа он добрался до Бриара.

21-го числа он прибыл в Невер.

22-го, в Руане.

23-го, в Лионе.

24-го, в Монтелимарте.

25-го, в Оргоне.

26-го числа он спал рядом с Люком.

27-го, во Фрежюсе.

28-го, в восемь часов вечера, он поднялся на борт английского фрегата "*Неустршимый*" под командованием капитана Ашера.

11. Мой друг, путешествующий по Германии, уверяет меня, что через несколько лет после этого события он получил от командующего русскими парками подтверждение точности утверждения, содержащегося в вышеупомянутом воззвании.

12. Следует отметить, что маршал Ней здесь не принимает титул князя Московского издекатности [delicacy](#).....

13. Австрийский наблюдатель, 1817 или 1818 год.

14. Montvéran's Historie critique et raisonnée[raisonnée](#)

15. Лорд Каслри действительно имел смелость сделать это заявление, причем почти в процитированных выше выражениях, во время дебатов в парламенте относительно Конституции Бадена или Баварии.

16. Мне сообщили, что после моего отъезда император, прочитав жалобы Ионических островов и с негодованием перечислив действия союзников, которые, громко рассуждая о морали, справедливости и независимости наций, соперничали друг с другом в присвоении себе обломков Великой империи и не постеснялись распределить миллионы людей, — сказал: “Эти наглые и лицемерные люди осмелились перед лицом всего мира заявить, что я был эгоистичным, вероломным и тираническим!”

Узнав о судьбе несчастного Парги, он воскликнул: “Парга! Парга! Конечно, этого поступка достаточно, чтобы заклеить человека и оставить отметину на его челе навсегда!”

17. Эта идея снова встречается в последних строках, написанных Наполеоном перед смертью.

18. Человек большого понимания и информации, который пользовался большим доверием императора и имел много общего непосредственно с императором, сказал мне после первого отречения с видом глубокой убежденности, что план Наполеона состоял в том, чтобы оставить Париж после того, как он завершит свои завоевания, и сделать Рим столицей Империи. В то время я так мало знал об императоре, что это известие ошеломило меня; но теперь я не могу удержаться от вопроса, откуда у моего информатора могла возникнуть такая идея?

19. Хорошо известно, сколько различных версий, сколько разнообразных домыслов породило это печальное событие.

20. Роялист.

21. Человек революционной партии.

22. Смотрите Письма с Мыса.

23. Работа мистера О'Мира сообщает мне, по прошествии шести лет, что я точно угадал чувства императора по этому поводу.

24. “Это письмо похоже на восемь или десять других, которые вы написали тому же человеку и которые отправили нераспечатанными. Губернатор, имевший бестактность вмешиваться в выражения, которыми вы делитесь в знак дружбы, недавно упрекнул вас в них, пригрозив выслать вас с острова, если в ваших письмах будут по-прежнему содержаться жалобы на него. Таким образом, он нарушил первый долг своего положения, первый пункт своих инструкций[instructions](#), первое чувство чести; таким образом, он уполномочил вас искать средства, чтобы открыть свое сердце вашим друзьям и сообщить им о преступном поведении этого Губернатора. Но вы были очень просты; ваша уверенность была легко обманута!

“Искали предлог, чтобы завладеть вашими бумагами; но ваше письмо к вашему другу в Лондон не могло санкционировать визит к вам полиции, поскольку в нем не было ни заговора, ни тайны, поскольку это было всего лишь выражение благородного и искреннего сердца. Незаконное и

опрометчивое поведение, наблюдавшееся в этом случае, носит отпечаток низменного чувства личной неприязни.

“В наименее цивилизованных странах изгнанники, заключенные и даже преступники находятся под защитой законов и магистратов; те лица, которым ~~intrusted~~~~intrusted~~ присматривать за ними, имеют вышестоящих должностных лиц в администрации, которые присматривают за ними. На этой скале человек, который устанавливает самые абсурдные правила, выполняет их с насилием и нарушает все законы; некому сдержать разгул его страстей.

“Принц-регент никогда не может быть проинформирован о действиях, совершаемых от его имени; они отказались пересылать ему мои письма; они в яростной форме отослали обратно жалобы графа Монтолона; и с тех пор графу Бертрону сообщили, что никаких писем получено не будет, если они будут продолжать носить клеветнический характер, как это было до сих пор.

“Лонгвуд окружен тайной, которую пытаются сделать непроницаемой, чтобы скрыть преступную линию поведения, которая рассчитана на то, чтобы вызвать подозрение в самых преступных намерениях!!!

“Посредством коварно распространяемых сообщений пытаются ввести в заблуждение офицеров, путешественников, жителей этого острова и даже агентов, которых, как говорят, заслали сюда Австрия и Россия. Без сомнения, английское правительство подобным же образом введено в заблуждение искусными и лживыми заявлениями.

“Они изъяли ваши бумаги, среди которых, как им известно, были некоторые, принадлежащие мне, без малейших формальностей, в комнате по соседству с моей, со свирепым *эклатом* и проявлением радости. Мне сообщили об этом несколько минут спустя, и я выглянул из окна, когда увидел, что они торопливо уводят вас. Многочисленный персонал гарцевал вокруг дома; мне показалось, что я вижу обитателей Тихого океана, танцующих вокруг заключенного, которого они собираются сожрать”.

25. “В этой стране есть немецкий ботаник, который находится здесь последние шесть месяцев и который видел их в садах Шенбруны за несколько месяцев до своего отъезда. Варвары тщательно препятствовали его приезду, чтобы сообщить мне какие-либо новости о них.

26. “Последние мгновения которого станут позором для английского имени; и однажды Европа с ужасом заклеит клеймом этого вероломного и порочного человека; все истинные англичане отрекутся от него как от британца”.

27. Это письмо было написано одним из приближенных Наполеона, но сам император собственноручно расставил знаки препинания. В предыдущей части моего Дневника я упоминал, что в своем письме император совершенно пренебрегал орфографией; однако удивительно, что в письме, на которое здесь ссылаются, он собственноручно исправил малейшие ошибки.

28. Здесь я должен внести поправку, касающуюся генерала Гурго. В начале этой работы по ошибке было упомянуто, что генерал Гурго вел переговоры о разрешении отправиться на остров Святой Елены. Он был одним из лиц, избранных императором.

29. Случай подбросил мне документ, который является неопровержимым доказательством того, как действовал лорд Чарльз Сомерсет. В настоящее время в моем распоряжении имеется

дубликат письма мистера Гоулберна, заместителя государственного секретаря, адресованного мадам Лас Кейс в Париж и датированного 21 февраля 1817 года. В письме говорится, что лорд Батерст поручил мистеру Гоулберну проинформировать мадам Лас Кейс об отъезде ее мужа с острова Святой Елены на Мыс; и что, в случае, если он решит вернуться в Европу, его можно ожидать примерно в мае месяце. И все же я покинул Мыс только три месяца спустя, а именно примерно в конце августа! Таким образом, создается впечатление, что лорд Батерст не имел намерения задерживать меня там; и что лорд Чарльз Сомерсет, вместо того чтобы выполнять приказы английского министра, просто подчинился предложениям сэра Хадсона Лоу. У меня, конечно, нет оснований предполагать, что лорд Батерст хоть в малейшей степени пожалел бы об этом нарушении, каким бы фатальным оно ни было для меня. Но, если я хоть что-то знаю о характере лорда Чарльза, я уверен, что он, должно быть, сожалел об этом. Будучи полностью убежденным в этом, я искренне прощаю его за то обращение, которому я подвергся.

30. Смотрите Письмо императора Наполеона графу Лас Кейсу после его высылки из Лонгвуда.

31. Письмо графа Монтлона в ответ сэру Хадсону Лоу.

32. Аналогичные письма были адресованы императору Австрии и королю Пруссии, отличаясь лишь некоторыми деталями, поскольку того требовали индивидуальные обстоятельства этих принцев соответственно.

33. Если только это не то, на что намеревался намекнуть министр в британском парламенте 14 мая 1818 года. Пытаясь оправдать преследования, осуществляемые против графа де Лас Кейса, он сказал, что был разоблачен при попытке наладить переписку в Европе через посредство Англии. Но благородный лорд сделал это утверждение только устно и отказался предъявить официальные документы, которые могли бы послужить доказательством этого. Из этого последнего обстоятельства может сложиться мнение по этому поводу.

34. Это письмо было опубликовано только через год после его написания; мотив, приведший к его публикации, уже был замечен и будет более подробно объяснен в дальнейшем на этих страницах.

35. Заявление о жалобах Лонгвуда, адресованное сэру Хадсону Лоу.

36. Все обращения по этому поводу к английскому министерству оказались тщетными. Это требование, часто повторяемое, остается без ответа или вызывает только отказ; как можно особенно видеть из одного из писем в этом сборнике.

37. Это письмо было отправлено по почте в Вене. Я не знаю, дошло ли оно когда-нибудь по назначению; но, скорее всего, нет.

38. Аналогичное письмо было адресовано императору Александру и королю Пруссии.

39. Смотрите эти письма в продолжении этих страниц.

40. Опыт, по-видимому, слишком ясно доказал, что в Лонгвуде было больше знаний о человечестве, чем во франкфуртском корреспонденте.

41. Ознакомьтесь с этими письмами на следующих страницах.

42. Мы сочли правильным вставить сюда это письмо, потому что оно раскрывает дополнительные детали, касающиеся интерьера Longwood, и добавляет новые черты ко всему, что было сказано о его реальном положении.
43. Было сочтено необходимым представить здесь следующие письма графа де Лас Касес; 1.— Потому что на них есть ссылки в предыдущем письме графа Бертрана и они помогают дополнить смысл и понимание его; 2.—Потому что они демонстрируют искренность и добросовестность, с которыми велась эта переписка с Лонгвудом; 3.—Короче говоря, потому что они позволяют читателю должным образом оценить экстраординарное утверждение мистера Гоулберна, который, хотя и получил эти письма и вежливо подтвердил их получение, тем не менее осмелился заявить в Палате общин, что, несмотря на то, что он получил их, и вежливо подтвердил их получение. , в определенном случае, что выражения автора всегда были облечены в язык, допускающий двоякое толкование. Как может честный человек, такой, как человек, которому были адресованы вышеупомянутые письма, который получил и, должно быть, прочитал мое письмо, в частности, лорду Батерсту, брать на себя смелость утверждать, что выражения автора всегда были даны языком, допускающим двойное толкование? Несомненно, мистер Гоулберн должен быть очень разборчив в том, что касается прямого и позитивного значения, иначе он не понимает по-французски. Но читал ли он? Может быть, он неправильно понял? Хотел ли он неправильно понять и, подражая лорду Батерсту, не мог ли он, подобно своему благородному покровителю, в случае своего знаменитого отказа лорду Холланду в Палате пэров, основывать свои аргументы не на том, что действительно существовало, а на том, что казалось ему выгодным? Сообщение этих писем продиктовано главным образом необходимостью дать каждому возможность судить о степени доверия, которой заслуживают утверждения мистера Гоулберна. То, что они не предназначались для обнародования, достаточно очевидно из небрежного и непринужденного стиля, в котором они написаны.
44. Полковник Планат, который сопровождал нас до Плимута и который недавно получил разрешение самому отправиться на остров Святой Елены.
45. Аналогичное письмо было адресовано другим союзным государям, с небольшими соответствующими изменениями.
46. Речь лорда Холланда. Лоцман от 3 августа 1822 года.
47. Комната, в которой лежат мертвые тела в полном порядке.
48. Слабость.
49. Они должны были нести гроб, когда плохое состояние дорог должно было помешать продвижению катафалка.
50. Бархатная шляпа с плоской тульей и загнутыми вверх полями.
-

Ошибки, которые, скорее всего, были допущены принтером, исправлены и отмечены здесь. Ссылки даны на страницу и строку в оригинале. Наряду с резолюциями следует отметить вопросы, приведенные в таблице ниже.

Варианты имен собственных были заменены наиболее общепринятым вариантом, чтобы облегчить поиск по тексту.

Форматирование и пунктуация в Указателе, который охватывает все четыре тома, были нормализованы там, где это необходимо, чтобы соответствовать предполагаемым стилям.

В тексте был ряд примеров, когда в цитируемом материале отсутствовали либо открывающие, либо закрывающие кавычки. Правильное размещение не всегда очевидно, но в каждом конкретном случае был сделан наиболее правдоподобный выбор.

Один пример приводится на стр.247, когда Лас Кейсес перефразирует отрывок из книги Барри О'Мира "Наполеон в изгнании": отрывок, начинающийся словами "только хотел создать", как нельзя лучше подходит для повторного использования цитаты и понимания смысла заключительной кавычки несколькими строками позже.

(См. [О'Мира](#))

Ссылки в таблице ниже относятся к странице и строке исходного печатного текста. Записи для индекса будут иметь указатель столбца в качестве второй цифры.

10.8	сдался беззащитным варварам.[”]	Добавлено.
34.38	он только что записал [lp/ pl]oyed;	Транспонировал.
44.10	[“]Когда, наконец, они решили лечить	Добавлено.
49.16	, которая никогда не была бы успешно введена	Заменена.
49.22	Вставлена в этот файл, который	добавлен.
51.8	однако доказательства его возвращения	перенесены.
54.11	Vimereux, Amblet[ue/ eu]se и этапы	транспонированы.
58.27	Но добавлен объект, которым конкретно [я] был поглощен	.
58.40	и ОБЦС, министр, которого неустанно преследуют	Заменен.
67.42	они бы предоставили мне все доказательства этого[.]”	Добавлено.
68.37	я все больше и больше доволен вашей книгой.[”]	Добавлено.
73.9	отвечает на любые запросы [iu / ui], которые он может сделать	транспонированными.
74.35	(это он произнес очень выразительно)	Удалена.
81.1	Министру ОБЦС по упомянутому здесь вопросу.	Заменено.
92.10	прихоть па [s / r] t завоевателя?	Заменен.
94.38	Затем, через несколько мгновений [’] тишины	Добавлен.
105.38	но Фридрих Великий.[”]	Добавлено.

112.40	со словами: [“]Я иду противостоять врагу”,	Добавлено.
113.20	были перенесены условия настройки deg [ar/ra], которые были переданы	.
121,6	на Париж[, /. “] Здесь я хотел твердости”, - сказал он;	Заменен.
122.9	“Да”, - сказал император, [“] и эти приказы	добавлены.
122.21	Уверен, что в Fontain[e]bleau	Добавлена.
125.36	Победы Шама[r]-Обер, Монмирайль,	Добавлен.
126.23	он никогда бы не позволил, чтобы это было сказано	Удалено.
130.36	от delica[s]у императору Александру.	Добавлено.
136.1	, что он намеревался сделать выбор	транспонированным.
136.21	один из его министров (герцог Овцс)	Заменен.
141.15	добавлен самый ценный персонаж	.
143.34	, что ее следует поддерживать	Добавлена.
148.22	[“]Но” было задано,	добавлено.
148.41	Критика истории и смысла[e / é]	Заменена.
157.4	чудовищного бездействия	замененного министра.
164,29	и человек со значительным состоянием.[”]	Добавлено.
169.26	[“]За тот же период,	удалена.
180.30	[“]Я видел, что план моей собственной битвы	добавлен.
193.15	герцог д'Энг [ei /ie] n, который теперь может быть осужден,	перенесен.
208.8	Я по этому поводу написал губернатору, который	заменил.
212.10	Вы обратились ко мне, сэр,	Заменено.
214.11	для переписки со мной по поводу	добавленных писем.
215.42	подождет вас некоторое время[:] было написано	восстановлено.
221.22	добавлена его первая статья в [s] tructions.	.
221.35	те лица, которым доверено ее сохранение,	Удалены.
230,7	[“]Вы находитесь в слишком выгодном положении	.
241.14	, чтобы разрешить мне [с / т] запечатать их,	заменив руки.
242.22	[“]31 декабря 1816 г.”.	Добавлено.
246.27	описывает, что сказал император[,]	Добавлено.
247.5	, которую сказал сэр Хадсон Лоу[,]	Добавлено.
247.8	[“] просто хотел сделать из него инструмент	Добавил.
251.20	[виделись] друг с другом	так в оригинале
262.38	он действовал в соответствии с приказами	Избыточными.

263.38	упрек в том, что addr[e] отправлено без жалобы	Добавлено.
265.11	полностью зависеть от моих собственных ресурсов.	Заменено.
268.6	Я был так сильно нездоров	Добавлен.
272.6	посетили в нашем уединении [h / b] многочисленные офицеры,	замененные.
285.9	Таким образом, я был абсолютным узником	транспонированного.
286.13	Наш b [i / e] rth был маленьким, грязным и неудобным	Заменен.
306.29	было сочтено необходимым ее	удалить.
327.9	, если они никогда не были переведены.	Добавлено.
328.29	и не для того, чтобы что-то для него	добавлено.
329.40	будет скомпрометирована таким образом[./?]	Заменена.
330.1	и путем удаления или с добавлением[h]olding	.
332.23	о чувствах иллюстрируемой жертвы?	Добавлено.
337.29	ваших законов на иностранные запросы.[']	Добавлено.
347.31	не навлекая на себя моего гнева ---["]	Добавлен.
348.36	также заменены дополнительные обстоятельства	.
352.41	и произносить[d] в последнем экземпляре	добавлено.
368.20	на борту <i>Bel[l]erophon</i> >	Добавлен.
370.30	вдохновлена настроениями [с / s] ame	Заменена.
371.5	[“]Наконец-то была	удалена.
371.14	[“]Моему здоровью все так же безразлично	Удалено.Т
394.5	[“] Вы врач”, - ответил он, смеясь, и	добавил.
394,19	рядом с прозрачным потоком этой чистой воды.[”]	Добавлено.
409.28	для того, чтобы раскрыть мое наследие.	Добавлено.
413.1.45	Армия, французы, заговор в,[в] Египте, i. 133	Удалено.
414.2.33	его жалкое приспособление там	заменено.
414.2.51	его идеи об армиях древних	Удалены.
414.2.53	политические схемы,	заменены.
414.2.54	противопоставляет [a/ e] символы, которые он	заменял.
419.1.32	Шатобр [an/iand], М. де, его труды,	Заменены.
421.1.54	Голландия, общественные работы Наро[f/ l]еон в	Заменены.
424.2.64	— продолжающееся жестокое обращение с, i[i/v]. 350	Неправильный объем.
425.2.15	Протестантизм и папство	Добавлены.

Любые внешние ссылки, упомянутые в этих примечаниях или в других томах этой работы, упомянутых в Указателе, не могут считаться функциональными. Они работают на момент публикации этого проекта в январе 2017 года.